



# QUAESTIO ROSSICA

ISSN 2311-911X

QR.URFU.RU

Russia as Intellectual Adventure

Despotism and Resistance to Violence  
in Russian History

The Strangeness of the Russian World  
in the Space of Literature

2014 № 2

ISSN 2311-911X

QR.URFU.RU



# **QUAESTIO ROSSICA**

**2014 №2**

Журнал основан в 2013 г.  
Выходит 3 раза в год

Established in 2013  
Published three times a year

Учредитель – Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина  
620000, Россия, Екатеринбург,  
пр. Ленина, 51

Founded by Ural Federal University  
named after the first President  
of Russia B. N. Yeltsin  
51, Lenin Ave., 620000, Yekaterinburg,  
Russia

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-56174 от 15.11.2013

Journal Registration Certificate  
PI № FS77-56174 as of 15.11.2013

«Quaestio Rossica» – рецензируемый научный журнал, сферой интересов которого являются исследования в области культуры, искусства, истории, археологии, лингвистики и литературы России. Задача журнала – расширить представления о российском гуманитарном дискурсе в пространстве мировой науки. Приоритет отдается публикациям, в которых исследуются новые исторические и литературные источники, выполняются требования академизма и научной объективности, историко-графической полноты и полемической направленности. К публикации принимаются статьи на русском, английском, немецком и французском языках. Полнотекстовая версия журнала находится в свободном доступе на сайте журнала и размещается на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки. Более полная информация о журнале и правила оформления статей размещены на сайте: <http://qr.urfu.ru>

“Quaestio Rossica” is a peer-reviewed academic journal focusing on the study of Russia’s culture, art, history, archaeology, literature and linguistics. The journal aims to broaden the idea of Russian studies within discourse in the humanities to encompass an international community of scholars. Priority is given to articles that consider new historical and literary sources, that observe rules of academic writing and objectivity, and that are characterized not only by their critical approach but also their historiographic completeness. The journal publishes articles in Russian, English, German and French. A full-text version of the journal is available free-of-charge on the journal’s website and is published in the database of the Russian Science Citation Index of the Russian Universal Scientific Electronic Library. For more information on the journal and about article submissions, please consult the journal’s website: <http://qr.urfu.ru>

Издательство Уральского университета  
Россия, 620000,  
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, оф. 260  
E-mail: [qr@urfu.ru](mailto:qr@urfu.ru)

Ural University Press  
Office 260, Lenin Ave.,  
620000, Yekaterinburg, Russia  
E-mail: [qr@urfu.ru](mailto:qr@urfu.ru)

Формат 70x100/16. Тираж 500 экз.

Format 70x100/16. Circulation 500 cop.

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра УрФУ  
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4  
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13  
Факс: +7 (343) 358-93-06  
E-mail: [press-urfu@mail.ru](mailto:press-urfu@mail.ru)

Publisher – Ural Federal University  
Publishing Centre  
4, Turgenev St., 620000 Yekaterinburg, Russia  
Phone: +7 343 350 56 64, +7 343 350 90 13  
Fax: +7 343 358 93 06  
E-mail: [press-urfu@mail.ru](mailto:press-urfu@mail.ru)

## Редакционная коллегия журнала

Главный редактор

проф. Ф.-Д. Лиштенан (Франция,  
Сорбонна)

Ответственные редакторы:

по историческим наукам

проф. Д. А. Редин (Россия,  
ИИИА УрО РАН)

по культурологии и филологии

проф. Л. С. Соболева (Россия, УрФУ)

Куратор отдела рецензий

проф. М. А. Литовская (Россия, УрФУ)

Ответственный секретарь

доц. Р. Т. Ганиев (Россия, УрФУ)

## Члены редколлегии

проф. В. В. Абашев (Россия, ПГНИУ)

проф. В. А. Аракчеев (Россия, УрФУ)

проф. Е. Л. Березович (Россия, УрФУ)

PhD. М. Бинне (США, Университет  
Восточного Вашингтона)

к. и. н. К. Д. Бутров (Россия, УрФУ)

проф. Е. М. Главацкая (Россия, УрФУ)

д. и. н. А. Горак (Польша, Университет  
Марии Склодовской-Кюри)

к. и. н. Ю. В. Запарий (Россия, УрФУ)

к. иск. М. В. Капкан (Россия, УрФУ)

PhD. А. В. Келлер (Россия, УрФУ)

проф. Н. А. Купина (Россия, УрФУ)

проф. О. Л. Лейбович (Россия, ПГАИК)

PhD. Йордан Люцканов (Болгария, БАН)

д. и. н. И. В. Побережников (Россия,  
ИИИА УрО РАН)

проф. Д. О. Серов (Россия, НГУЭиУ)

PhD. М. Тиссье (Франция, Университет  
Ренн 2)

PhD. Г. Робертс (Франция, Университет  
Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс)

проф. Е. К. Созина (Россия,  
ИИИА УрО РАН)

## Journal Editorial Board

Editor-in-Chief

Prof. F.-D. Liechtenhan (France, Paris-  
Sorbonne University)

Section Editors:

Historical Studies

Prof. Dmitry Redin (Russia, Institute  
of History and Archaeology, UB of RAS)

Cultural Studies and Philology

Prof. Larisa Soboleva (Russia, UrFU)

Reviews Section Editor

Prof. Maria Litovskaya (Russia, UrFU)

Executive Secretary Associate

Dr. Rustam Ganiyev (Russia, UrFU)

## Editorial board

Prof. Vladimir Abashev (Russia, Perm State  
National Research University)

Prof. Vladimir Arakcheev (Russia, UrFU)

Prof. Elena Berezovich (Russia, UrFU)

PhD. Matthew Binney (USA, Eastern  
Washington University)

Dr. Konstantin Bugrov (Russia, UrFU)

Prof. Elena Glavatskaya (Russia, UrFU)

Dr. hab. Artur Gorak (Poland, Maria Curie-  
Skłodowska University)

Dr. Julia Zapariy (Russia, UrFU)

Dr. Maria Kapkan (Russia, UrFU)

PhD. Andrey Keller (Russia, UrFU)

Prof. Natalia Kupina (Russia, UrFU)

Prof. Oleg Leybovich (Russia, Perm State  
Academy of Art and Culture)

PhD. Jordan Lyutskanov (Bulgaria,

Bulgarian Academy of Sciences)

Dr. Igor' Poberezhnikov (Russia, Institute

of History and Archaeology, UB of RAS)

Prof. Dmitry Serov (Russia, Novosibirsk

State University of Economics

and Management)

PhD. Michel Tissier (France, University  
of Rennes 2)

PhD. Graham H. Roberts (France, Paris  
West University Nanterre La Défense)

Prof. Elena Sozina (Russia, Institute

of History and Archaeology, UB of RAS)

## Редакционный совет

проф. Е. В. Анисимов (Россия, Институт истории РАН)  
д. и. н. Е. Т. Артемов (Россия, ИИиА УрО РАН)  
проф. С. Бертолисси (Италия, Неаполитанский Восточный университет)  
проф. П. Бушкович (США, Йельский университет)  
проф. Б. М. Гаспаров (США, Колумбийский университет)  
чл.-корр. РАН А. В. Головнев (Россия, ИИиА УрО РАН)  
проф. И. Н. Данилевский (Россия, НИУ ВШЭ)  
проф. Ч. Даннинг (США, Техасский университет А & М)  
проф. Е. И. Дергачева-Скоп (Россия, НГУ)  
проф. А. Л. Зорин (Великобритания, Оксфордский университет)  
проф. Т. Н. Красавченко (Россия, ИНИОН РАН)  
проф. С. Л. Кропотов (Россия, УрФУ)  
проф. Д. Майклсон (США, Канзасский университет)  
проф. А. Мустайоки (Финляндия, Хельсинкский университет)  
д. и. н. С. А. Нефедов (Россия, ИИиА УрО РАН)  
проф. М. Перри (Великобритания, Университет Бирмингема)  
проф. В. Я. Петрухин (Россия, Институт славяноведения РАН)  
проф. Р. Г. Пихоя (Россия, РАНХиГС)  
д. и. н. Я. Садовский (Польша, Папский университет Иоанна Павла II)  
проф. Д. Свак (Венгрия, Университет им. Лоранда Этвёша)  
проф. Н. А. Фатеева (Россия, Институт русского языка РАН)

•

## Editorial Council

Prof. Evgeniy Anisimov (Russia, Saint Petersburg Institute of History of RAS)  
Dr. Evgeniy Artemov (Russia, Institute of History and Archaeology, UB of RAS)  
Prof. Sergio Bertolissi (Italy, University of Naples «L'Orientale»)  
Prof. Paul Bushkovitch (USA, Yale University)  
Prof. Boris Gasparov (USA, Columbia University)  
Prof. Andrey Golovnev (Russia, Institute of History and Archaeology, UB of RAS)  
Prof. Igor Danilevsky (Russia, National Research University – Higher School of Economics)  
Prof. Chester Dunning (USA, Texas A & M University)  
Prof. Elena Dergacheva-Skop (Russia, Novosibirsk State National Research University)  
Prof. Andrey Zorin (UK, University of Oxford)  
Prof. Tatiana Krasavchenko (Russia, Institute for Scientific Information of Social Sciences of RAS)  
Prof. Sergey Kropotov (Russia, UrFU)  
Prof. Gerald Michaelson (USA, University of Kansas)  
Prof. Arto Mustajoki (Finland, University of Helsinki)  
Dr. Sergey Nefedov (Russia, Institute of History and Archaeology, UB of RAS)  
Prof. Maureen Perrie (UK, University of Birmingham)  
Prof. Vladimir Petrukhin (Russia, The Institute of Slavic Studies of RAS)  
Prof. Rudolf Pihoya (Russia, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)  
Dr. hab. Yakub Sadovski (Poland, Pontifical University of John Paul II)  
Prof. Gyula Szvak (Hungary, Eötvös Loránd University)  
Prof. Natalia Fateyeva (Russia, The Russian Language Institute of RAS)

•

## СОДЕРЖАНИЕ

## CONTENTS

## Vox redactoris

Newton's Third Law in Russian History . . . . . 7	Newton's Third Law in Russian History . . . . . 7
Третий закон Ньютона в русской истории . . . . . 11	

## Scientia et vita

<i>Daniel Waugh</i> . The Enthusiasms of Youth and Where They Led: a Memoir . . . . . 19	<i>Daniel Waugh</i> . The Enthusiasms of Youth and Where They Led: a Memoir . . . . . 19
<i>Даниель Уо</i> . Увлечения юности и к чему они привели: автобиография. . . . . 36	

## Problema voluminis

Деспотизм и противостояние насилию в истории России	Despotism and Resistance to Violence in Russian History
<i>Giovanni Maniscalco Basile</i> . Law and Power. The Idea of Sovereignty in 16 <sup>th</sup> Century Russia . . . . . 65	<i>Giovanni Maniscalco Basile</i> . Law and Power. The Idea of Sovereignty in 16 <sup>th</sup> Century Russia . . . . . 65
<i>Михаил Бенцианов</i> . «Как бы службу нам устроить»: военно-организационные преобразования середины XVI в. . . . . 80	<i>Mikhail Bentsianov</i> . “How Should We Organize Our Service”: On the Changes of Military Organization in the Mid-16 <sup>th</sup> Century. . . . . 80
<i>Александр Филюшкин</i> . Проект «Русская Ливония» . . . . . 94	<i>Alexander Filiushkin</i> . The “Russian Livonia” Project. . . . . 94
<i>Юрген Хайде</i> . Ливония под властью Речи Посполитой. Борьба за власть и социальная трансформация. . . . . 112	<i>Jürgen Heyde</i> . Livonia under the Polish-Lithuanian Commonwealth. The Struggle for Power and the Social Transformation . . 112
<i>Игорь Тюменцев</i> . Елецкое восстание 1606 г. в истории Смуты . . . . . 144	<i>Igor Tyumentsev</i> . Yelets Uprising of 1606 in the History of the Time of Troubles . . . . . 144
<i>Елена Ефремова</i> . Прерванный полет: несостоявшиеся издания региональных советских энциклопедий 1920–1930-х гг. . . . . 151	<i>Elena Efremova</i> . An Interrupted Flight: Unpublished Soviet Regional Encyclopedias of the 1920s–1930s. . . . . 151

Странности русского мира в пространстве литературы	The Strangeness of the Russian World in the Space of Literature
<i>Наталья Купина</i> . Странное в художественном мире Достоевского: роман «Бесы» ... 167	<i>Natalia Kupina</i> . Strangeness in Dostoevsky's Poetics: "Demons". . . . . 167
<i>Борис Гаспаров</i> . Платонов и Решетников. . . . . 176	<i>Boris Gasparov</i> . Platonov and Reshetnikov. . . . . 176
<i>Елена Созина</i> . «Целый новый для меня мир»: этнографическая беллетристика К. Д. Носилова в русской литературе рубежа XIX–XX вв. . . . . 193	<i>Elena Sozina</i> . "A Whole New World for Me": K. D. Nosilov's Ethnographic Fiction in the Russian Literature of the Late 19 <sup>th</sup> – Early 20 <sup>th</sup> Centuries . . . . . 193
<i>Марк Липовецкий</i> . Зловещее в сказах Бажова. . . . . 212	<i>Mark Lipovetsky</i> . The Uncanny in Bazhov's Tales. . . . . 212

### Disputatio

<i>Jan Kusber</i> . Cultural Transfer as a Field for the Observation of Historical Cultural Studies. The Example of the Russian Empire . . . . . 233	<i>Jan Kusber</i> . Cultural Transfer as a Field for the Observation of Historical Cultural Studies. The Example of the Russian Empire . . . . . 233
<i>Серджи Бертолисси</i> . Вольный город в России XVII в.: Мангазея на реке Таз (1601–1672) . . . . . 252	<i>Sergio Bertolissi</i> . A Free Town in 17 <sup>th</sup> Century Russia: Mangazeya on the Taz River (1601–1672) . . . . . 252
<i>Николай Петрухинцев</i> . «Финансы войны» и офицерский корпус полков «нового строя» в военной реформе Алексея Михайловича (1663) . . . . . 263	<i>Nikolay Petrukhintsev</i> . 'War Finance' and the Officer Corps of the 'New Order' Regiments in the Tsar Aleksey Mikhailovich's War Reform (1663) . . . . . 263

### Dialogus

<i>Алексей Антошин, Евгений Рукоусев, Сергей Смирнов</i> . Золото Сеннара: Египет и Судан глазами уральского мастера золотодобычи XIX в. . . . . 295	<i>Aleksey Antoshin, Yevgeniy Rukosuev, and Sergey Smirnov</i> . Sennar's Gold: Egypt and Sudan through the Eyes of a 19 <sup>th</sup> Century Ural Gold Miner . . . . . 295
---	---

### Critica

<i>Vladimir Arakcheev</i> . Vilno against Moscow . . . . . 311	<i>Vladimir Arakcheev</i> . Vilno against Moscow . . . . . 311
<i>Андрей Бушмаков</i> . Военный плен в российской провинции (1914–1922) . . . . . 317	<i>Andrey Bushmakov</i> . Military Captivity in the Russian Province (1914–1922) . . . . . 317
Сокращения . . . . . 323	Abbreviations . . . . . 323

## VOX REDACTORIS

### NEWTON'S THIRD LAW IN RUSSIAN HISTORY

“For every action, there is an equal and opposite reaction. In every interaction, there is a pair of forces acting on the two interacting objects. The size of the forces on the first object equals the size of the force on the second object.”

Newton's Third Law

The fundamental laws of physics have long tempted researchers to invent analogous laws in the spheres of the humanities and social sciences. The clearest example of this would be the attempt by Auguste Comte to turn history into something resembling ‘social physics.’ While the futility of such attempts nowadays seems obvious, the temptation nevertheless remains. It is not entirely without foundation. After all, in one way or another, a human being is, in all her complexity, an organic part of the physical world; historical events and phenomena, in their turn, may conform to the universal laws of being, formulated as a result of studying the qualities of physical objects. It is quite obvious that in social processes, ‘for every action there is an opposite reaction,’ although the correlation between those two forces is by no means linear and much less predictable than the relations between two plain physical objects.

In this respect, the key theme of this issue, featured in the ‘*Problema voluminis*’ section, and formulated as ‘Despotism and Resistance to Violence in Russian History,’ plays an outstandingly important role for our country, the history of which has been marked by extreme violence on a number of occasions, such as the Golden Horde Yoke, the bloody *oprichnina* of Ivan the Terrible, and the irreconcilable Soviet period.

Many questions still remain unanswered, such as: the role played by the tradition of Asian despotism in the evolution of Russian politics and culture; the relative weight in the formulation of the Soviet policy of modernisation of the country's Imperial past on the one hand, and of the specific challenges posed by the 20<sup>th</sup> century on the other; the impact the boundlessness of Russian space has had on the preservation of authoritarianism, and so on.

The methodological approaches of earlier scholars can no longer be used by contemporary historians, as the questions that need to be addressed today are on a much larger scale. Since the publication of a controversial monograph by Leonard Schapiro, who found totalitarianism both in Tudor England and in Ivan the Terrible's Russia [Schapiro], it would seem that this concept has established itself irrevocably in the history of ideas.



This fact to some extent explains the main idea behind the current issue: we deliberately chose not to deal with the topic of despotism and resistance to violence in the traditional guise of political repression and dissent. Instead, we thought it would be more productive to show that the coercion exercised by the authorities in relation to the whole population and separate social groups, corporations, or structures, can be very diverse. Such coercion is often not visibly ‘oppressive’, and may even be based on the notion of the ‘common good.’

The subjugation of the inhabitants of a conquered territory to the new order is also a form of coercion and violence, even if the administration may not necessarily intend to terrorize the population of the newly acquired lands. Without claiming to present an exhaustive solution to these problems, *Quaestio Rossica* authors offer an original take on the various aspects of one of the key issues in Russian history.

The articles by Alexander Filiushkin (Saint Petersburg) and Jürgen Heyde (Leipzig, Germany) constitute complementary studies examining Russian and Polish projects to incorporate the Eastern Baltic region. For all the differences in the methods adopted by the authorities of Russia and Rzeczpospolita, they nevertheless had something in common: while both countries in the period studied appeared, in the words of one of the authors, as ‘neonatal empires’ that were on the path of conquest, neither had a specific method when it came to absorbing and incorporating the conquered territories.

In his article ‘Law and Power. The Idea of Sovereignty in 16<sup>th</sup> Century Russia’ Giovanni Maniscalco Basile (Roma, Italy) explores the origins of the idea of the sovereignty of the Russian monarch in the 16<sup>th</sup> century. Basing his argument on close analysis of the law texts of the time, Ivan Peresvetov’s texts, and the Book of Royal Degrees, Basile finds a combination of patrimonial and sacred elements at the heart of the concept of sovereignty – a mix that managed to amalgamate the heritage of the Byzantine Empire and Moscow into the theory of ‘Moscow as the Third Rome.’

Mikhail Bentsianov (Yekaterinburg) investigates the question of land ownership by servicemen during the reign of Ivan the Terrible and the attempts at the ‘social formatting’ of the ruling strata of society by the state. The topic that is directly related to the issue of coercion is the story of the Time of Troubles – the civil war in Russia at the beginning of the 17<sup>th</sup> century. Igor Tiumentsev (Moscow), who explores the history of the Yeletski revolt (1606), concludes that the uprising in the ‘*polski* towns’ located directly on the steppe frontier, began earlier than that in ‘*ukrainny*’ towns, located on the border with Poland. His discovery represents a very valuable addition to the existent accounts of the Russian Civil War of the early 17<sup>th</sup> century, when both violence and resistance to violence had become the norm.

The article by Elena Efremova (Yekaterinburg) shows how distorted were the methods of work on regional encyclopaedias in the early 1930s. Guided by good intentions to promote regional development, the leadership

of the Ural Encyclopaedia imposed strict censorship for all distantly independent authors, qualifying questionable articles as a manifestation of 'religious obscurantism' at the slightest opportunity. In the end, however, the Soviet authorities sensed the danger of dissent even in such a censored version, and the project was cancelled, with all its authors subjected to persecution.

It is obvious that despotism and violence were present not only in those specific periods traditionally identified with them, but also in relatively 'vegetarian' times. This is why in our view, it is just as important to analyse these phenomena in everyday life throughout the ages in Russia, as it is to look at the *oprichnina* terror and Stalin's camps.

The second idea unifying the current issue of *Quaestio Rossica* is the 'oddity' or rather 'oddities' of the Russian world, as represented in literary works. This section opens with an article by Natalia Kupina (Yekaterinburg) on the linguistic aspects of the category of 'strangeness' in Dostoevsky's novel *The Demons*. It continues with the reflections of American philologist Boris Gasparov (New York, USA) who juxtaposes a 'natural school' writer Fyodor Reshetnikov with Andrei Platonov, and in so doing reveals fundamental aspects of the Russian national world-view. The existential horror caused by the convergence of life and death, of the modern city and relict traditions (such as cannibalism) is in this case generated by the literary text.

The so-called 'new ethnography' expressed at the turn of the 19<sup>th</sup> century by Russian writer K. D. Nosilov is explored in the article by Elena Sozina (Yekaterinburg). Nosilov's endeavor to understand the 'other' forces him to consider his own life experience and ethnic origins, in a way that hinders his attempt to immerse himself fully in the life of the Vogul people.

The article by Mark Lipovetsky (Boulder, USA) suggests a new approach to understanding the tales of Urals writer P. P. Bazhov, based on the analysis of the image of the 'sinister'. Bazhov's tales, derived from Urals folklore, represent an unusual symbiosis of folk and realistic motifs, overturned in the past. The writer's fear of arrest during the Stalinist period spawned phantasmagorical descriptions of infernal characters, trapped in a complex game with the Ural stone-carving masters. The sinister in Bazhov's tales is to some extent comparable to the intense suspense in Tamas Toth's film *Children of Iron Gods*, where the industrial Urals of the 20<sup>th</sup> century is pictured as a place full of archaic rites and devoid of any sense of freedom. Philological articles, in their turn, shed light on 'strange' aspects of the paradoxical Russian being, which relates to the main theme of the issue.

The published materials contain research, based on archival sources, that reflects the complexity and versatility of the process of empire building and coercion enforcement – both from the point of view of the state and from the perspective of those suffering such coercion.

\* \* \*

*Quaestio Rossica* opens with the memoir of a prominent american slavist, professor emeritus of the University of Washington, Daniel Waugh, who worked extensively with Ancient Russian manuscript collections while living in Russia between 1968 and 1975 (the section 'Scientia et vita'). His fascinating stories about meetings and debates with Dmitry Likhachev, A. A. Zimin, S. M. Kashtanov, Ya. S. Lurie and others, reveal the genuine atmosphere of scientific research and the achievements made by researchers in the field of the humanities in the late Soviet era. These unique autobiographical notes, written with intense sincerity, constitute an impressive account of devotion to scientific enquiry, genuine scientific passion in the pursuit of truth, and objectivity and respect for colleagues in scientific research. Without doubt, the main driving force behind this memoir is Professor Waugh's genuine interest in Russia, which had a profound impact on his personal destiny.

The Editorial Board provides an opportunity for researchers to publish articles on a variety of topics, including, but by no means limited to, those announced in our first issue (see: *Quaestio Rossica*, 2013, № 1, p. 212–215). Novel ideas and innovative approaches are especially welcome. A case in point is the article by J. Kusber (Mainz, Germany), which raises the problem of how the phenomenon of culture transfer may be studied and suggests a solution by focussing on materials from the Russian Imperial period. European forms of education and science were brought to Russia, according to Kusber, via the personal initiative of actors, or networks, including Masonic lodges, clubs and societies. An important role was also played by the urban environment which – in contrast to the less dynamic rural milieu – created more favorable conditions for cultural exchange.

Professor Sergio Bertolissi (Naples, Italy) provided us with the rare opportunity to publish a chapter from his forthcoming monograph. He undertakes a rigorous historical study of the Siberian town of Mangazeya, which in the first half of the 17th century served as a transit point for the substantial fur trade of Northern Siberia. This article, filled with vivid realia and representative statistical data, shows that the precious fur trade was one of the main sources of income in pre-Petrine Russia.

Nikolay Petrukhintsev (Lipetsk) researches the financing and the number of the 'new order' officers in the Russian army in the second half of the 17th century. He shows how efficient were the military and the financial reforms of Tsar Alexey Mikhailovich, conducted during the Russian-Polish war. Modifications to the government's economic policy after the 'Copper Riot' helped stabilise the financial situation of foreigners in Russian service at this time.

An important part of the Reviews section (the 'Dialogus' part) is taken up by discussion of the new book by Aleksey Antoshin, *The Gold of Sennar*, dedicated to those craftsmen from the Urals who founded and organized local gold mining in Egypt. A unique historical document, discovered by the author of the monograph (recently translated into Arabic,) is a diary of one gold mining expert from the Urals, who describes in great detail the everyday routine of members of the Russian expedition to Egypt. Antoshin's discussion reveals many new aspects of this period, which will undoubtedly prove invaluable to scholars working in this area.

A number of book reviews ('Critica') are connected to the theme of the military. The first review considers a book by Belarusian author A. Janushkevich who studies the Livonian War in terms of its significance to the Grand Duchy of Lithuania (review by V. Arakcheev.) The second concerns a monograph by N. V. Surzhikova on Prisoners of War in the Urals during the First World War (review by A. Bushmakov).

In our opinion, the second issue of *Quaestio Rossica* for the year 2014 will make a significant contribution to our interest in, and our understanding of the problems of violence and the development of imperial space in Russia. We hope very much that you will find much of interest in the pages that follow.

*The Editorial Board*

Schapiro L. (1972). *Totalitarianism*. London: Pall Mall Press.

## ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В РУССКОЙ ИСТОРИИ

«Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны»

*Третий закон Ньютона*

Фундаментальные законы физики долгое время вызывали соблазн разработать что-то подобное в сфере гуманитарного и социального знания. Самый яркий и хрестоматийный пример такого рода – попытка Огюста Конта превратить историю в подобие «социальной физики». Тщетность подобных усилий на сегодняшний день как будто очевидна, но соблазн сохраняется. Вероятно, он не беспочвенен: так или иначе, человек, во всей сложности понимания этого явления

остаётся органической частью физического мира, а исторические события и феномены, вероятно, в каком-то смысле подчиняются универсальным законам бытия, сформулированным в результате осмысления свойств физических объектов. Так или иначе, и в социальных процессах действие неизбежно порождает противодействие, хотя взаимоотношения между этими векторами движения социальной материи нелинейны и гораздо хуже предсказуемы, нежели взаимодействия простых физических объектов.

В этом отношении избранная ключевой проблемой номера (рубрика *Problema voluminis*) тема «Деспотизм и противостояние насилию в истории России» играет особую роль для нашего Отечества, в чьей истории были эпохи тяжелой зависимости от ордынского ига, кровавого опричного террора Ивана Грозного, наполненного противоречиями советского периода. Множество нерешенных вопросов по сей день стоят перед историками: какова была степень влияния традиций азиатского деспотизма на политический строй и культуру, насколько был предрешен советский вариант модернизации имперским прошлым нашей страны, а насколько – вызовами XX в., какова была роль необъятных пространств России в длительном сохранении авторитарных методов управления. Предлагавшиеся в недавнем прошлом методологические решения уже не кажутся современным историкам соразмерными масштабу обсуждаемых проблем. После выхода спорной книги Леонарда Шапиро, находившего тоталитаризм и в Англии эпохи Тюдоров [Scharigo], и в России Ивана Грозного, концепт тоталитаризма, видимо, окончательно стал достоянием истории общественной мысли.

Это обстоятельство предопределило концепцию настоящего номера *Quaestio Rossica*: мы сознательно не стали рассматривать тему деспотизма и противодействия насилию в привычном русле политических репрессий и борьбы с инакомыслием. Представлялось продуктивным показать, что методы принуждения, практикуемые властью по отношению к населению, отдельным общественным группам, корпорациям и структурам, могут быть самыми разнообразными и внешне совсем не «деспотическими», а основанными на представлениях об «общем благе». Например, навязывание жителям покоренной территории нового порядка – это тоже форма принуждения и насилия, даже если власть не ставит своей целью терроризировать население этих территорий. Не претендуя на исчерпывающее разрешение этих проблем, авторы журнала предлагают свой взгляд на самые разные аспекты одного из ключевых вопросов русской истории.

Статьи Александра Филюшкина (Санкт-Петербург) и Юргена Хайде (Лейпциг, Германия) – интересные взаимодополняющие исследования, в которых рассматриваются русский и польский проекты инкорпорации Восточной Прибалтики. При всех различиях в методах действий властей России и Речи Посполитой, у них было нечто

общее: оба государства в рассматриваемый период были, по выражению одного из авторов, «неонатальными империями», вставшими на путь завоеваний, но не имевшими реальных механизмов поглощения завоеванных территорий.

Джованни Манискалко Базиле в статье «Law and Power. The Idea of Sovereignty in the 16<sup>th</sup> Century Russia» (Рим, Италия) исследует происхождение идеи суверенитета русского монарха в XVI в. Основываясь на анализе памятников права, текстов Ивана Пересветова и Степенной книги, автор обнаруживает объединение в понятии суверенитета патримониальных и сакральных элементов, синтезировавших наследие Византийской империи и Москвы в теории «Москва – Третий Рим».

В статье Михаила Бенцианова (Екатеринбург) исследовано землевладение служилых людей в эпоху Ивана Грозного и попытки «социального форматирования» государством правящей страты общества. Как сочетались в этом процессе естественные механизмы формирования социальной группы и государственная воля и целесообразность, совпадали ли их векторы – один из важных вопросов исследования. Темой, непосредственно связанной с проблематикой принуждения является история Смуты – гражданской войны в России начала XVII в. Изучивший историю Елецкого восстания 1606 г. Игорь Тюменцев (Москва) приходит к выводу о том, что восстание в «польских городах», располагавшихся непосредственно на степном фронтире, началось раньше, чем в «украинских», расположенных на границе с Польшей. Это очень важное дополнение существующих описаний гражданской войны начала XVII в., когда насилие и противодействие ему стали обыденной стороной общественной жизни.

Статья Елены Ефремовой (Екатеринбург) показывает, насколько искаженными были методы работы над региональными энциклопедиями в начале 1930-х гг. Руководствуясь благими намерениями по стимулированию развития регионов, руководство Уральской энциклопедии проводило жесткую цензуру в отношении всех сколь-нибудь самостоятельных авторов, при первой возможности квалифицируя сомнительные статьи как проявление «поповского мракобесия». В конце концов, даже в таком варианте советская власть почувствовала опасность инакомыслия, проект был закрыт, а все его исполнители подверглись преследованиям. Очевидно, что деспотизм и насилие были свойственны не только эпохам, напрямую отождествляемым с этим феноменом, но и сравнительно «вегетарианским» временным отрезкам. Разворот проблемы от опричного террора и сталинских лагерей к обыденности насилия и составляет суть нашего взгляда на этот важнейший феномен русской истории.

Второй объединяющей проблемой стала идея странностей русского мира, представленных в литературном творчестве. Этот раздел открывается статьей Натальи Купиной (Екатеринбург) о лингвистических аспектах категории странного в произведении

Ф. М. Достоевского «Бесы». Продолжается раздел размышлениями филолога Бориса Гаспарова (Нью-Йорк, США), который сопоставляет творчество писателя «натуральной школы» Федора Решетникова и Андрея Платонова, выявляя глубинные основы миропонимания русского народа. Экзистенциальный ужас от сближения жизни и смерти, современного города и реликтовых традиций (подобных каннибализму) в данном случае порождается литературным текстом.

В статье Елены Созиной (Екатеринбург) рассматривается так называемая «новая этнография» рубежа XIX—XX вв. русского писателя К. Д. Носилова. Его попытка понять «другого» наталкивается на собственный жизненный опыт и этические постулаты, которые противоречат исследовательской задаче погружения в жизнь вогульского народа.

В статье Марка Липовецкого (Боулдер, США) обозначен новый подход к пониманию сказов П. П. Бажова на основе анализа образа «зловещего» начала. Основанные на уральском фольклоре, сказы Бажова представляют собой поразительный симбиоз фольклорных и реалистических мотивов, опрокинутых в прошлое. Страх писателя перед возможным арестом в сталинское время породил фантастические описания inferнальных персонажей, ведущих сложную игру с уральскими мастерами. Зловещее у Бажова в какой-то степени сопоставимо с напряженным ожиданием необычного в фильме Тамаша Тотта «Дети чугуновых Богов», где индустриальный Урал XX в. предстает полным архаики и несвободы. Статьи филологического ракурса выявляют странности, порожденные парадоксами противоречивого российского бытия, и тем самым контекстуально соотносятся с главной проблемой номера.

Публикуемые материалы содержат основанные на архивных источниках рассуждения, отражающие сложность и многогранность процесса строительства империи и применения принуждения как в интересах государства, так и людьми, страдавшими от него.

\* \* \*

Открывается наш журнал по традиции воспоминаниями видного американского русиста, почетного профессора Вашингтонского университета Даниэля Уо, интенсивно работавшего с древнерусскими рукописными собраниями в 1968–1975 гг. (рубрика *Scientia et vita*). Увлекательный рассказ о встречах и дебатах автора с Д. С. Лихачевым, А. А. Зиминим, С. М. Каштановым, Я. С. Лурье погружает в атмосферу научных поисков и достижений позднесоветской эпохи. Написанные с неповторимой искренностью автобиографические заметки впечатляют преданностью науке, подлинной научной страстью в стремлении к истине, объективностью и уважением к коллегам

по научному труду. И, конечно, очень привлекает неподдельный интерес исследователя к России, который повлиял и на личную судьбу Д. Уо.

Редколлегия предоставляет исследователям возможность публикации статей на темы, отнюдь не ограниченные заранее объявленной проблематикой [см.: *Quaestio Rossica*, 2013, № 1, с. 212–215]. Напротив, все новые идеи находят место на страницах журнала. Именно к таковым относится статья Яна Кусбера (Майнц, Германия), в которой ставится проблема изучения культурного трансфера на материалах России периода империи. Заимствование европейских форм в сфере образования и науки происходило, по мысли автора, через личную инициативу акторов сетей, среди которых он отмечает масонские ложи, кружки и общества, а также городскую среду, которая в противовес инертному крестьянству создавала более благоприятные условия для культурного обмена.

Профессор Серджи Бертолисси (Неаполь, Италия) предоставил редакции редкую возможность опубликовать перевод главы из готовящейся к изданию монографии. В ней автор осуществляет конкретно-историческое исследование истории города Мангазея, бывшего в течение первой половины XVII в. перевалочным пунктом меховой торговли в Северной Сибири. Насыщенная живыми реалиями и представительными статистическими данными, статья показывает добычу ценного меха как один из важнейших источников благосостояния России допетровской эпохи.

В статье Николая Петрухинцева (Липецк) исследовано финансирование и численность офицерского корпуса полков «нового строя» русской армии во второй половине XVII в. Автор показывает, насколько результативными были военная и финансовая реформы Алексея Михайловича, проведенные в период русско-польской войны. Резко возросшее количество офицеров впервые позволило достичь убедительных успехов в ходе войны; коррекция финансовой политики после «медного бунта» обеспечила устойчивое материальное положение иностранцев на русской службе.

Важной частью рецензионного блока является обсуждение новой книги Алексея Антошина (Екатеринбург) «Золото Сеннара», посвященной уральским мастерам, работавшим в Египте с целью открытия и организации добычи золота (рубрика *Dialogus*). Уникальный исторический документ, обнаруженный автором монографии (переведенной к данному моменту на арабский язык и изданной в Египте), – это дневник уральского мастера золотодобычи, где он подробно рисует пребывание русской экспедиции в Египте. Обсуждение выявляет многочисленные новые аспекты и исторические контексты, которые могут быть востребованы гуманитарной наукой при обращении к подобного рода эгодокументам.

Публикуемые рецензии на вышедшие книги связаны с военной тематикой: в первом случае рецензируемой книгой стал труд белорусского автора А. Янушкевича, рассмотревшего Ливонскую



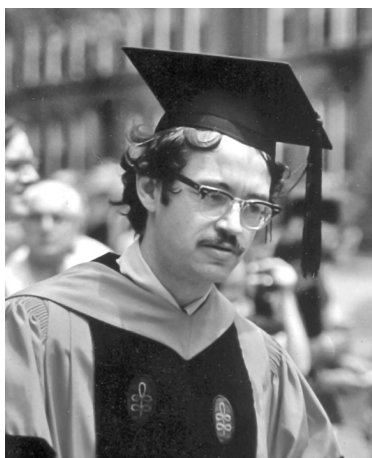
войну с точки зрения ее значения для великого княжества Литовского (рецензент В. Аракчеев); во втором случае – книга Н. В. Суржиковой о военнопленных периода Первой мировой войны в Уральском регионе (рецензент А. Бушмаков).

*Редколлегия*

*Schapiro L. Totalitarianism. London : Pall Mall Press, 1972.*

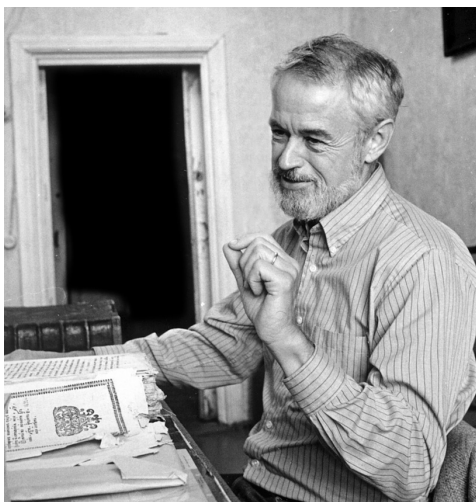


Scientia  
et vita



Daniel Waugh. 1972, Harvard University

Даниель Уо. 1972, Гарвардский университет



Daniel Waugh. 1996. Kirov historical and ethnographic museum (photo by A. Miakishev)

Даниель Уо. 1996. Историко-этнографический музей г. Кирова (фото А. Мякишева)



Scientia  
et vita

**THE ENTHUSIASMS OF YOUTH  
AND WHERE THEY LED: A MEMOIR**

The autobiography written by Daniel Waugh, an eminent American scholar and specialist in Old Russian literature demonstrates how a person's life can be combined with professional interest. The events of the author's life are set against a background of Russian studies carried out both in Russia and abroad, as well as historical and cultural discussion. The reader gets acquainted with the Soviet and world humanities thought that intricately combines benevolence and academic objectivity with ideological confrontation and captious objections. The author's perfect understanding of people and their achievements makes the memoirs a source of valuable information on the humanities during the Cold War and post-Soviet years. The article demonstrates that respect for hard academic work and mutual respect among scholars is a key to the solution of conflicts and disagreement regardless of their nature. This is the first part of the autobiography, a continuation is to be published in the upcoming issue.

Keywords: Soviet humanities; Pushkin House; Soviet historians; Manuscript Heritage; Old Russian literature.

The essay which follows was originally composed in 2012 as an introduction to a possible reprint collection of my early publications. While such a collection undoubtedly will never appear in print (most of the material is available in electronic form on my personal website), in the process I was adding some notes to update or contextualize the early work and pondering the question for which I still do not have a definitive answer as to how and why my career developed the way it did.<sup>1</sup> In short, I am at that stage of life in my seventh decade, when some kind of nostalgia (and also critical self-examination) of one's early years emerges. This essay is far from a complete scholarly autobiography, as life and scholarship continue, and my interests nowadays are increasingly occupied by the history of Central Asia and especially the historic Silk Roads and Eurasian exchange. Why those subjects is a topic for another day. Readers should also be warned that, as with any memoir, to a considerable degree this one is self-serving. Memoirists tend to want to justify themselves and enhance their importance. At very least though, I can hope the essay will shed some light on how one American specialist on pre-modern Russia

---

<sup>1</sup> Links are to be found at <http://faculty.washington.edu/dwaugh>.

benefitted from the privilege and opportunity of interacting with so many prominent specialists. I am in their debt.

My path to pre-modern Russia from having (unwisely) chosen physics as an undergraduate major at Yale University requires a brief explanation. I began Russian in order to read physics articles in the language. My first Russian history course was undertaken at a dorm-mate's suggestion of a good way to fulfill a distribution requirement.<sup>2</sup> One of its instructors was Firuz Kazemzadeh, who, when I subsequently took his course on Russian imperial expansion, pointed me in the direction of studying Russo-Ottoman relations.<sup>3</sup> I was fortunate to end up at Harvard for graduate school in the year when John Fennell was visiting there from Oxford, lecturing and offering a seminar in the textual analysis of Russian chronicles, a subject on which he was one of the great experts. I obviously took to the kind of detective work that involved; from there it was an easy step to commit to a dissertation on Muscovy, for which, oddly it may seem, my formal adviser was Robert Lee Wolff, even if my "real adviser" was Edward (Ned) Keenan (not yet tenured and thus not eligible to supervise the work). Wolff, a Byzantine and Balkan specialist who at one time had filled in at Harvard when there was no early Russianist on the faculty, had some notoriety for being hard on his graduate students. I was blessed that he left me in peace to do my thing even if the infrequent visits to his study in Widener Library L were a cause for some anxiety.<sup>4</sup> By that point in his career, his main passion was collecting and writing about early Victorian novelists.

To this day I cannot claim ever to have had a particular aptitude in learning languages. The Harvard Russian program was a notch above Yale's in its expectations for third year Russian; so I had to "repeat" the course and hardly with distinction, despite the intimidating

---

<sup>2</sup> I thank Norman Sinel, who lived in the room next door (and would later become a lawyer) and whose brother Alan (later a prominent historian of imperial Russian education policy at University of British Columbia) was then doing his graduate work at Harvard. Norman suggested we try Russian history, the survey course at Yale being taught jointly by Ivo Lederer, Firuz Kazemzadeh and Christopher Becker.

<sup>3</sup> Professor Kazemzadeh, of Iranian-Russian ancestry, published on Russian-Iranian relations in the early 20<sup>th</sup> century after having written his doctoral dissertation on events in Transcaucasia during and immediately after the Bolshevik Revolution.

<sup>4</sup> Wolff still was capable of giving grief to those who worked under him, a classic case being Mark Pinson, who had to keep re-writing dissertation chapters and managed eventually to finish only by getting Wolff off his committee. In my case, Wolff did not want to see the dissertation until it was finished, and then he had only a few suggestions for changes and blessed it with what in retrospect I consider to have been unwarranted praise: "...I think it is a splendid piece of work. Even before the arrival of appendices and bibliography, I am prepared to say that not only it is surely acceptable in its present form as a dissertation, but that it is one of the very best I have ever read, and, I think, nearer than any to a final publishable book." (Robert Lee Wolff to Daniel Waugh, 9 November 1971). Maybe my view of the dissertation is much colored now by a kind of retrospective re-thinking of the project in light of newer approaches to the kind of material I was studying. By today's standards, its analysis is very "old fashioned." At very least, even in its final typed form, the dissertation is embarrassing for its many typos, a consequence of my having been in Leningrad at the time it was turned in and thus not having been able to proof the final copy. The dissertation is: "Seventeenth-Century Muscovite Pamphlets with Turkish Themes: Toward a Study of Muscovite Literary Culture in its European Setting" [2 vols.] (Harvard University, 1972).

ministrations of Nina Arutunova.<sup>5</sup> If my Russian today is more or less fluent (though getting rustier, and never all that accurate), it is largely thanks to the extended time in the Soviet Union while researching the dissertation and to having married there a Russian with whom we agreed that it would be our language spoken at home.<sup>6</sup> I also enrolled in Horace Lunt's Old Church Slavonic course in my first graduate semester. He would probably be dismayed if he were alive now to know how much of it I have "lost" for want of practice or that a reviewer of my first monograph pointed out a mistake in my translation of a text.<sup>7</sup> I knew nothing of Lunt's reputation as a harsh taskmaster; in fact he had mellowed and was always very nice to me, indulgent perhaps with a historian who could never be expected to play on a level field with linguists. The memorable moment in the course had nothing to do with discovering the dual or learning about aorists, but was when the bells of Memorial Chapel in Harvard Yard began to ring and someone came into the room to tell us that President Kennedy had been killed. My graduate years also provided the rare opportunity to hear lectures by Roman Jakobson, one course devoted to Slavic paganism, the other to early 20th-century Russian poetry, a subject he knew in part from personal interaction with some of the poets. Jakobson's description of his first encounter with Maiakovskii which concluded one of the lectures was memorable, even if other details of the poetry course escaped me.

One of my reasons for choosing Harvard was to study Turkish, which I did under the Ottoman history specialist Stanford Shaw, though never achieving a level of proficiency which would have enabled me to remember and use the language effectively without constant practice.<sup>8</sup> At very least, it helped stimulate my interests in Central Asia and its cultures, subjects

---

<sup>5</sup> Dr. Arutunova kindly let me audit the summer version of her course a few years later as I was getting ready to leave for my first year of dissertation work in the Soviet Union and badly needed to have some conversational Russian practice. This stood me in good stead when I rather stupidly showed up in Moscow the day before the date on my entry visa in August 1968 and had to talk my way into being admitted rather than being put back on a plane to London.

<sup>6</sup> Over the years I have been very much in the debt of those who took the pains to correct the Russian in various of my papers and publications: my former wife Marina Aleksandrovna Tolmacheva (the great-granddaughter of Aleksandr Petrovich Karpinskii, who was president of the Russian/Soviet Academy of Sciences from 1917–1936), Veronica Muskheli, Galya Diment, Maria Kozhevnikova, Varvara Vovina-Lebedeva, and editors in Russia whose specific contributions I cannot identify.

<sup>7</sup> My book is *The Great Turkes Defiance. On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants*, with a foreword by Academician Dmitrii Sergeevich Likhachev (Columbus, O.: Slavica, 1978). The review is that by Norman Ingham, published in *Modern Philology* [Ingham]. Once in Lunt's Old Russian course, which I took in winter-spring semester 1964, when we had noted a mis-translation by Serge Zenkovsky (in his anthology of early Russian texts) of the text we were reading, Lunt said with a laugh that perhaps Harvard should demand back from Zenkovsky his Harvard degree.

<sup>8</sup> Shaw's second year course, in which we began to read Ottoman texts in Arabic script, had one other student, Carter Findley, who went on to become a prominent specialist on Ottoman History at Ohio State University. I graded for the course Shaw and Wolff taught on Ottoman History. Shaw then left Harvard for UCLA, where the sizeable local Armenian community made his life miserable for his "pro-Turkish" views on the massacres of Armenians during World War I.

which have come back to dominate my current interests. In retrospect, it was probably not my auditing of courses by Omeljan Pritsak or by Joseph Fletcher which contributed most significantly to my Silk Road interests in later years, but rather the courses on Islamic Art by Oleg Grabar, which were still very much on my mind when I had the opportunity to visit the famous Umayyad desert retreat of Qusayr Amra not far from Amman (Jordan) in October 2010. When it came to passing a second language reading exam for the Ph.D., I chose to self-study French over a summer as the easier route than to revive the German I had learned to read as an undergraduate. (The grade on the French test was something like a C-, but that was passing.) None of this speaks for a very respectable level of proficiency in those languages, which I frequently have to use now and are still a struggle.

My choice of Muscovite *turcica* for the dissertation enabled me to apply my interests in the Ottomans but also was a practical one, when looking forward to doing research in the Soviet Union. At that time it would have been almost impossible to gain access to the foreign policy archives (in RGADA) even for Muscovite topics; so my original plan to study Russo-Ottoman relations had to be abandoned. The wisdom, if it was that, of the Soviet evaluators of my proposal for the IUCTG (in subsequent years, IREX) exchange placed me in Leningrad in 1968, even though I had requested Moscow. After all, Leningrad was the center of scholarship on early Russian literature; indeed, I was placed in the Filfak (Faculty of Philology), not the Istfak (Faculty of History) at LGU, under the guidance of Nataliia Sergeevna Demkova. When I arrived, she assumed I knew very little – largely true by the standards of Russian specialists. Of critical importance for everything that followed though was the invitation I received to attend the meetings of the Division of Early Russian Literature (ODRL) in Pushkinskii dom (IRLI). It was there that I really began to understand a bit about Soviet scholarly life and controversy in ways that never could have been derived only from reading published scholarship.

Apart from that, arguably the most important result of my work in Leningrad was to introduce me to the study of Muscovite manuscript books. I came to this ill-prepared, in the sense that I had never formally studied Russian palaeography (only some years later did Ned Keenan launch a course on it at Harvard). My only training prior to arriving in Leningrad in 1968 was to work through Beliaev's old but still useful manual on Russian cursive [Беляев]. And when I received my first manuscript in the Publichka [now RNB, the Russian National Library] – I remember it well, Pogodin Collection No. 1558 – I was dismayed to discover that even its rather neat hand was a challenge. The analysis of watermarks for dating (filigranology) was totally new to me; I took it up with an inexplicable passion. Overall, in the two years I was privileged to have as an exchange student in Leningrad (1968–69, 1971–72), undoubtedly I spent far too much of the first one fumbling my way through manuscript codicology and nowhere near enough time analyzing and copying the texts that were the subject of my dissertation. The second year, fortunately, gave me the opportunity to rectify some of the oversights.

It is possible that I established my *bona fides* in the circles of Leningrad medievalist literature scholars in the first instance simply by spending long hours in the manuscript division of the Publichka. Somewhat irreverently, I would joke (though not, I think, to the Russians) that a plaque should be added alongside the one on the façade commemorating Lenin's having spent time reading in the library to mark my having spent diligent hours there too. I was there when the doors opened and often had to be reminded it was time to leave when they were getting ready to close in the evening. On at least one occasion the librarian on duty rapped me on the head to wake me up in early afternoon as I was napping at the desk. One unfortunate result of this diligence was to contribute ultimately to the breakup of my marriage (my then wife, with me in Leningrad, was left to fend for herself and was not a Russianist). The one other scholar whose hours in the Publichka manuscript division equalled mine (as far as I can remember) was Klimentina Ivanova, the Bulgarian medievalist who had come for a year to describe the South Slavic manuscripts in the Pogodin Collection only to discover that so little had been done on the task, a year was hardly going to suffice.<sup>9</sup>

While I would not claim here to having developed especially close professional or personal ties with them, I have vivid memories of interactions with some of the most distinguished 20<sup>th</sup>-century Russian medievalists. I might start with Aleksandr Aleksandrovich Zimin. Within weeks of my arrival in 1968 (when my ability to follow an oral presentation in academic Russian was still limited), I attended his talk at the Institute of Russian History (LOII) on the second marriage of Vasiliï III.<sup>10</sup> I had been alerted to it by his close colleague Iakov Solomonovich Lur'e (about whom, more below). Even though I had read some of Zimin's work on Muscovy, I was largely unaware of the controversy he had provoked a few years earlier with his attempt to show the Igor Tale (*Slovo o polku Igoreve*) was a work of the late 18<sup>th</sup> century, not the revered medieval epic that most others believed. Zimin's views had been subjected to a withering barrage of unfairly orchestrated criticism.<sup>11</sup> Without knowing all this, I really could not appreciate why, as it turned out, some in the audience seemed to be lying in wait for Zimin. The noteworthy exchange was one in which Iurii Konstantinovich Begunov attacked him for supposedly falsifying some of the evidence (I do not remember the details), at which Zimin leaned over the podium and responded coldly in level tones, "You are lying" (*Vy govornite lozh*). On another occasion, at a dissertation defense in Leningrad, I heard Zimin (as one of the official *opponenty*) defending the dissertant (with some amusing irony) against unwarranted attacks by some of Zimin's old "enemies" in Moscow<sup>12</sup>. Before these experiences, I guess that I had naively underestimated how

---

<sup>9</sup> Her herculean efforts resulted in: [Иванова].

<sup>10</sup> Published later as: [Зимин].

<sup>11</sup> See the summary of the affair in [Fennell]. Fennell was a close friend of Zimin's and sympathetic to his position on the *Slovo*.

<sup>12</sup> For some of Zimin's disagreements with his colleagues on a variety of matters pertaining to early Russian source study [see: Waugh, 1985].



much personal relationships and passions might affect what in the ideal world should be dispassionate scholarship. I was to see more of this in other academic meetings.

I think I met Zimin for the first time only when I went to Moscow on a *komandirovka* a few months into my 1968–69 year. When I returned for a second exchange year in 1971, I brought with me the proofs of Ned Keenan's *Kurbsky-Groznyi Apocrypha* (to which I had contributed a substantial appendix), in order to elicit responses from the Russian experts [Keenan, 1971]. It is undoubtedly good that my thought of making a presentation on it never was taken up, as I would have been woefully unprepared to defend a book that, like Zimin's on the *Slovo*, was bound to be rejected by most of the academic specialists in Russia. Indeed, my association with Keenan's work (and mention of it in my end-of-year report to the Filfak in the spring of 1972) must have raised some hackles.<sup>13</sup> I had the distinct sense Nataliia Sergeevna Demkova had been hauled on the carpet about me; so our relations at that point (but not in later years) were markedly cool.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> I do not recall the exact content of that report – I think I highlighted my discovery of a previously unknown letter of Ivan IV to Stefan Bathory, but contextualizing it with reference to Keenan's book. While I had expected some discussion or questions, it was greeted with stony silence. See my letter to Keenan of 15 May 1972, excerpted in [Correspondence, p. 63]. When I submitted my article containing a previously unknown letter attributed as being from Ivan IV to Stefan Bathory for publication in *Arkheograficheskii ezhegodnik* at the invitation of its editor, Sigurd Ottovich Shmidt, he then wrote me to indicate my contextualizing of the letter with reference to Keenan's book had been deleted as not being directly relevant: «...замечания Ваши не имеют отношения к тематике публикации. Спор же с профессором Кинаном может и должен стать темой специальной дискуссии, которая невозможна пока, так как в библиотеки Советского Союза книга Кинана еще не поступила» (S. O. Shmidt to Daniel Waugh, 3 February 1972).

Apart from such academic issues, there were other possible reasons for some to have wanted to keep me at arm's length. I had been instrumental in trying to arrange a Leningrad showing of an American documentary film on the first manned American space mission to circle the moon. The initial scheduling of the film had resulted in a near riot at LGU from the eagerness of the waiting crowd; as a result the local authorities had intervened to cancel the event. After I was married in Leningrad in 1972, I lived for six months in a communal apartment without officially confirming my address or having the appropriate *propiska*. Presumably where I lived was well known to those who would have been keeping track. It is amusing that when President Nixon made a historic visit to Leningrad in 1972 and the other American *stazhery* were invited to greet him at the airport, I was explicitly excluded, the American Secret Service agents having informed their KGB counterparts that (presumably because of my having married a Soviet citizen), I could not be trusted.

<sup>14</sup> My request for another *komandirovka* to Moscow to finish work on manuscripts there, which probably otherwise would have been quickly approved and on which she had to sign off, ran into difficulties, the pretext being the department felt it should not have to pay for it. In fact it never had paid for any of those expenses, an argument I used successfully to obtain the permission. In 1975, when Nataliia Sergeevna visited Seattle with her physicist husband who had come for a conference, she stayed some days in our home; later, when she was in Chicago, she recalled the breathtaking view of Mt. Rainier from the air on leaving Seattle and regaled me with some of the interesting things they had been doing in Chicago. We last saw each other when I was in St. Petersburg several years ago with a tour group and were invited to visit her at home. Part of our conversation revolved around her response to Gabriele Scheidegger's book *Endzeit*, which invoked me and Keenan as a kind of justification for its skepticism about the attributions to Avvakum of works generally accepted as his. I had had nothing to do with the book (as Nataliia Sergeevna clearly understood). She was incensed by the fact that Scheidegger had never studied any of the Avvakum manuscripts, concerning which Nataliia Demkova was one of the great authorities.

Both Lur'e and Zimin gave the book a fair hearing, even if neither of them could accept its conclusions. Among the many who responded to the book eventually, they were the two who took most seriously the textual questions it had raised. With the exception of John Fennell (who also disagreed with the conclusions, an opinion that had to be respected coming from an expert textologist), no one outside of the Soviet Union tackled the textual issues seriously. While Lur'e never wrote a review as such, he published a detailed response in his new edition of the "Correspondence".<sup>15</sup> Perhaps not wanting to complicate his own situation as a "heretic," Zimin chose to deliver his "review" to me orally, so that I could then convey its substance to Ned.<sup>16</sup> In that review, he carefully laid out a number of positive points about the book before going into his criticisms. It is not as though Zimin and Lur'e saw eye-to-eye on all the issues the book raised. Zimin allowed me to read a letter or two he had exchanged with Lur'e in which, as I recall, he chided Lur'e for some insupportable judgments. I was not allowed to copy the letters.

When I next saw Aleksandr Aleksandrovich, in late summer 1979, he was within a few months of his death, easily tired from conversation in which he still conveyed his intellectual vigor and unwillingness to accept what he considered was less than scholarly work on the part of colleagues. He was still living the controversy over the *Slovo*, still unsparing in his criticism of Roman Jakobson for having published a long critique of Zimin's book even though at the time the book itself had never been officially published and spreading the rumor that Zimin had tampered with a key manuscript in order to prove a point. On seeing how ill he was and with his sixtieth birthday approaching, I set about organizing the publication of a Festschrift for him, something his Russian colleagues would have done much earlier but, because of the *Slovo* controversy, never had been allowed to publish. (When their intended volume finally did appear after his death, it still was not designated as a Festschrift on the title page [Россия на путях централизации...].) Fortunately, we at least managed to get a nicely printed table of contents of our volume to Aleksandr Aleksandrovich some two weeks before his death in 1980; I still have the note of thanks he wrote me. The book would not appear for another five years, in part because I found it so difficult to write the long essay I did about his work, in part because my obligations included typing the camera-ready copy in several languages. Because of the Festschrift I was honored by being invited to share the podium in the opening plenary session of the first conference convened

---

<sup>15</sup> For Lur'e's views and citation of much of the response to Keenan's work, see [Переписка Ивана Грозного].

<sup>16</sup> For my letter to Keenan of 15 December 1971 with Zimin's "review," see [Correspondence, p. 47-50]. Zimin would later publish an article on the first letter of Kurbskii.

to celebrate Zimin's career in Moscow at the Historical-Archival Institute (MGIAI) in 1990.<sup>17</sup>

It was at Zimin's in 1969 that I first met Sergei Mikhailovich Kashtanov, already an established scholar, whose remarkable productivity, breadth and scholarly rigor now rank him among the great specialists on medieval Russian history. I had the pleasure of reviewing his book on diplomatics a few years later [Waugh, 1973], and, during the 1990 conference honoring Zimin spent a stimulating evening in Sergei Mikhailovich's apartment with a number of other colleagues. Curiously perhaps, the memorable moment of that evening came in a conversation with Iaroslav Romanovich Dashkevych, who had provided me in previous years very valuable material for my work on *turcica*.<sup>18</sup> Even though at the time the event passed unnoticed in the Western press, the hot topic on television news in May 1990 in Moscow was the Congress of the Russian Federation, in whose proceedings the subject of "self-determination" kept coming up. I asked Dashkevych, who had suffered as a "dissident," how long it would be before Ukraine gained its independence; his response was, "within a year." I think this was one reason I concluded my Russian History survey course, taught during the subsequent summer term, with a prediction that the Soviet Union would not last much longer.<sup>19</sup>

When it came time to list for my department possible outside reviewers for my final promotion (this, a few years before I retired in 2006), I included Kashtanov as one who would best be able to say something from the perspective of Russian scholars about some of the more specialized

---

<sup>17</sup> Our Festschrift is *Essays in Honor of A. A. Zimin* (Columbus, O.: Slavica, 1985), at the time quite an unusual undertaking in that the publication of such a volume outside of Russia for a Soviet scholar was practically unknown. Some who would have wished to contribute to it were not invited, given what I knew about Zimin's attitude toward their work or theirs toward his; the idea was to emphasize the respect in which Zimin was held outside of the Soviet Union (hence Zimin's admirers in the USSR were not included). In contrast to the welcome our 1985 *Essays* received among many of Zimin's colleagues and former students, Richard Hellie used the occasion of its publication to cast aspersions on Zimin in a review [Hellie] which distinguished scholars such as the Profs. Fairy von Lilienfeld and Andrzej Poppe found appalling (letters to Daniel Waugh, respectively dated 7 March 1987 and 22 November 1990). The abstracts of the papers from the Moscow conference were published as «Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков. Тезисы докладов и сообщений Первых чтений, посвященных памяти А. А. Зими́на. Москва, 13–18 мая 1990 г.» (Moscow, 1990). Somewhat to my surprise, since I had not submitted or intended it for publication, my paper for the conference appeared in full form years later in a special issue of *Russian History* [Yo, 1998] which constituted a second Western Festschrift honoring Zimin and to which I also contributed a short introduction. The original plan had been that volume would appear in Russia, but for various reasons, publishing it there fell through.

<sup>18</sup> My files of correspondence include numerous long letters from Dashkevych, who meticulously copied from archival files for me texts relevant to my work on the apocryphal letters of the Ottoman Sultan. I regret that when a recent Festschrift was being prepared to honor Dashkevych I could not contribute, for want of an appropriate article and time to prepare one from scratch.

<sup>19</sup> Claims of prescience about the collapse of the Soviet Union understandably may be greeted with skepticism, but I think I am not mis-remembering. Of course it was not only the events in Moscow of May that would have contributed to such an assessment, and, if I recall correctly, I was off target in thinking it might take another five years or so.

work I had done, including my just-published book on Viatka. I gather he wrote a strong letter of support that must have made a big difference in the decision. He then published a lengthy (and not uncritical) review of the book, the kind of review an author always wishes to see, even if to read justified criticism can sometimes be uncomfortable.<sup>20</sup>

I have vivid memories of Iakov Solomonovich Lur'è, as a person and for his intellectual engagement, breadth and energy. It is not as though we met and talked much, but I heard his papers and responses in the seminars at Pushkinskii dom, and was able to sit in on several of the lectures he presented in a *spetskurs* on Russian chronicle writing at Leningrad University. A student of M. D. Priselkov's, he was clearly one of the great experts on Russian chronicles (among many subjects, his interests also extending to serious study of Tolstoi and Bulgakov); the lectures were models of clarity.<sup>21</sup> I feel somewhat embarrassed at having reviewed his book on All-Russian Chronicles and raised in the review a somewhat small criticism [Waugh, 1977] but then not responding to Iakov Solomonovich when he wrote asking me to explain what I meant. The subject was the texts about the "Stand on the Ugra," concerning which I probably was simply echoing skepticism by Ned Keenan, who many years later elaborated on it in an article [Keenan, 2009]. For all his expertise on texts, Iakov Solomonovich was willing to admit that codicology and its related auxiliary disciplines were not his forte. I was much surprised and flattered, sitting one day in the manuscript division of the Academy of Sciences Library in Leningrad, when he approached me asking for my opinion on the dating of the manuscript (and identification of one of the other works it contained) of the *Kholmogorskaia letopis'*, which he was preparing for publication as *PSRL* [ПСРЛ, т. 33, с. 4, № 8]. In later years, we had the pleasure of hosting Iakov Solomonovich and his wife Irina Efim'evna Ganelina in our home when they were in the U.S. And it was subsequently an honor to be able to contribute to a memorial Festschrift for him an article that fittingly dealt with Russian chronicle writing [Yo, 1997]. The article was also published in a collection in Kirov.

Lur'è's career reminds us of the challenges faced by many scholars in the Soviet era – the anti-Semitic excesses of Stalin's last years led to a forced period of internal exile for him. Curiously, as we know

---

<sup>20</sup> His review is in «Отечественные архивы» [Каштанов]. I have a copy of Kashtanov's review for my tenure file, which, when he sent it to me, I recall not daring to read.

<sup>21</sup> Lur'è was one of the first people I sought out in 1968, introduced, as I recall, via a letter to him from Ned Keenan. At one of the sessions of ODRL where the subject was Russian chronicles, I remember there was a particularly sharp exchange between him and Likhachev; see my letter to Keenan of 5 December 1968, in [Correspondence, p. 26]. I never heard the last of the course lectures, since I had to leave for a *komandirovka* to work in Moscow. In response to an obituary notice for Lur'è in which Ned Keenan mentioned he had never taught, I wrote a brief letter to *Slavic Review* [Letter to the Editor], citing my experience in the course. Unfortunately the student assistant to the editor of SR inserted the wrong given name and patronymic of A. A. Shakhmatov into my letter (where I had written merely his surname), never having heard of the great earlier scholar of Russian chronicles with whom I was comparing Lur'è (a correction was printed in a subsequent issue [Erratum]).

from recently-published correspondence, it was none other than the old Bolshevik V. D. Bonch-Bruevich (then Director of the Museum of History and Atheism) who took the risk of employing Lur'e so he could once again live in Leningrad. In his later years, already as a distinguished senior scholar, Lur'e again fell prey to official sanction, in effect forced into retirement when he had the temerity to defend a scholar accused of "parasitism."<sup>22</sup> While the episolatory legacy is gradually appearing, we are still waiting for the voluminous and, we expect, revealing correspondence which Iakov Solomonovich maintained over the years with Zimin, arguably his closest colleague.<sup>23</sup> I have to imagine the letters will rub some people the wrong way, since the exchanges were often unsparingly frank (and, for that reason sometimes couched in Aesopian language, not unlike what we find among the Russian intelligentsia of the 19<sup>th</sup> century).

Among the individuals who inevitably will occupy an important place in that correspondence is Academician Dmitrii Sergeevich Likhachev, long-serving head of the Division of Early Russian Literature, prolific author on early Russian culture, and toward the end of his life regarded (according to some poll) as the most respected public figure in St. Petersburg. Even if some today might dispute his claim to the legacy, I was struck by the fact that on his desk in Pushkinskii dom was a plaque indicating that it was the desk that had been used by the famous scholar of Russian Chronicles, Aleksei Aleksandrovich Shakhmatov. I owe Dmitrii Sergeevich a great deal, first of all for the opportunity to attend those meetings of the ODRL, where he usually presided and offered at the end of each session an elegantly phrased summing up of the discussion.

On three occasions, I also was honored to be able to present on my own work, the first being a summary of my study of the apocryphal correspondence of the Ottoman Sultan, which, although politely received also was, I sensed, greeted with some skepticism. For my main argument was a kind of "revisionism," which, coming on the heels of the knowledge about Ned Keenan's "heresy," was perhaps difficult for many in the audience to accept.<sup>24</sup> Of course to argue the apocrypha

<sup>22</sup> For a revealing memoir/biography of Iakov Solomonovich, see [Панелина]. The correspondence with Bonch-Bruevich was published with an introductory essay by V. G. Vovina-Lebedeva [Переписка Я. С. Лурье и В. Д. Бонч-Бруевича].

<sup>23</sup> As Vovina-Lebedeva indicates [Там же, с. 216, примеч. 5], the Lur'e-Zimin correspondence (originals of Lur'e's letters and xeroxes of Zimin's), which in effect is a "diary" of their scholarly lives, has been deposited in the archive of the St. Petersburg branch of the Russian Academy of Science's Institute of History. Vovina-Lebedeva has in fact prepared the correspondence for publication, but its appearance has been indefinitely postponed because of opposition from Zimin's widow, Valentina Grigor'evna.

<sup>24</sup> My presentation was on 3 November 1971. One of the most serious criticisms raised was that by A. M. Panchenko, who noted Ukrainianisms in the texts of the apocryphal correspondence with the Cossacks, features which deserved explanation if my contention that the letters were translations was to stand. I do not remember that Likhachev expressed any particular skepticism, but he did, as I recall, make at least an indirect reference to Keenan, and in a different session later that year (at which A. L. Goldberg questioned the traditional dating scheme for the famous letters of Filofei of Pskov that formulated the "Third Rome" theory), Likhachev was visibly upset that yet another of the accepted pillars of early Russian letters was coming under attack.

were translations, not original works as most had believed, was of a distinctly lesser order of significance than suggesting Kurbsky and Grozny did not write. Undoubtedly it was this response to my paper that reinforced my decision to publish a whole book on the sultan's correspondence, a kind of overkill to make the point that arguably could have been summarized effectively in an article [Waugh, 1978].<sup>25</sup> In working on this material, I enjoyed the warm support of the late Marina Davidovna Kagan-Tarkovskaia, who at the time had devoted a significant part of her scholarly output to the apocryphal letters. My conclusions that most of the letters were translations, not original works, upended a major thrust of hers, but she accepted our differences with grace.<sup>26</sup>

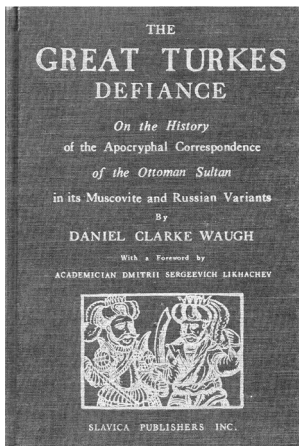
My second presentation for ODRL was held not in Pushkinskii dom but in the inner sanctum of the manuscript division of the Publichka, that historic circular room on the corner of Sadovaia ulitsa and Nevskii prospekt where one is surrounded by the shelved treasures and portraits of famous Russian writers. At the time of my talk in 1972, the prominent portrait bust in the room was that of Vladimir Il'ich, but years later when I was back in that room to chat with one of the retired staff of the manuscript division, Bronislava Aleksandrovna Gradova, she pointed out to me that Alexander I had been restored to his rightful place on the pedestal, thanks to her having located the bust in the Academy of Arts. Perestroika and what followed sent Lenin into exile and brought the tsar back.

Now the purpose for having the presentation in the Publichka was to do "show-and-tell" with the actual manuscripts, ones from the collection of the famous archaeographer Pavel Mikhailovich Stroev, who then had sold his books to the historian Mikhail Pogodin. I had been using a good many of the Stroev *sborniki* and had accumulated evidence about how he had gone about obtaining and arranging the material in them. He bought, but also in some cases stole, manuscripts and or portions of them during his years traveling around Russia for the Archaeographic Commission. He

---

<sup>25</sup> It was generally well received, with the too kind comments in the review by Charles Halperin in *American Historical Review* really being over the top.

<sup>26</sup> I have a number of letters we exchanged in 1970-71, in which I provided her with details of my work on the apocryphal letters and she responded with answers to questions I had posed. In her letter of 15 February 1971, she wrote: «Все, что Вы пишете о европейских памфлетах, не вызывает у меня возражений, точно так же я не буду настаивать на оригинальности их русских вариантов. Включение их в круг "международной литературы" делает их еще более интересными». While I cannot know for certain, my guess is that her decision to focus her *kandidat* dissertation, which she finally defended in 1975, on original Muscovite apocrypha (the so-called "Tale of Two Embassies" and the apocryphal correspondence between Ivan IV and the Sultan) but not discuss in detail the other parts of the sultan's correspondence may have been influenced by my having undermined her interpretation of the latter. She asked me to write a formal external review of her dissertation in advance of the defense, to be submitted with the other requisite documentation for awarding of the degree. I wrote the review and sent it to D. S. Likhachev on 9 November 1995. Marina Davidovna later provided some further assistance to me in checking against the manuscript copy the text of the Muscovite translation of an anti-Turkish polemic by Gerasimos Vlakhos which I submitted for publication in *TODRL* [Yo, 19776]. Sadly she died at age 64 in 1995.



then often either separated or combined quires and had them bound into books with some eye to thematic organization. My observations were not really new, but my evidence was much more extensive than what previously had been adduced. Dmitrii Sergeevich supported my giving the paper, since he was a vigorous advocate of the scholarly description of the corpus of Old Slavic manuscripts, a task that to this day is still far from complete. The Pogodin Collection had been a particular source of his concern, since the project to describe this large corpus (more than 2000 manuscript books) had been underway for some time but with little evidence of progress.<sup>27</sup> The difficulties Klimentina Ivanova faced when dealing with its South Slavic manuscripts had brought some of the concerns over this lack of progress to a head.

Aware of some of this history, I plunged into preparation of my paper with enthusiasm and no great amount of tact. (I might add that some of my letters back to Ned Keenan from that period of my youthful excess often contained somewhat cynical remarks I would be embarrassed to repeat now.<sup>28</sup>) Fortunately, I showed a draft of it to Margarita Vladimirovna Kukushkina, then head of the Manuscript Division in BAN, who raked me over the coals for my tactlessness in criticizing the shortcomings of the description project – she was blunt: “You cannot say that!” The more so that it was coming on the heels of a presentation in the previous year there by another American, Joan Afferica, which demonstrated how careful codicological analysis could enable scholars to determine which manuscripts in Catherine II’s Hermitage collection had belonged to the noted 18<sup>th</sup>-century historian and moralist M. M. Shcherbatov.<sup>29</sup> Understandably, if visiting Americans were

<sup>27</sup> Apart from Klimentina Ivanova’s description of the South Slavic manuscripts cited above, we have to date *«Рукописные книги Собрания М. П. Погодина. Каталог»* (Leningrad/St. Petersburg, 1988–2010), covering up through MS No. 873. Among previous, partial descriptions, the most valuable is A. F. Bychkov, *«Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной библиотеки»* (St. Petersburg: Tip. Imp. akademii nauk, 1882). Of the 91 manuscripts described by Bychkov, only 3 so far have also been covered in the new catalogue; a good many are ones formerly in Stroev’s library. His descriptions are very thorough for contents, but short on some of the codicological information we would expect today. Unfortunately a sequel to this Part 1 never appeared.

<sup>28</sup> An edited version of the letters (where I have excised a few of the more embarrassing passages) is my “Correspondence concerning the “Correspondence” [Correspondence].

<sup>29</sup> A portion of her study was published as *«К вопросу об определении русских рукописей М. М. Щербатова в Эрмитажном собрании Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина»* [Афферика]; a more complete version of the study appeared as “Considerations on the Formation of the Hermitage Collection of Russian Manuscripts” [Afferica].

perceived as showing Russian experts how to do their jobs, some might take offense. Indeed, at one point I later learned that one of the senior specialists in the Publichka's manuscript division, the crusty Nikolai Nikolaevich Rozov, was muttering that I must be a spy, because I had managed to decipher some bits of a substitute, invented alphabet (*tainopis'*) in one of the Pogodin Collection manuscripts.<sup>30</sup>

So, thanks to Margarita Vladimirovna, I toned it down my talk in 1972, it was well received, and subsequently published [Yo, 1976; 1977a].<sup>31</sup> Dmitrii Sergeevich even was kind enough to refer to it favorably in a forthright critique he gave on the lack of progress in manuscript descriptions at the 1972 Tikhomirov Readings (named for the eminent Soviet medievalist M. N. Tikhomirov) held in Moscow on June 5 and devoted to the "Methodology of the Description of Ancient Manuscripts" [см.: Лихачев, 1974, с. 235–236].<sup>32</sup> The published version of my talk may well be the most widely cited of any articles I have written; in many ways it embodies some of the best of what I learned in those early years and would later apply when working on the manuscript legacy of Viatka.

My work on the Stroev Collection reflected a broader concern I developed to learn not just about the modern history of the collections we use, but to try to reconstruct, insofar as one could, the contents of Muscovite libraries. There is a substantial literature on this subject, with some of the more important contributions works which have mined (and often published the texts of) Muscovite library inventories. A noteworthy example is the work of M. V. Kukushkina on northern Russian

<sup>30</sup> My publication of that decipherment was in the appendix to Keenan's *Kurbetskii-Groznyi Apocrypha* [Keenan, 1971, p. 122]. The information on Rozov's comment came from B. A. Gradova. Years later, after I had made somewhat by chance a discovery of a lost Russian manuscript in Tashkent and then demonstrated how it shed important light on the early 18<sup>th</sup>-century history of Xlynov/Viatka (now Kirov), a Kirov newspaper chided local historians because an American had been the first to make the discovery [Yo, 1996]. Of course there is no way they would likely have been able to do so given the absence of proper finding aids and the difficulties that a *komandirovka* to Central Asia would have presented even had they been able to learn of the book.

<sup>31</sup> Apart from improving my Russian, the editors made one significant change in the text I submitted. For comparative purposes, I had cited how monks on Mt. Athos, following the visit there by Archimandrite Porfirii Uspenskii who had stolen some of their manuscripts, were subsequently suspicious of visiting Russians. In TODRL *русские* was replaced by a less explicit reference to foreign visitors.

I learned a good many years later in a letter from Boris Lvovich Fonkich, who has done so much for the description of Greek manuscripts in Muscovy and study of their texts, that he had attended the session in the Publichka (B. L. Fonkich to Daniel Waugh, 20 February 1981). His letter was occasioned by my having sent him a pre-publication copy of a review of his first book [Waugh, 1981] along with a copy of my publication of the Russian translation of an anti-turkish polemic by a noted Greek cleric, Gerasimos Vlachos [Yo, 19776]. He noted that the article was «исключительно интересно!» since he had long searched, unsuccessfully, for the Greek original of the text (not that I had located it either) and in general was very interested as was I in the efforts of Greeks to get the Muscovite government to engage seriously in war against the Turks in order to liberate the Orthodox from Muslim rule.

<sup>32</sup> In the discussion following the presentations, I said a few words about the importance of filigranology [Лихачев, 1974, с. 256–257, «Прения по докладом»]. Likhachev included a version of his remarks as well in the second edition of his classic textbook on textual criticism: [Лихачев, 1983, с. 113].



monastic collections [Кукушкина].<sup>33</sup> Among the important considerations in studying this subject are palaeographic features of manuscripts – which ones may contain the same paper, which the same or similar hands, and so on.<sup>34</sup> The absence of detailed reference works for palaeography, the complexity of codicological analysis and the time it takes mean that there is still much to be done regarding particular scriptoria and the libraries which they supplied.

One of the still contentious topics is whether or not Ivan IV had a library. S. A. Belokurov in the 19<sup>th</sup> century devoted a whole book to the subject, with skeptical conclusions. Modern studies have by and large supported the idea that the supposedly erudite Ivan must have been a book collector, but evidence for that is far from solid and, as I argued at a conference in 1984, still in need of re-examination.<sup>35</sup> To a degree the scholarship (or work that may not be scholarly) devoted to Ivan's library is based largely on wishful thinking about Ivan's stature as something akin to a Renaissance intellectual. Among the more ludicrous efforts to find his books have been excavations in the Kremlin and at Aleksandrovskaia sloboda, the headquarters for his *oprichinina*.<sup>36</sup> Granted, my views on the subject are colored by Keenan's skepticism.

The idea that Aleksei Mikhailovich may have had a library in the 17<sup>th</sup> century should be far less controversial, since there are no doubts about his literacy and his apparently broad curiosity. But then where might we find his books? I argued that we should consider the archive of his Privy

---

<sup>33</sup> Since 1991, at least seven substantial volumes have appeared under the general title of «Книжные центры древней Руси», three of them devoted to the Solovki Monastery, another to the Volokolamsk Monastery. They contain valuable information for reconstructing holdings; clearly the authors look carefully at a range of codicological evidence.

<sup>34</sup> I made a stab at this kind of analysis when working on Muscovite chronicles of the Northern Dvina River region, but my detailed palaeographic evidence never was published as part of my analysis and publication of the chronicle texts (in *Oxford Slavonic Papers* [Waugh, 1979]). It would have taken much more time than I had in the Russian manuscript collections to work the material up into a serious monograph. My unpublished discussion of evidence for a scriptorium in the Kholmogory region, "A Scriptorium in Kholmogory: Some Observations on Palaeography," can be read on-line [Уо, Скрипторий]. I sent a copy of the palaeographic tables and some summary notes on the manuscripts to S. O. Schmidt in 1982, in response to his publishing an article concerning manuscript RGB (GBL), Muz. 1836 in «Записки отдела рукописей», т. 38, where he wrote about the importance of studying northern scriptoria. At least marginalia in the manuscript he had discussed seemed to be in hands similar to the ones I had been examining and attributed to the Kholmogory region (Daniel Waugh to S. O. Schmidt, 18 April 1982). Schmidt became one of the leading advocates for more attention being paid to regional history; it was a pleasure to see him after many years in 2003 in the conference on regional history of Russia hosted by Andreas Kappeler in Vienna in 2003 (I had been one of those consulted in advance about the organization of the event; its papers are in *Forschungen zur ostuereopäischen Geschichte*, Bd. 63). For my appreciation of Schmidt, repaying a debt that was long overdue, see «Конец эпохи. Вспоминая Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013)» [Waugh, 2013].

<sup>35</sup> There are references to the most important work published up to that date [Waugh, 1987]. The most serious modern attempt to reconstruct Ivan's library, the work of reputable scholars, is «Библиотека Ивана Грозного. Реконструкция и библиографическое описание» [см.: Библиотека Ивана Грозного...], which I reviewed briefly in *Slavic Review* [Waugh, 1984, p. 95]. The core of the book is a previously unpublished manuscript by Zarinin dating from the 1930s.

<sup>36</sup> For the digging in the Moscow Kremlin, see [Стеллецкий], a work written in 1946 to which T. M. Belousova and A. A. Amosov added commentary. For Aleksandrov, «Библиотека Ивана Грозного и Александровский кремль» [Ковалев], which claims that soil analysis and subsurface sensing point toward where we should find the library.

Chancery to be in effect his personal library, though skepticism about that on the part of some German colleagues revolved around the issue of how we might formally define “library” [see *The Library of Aleksei Mikhailovich*]. While for the seventeenth century we have plenty of evidence in various inventories regarding the contents of libraries, we still need proper analysis of many of them to try to establish the exact contents, since the entries in the inventories are often quite cryptic. In the Soviet period, the main student of Muscovite libraries, S. P. Luppov, used categories such as “secular” and “religious” to come up with statistics about book collections, even though that modern distinction arguably was not very relevant to how Muscovites in the 17<sup>th</sup> century might have categorized their books.<sup>37</sup> My interest in Muscovite libraries in recent years has focused on Viatka, about which more will be said below.

My third talk for ODRL was in 1975. With Dmitrii Sergeevich’s support, I had returned to Leningrad to complete gathering material for a guide to the current locations and shelf numbers of the manuscripts collected in the first half of the 19<sup>th</sup> century by Count F. A. Tolstoi. While much of that large and important library was described in print by Stroev, his numbering had been superseded by that of the Imperial Public Library, which had purchased the lion’s share of the Tolstoi Collection, its remaining parts ending up in the Academy of Sciences Library and the Institute of History. The only way one could look up the Publichka’s numbers was by checking the copy of Stroev’s catalogue in the rare book reading room, where they had been written in the margins in pencil. Before leaving Leningrad in 1972, I had copied out all those numbers and now proposed to compile correlation tables and track down the other Tolstoi Collection manuscripts. As far as I know, the reason I received the access to BAN and LOII (where I then worked in the closed stacks, not in the reading room) was because Dmitrii Sergeevich had picked up the phone and called on my behalf. My notes for the Tolstoi Collection project nearly did not make it out of Leningrad with me, as the customs officials would not release them without my having a special permit for taking “unpublished manuscripts,” even ones in my own hand. However, an American colleague Jack Haney, who had accompanied me to the airport, managed to arrange for them to be sent home through the diplomatic pouch.

Getting the material published was not at all straightforward and came about to a considerable degree thanks to Patricia Kennedy Grimsted, who was then working on a supplement and a second volume of her much-admired guide to Soviet archives and manuscript collections.<sup>38</sup> She was able

---

<sup>37</sup> I spoke about this in “The History of Libraries and Other Repositories to 1700: Recent Soviet Work,” a somewhat hastily contrived paper (not worth publishing now) presented at the Conference on recent Soviet Book Studies, 22 June 1983, at University of California (Berkeley).

<sup>38</sup> I had reviewed Grimsted’s first archival guide volume favorably in *Slavic Review* [Waugh, 1974]. My correspondence files for the mid-1970s include several long letters from her concerning both the progress on a supplementary volume (for which I had, as she would note in her acknowledgements, “furnished...a preliminary list of selected titles of Slavic manuscript catalogs to be included and considerable information appropriate to their annotations”) and the issues surrounding the Tolstoi Collection guide. I received a good many corrections and suggestions for other changes from various individuals either directly or indirectly; I confess to not knowing now for sure that all of the changes made it into the final version of the book.

to negotiate directly with those in Leningrad who had doubts as to whether my guide, representing in part the publication of unpublished *opisi*, could in fact legally be printed (as she reported to me, Likhachev also weighed in to put any doubts to rest). The major task of checking my draft against the records in the Publichka was carried out by Bronislava Gradova. The guide first appeared in an innovative “microbook” format from Inter Documentation Company (a microfiche edition prefaced by several printed pages of the introduction) [see The F. A. Tolstoi Collection], and subsequently was republished in hard copy by BAN, with the blessing and support of Sigurd Ottovich Shmidt, the head of the Archaeographic Commission in Moscow [see *Славянские рукописи...*].

Despite the strong support for the project which leading Russian scholars had expressed and the unusual distinction of my having it published there (in its second edition) by the Academy of Sciences, its value was lost on those who never tried to work seriously in the as yet poorly described collections of early Slavic manuscripts. The most egregious example of such incomprehension was the critical review written by Valerie Tumins, which showed she had no idea whatsoever as to its value [see Tumins].<sup>39</sup> Grimsted was so upset by this misrepresentation of the guide that she wrote a long explanatory letter to Tumins, who responded with yet further incomprehension.<sup>40</sup> Given the relatively short amount of time I had to work on the guide, it is not surprising that some parts of it were indeed sketchy and much in need of being supplemented. Possibly it at least was the stimulus for the subsequent publication of a proper investigation of the history and listing of the manuscript books in the important 18<sup>th</sup>-century library of Prince Dmitrii Mikhailovich Golitsyn, some of which had subsequently been obtained by F. A. Tolstoi [see Градова, Клосс, Корецкий, 1979; 1981].<sup>41</sup> B. A. Gradova, who had apparently written a “peer review” of my guide in its draft form and supplied corrections to it, was the lead author of that two-part study.

While in Leningrad in 1975, I also gave a talk in Pushkinskii dom (somewhat ill-attended, as I recall, since it was in August before the normal academic calendar began) on manuscript description, in particular proposing ways in which it might all be computerized in order to make the information readily available, make searches and comparisons easy, and so on. This, mind you, in an time when I did not own anything resembling a computer and the Internet had yet to be born. I think there was some real interest, but then nothing came of the matter, probably

---

<sup>39</sup> A brief but appreciative review by W. F. Ryan appeared in *The Slavonic and East European Review* [Ryan].

<sup>40</sup> Patricia Kennedy Grimsted to Valerie A. Tumins, 30 October 1978; Tumins to Grimsted, 13 November 1978. In her letter, Grimsted wrote, inter alia: “Soviet institutions have been so slow to issue up-to-date catalogues of their collections, and manuscript descriptive work in the Soviet Union has lagged so much since the Revolution, that there is indeed some irony that it has been a Western scholar who, working closely with the Soviet institutions involved, has been able to come up with the type of detailed finding-aide so necessary for specialists to pursue careful research in the field of Slavic studies.”

<sup>41</sup> In the first of the articles, they were careful to note the fact that I had set a limited task in my writing about the Golitsyn manuscripts, which were not the main subject of my guide [Градова, Клосс, Корецкий, 1979, с. 238], and the importance of bringing to bear as they did the published and unpublished inventories of his collection.

because, once back home, I never could find the time to do any follow-up. So, in a sense, I suppose that was a dead-end, even if it was the kind of thing one might have hoped would have had some impact.<sup>42</sup>

To talk about such things today of course would raise no eyebrows, even if we are still far from having an electronic corpus of early Slavic manuscript descriptions in anything resembling the scope of what I had in mind. Perhaps some stimulus to get on with the task might come from remembering that in the pre-computer days, N. K. Nikol'skii understood clearly the wisdom of a comprehensive guide to old Slavic literature and undertook to implement it via the technology of the time by taking all the printed manuscript catalogues he could get his hands on, cutting them up, and pasting the entries onto file cards, organized systematically. I remember vividly consulting Nikol'skii's *kartoteka* in BAN when I arrived in the Soviet Union back in 1968 to see whether it would yield works I had not known which were relevant to my project or additional copies of ones I had known. It was of limited value, being so out of date, even if the inspiration which underlay its conception was still very fresh.<sup>43</sup>

My memories of Dmitrii Sergeevich include a farewell visit to him at his dacha in Komarovo on the eve of my departure in June 1972. We talked but briefly. He reported with great sadness that the poet Joseph Brodsky had just been exiled from the Soviet Union.<sup>44</sup> My recollection of the rest of the conversation was that he lamented more generally the politics which subjected to attack those who were passionate about defending the values of Russian culture. Perhaps an undercurrent here was his emotional response to the skepticism of those such as Keenan or Zimin who would question the inherited beliefs in the monuments of Early Russian literature. I think, though, his concern was more with the political authorities who had exiled him to Solovki in his youth and, in later years when he was already a distinguished scholar, probably had been responsible for a physical attack on him. As I was preparing a few years later to publish my first monograph, I asked Dmitrii Sergeevich whether he would write a foreword to it; he graciously agreed, in the process making some very helpful suggestions which improved the book. I think what he wrote in that foreword is unduly generous

---

<sup>42</sup> In a letter of 31 May 1979, A. A. Amosov referred to my presentation in response to my having inquired via Hugh Olmsted about a paper Amosov had given on manuscript description. In his letter, he indicated that some of our ideas about computerization of the process coincided, but more detailed working out of descriptive criteria was needed before that could be undertaken. Furthermore, he felt that watermark descriptions had to be keyed to visual comparisons of the marks (by implication then, any system of numerical identifiers such as measurements would be unlikely to work, even if that was not by any means the totality of what I had earlier envisaged). (A. A. Amosov to Daniel Waugh, 31 May 1979).

<sup>43</sup> Of course Nikol'skii's *kartoteka* is not for reference to whole manuscripts but merely their parts taken separately. There are various reference works for accessing publications and studies of early Slavic texts, the best and most up-to-date being the multi-volume «Словарь книжников и книжности Древней Руси» (Leningrad/St. Petersburg, 1987–1989). However, it is not intended as a guide to locating each and every manuscript copy.

<sup>44</sup> I feel fortunate to have heard Brodsky reading his poetry at the University of Washington years later, with Jack Haney providing translations into English. On a visit to Venice in 2010, somewhat by accident I came across the plaque commemorating Brodsky, one of the many great figures in the arts who worked in the city and was buried there.

in its praise.<sup>45</sup> My last memories connected with Dmitrii Sergeevich are post-mortem, when I accepted an invitation to present at the second conference held in his memory in Pushkinskii Dom in late November 2003.<sup>46</sup> This was more than just another academic conference: for many it was a ceremonial and emotional occasion dedicated to burnishing the memory of his life and accomplishments. When the academic proceedings ended, participants were invited to attend a memorial church service and then participate in a candle-lit graveside prayer ceremony in the misty pines of the November twilight at the cemetery in Komarovo which is also the resting place of Anna Akhmatova.

УДК 82-94 + 09 + 930

Даниель Уо

## УВЛЕЧЕНИЯ ЮНОСТИ И К ЧЕМУ ОНИ ПРИВЕЛИ: АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиография, которую предлагает читателю видный американский исследователь, специалист в области древнерусской книжности Даниель Уо, нетривиально показывает сочетание личной судьбы и профессионального интереса. События жизни разворачиваются в контексте отечественной и зарубежной русистики, споров и дискуссий исторического и культурологического характера. Перед читателем открывается панорама советской и мировой гуманитарной науки, где противоречиво соединяются доброжелательность и научная объективность с идеологическим противостоянием и мелочными придирками. Прекрасное понимание людей, оценка их достижений делает воспоминания источником по характеристике состояния гуманитарной науки в напряженные годы

---

<sup>45</sup> His foreword is in my *The Great Turkes Defiance* [Waugh, 1978, p. 1–4]. He had even earlier complimented my work in overly generous terms at the same time that he expressed bluntly his regret that I had ever gotten involved with Keenan's book («огорчаюсь за участие в книге... Н. Кинана»), whose conclusions (and method) he could not accept (letter of D. S. Likhachev to Daniel Waugh, 23 October 1973). His critique of Keenan's book in the second edition of his *Tekstologiya* [Лихачев, 1983, с. 261–263, примеч. 35] explicitly absolved me from any responsibility for Keenan's ideas (!). While my contribution to the Keenan book was more than adequately acknowledged in it, there were some aspects of my involvement which are not expressly indicated. Since Keenan was away on sabbatical in Europe while the manuscript was being edited and prepared for publication, but I was in Cambridge, I worked very closely with the editor in such things as standardizing references. Moreover, there were some tasks I undertook on Ned's request – locating and assembling the Cicero passages relevant to the question of whether Kurbskii could have cited Cicero as it appeared in texts attributed to him; putting together a draft of the reconstructed text of the first Kurbskii letter published as one the appendices of the book. The very title of the book offended some reviewers; while I may mis-remember, it is possible I first suggested it to Ned when we were discussing the matter. I still have in my archive the “original” editing version of Keenan's manuscript replete with changes he made to the version of the text he had submitted.

<sup>46</sup> My rather general paper (based on my work concerning Viatka) was published with the others from the conference: «Местное самосознание и “изобретение” регионального прошлого» [Уо, 2006].

«холодной» войны и в постсоветское время. Замечательно показано, насколько пиетет к кропотливому научному труду и взаимоуважение коллег позволяют преодолеть конфликты и разногласия, какого бы генезиса они ни были. Это первая часть воспоминаний, продолжение будет опубликовано в следующем номере.

Ключевые слова: советская гуманитарная наука; Пушкинский Дом; советские историки; рукописное наследие; древнерусская литература.

Это эссе изначально было написано в 2012 г. в качестве вступления к предполагавшемуся репринтному собранию моих ранних публикаций. Такое собрание, несомненно, никогда не появится в печати (большая часть материала доступна в электронной форме на моем сайте), но во время написания эссе я добавлял некоторые комментарии, чтобы дополнить ранние труды и поместить их в контекст. Я также размышлял над вопросом, на который у меня до сих пор нет определенного ответа: как и почему моя карьера развивалась именно так, как развивалась<sup>1</sup>. Говоря вкратце, будучи на седьмом десятке, я нахожусь на таком этапе жизни, когда появляется некоторая ностальгия (а также самокритика) в отношении своей молодости. Это эссе далеко не является полной научной автобиографией, потому что жизнь и научная деятельность продолжают, и в настоящее время меня все больше интересует история Центральной Азии, а в особенности – исторический Великий шелковый путь и обмен товарами между странами Евразии. Но это тема для другого разговора. Читателей также необходимо предупредить, что, как любые мемуары, эта автобиография в значительной степени преследует корыстные цели. Авторам мемуаров свойственно желание оправдывать себя и преувеличивать свою значимость. И все же я могу надеяться, что это эссе, по крайней мере, прольет свет на то, как один американский специалист по истории России до Нового времени воспользовался привилегией и возможностью общения с таким количеством выдающихся ученых. Я у них в долгу.

То, как я пришел к истории России до Нового времени, (неблаго-разумно) выбрав физику в качестве специализации в Йельском университете, требует краткого объяснения. Я начал изучать русский язык, чтобы читать на нем статьи по физике. Я прослушал первый курс по истории России, потому что сосед по общежитию предложил мне хороший способ выполнить требование о том, что студенты должны познакомиться с различными областями знаний<sup>2</sup>. Одним

<sup>1</sup> Ссылки можно найти по адресу <http://faculty.washington.edu/dwaugh>.

<sup>2</sup> Я выражаю благодарность Норману Синелу, который жил в соседней комнате (и затем стал юристом) и чей брат Алан (впоследствии выдающийся историк, который изучает образовательную политику Российской империи и работает в Университете Британской Колумбии) в то время писал дипломную работу в Гарварде. Норман предложил нам попробовать «Историю России», обзорный курс, который преподавался в Йельском университете совместно Иво Ледерером, Фирузом Каземзаде и Кристофером Беккером.

из преподавателей этого курса был Фируз Каземзаде, который, когда я впоследствии слушал его курс по экспансии Российской империи, направил меня на путь изучения отношений между Россией и Османской империей<sup>3</sup>. Мне повезло в итоге оказаться в магистратуре Гарварда в тот год, когда там гостил Джон Феннел из Оксфорда. Он читал лекции и вел семинар по текстуальному анализу русских летописей – предмет, по которому он был одним из величайших специалистов. Конечно же, я увлекся своего рода детективной работой, которая входила в этот предмет; отсюда было легко сделать следующий шаг – посвятить себя диссертации по Московскому государству. Как бы странно это ни звучало, моим официальным руководителем по ней был Роберт Ли Вулф, хотя в действительности им был Эдвард (Нед) Кинан (еще не являвшийся штатным сотрудником и поэтому не имевший права быть научным руководителем). Вулф, специалист по Византии и Балканам, который одно время работал заместителем в Гарварде, когда на факультете не было специалиста по Древней Руси, пользовался дурной славой за строгое отношение к аспирантам. Мне повезло, что он оставил меня в покое и позволил заниматься своим делом, хотя редкие посещения его кабинета в библиотеке «Уиденер» были причиной некоторой тревоги<sup>4</sup>. К тому периоду деятельности его главной страстью было собирать материал и писать труды о романистах ранней Викторианской эпохи.

По сей день я не могу утверждать, что у меня когда-то была особая способность к изучению языков. Гарвардская программа по русскому была на порядок выше Йельской в своих ожиданиях от студента, изучающего язык третий год; поэтому мне пришлось

---

<sup>3</sup> Профессор Каземзаде, иранец и русский по происхождению, публиковал труды по русско-иранским отношениям в начале XX в., после написания докторской диссертации, посвященной событиям в Закавказье во время и сразу же после Октябрьской революции.

<sup>4</sup> Вулф все же был способен причинять неприятности тем, кто работал под его руководством; классический пример – это случай с Марком Пинсоном, которому приходилось постоянно переписывать главы диссертации и которому в конце концов удалось ее закончить, только убрав Вулфа из комиссии. В моем случае Вулф не хотел видеть диссертацию, пока она не будет закончена, и тогда он сделал лишь несколько предложений об изменениях и благословил ее похвалой, которую, оглядываясь назад, я считаю незаслуженной: «...Я думаю, что это великолепная работа. Даже до включения приложений и библиографии я готов сказать, что работа не только, несомненно, приемлема в своем нынешнем виде, в качестве диссертации, но и что это одна из наилучших диссертаций, которые я когда-либо читал, и, думаю, ближе всех других к итоговой опубликованной книге» (Роберт Ли Вулф – Даниелю Уо, 9 ноября 1971 г.). Возможно, сейчас мой взгляд на диссертацию находится под сильным влиянием своего рода переосмысления этого проекта в свете новых подходов к материалу, который я изучал. По сегодняшним стандартам мой анализ этого материала очень «старомоден». По крайней мере, даже в окончательном печатном варианте диссертации меня смущает множество опечаток – следствие того, что, когда работа была сдана в печать, я был в Ленинграде и не смог проверить окончательный вариант. Тема диссертации такова: «Памфлеты с мотивами Турции в Московском государстве XVII в.: к изучению литературной культуры Московского государства в европейском контексте» [2 т.] (Гарвардский университет, 1972).

«повторить» курс, что я едва ли сделал с отличием, несмотря на необычайную помощь Нины Арутюновой<sup>5</sup>. Если сейчас я говорю по-русски более или менее бегло (хотя он становится хуже и я говорю не очень правильно), этому я во многом обязан длительному времени, которое я провел в Советском Союзе, занимаясь исследованием для диссертации, и тому, что там я женился на русской женщине, с которой мы договорились говорить дома по-русски<sup>6</sup>. Я также записался на курс старославянского языка Хораса Ланта в свой первый семестр магистратуры. Если бы сейчас он был жив, возможно, он пришел бы в ужас, если бы узнал, как много из старославянского я «утратил» из-за недостатка практики и что рецензент моей первой монографии указал на ошибку в моем переводе текста<sup>7</sup>. Я ничего не знал о репутации сурового надзирателя, которая была у Ланта; в действительности он смягчился и всегда хорошо со мной обращался, возможно, снисходительно относясь к историку, который никогда не сможет играть на равных с лингвистами. Момент, запомнившийся мне из курса, никак не был связан с открытием двойственного числа или с изучением аористов – он наступил, когда зазвонили колокола Мемориальной церкви в парке Гарвард-ярд и кто-то зашел в аудиторию и сказал, что президента Кеннеди убили. Во время обучения в магистратуре у меня также была редкая возможность слушать лекции Романа Якобсона. Один его курс был посвящен славянскому язычеству, а другой – русской поэзии начала XX в.: этот предмет он знал отчасти из личного общения с некоторыми поэтами. Мне запомнилось, как в завершение одной из лекций Якобсон описывал свою первую встречу с Маяковским, хотя другие детали этого курса поэзии прошли мимо меня.

---

<sup>5</sup> Доктор Арутюнова великодушно разрешила мне посетить в качестве вольнослушателя ее летний курс несколько лет спустя, когда я готовился уезжать для первого года работы над диссертацией в Советском Союзе и очень нуждался в практике разговорного русского. Это сослужило мне хорошую службу, когда я довольно глупо явился в Москву на день раньше даты, которая стояла в моей въездной визе в августе 1968 г., и мне пришлось договариваться, чтобы меня впустили в страну, а не посадили обратно в самолет до Лондона.

<sup>6</sup> В течение многих лет я нахожусь в большом долгу у тех, кто брал на себя труд исправлять русский язык в моих различных работах и публикациях: это моя бывшая жена Марина Александровна Толмачева (правнучка Александра Петровича Карпинского, который был президентом Российской академии наук / Академии наук СССР в 1917–1936 гг.), Вероника Масхели, Галя Димент, Мария Кожевникова, Варвара Вовина-Лебедева, а также российские редакторы, чей отдельный вклад я не могу определить.

<sup>7</sup> Моя книга называется *The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants* («Великий вызов турок: К истории апокрифической переписки турецкого султана в московском и русском вариантах»), предисловие к ней написал академик Д. С. Лихачев (Columbus, O. : Slavica, 1978). Рецензия была написана Норманом Ингемом и опубликована в журнале "Modern Philology" [Ingham]. Однажды во время курса Ланта по древнерусскому языку, который я слушал в зимне-весеннем семестре 1964 г., мы заметили ошибку, допущенную Сергеем Зеньковским в тексте, который мы читали (в его антологии древнерусских текстов) и Лант со смехом сказал, что, возможно, Гарварду стоит потребовать степень Зеньковского обратно.



Одной из причин того, что я выбрал Гарвард, было изучение турецкого, что я делал под руководством специалиста по истории Османской империи Стенфорда Шоу. Однако я так и не достиг уровня знаний, который позволил бы мне помнить и эффективно использовать язык без постоянной практики<sup>8</sup>. По крайней мере, это способствовало моей заинтересованности в Центральной Азии и в ее культурах – предмете, который сейчас снова является преобладающим в круге моих интересов. Оглядываясь назад, можно сказать, что наибольшее влияние на мой интерес к Великому шелковому пути в более зрелые годы, возможно, оказало не мое посещение курсов Омельяна Прицака и Джозефа Флетчера в качестве вольнослушателя, а, скорее, курсы Олега Грабара по исламскому искусству. Я все еще много о них думал, когда в октябре 2010 г. у меня появилась возможность посетить знаменитую пустынную крепость Кусейр-Амра, принадлежавшую халифам династии Омейядов и расположенную недалеко от Аммана (Иордания). Когда мне нужно было сдавать экзамен по чтению на втором языке для получения докторской степени, я решил самостоятельно учить французский летом: это был более легкий путь, чем вспоминать немецкий, на котором я учился читать во время обучения в бакалавриате. (За тест по французскому я получил что-то вроде C-, но это был проходной балл). Ничего из этого не свидетельствует об очень высоком уровне знаний этих языков, которые мне часто приходится использовать теперь, что все еще дается мне с трудом.

Выбор памфлетов о Турции (*turcica*) периода Московского государства в качестве темы диссертации позволил мне применить свой интерес к туркам Османской империи; но также он имел практическое значение, потому что я хотел заниматься своим исследованием в Советском Союзе. В то время было почти невозможно получить доступ к архивам по внешней политике (в РГАДА), даже если они касались Московского государства; поэтому мне пришлось отказаться от первоначального замысла изучать русско-османские отношения. Благодаря мудрости (если не другому качеству) советских экспертов, оценивавших мою заявку на обменную программу IUCTG (впоследствии IREX), в 1968 г. меня определили в Ленинград, хотя в заявке я указывал Москву. Тем не менее, Ленинград был центром исследований по древнерусской литературе; действительно, меня поместили на филфак (филологический факультет), а не на истфак ЛГУ, под руководство Натальи Сергеевны Демковой. Когда я приехал, она предполагала, что я знал очень мало – что, по стандартам российских специалистов, во многом было правдой. Однако решающую роль для всего последующего развития

---

<sup>8</sup> Курс Шоу для магистрантов второго курса, в рамках которого мы начали читать тексты на османском языке, написанные арабской вязью, посещал еще один студент, Картер Финдли, который стал выдающимся специалистом по истории Османской империи в Университете штата Огайо. Я прошел курс по истории Османской империи, который вели Шоу и Вулф. Затем Шоу ушел из Гарварда в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где большая местная армянская община сделала его жизнь несчастной из-за его «протурецких» взглядов на истребление армян во время Первой мировой войны.

событий сыграло полученное мной приглашение на собрания Отдела древнерусской литературы (ОДРЛ), которые проходили в Пушкинском доме (ИРЛИ). Именно там я по-настоящему начал немного понимать советскую научную жизнь и полемику по вопросам, о которых я никогда не смог бы узнать, только читая опубликованные труды.

Помимо этого, возможно, важнейшим результатом моей работы в Ленинграде было то, что я ознакомился с изучением рукописных книг Московского государства. Я пришел к этому плохо подготовленным в том смысле, что я никогда по-настоящему не изучал русскую палеографию (только через несколько лет курс по ней в Гарварде запустил Нед Кинан). Моей единственной подготовкой до приезда в Ленинград в 1968 г. было то, как я продирался сквозь старый, но все еще полезный учебник Беляева по русской скорописи [см.: Беляев]. И когда я получил первую рукопись в Публичке (теперь РНБ, Российская национальная библиотека) – я хорошо ее помню, это была рукопись Погодинского собрания № 1558, – я пришел в ужас, обнаружив, что даже ее довольно четкий почерк было сложно разобрать. Совершенно новым для меня был анализ водяных знаков для датировки рукописи (филигранология); я занялся ей с необъяснимой страстью. В общей сложности, за два года, которые я имел честь провести в Ленинграде в качестве студента по обмену (1968–1969, 1971–1972), в первый год я, несомненно, провел слишком много времени, вслепую пробираясь сквозь кодикологию, и совсем мало времени уделил анализу и переписыванию текстов, которые были предметом моей диссертации. К счастью, во второй год у меня появилась возможность исправить некоторые оплошности.

Возможно, я завоевал доверие в кругах ленинградских ученых, занимавшихся средневековой литературой, прежде всего, просто потому, что проводил много времени в отделе рукописей Публички. Я бы несколько неуважительно (хотя, думаю, не по отношению к русским) пошутил, что рядом с дощечкой на фасаде, на которой написано, что в этой библиотеке проводил время Ленин, нужно установить еще одну, которая обозначит, что и я здесь часами прилежно трудился. Я был там, когда двери только открывались, а когда вечером готовились закрывать библиотеку, мне часто приходилось напоминать, что пора уходить. По крайней мере один раз дежурный библиотекарь стучал мне по голове, чтобы разбудить меня после полудня, когда я дремал за партой. Печальным последствием этого усердия было то, что оно окончательно разрушило мой брак (моя тогдашняя жена, которая жила со мной в Ленинграде, оказалась предоставлена самой себе, а она не была русисткой). Единственным ученым, который провел в отделе рукописей Публички столько же времени, сколько я, была (насколько я помню) Климентина Иванова – болгарский медиевист, которая приехала в Советский Союз на год для описания южнославянских рукописей из Погодинского собрания и в результате обнаружила, что этот вопрос настолько мало изучен, что года на это едва хватит<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Результатом ее титанических усилий стала следующая работа: [Иванова].

У меня сохранились яркие воспоминания от общения с некоторыми из наиболее выдающихся русских медиевистов XX в., хотя я не буду утверждать, что у нас сложились особенно тесные профессиональные или личные отношения. Я начну с Александра Александровича Зимина. В первые недели после моего прибытия в 1968 г. (когда я еще плохо мог успевать за устным выступлением на научном русском языке) я посетил его лекцию о втором браке Василия III в Институте российской истории (Ленинградском отделении института истории – ЛОИИ)<sup>10</sup>. Об этой лекции меня известил его близкий коллега Яков Соломонович Лурье (о котором я подробнее скажу ниже). Хотя я читал некоторые из трудов Зимина о Московском государстве, я мало знал о полемике, которую он вызвал несколькими годами ранее, попытавшись показать, что «Слово о полку Игореве» – это работа конца XVIII в., а не средневековый эпос, во что верило и перед которым преклонялось большинство ученых. Взгляды Зимина натолкнулись на непробиваемую стену несправедливой критики<sup>11</sup>. Не зная всего этого, я не мог понять, почему, как оказалось, некоторые члены аудитории подстерегали Зимина, будто в засаде. Примечательный обмен репликами состоялся, когда Юрий Константинович Бегунов накинулся на Зимина за то, что тот, предположительно, сфальсифицировал некоторые данные (я не помню деталей), на что Зимин перегнулся через кафедру и холодно, ровно ответил: «Вы говорите ложь». В другой раз, на защите диссертации в Ленинграде, я слышал, как Зимин (бывший одним из официальных оппонентов) защищал диссертанта от неоправданных нападков своих старых московских «врагов» (и делал это с занимательной иронией)<sup>12</sup>. Думаю, до этих случаев я наивно недооценивал, как сильно личные отношения и страсти могут повлиять на то, что в идеальном мире должно быть бесстрастной наукой. Мне было суждено еще больше убедиться в этом на других научных собраниях.

Думаю, я в первый раз встретил Зимина, только когда поехал в Москву в командировку через несколько месяцев после начала своего 1968/1969 обменного года. Когда я вернулся на второй обменный год в 1971 г., я привез с собой доказательства исследования, проведенного Недом Кианом в книге «Апокрифические сочинения Курбского – Грозного» (к которой я написал объемное приложение), чтобы добиться откликов от российских экспертов [см.: Keenan, 1971]. Несомненно, хорошо, что моя мысль о выступлении на эту тему так и не нашла поддержки, потому что я был бы ужасающе неподготовлен к защите книги, которую, подобно книге Зимина о «Слове», обязательно бы отвергло большинство российских ученых-специалистов. Действительно, моя связь с работой Киана (и то, что я упомянул

<sup>10</sup> Затем эта лекция была опубликована [см.: Зимин].

<sup>11</sup> Краткое изложение этих событий см.: [Fennell].

<sup>12</sup> О некоторых разногласиях Зимина с коллегами по различным вопросам, относящимся к изучению древнерусских источников, написано в моей работе [см.: Waugh, 1985].

о ней в своем годовом отчете на филфаке весной 1972 г.), должно быть, вывела некоторых из себя<sup>13</sup>. У меня было ясное чувство, что из-за меня Наталью Сергеевну вызвали на ковер; поэтому наши отношения в этот период (но не в последующие годы) были нарочито холодными<sup>14</sup>.

И Лурье, и Зимин отозвались о книге Кинана благосклонно, хотя ни тот, ни другой не приняли ее выводов. Среди многих, кто в итоге отозвался на книгу, именно они наиболее серьезно отнеслись к текстуальным

---

<sup>13</sup> Я не помню точного содержания этого отчета – думаю, я подчеркнул свое открытие ранее неизвестного письма Ивана IV Стефану Баторию, но поместил это в контекст книги Кинана. Хотя я ожидал обсуждения и вопросов, мой отчет встретили гробовой тишиной (см. мое письмо Кинану от 15 мая 1972 г., отрывок из которого помещен в книге: [Correspondence, p. 63]). Когда я передал для публикации в «Археографический ежегодник» статью, содержащую ранее неизвестное письмо, которое считается письмом Ивана IV Стефану Баторию (сделав это по призыву редактора «Ежегодника» Сигурда Оттовича Шмидта), в своем ответе он указал, что связь письма с книгой Кинана удалили из статьи как непосредственно не относящуюся к данному вопросу. Он написал мне следующее: «...замечания Ваши не имеют отношения к тематике публикации. Спор же с профессором Кинаном может и должен стать темой специальной дискуссии, которая невозможна пока, так как в библиотеки Советского Союза книга Кинана еще не поступила» (С. О. Шмидт – Даниелю Уо, 3 февраля 1972 г.).

Помимо подобных научных вопросов, были и другие возможные причины того, что некоторые хотели держать меня на расстоянии вытянутой руки. Я способствовал попыткам организовать в Ленинграде показ американского документального фильма о первой пилотируемой американской космической миссии, облетевшей Луну. Изначально запланированный показ фильма чуть не привел к беспорядкам в ЛГУ из-за рвения ожидающей толпы; в результате местные власти вмешались и отменили мероприятие. После того, как я женился в Ленинграде в 1972 г., я в течение шести месяцев жил в коммунальной квартире, официально не подтверждая свой адрес и не имея соответствующей прописки. Вероятно, место моего проживания было хорошо известно тем, кто следил за мной. Забавный случай произошел, когда президент Никсон в 1972 г. посещал Ленинград с историческим визитом и других американских стажеров позвали встретить его в аэропорту, а мне недвусмысленно в этом отказали. Агенты Секретной службы США уведомили своих коллег из КГБ, что мне нельзя доверять (возможно, потому что я женился на гражданке Советского Союза).

<sup>14</sup>Моя просьба обещеодной командировке в Москву, чтобы закончить там работу над рукописями, которую в иных обстоятельствах, вероятно, быстро бы одобрили и которую ей нужно было подписать, натолкнулась на трудности. Предлогом было то, что факультет считал, что он не должен ее оплачивать. На самом деле он никогда не оплачивал подобные расходы, и я успешно использовал этот довод, чтобы получить разрешение. В 1975 г., когда Наталья Сергеевна была в Сиэтле со своим мужем-физиком, приехавшим на конференцию, она на несколько дней остановилась у нас в доме. Позже, в Чикаго, она вспомнила захватывающий вид на парк Маунт-Рейнир, который она наблюдала из самолета, покидая Сиэтл, и угостила меня рассказами о том, что интересного они делали в Чикаго. Мы видели друг друга в последний раз, когда несколько лет назад я был в Санкт-Петербурге с туристической группой и Наталья Сергеевна пригласила меня к себе домой. Часть нашего разговора вращалась вокруг ее отзыва на книгу Габриэле Шайдеггер «Последнее время» (“*Endzeit*”), в котором она ссылалась на меня и Кинана для подтверждения своего скептического отношения к приписыванию Аввакуму работ, которые обычно считаются принадлежащими ему. С этой книгой у меня не было ничего общего (что ясно понимала Наталья Сергеевна). Ее рассердило то, что Шайдеггер никогда не изучала рукописи Аввакума, одним из лучших специалистов по которым была Наталья Сергеевна Демкова.

вопросам, которые в ней были подняты. За исключением Джона Феннела (который также не согласился с выводами, и мнение опытного текстолога нужно было уважать), никто за пределами Советского Союза не подошел к текстуальным вопросам серьезно. Хотя Лурье не написал рецензии как таковой, он опубликовал подробный отзыв в новом издании своей «Переписки»<sup>15</sup>. Возможно, не желая усложнять собственное положение в качестве «еретика», Зимин предпочел высказать свою «рецензию» мне устно, чтобы потом я передал ее суть Неду<sup>16</sup>. В этой рецензии он тщательно изложил положительные моменты книги, а затем приступил к критике. Нельзя сказать, что Зимин и Лурье полностью сходились во мнениях по всем проблемам, поднятым в книге. Зимин разрешил мне прочитать одно или два письма, которыми он обменялся с Лурье, где, как мне помнится, он бранил Лурье за необоснованные суждения. Он не разрешил мне сделать копии писем.

Когда я встретился с Александром Александровичем в следующий раз, в конце лета 1979 г., от смерти его отделяло несколько месяцев. Он быстро уставал от разговора, в котором он все еще проявлял силу своего ума и нежелание принять работу коллег, которая, по его мнению, не достигала научного уровня. Он все еще жил полемикой вокруг «Слова», все еще не жалея сил критиковал Романа Якобсона за то, что он опубликовал длинную критическую статью о книге Зимина, хотя в то время сама книга еще не была официально издана, и распространил слух о том, что Зимин играл с ключевой рукописью, чтобы доказать свою точку зрения. Видя, как он болен, и потому что приближался его шестидесятый день рождения, я начал организовывать издание юбилейного сборника его статей; его русские коллеги предприняли бы это гораздо раньше, но из-за полемики вокруг «Слова» им бы никогда не дали этого сделать. (Когда том, который они намеревались издать, наконец, вышел после его смерти, на титульном листе все равно не было обозначено, что это юбилейный сборник [см.: Россия на путях централизации...]). К счастью, нам хотя бы удалось сделать хорошо напечатанное оглавление тома, который мы хотели издать для Александра Александровича, примерно за две недели до его смерти в 1980 г. Я все еще храню записку с благодарностью, которую он мне написал. Книга не вышла в печать и в следующие пять лет, отчасти потому что мне было очень сложно написать длинное эссе о работе Зимина, отчасти потому что в мои обязанности входило печатать на нескольких языках подготовленный к съемке оригинал-макет. Благодаря юбилейному сборнику, меня, к моей чести, пригласили вместе с другими занять место за кафедрой на пленарном заседании, открывавшем первую конференцию

---

<sup>15</sup> Взгляды Лурье и выдержки значительной части отзыва на работу Кинана см.: [Переписка Ивана Грозного].

<sup>16</sup> Мое письмо Кинану от 15 декабря 1971 г. с «рецензией» Зимина см. в книге: [Correspondence, p. 47–50]. Позже Зимин опубликует статью о первом письме Курбского.

в честь работы Зимина в Московском государственном историко-архивном институте (МГИАИ), которую создали в 1990 г.<sup>17</sup>

Именно у Зимина в 1969 г. я впервые встретился с Сергеем Михайловичем Каштановым – уже состоявшимся ученым, который благодаря своей необыкновенной продуктивности, широте ума и научной строгости теперь считается одним из лучших специалистов по истории России Средних веков. Через несколько лет я получил удовольствие написать рецензию на его книгу по дипломатике [Waugh, 1973], и во время конференции в честь Зимина 1990 г. я провел вдохновляющий вечер в квартире Сергея Михайловича в компании некоторых других коллег. Любопытно, что незабываемым эпизодом того вечера стала беседа с Ярославом Романовичем Дашкевичем, который ранее предоставил мне очень ценный материал для моей работы над памфлетами о Турции<sup>18</sup>. Горячей темой московских телевизионных новостей в мае 1990 г. был Съезд народных депутатов Российской Федерации, хотя в западной прессе данное событие в то время осталось незамеченным. В ходе заседаний Съезда постоянно возникала тема «самоопределения». Я спросил Дашкевича, который пострадал в качестве «диссидента», как скоро Украина получит независимость; он ответил, что «в течение года». Думаю, это послужило одной из причин того, что в следующем летнем семестре я закончил свой обзорный курс по истории России предсказанием, что Советскому Союзу осталось не так долго<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Наш юбилейный сборник называется “*Essays in Honor of A. A. Zimin*” («Эссе в честь А. А. Зимина») (Columbus, O. : Slavica, 1985). В то время это было довольно необычное предпринятие, потому что такие книги, посвященные советским ученым, почти не выходили за пределами Советского Союза. Некоторые из тех, кто хотел бы принять участие в составлении сборника, не были приглашены исходя из того, что я знал об отношении Зимина к их работе или об их отношении к его деятельности. Замысел состоял в том, чтобы подчеркнуть, с каким уважением относятся к Зимину за пределами Советского Союза (поэтому в сборник не были включены почитатели Зимина из СССР). В противоположность теплоте приему, который получили наши «Эссе» 1985 г. среди многих коллег и бывших студентов Зимина, Ричард Хелли воспользовался выходом книги, чтобы возвести клевету на Зимина в рецензии [Hellie], которую такие выдающиеся ученые, как проф. Фэри фон Лилиенфельд и проф. Анджей Поппэ сочли ужасающей (письма Даниелю Уо, соответственно от 7 марта 1987 г. и 22 ноября 1990 г.). Тезисы материалов с Московской конференции были опубликованы как «Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков. Тезисы докладов и сообщений Первых чтений, посвященных памяти А. А. Зимина. Москва, 13–18 мая 1990 г.» (М., 1990). К моему некоторому удивлению, мой доклад для этой конференции через несколько лет появился в полной форме в специальном выпуске журнала “*Russian History*” [Уо, 1998], хотя я не присылал ее и не намеревался ее публиковать. Этот выпуск представлял собой второй западный юбилейный сборник в честь Зимина, и я также написал для него краткое введение. Согласно первоначальному замыслу, он должен был быть издан в России, но по различным причинам эта затея провалилась.

<sup>18</sup> В моих папках с перепиской хранится множество длинных писем от Дашкевича, который тщательно переписывал для меня из архивных файлов тексты, необходимые для моей работы по апокрифическим письмам османского султана. Я жалею, что, когда недавно готовился юбилейный сборник в честь Дашкевича, я не смог принять участие в его составлении за неимением подходящей статьи и времени, чтобы составить ее из набросков.

<sup>19</sup> Ясно, что заявление о том, что я предвидел распад Советского Союза, могут столкнуться со скептицизмом, но я думаю, что память меня не подводит. Конечно, на эту оценку повлияли не только майские события в Москве и, если я правильно помню, я промахнулся, полагая, что этот процесс может занять еще около пяти лет.

Когда пришло время составлять список возможных внешних рецензентов для моего последнего повышения в должности (за несколько лет до того, как я ушел в отставку в 2006 г.) для моего отделения, я включил в него Каштанова. Он лучше всех смог бы прокомментировать более специализированную часть моей работы с точки зрения российских ученых, в том числе мою только что вышедшую книгу о Вятке. Мне помнится, что он написал сильное письмо в мою поддержку, которое, должно быть, оказало большое влияние на решение. Затем он опубликовал очень длинную (и не лишённую критики) рецензию на мою книгу – рецензию, которую хочет видеть каждый автор, хотя читать оправданную критику иногда бывает неприятно<sup>20</sup>.

У меня сохранились яркие воспоминания о Якове Соломоновиче Лурье; я помню его как человека и как увлеченного исследователя, обладающего широтой кругозора и энергией. Не то чтобы мы много встречались и разговаривали, но я слышал его доклады и ответы на вопросы на семинарах в Пушкинском доме и смог присутствовать на нескольких лекциях в рамках спецкурса по русскому летописанию в Ленинградском университете. Студент М. Д. Присёлкова, он, бесспорно, был одним из лучших специалистов по русским летописям (наряду со многими темами, его интересы также включали серьезное изучение Толстого и Булгакова); его лекции были образцом ясности<sup>21</sup>. Мне немного неудобно, что я написал рецензию на его книгу об общерусских хрониках и включил в нее небольшую долю критики [Waugh, 1977], но затем не ответил Якову Соломоновичу, когда он в письме попросил меня объяснить, что я имел в виду. Темой были тексты о «Стоянии на Угре», в отношении чего я, возможно, просто вторил скептицизму Неда Кинана, который он через много лет раскрыл в статье [см: Keenan, 2009]. Несмотря на то, что Яков Соломонович был специалистом по текстам, он был готов признать, что кодикология и связанные с ней вспомогательные дисциплины не являются его сильной стороной. Я был очень удивлен и польщен, когда однажды я сидел в отделе рукописей Библиотеки Академии наук в Ленинграде и он подошел ко мне и спросил мое мнение по поводу датировки рукописи Холмогорской летописи, которую он готовил для публикации в «Полном собрании

---

<sup>20</sup> Его рецензия опубликована в журнале «Отечественные архивы» [Каштанов]. У меня есть экземпляр рецензии Каштанова для моего получения должности; помню, что, когда он прислал мне эту рецензию, я не мог отважиться ее прочитать.

<sup>21</sup> Лурье был одним из первых, кого я разыскал в 1968 г.; насколько я помню, представил меня ему в письме Нед Кинан. Я вспоминаю, что на одном из заседаний Отдела древнерусской литературы, темой которого были русские летописи, между ним и Лихачевым произошел особенно резкий обмен репликами; см. мое письмо Кинану от 5 декабря 1968 г. [Correspondence, p. 26]. Я так и не дослушал этот спецкурс, потому что мне нужно было уезжать в командировку для работы в Москве. В некрологе Лурье Нед Кинан упомянул, что он никогда не занимался преподаванием; в ответ я написал краткое письмо в журнал «Slavic Review» [Letter to the Editor], в котором сослался на мое посещение этого курса. К сожалению, студент-помощник редактора «Slavic Review» ошибся в имени и отчестве А. А. Шахматова в моем письме (где я написал только его фамилию), никогда не слышав о великом ученом прошлого, который исследовал русские летописи и с которым я сравнивал Лурье (в следующем выпуске было напечатано исправление [Erratum]).

русских летописей» [ПСРЛ, т. 33, с. 4, № 8] (а также по поводу идентификации одной из других работ, входящих в эту рукопись). Впоследствии мы имели удовольствие принимать Якова Соломоновича и его жену Ирину Ефимовну Ганелину в качестве гостей в нашем доме, когда они были в США. Затем я получил честь включить в сборник статей в память Лурье статью, посвященную как раз русскому летописанию [см.: Уо, 1997] (эта статья была также напечатана в Кирове в составе собрания).

Карьера Лурье напоминает нам об испытаниях, с которыми столкнулись многие советские ученые – из-за крайнего антисемитизма в последние годы правления Сталина он пережил вынужденный период внутреннего изгнания. Любопытно, что, как нам известно из недавно опубликованной переписки, не кто иной, как старый большевик В. Д. Бонч-Бруевич (в то время директор Музея истории религии и атеизма), рискнул дать Лурье работу, чтобы он смог вернуться в Ленинград. В более старшем возрасте, уже будучи выдающимся пожилым ученым, Лурье вновь пал жертвой официальных санкций и по сути был вынужден уйти в отставку, опрометчиво выступив в защиту ученого, которого обвиняли в «паразитизме»<sup>22</sup>. В то время как постепенно появляется эпистолярное наследие, мы все еще ждем объемной и, надо ожидать, информативной переписки, которую Яков Соломонович долгие годы вел с Зиминым, который, вероятно, был его ближайшим коллегой<sup>23</sup>. Я могу представить, что эти письма придется некоторым не по нраву, потому что обмен мнениями часто был предельно откровенным (и по этой причине мнения иногда излагались эзоповым языком – нечто подобное мы находим среди русской интеллигенции XIX в.).

Среди тех, кто, несомненно, займет важное место в этой переписке, – академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, в течение долгого времени бывший заведующим Отдела древнерусской литературы ИРЛИ, написавший много трудов по древнерусской культуре и ближе к концу жизни считавшийся (по данным какого-то голосования) самым уважаемым общественным деятелем Санкт-Петербурга. Хотя сегодня некоторые могут подвергать сомнению его место в наследии Лурье, меня поразило то, что на письменном столе Лихачева в Пушкинском доме есть дощечка, сообщающая, что этот стол принадлежал Алексею Александровичу Шахматову, знаменитому историку, изучавшему русские летописи. Я в большом долгу у Дмитрия Сергеевича; в первую очередь – за возможность посещать собрания Отдела древнерусской литературы, на которых он обычно председательствовал и в конце

<sup>22</sup> Чтобы прочитать открывающие многое воспоминания о Якове Соломоновиче и его биографию, см.: [Ганелина]. Переписка с Бонч-Бруевичем была напечатана вместе со вступительным эссе В. Г. Вовиной-Лебедевой [см.: Переписка Я. С. Лурье и В. Д. Бонч-Бруевича].

<sup>23</sup> Как указывает Вовина-Лебедева [см.: Переписка Я. С. Лурье и В. Д. Бонч-Бруевича, с. 216, примеч. 5], переписка между Лурье и Зиминым (оригиналы писем Лурье и ксерокопии писем Зиминых), которая, в сущности, является «дневником» их научной жизни, хранится в архиве Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН. В. Г. Вовина-Лебедева, по сути, подготовила переписку для публикации, но ее выход был отложен на неопределенное время из-за сопротивления со стороны вдовы Зиминых, Валентины Григорьевны.



каждого заседания изящно резюмировал дискуссию. В трех случаях я также получил честь представить свою работу.

В первый раз это было краткое изложение моего изучения апокрифической переписки османского султана; хотя мое сообщение было принято вежливо, я почувствовал, что оно также столкнулось с некоторым скептицизмом. Дело в том, что мой главный аргумент был своего рода «ревизионизмом», который, возможно, было сложно принять многим членам аудитории, только что узнавшим о «ереси» Неда Кинана<sup>24</sup>. Конечно, утверждение о том, что апокрифы представляют собой переводы, а не оригинальные произведения, как считало большинство, имело гораздо меньшее значение, чем предположение о том, что Курбский и Грозный не писали писем друг другу. Несомненно, именно этот отклик на мое сообщение укрепил во мне решение издать целую книгу о переписке султана [Waugh, 1978]<sup>25</sup>. Это было своего рода крайностью, предпринятой для того, чтобы высказать точку зрения, резюмировать которую, возможно, можно было бы и в статье. В процессе работы над этим материалом я получал теплую поддержку от покойной Марины Давидовны Каган-Тарковской, которая в свое время написала много трудов по апокрифическим письмам. Мой вывод о том, что большая часть писем являются переводами, а не оригинальными произведениями, подорвали ее колоссальное доверие, но она изящно приняла различия между нами<sup>26</sup>.

Мое второе сообщение для Отдела древнерусской литературы проходило не в Пушкинском доме, а в святая святых отдела рукописей

---

<sup>24</sup> Мое сообщение состоялось 3 ноября 1971 г. Одно из самых серьезных критических замечаний принадлежало А. М. Панченко, который указал на наличие украинизмов в текстах апокрифической переписки с казаками. Эти особенности требовали объяснения, если я был намерен отстаивать точку зрения, что эти письма являются переводами. Я не помню, чтобы Лихачев высказал особенный скептицизм, но, как мне вспоминается, он все же, по крайней мере косвенно, сослался на Кинана. На другом заседании, которое проходило позже в том же году (где А. Л. Гольдберг поставил под сомнение традиционную схему датировки знаменитых посланий Филофея Псковского, который сформулировал теорию «Третьего Рима»), Лихачев заметно расстроился, что подвергается нападкам еще один из общепризнанных столпов в изучении древнерусских писем.

<sup>25</sup> Книга была в целом хорошо принята; комментарии в рецензии Чарльза Гальперина из журнала «American Historical Review» были даже слишком доброжелательны.

<sup>26</sup> У меня хранится несколько писем, которыми мы обменивались в 1970–1971 гг.; я описывал детали своей работы, а она отвечала на мои вопросы. В письме от 15 февраля 1971 г. она написала: «Все, что Вы пишете о европейских памфлетах, не вызывает у меня возражений, точно так же я не буду настаивать на оригинальности их русских вариантов. Включение их в круг «международной литературы» делает их еще более интересными». Она посвятила свою кандидатскую диссертацию, которую она, в конце концов, защитила в 1975 г., оригинальным апокрифам периода Московского государства (так называемой «Повести о двух посольствах») и апокрифической переписке между Иваном IV и султаном), но не остановилась подробно на других частях переписки султана. Я не знаю точно, но догадываюсь, что на это решение мог повлиять подрыв мной ее интерпретации последних. Она попросила меня написать формальную внешнюю рецензию своей диссертации перед защитой, чтобы представить ее на рассмотрение вместе с другими документами, необходимыми для присвоения степени. Я написал рецензию и прислал ее Д. С. Лихачеву 9 ноября 1975 г. Впоследствии Марина Давидовна вновь предоставила мне помощь в сверке с рукописью текста московского перевода антитурецкой полемики Герасимоса Влахоса, который я отправил для публикации в «Труды Отдела древнерусской литературы» [Ю, 1977б]. Печально, что она умерла в возрасте 64 лет в 1995 г.

Публички – в легендарной круглой комнате на углу Садовой улицы и Невского проспекта, где вокруг вас на полках лежат сокровища, а на стенах висят портреты знаменитых русских писателей. Во время моего доклада в 1972 г. на видном месте в комнате стоял скульптурный портрет Владимира Ильича, а через несколько лет, когда я вернулся в ту комнату, чтобы побеседовать с Брониславой Александровной Градовой, раньше работавшей в отделе рукописей, она обратила мое внимание на то, что законное место на пьедестале вернули Александру I. Это стало возможно благодаря тому, что она переместила бюст в Академию искусств. Перестройка и последующие события отправили Ленина в ссылку и вернули царя.

Целью сообщения в Публичке было представить сами рукописи, принадлежавшие к собранию знаменитого археографа Павла Михайловича Строева, который затем продал свои книги историку Михаилу Погодину. Я пользовался довольно многими сборниками Строева и собрал свидетельства о том, как он получал и организовывал материал для них. Он купил, а в некоторых случаях и украл, рукописи и их части во время своих путешествий по России в составе Археографической комиссии. Затем он зачастую разделял или собирал вместе листы и переплетал их в книги, которые были организованы на глаз или тематически. В моих наблюдениях не было ничего нового, но я обладал гораздо более обширными свидетельствами, чем те, на которые ссылались ранее. Дмитрий Сергеевич поддерживал меня в издании статьи, будучи ярым приверженцем научного описания корпуса старославянских рукописей, – задачи, которая до сегодняшнего дня все еще далека от завершения. Особенно его интересовало Погодинское собрание, поскольку проект по описанию этого большого корпуса (более 2 000 рукописных книг) в течение некоторого времени находился в стадии разработки, но почти не продвигался<sup>27</sup>. Трудности, с которыми столкнулась Климентина Иванова, работая с южнославянскими рукописями, обострили проблемы, связанные с отсутствием прогресса в этом проекте.

Зная об этой истории, я погрузился в подготовку своей статьи с энтузиазмом и без особого такта. (Можно добавить, что в некоторых моих ответах на письма Неда Кинана в то юное время неводержанности часто присутствовали несколько циничные замечания, которые сейчас мне было бы неудобно повторить<sup>28</sup>.) К счастью, я показал черновик

---

<sup>27</sup> Помимо описания южнославянских рукописей Климентины Ивановой, о котором говорится выше, на сегодняшний день имеются «Рукописные книги Собрания М. П. Погодина. Каталог» (Л. (СПб.), 1988–2010), где охвачены рукописи до № 873. Среди сделанных ранее неполных описаний наиболее ценный труд – «Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной библиотеки» А. Ф. Бычкова (СПб. : Тип. Имп. академии наук, 1882). Из 91 рукописи, описанной Бычковым, лишь 3 пока включены в новый каталог; многие из них в прошлом принадлежали к библиотеке Строева. Описания Бычкова очень тщательны в том, что касается содержания, но им не хватает кодикологической информации, которую сегодня принимают как должное. К сожалению, продолжения первой части так и не появилось.

<sup>28</sup> Отредактированный вариант писем (из которого я вычеркнул несколько самых неловких отрывков) называется «Correspondence concerning the ‘Correspondence’» (Переписка относительно «Переписки») [см.: Correspondence].

статьи Маргарите Владимировне Кукушкиной, которая в то время заведовала Отделом рукописей БАН. Она отругала меня за отсутствие такта при критике недостатков проекта по описанию рукописей. Она была резка: «Так говорить нельзя!». Тем более что моя статья шла сразу за докладом, который в прошлом году там же сделала американка Джоан Афферика; ее работа показала, каким образом с помощью тщательного кодикологического анализа ученые могут установить, какие рукописи из Эрмитажного собрания Екатерины II принадлежали выдающемуся историку и моралисту XVIII в. М. М. Щербатову<sup>29</sup>. Разумеется, некоторые могут обидеться, если считать, что приезжие американцы указывают русским специалистам, как работать. Действительно, впоследствии я однажды узнал, что один из пожилых специалистов в отделе рукописей Публички, Николай Николаевич Розов, раздраженно ворчал, что я, должно быть, шпион, раз смог в некоторых местах расшифровать тайнопись (искусственный алфавит, заменяющий настоящий) в одной из рукописей Погодинского собрания<sup>30</sup>.

Таким образом, благодаря Маргарите Владимировне я смягчил тон своего сообщения 1972 г.; оно было хорошо принято и впоследствии напечатано [см.: Уо, 1976; 1977a]<sup>31</sup>. Дмитрий Сергеевич был даже настолько любезен, что положительно охарактеризовал его в откровенном критическом отзыве, посвященном отсутствию продвижения

---

<sup>29</sup> Часть ее исследования была издана как «К вопросу об определении русских рукописей М. М. Щербатова в Эрмитажном собрании Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» [см.: Афферика]. В более полном виде исследование вышло под названием “Considerations on the Formation of the Hermitage Collection of Russian Manuscripts” («Размышления о создании Эрмитажного собрания русских рукописей») [см.: Afferica].

<sup>30</sup> Эта моя расшифровка была издана в приложении к «Апокрифическим сочинениям Курбского – Грозного» Кинана [см.: Keenan, 1971, p. 122]. О замечании Н. Н. Розова мне рассказала Б. А. Градова. Через несколько лет в Ташкенте я случайно открыл утерянную русскую рукопись и показал, какое большое значение она имеет и каким образом она проливает свет на историю Хлынова / Вятки (в настоящее время – Кирова). Тогда Кировская газета упрекнула местных историков за то, что это открытие сделал американец [см.: Уо, 1996]. Конечно, местные историки не смогли бы сделать это ни при каких обстоятельствах ввиду отсутствия надлежащих средств и трудностей, с которыми была бы связана командировка в Центральную Азию, даже если бы они узнали об этой книге.

<sup>31</sup> Помимо того, что редакторы исправили мои ошибки в русском языке, они сделали в тексте еще одно важное изменение. В целях сравнения я сослался следующий факт: после того, как архимандрит Порфирий Успенский посетил гору Афон и украл некоторые рукописи монахов, они начали с подозрением относиться к приезжим русским. В «Трудах Отдела древнерусской литературы» слово *русские* заменили на менее явную отсылку к иностранным посетителям.

Через много лет я узнал из письма от Бориса Львовича Фонкича, который много сделал для описания греческих рукописей в Московском государстве и изучения текстов этих рукописей, что он присутствовал на том заседании в Публичке (Б. Л. Фонкич – Даниелю Уо, 20 февраля 1981 г.). Поводом для этого письма стало то, что я прислал ему еще не опубликованный экземпляр рецензии на его первую книгу [Waugh, 1981] и экземпляр изданного мной русского перевода антитурецкой полемики знаменитого греческого церковника Герасимоса Влахоса [Уо, 1977б]. Фонкич описал статью фразой «исключительно интересно!», потому что он долго и безуспешно искал греческий оригинал данного текста (не то чтобы и я включил его в статью). В целом Фонкич, как и я, очень интересовался попытками греков сделать так, чтобы Московское правительство вступило в войну против турок с целью освобождения православных от власти мусульман.

в описании рукописей. Это произошло на Тихомировских чтениях 1972 г. (названных в честь выдающегося советского медиевиста М. Н. Тихомирова), которые проходили в Москве 5 июня и были посвящены «Методологии описания древних рукописей» [см.: Лихачев, 1974, с. 235–236]<sup>32</sup>. Напечатанный вариант моего выступления вполне может считаться самой цитируемой из всех моих статей; это выступление во многом воплощает лучшее, чему я научился в те юные годы и затем применил при исследовании рукописного наследия Вятки.

В работе над собранием Строева отразился более широкий интерес, развившийся у меня, – узнать не только о современной истории собраний, которыми мы пользуемся, но и попытаться реконструировать, насколько это возможно, содержимое библиотек Московского государства. Существует много литературы на эту тему, и в ходе некоторых наиболее важных исследований в данной области изучались (а также часто издавались) списки книг Московских библиотек. Пример, заслуживающий внимания, – работа М. В. Кукушкиной о монастырских собраниях Русского Севера [Кукушкина]<sup>33</sup>. Одним из важных аспектов изучения этой темы являются палеографические особенности рукописей – какие из них написаны на одинаковой бумаге, тем же или похожим почерком, и т. д.<sup>34</sup> Отсутствие подробных справочников по палеографии, сложность кодикологического анализа и время, которое для него требуется, – всё это означает, что еще

<sup>32</sup> Во время дискуссии, последовавшей за докладами, я сказал несколько слов о важности филигранологии [см.: Лихачев, 1974, с. 256–257, «Прения по докладам»]. Лихачев включил вариант своих замечаний и во второе издание своего классического учебника по текстологии [см.: Лихачев, 1983, с. 113].

<sup>33</sup> С 1991 г. появилось по меньшей мере семь солидных томов под общим названием «Книжные центры древней Руси»; три из них посвящены Соловецкому, еще одна – Волокамскому монастырю. Они содержат информацию, ценную для реконструкции библиотечных фондов; несомненно, авторы внимательно рассматривают различные кодикологические свидетельства.

<sup>34</sup> Я попробовал себя в этом виде анализа во время работы над Московскими летописями из района Северной Двины, но собранные подробные палеографические свидетельства так и не были изданы как часть моего анализа и публикации текстов летописи [Waugh, 1979]. Разработать материал по русским рукописным собраниям до серьезной монографии заняло бы гораздо больше времени, чем у меня было на самом деле. Мое неизданное рассмотрение свидетельств, касающихся скриптория в Холмогорах, называется «Скрипторий в Холмогорах: Некоторые палеографические наблюдения» и его можно прочитать онлайн [Уо, Скрипторий]. Я прислал экземпляр палеографических таблиц и некоторые заметки выводов по рукописям С. О. Шмидту в 1982 г. Я сделал это в ответ на то, что он опубликовал статью о рукописи РГБ (ГБЛ), Муз. 1836, в «Записках отдела рукописей», т. 38; в данной статье он писал о важности изучения северных скрипториев. По меньшей мере, примечания на полях рукописи, о которой он писал, казалось, были написаны почерком, похожим на почерк в рукописях, которые изучал я и приписал их Холмогорам (Даниель Уо – С. О. Шмидту, 18 апреля 1982 г.). Шмидт стал одним из ведущих сторонников того, что нужно уделять больше внимания региональной истории; мне было приятно через много лет встретить его в 2003 г. на конференции по региональной истории России в Вене, принимающей стороной которой был Андреас Каппелер. (Я был одним из тех, кому заранее сообщили об этом событии; его статьи опубликованы в журнале “Forschungen zur osteuropäischen Geschichte”, Bd. 63.) Я отдал дань уважения Шмидту, выплатив долг, который надо было погасить уже давно, в статье «Конец эпохи. Вспоминая Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013)» [см.: Waugh, 2013].

многое предстоит сделать в отношении определенных скрипториев и библиотек, которые они снабжали книгами.

Одна из до сих пор дискуссионных тем, – вопрос о том, была ли у Ивана IV библиотека. В XIX в. С. А. Белокуров посвятил этой проблеме целую книгу, и его выводы были скептическими. Современные исследования в целом поддерживают идею о том, что Иван Грозный, который считается образованным человеком, должно быть, собирал книги. Но доказательства этого далеко не веские и, как я утверждал на конференции в 1984 г., все еще нуждаются в пересмотре<sup>35</sup>. В какой-то степени научные исследования (или работы, которые не относятся к науке), посвященные библиотеке Ивана Грозного, во многом основаны на принятии желаемого за действительное: по достоинствам Иван IV приравнивается к ренессансному мыслителю. Среди наиболее курьезных попыток разыскать его книги – раскопки в Кремле и Александровской слободе, столице опричнины<sup>36</sup>. Нужно учитывать, что мой взгляд на эту тему окрашен скептицизмом Кинана.

Идея о том, что библиотека могла быть у Алексея Михайловича в XVII в., намного менее спорна, т. к. нет сомнений в его грамотности и явно большой любознательности. Но где мы тогда можем найти его книги? Я утверждал, что его личное хранилище в сущности было частной библиотекой, хотя некоторые немецкие коллеги были скептичны по данному поводу: это было связано с вопросом о том, как можно формально определить «библиотеку» [см.: *The Library of Aleksei Mikhailovich*]. Хотя для XVII в. в различных перечнях существует множество свидетельств относительно содержимого библиотек, все еще необходимо провести надлежащий анализ многих из этих перечней. Надо попытаться установить точное содержимое библиотек, потому что описания в перечнях часто бывает сложно понять. В советское время главный исследователь библиотек периода Московского государства, С. П. Луппов, использовал для статистики о собраниях книг категории «светские» и «религиозные». Но, вероятно, это современное противопоставление не очень соответствовало тому, как могли категоризировать книги москвичи XVII в.<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> В моей более поздней статье [см.: Waugh, 1987] содержатся ссылки на самые важные работы, опубликованные к тому времени. Наиболее серьезная попытка реконструировать библиотеку Ивана Грозного сделана в работе «Библиотека Ивана Грозного. Реконструкция и библиографическое описание» [см.: Библиотека Ивана Грозного...]. Я написал краткую рецензию на эту книгу в журнале “Slavic Review” [см.: Waugh, 1984, p. 95]. В центре этого исследования – ранее неизданная рукопись, открытая Зарубиным в 1930-е гг.

<sup>36</sup> О раскопках в Московском Кремле говорится в работе «Мертвые книги в московском тайнике» [Стеллецкий]; она написана в 1946 г., и комментарий к ней добавили Т. М. Белоусова и А. А. Амосов. Про Александров говорится в работе «Библиотека Ивана Грозного и Александровский кремль» [Ковалев]; согласно автору, на то, где находится библиотека, указывают анализ почвы и подземное зондирование.

<sup>37</sup> Я говорил об этом в «Истории библиотек и других хранилищ к 1700 г.: недавние советские исследования» (“The History of Libraries and Other Repositories to 1700: Recent Soviet Work”). Эта статья была написана несколько поспешно (сейчас она недостойна публикации) и была представлена на Конференции по последним советским литературным исследованиям (Conference on recent Soviet Book Studies), которая состоялась 22 июня 1983 г. в калифорнийском университете в Беркли.

В последнее время мой интерес к Московским библиотекам связан с Вяткой, о которой будет подробнее рассказано ниже.

Мое третье сообщение для Отдела древнерусской литературы состоялось в 1975 г. С помощью Дмитрия Сергеевича я вернулся в Ленинград, чтобы закончить собирать материал для путеводителя по текущему расположению и номерам полок, где находятся рукописи, собранные в первой половине XIX в. графом Ф. А. Толстым. Хотя значительная часть этой большой и важной библиотеки была описана в изданной работе Строева, нумерация Толстого была замещена нумерацией Императорской публичной библиотеки, которая купила львиную долю Собрания Толстого. Оставшиеся части собрания, в конце концов, оказались в Библиотеке Академии наук и в Институте истории. Единственным способом найти номера из Публички было свериться с экземпляром каталога Строева в читальном зале отдела редких книг; в каталоге номера были написаны карандашом на полях. Перед тем, как уехать из Ленинграда в 1972 г., я выписал все эти номера и сразу же решил составить сравнительные таблицы и разыскать другие рукописи Собрания Толстого. Насколько мне известно, я получил доступ к БАН и ЛОИИ (где я в то время работал не в читальном зале, а в закрытых книгохранилищах) благодаря тому, что Дмитрий Сергеевич поднял телефонную трубку и сделал звонок за меня. Мои записки, относящиеся к проекту по собранию Толстого, чуть не остались в Ленинграде, потому что таможенники не давали мне их вывезти без специального разрешения на вывоз «неопубликованных рукописей», даже если они написаны моим же почерком. Но американский коллега Джек Хэни, который сопровождал меня в аэропорту, смог устроить так, чтобы их отправили ко мне домой дипломатической почтой.

Опубликовать материал было совсем не просто, и это удалось во многом благодаря Патриции Кеннеди Гримстед, которая тогда работала над дополнением и вторым томом своего великолепного путеводителя по советским архивам и рукописным собраниям<sup>38</sup>. Она могла непосредственно вести переговоры в Ленинграде с теми, кто сомневался в том, что мой путеводитель, который отчасти представлял собой издание неопубликованных описей, может быть издан в соответствии с законом. Как она сообщила мне, Лихачев также участвовал в том, чтобы устранить все сомнения. Важнейшую задачу

---

<sup>38</sup> Моя положительная рецензия на первый том путеводителя по архивам Гримстед была опубликована в "Slavic Review" [Waugh, 1974]. В моих папках с перепиской, относящейся к середине 1970-х гг., есть несколько длинных писем от нее. В них говорится как о составлении дополнительного тома (для которого я, как она замечала в благодарностях, «предоставил... предварительный список избранных названий каталогов славянских рукописей для включения их в книгу и значительный объем информации для примечаний к этим каталогам»), так и о вопросах, касающихся путеводителя по собранию Толстого. Прямо и опосредованно я получил довольно много исправлений и предложений по другим изменениям от разных людей. Признаюсь, что сейчас я точно не знаю, получился ли окончательный вариант книги благодаря всем этим изменениям.

сверки моего наброска с записями в Публичке выполнила Бронислава Градова. Сначала путеводитель появился в инновационном формате microbook от “Inter Documentation Company” (издание на микрофише с несколькими печатными страницами введения) [см.: The F. A. Tolstoi Collection], а впоследствии он был переиздан БАН в печатной форме, с благословения и с помощью Сигурда Оттовича Шмидта, главы Московской Археографической комиссии [см.: Славянские рукописи...].

Несмотря на мощную поддержку, которую выразили по отношению к моему проекту ведущие российские ученые, и необычайную честь, которая проявилась в том, что второе издание было опубликовано Академией наук, ценность этого проекта была девальвирована теми, кто никогда не пытался серьезно работать с собраниями раннеславянских рукописей, которые все еще плохо описаны. Наиболее вопиющим примером подобного непонимания стала критическая рецензия Валери Туминс [см.: Tumins]<sup>39</sup>. Гримстед так расстроила эта неверная интерпретация путеводителя, что она написала Туминс длинное письмо с объяснением, но та ответила еще большим непониманием<sup>40</sup>. Принимая во внимание относительно небольшое количество времени, которым я располагал для работы над путеводителем, неудивительно, что некоторые его части действительно были схематичны и нуждались в дополнениях. Возможно, это, по крайней мере, стало стимулом для последующего издания надлежащего исследования, посвященного истории и составлению описей рукописных книг в значимой библиотеке XVIII в. – библиотеке князя Дмитрия Михайловича Голицына, часть которой впоследствии приобрел Ф. А. Толстой [см.: Градова, Клосс, Корецкий, 1979; 1981]<sup>41</sup>. Б. А. Градова, которая произвела «экспертную оценку» черного варианта моего путеводителя и сделала в нем исправления, была ведущим автором этого двухчастного исследования. В 1975 г. в Ленинграде я также выступил с сообщением в Пушкинском доме (насколько я помню, там присутствовало мало людей, потому что был август и учебный год еще не начался); я говорил об описании рукописей, в частности, предлагал, каким образом вся информация может быть переведена в цифровую форму, чтобы сделать ее легкодоступной,

<sup>39</sup> У. Ф. Райан написал краткую рецензию, в которой, однако, проявляется его понимание вопроса [см.: Ryan].

<sup>40</sup> Патриция Кеннеди Гримстед – Валери А. Туминс, 30 октября 1978 г.; Туминс – Гримстед, 13 ноября 1978 г. В своем письме Гримстед, в частности, написала: «Советские институты так медленно работали над изданием современных каталогов своих собраний, и исследования по описанию рукописей в Советском Союзе так отставали со времен Революции, что, действительно, есть некоторая ирония в том, что именно западный ученый, тесно сотрудничая с советскими институтами в этой области, смог найти детальную помощь, так необходимую для специалистов, чтобы проводить тщательные исследования в области славистики».

<sup>41</sup> В первой статье авторы обратили внимание, что я поставил узкую задачу в своей работе по рукописям Голицына, которые не были главной темой моего путеводителя [Градова, Клосс, Корецкий, 1979, с. 238]; они также отметили, как важно использовать изданные и неизданные описи его собрания, как они и сделали.

упростить поиски и сопоставление, и т. д. И это, заметьте, в то время, когда у меня не было ничего похожего на компьютер, а Интернету еще предстояло появиться. Мне кажется, сообщение было встречено с неподдельным интересом, но из этой темы ничего не получилось, возможно, потому, что, вернувшись домой, я никак не мог найти время продолжить исследование. Поэтому думаю, что в определенном смысле это был тупик, хотя можно было бы надеяться, что эта тема к чему-то приведет<sup>42</sup>.

Сегодня подобные вещи, конечно, никого не удивят, хотя все еще далеко до электронного корпуса описаний раннеславянских рукописей в таком масштабе, который я имел в виду. Возможно, на продвижение в этой работе могут вдохновить воспоминания о докомпьютерном времени: уже тогда Н. К. Никольский ясно понимал благоразумность составления исчерпывающего путеводителя по древнеславянской литературе. Никольский взялся за это дело, используя технологии того времени: он собрал все напечатанные каталоги рукописей, которые смог достать, разрезал их и наклеил статьи на карточки, которые систематически организовал. Я отчетливо помню, как после приезда в Советский Союз в 1968 г. я обращался за справкой к картотеке Никольского в БАН в поисках работ, о которых я не знал, но которые были важны для моего проекта, или дополнительных экземпляров работ, о которых я знал. Эта картотека обладала ограниченными достоинствами, будучи устарелой, хотя все еще свежо было вдохновение, которое лежало в основе ее замысла<sup>43</sup>.

Среди моих воспоминаний о Дмитрие Сергеевиче – прощальный визит к нему на дачу в Комарово накануне моего отъезда в июне 1972 г. Мы только немного поговорили. Он с большой печалью сообщил мне, что Иосифа Бродского только что выслали из Советского Союза<sup>44</sup>. Мне помнится, что остальную часть разговора он в основном сетовал на правительство, которое подвергало нападкам тех,

---

<sup>42</sup> В письме от 31 мая 1979 г. А. А. Амосов сослался на мое сообщение в ответ на то, что через Хью Олмстеда я осведомился о работе Амосова об описании рукописей. В своем письме он отметил, что некоторые наши идеи о компьютеризации этого процесса совпадают, но до их воплощения необходимо более детально разработать критерии описания. Более того, он считал, что в области описания водяных знаков необходимо сосредоточиться на визуальном сопоставлении знаков (тогда из этого косвенно следует, что любая система числовых идентификаторов вряд ли будет работать, даже если это никак не связано с той целью, о которой я говорил ранее) (А. А. Амосов – Даниелю Уо, 31 мая 1979 г.).

<sup>43</sup> Конечно, картотека Никольского предоставляет сведения не по целым рукописям, а только по их отдельным частям. Существуют различные справочники, в которых говорится о публикациях и исследованиях, посвященных раннеславянским текстам. Лучшая и наиболее современная работа – многотомный «Словарь книжников и книжности Древней Руси» (Л., 1987–1989), но эта книга не задумана как путеводитель по описанию всех до единого экземпляров рукописей.

<sup>44</sup> Мне повезло, потому что через несколько лет я слышал, как Бродский читает свои стихи в Вашингтонском университете; на английский их переводил Джек Хэни. Когда я был в Венеции в 2010 г., я случайно наткнулся на дощечку с именем Бродского – одного из многих великих личностей в области гуманитарных наук, который работал в этом городе и был там похоронен.



кто увлеченно защищал ценности русской культуры. Может быть, за этим скрывалась его эмоциональная реакция на скептицизм тех, кто, как Кинан и Зимин, подвергали сомнению присущую ему веру в памятники древнерусской литературы. Но я думаю, что Дмитрия Сергеевича больше волновали власти, которые в молодости сослали его на Соловки и затем, когда он уже был выдающимся ученым, возможно, были в ответе за физическое нападение на него. Когда через несколько лет я готовил для публикации свою первую монографию, я попросил Дмитрия Сергеевича написать к ней предисловие; он благосклонно согласился, сделав несколько очень полезных предложений по улучшению книги. Я считаю, что это предисловие было незаслуженно щедрым на похвалу<sup>45</sup>. Мои последние воспоминания, связанные с Дмитрием Сергеевичем, относятся ко времени после его смерти, когда я принял приглашение выступить на второй конференции в его память, которая прошла в Пушкинском доме в конце ноября 2003 г.<sup>46</sup>. Это была не просто еще одна научная конференция: для многих это было трогательное мероприятие, призванное сохранить память о его жизни и достижениях. Когда закончилась научная часть мероприятия, участников пригласили посетить богослужение в память Дмитрия Сергеевича, а затем принять участие в молитве у его могилы при зажженных свечах. Церемония проходила в ноябрьских сумерках, среди туманных сосен на кладбище в Комарово, где также покоится Анна Ахматова.

---

<sup>45</sup> Предисловие Д. С. Лихачева напечатано в моей книге "The Great Turkes Defiance" [Waugh, 1978, p. 1–4]. Он даже чрезмерно похвалил мою работу и в то же время напрямую выразил сожаление из-за того, что я имел отношение к книге Кинана («огорчаюсь за участие в книге... Н. Кинана»), чьи выводы (и метод) он не мог принять (Д. С. Лихачев – Даниелю Уо, 23 октября 1973 г.). В своем критическом отзыве на книгу Кинана, который вошел во второе издание его «Текстологии» [Лихачев, 1983, с. 261–263, примеч. 35], Лихачев открыто освобождал меня от ответственности за идеи Кинана (!). Хотя в этом отзыве он более чем адекватно оценил мой вклад в книгу Кинана, некоторые аспекты моего участия в ее создании явно не были обозначены. Когда рукопись редактировалась и готовилась к печати, Кинан был в творческом отпуске в Европе, но я был в Кембридже и очень тесно сотрудничал с редактором в таких вопросах, как стандартизация ссылок. Более того, некоторые задачи я выполнял по просьбе Неда. Я устанавливал местонахождение цитат Цицерона и собирал их; это касалось цитат, относящихся к вопросу о том, мог ли Курбский ссылаться на Цицерона, как было видно из приписываемых ему текстов. Также я соединил по частям черновик восстановленного первого письма Курбского, которое вышло в качестве одного из приложений книги. Некоторых критиков оскорбило само название книги; хотя я могу ошибаться, возможно, я первым предложил его Неду, когда мы обсуждали этот вопрос. В моем архиве все еще хранится «первоначальное» подготовленное к печати издание рукописи Кинана со множеством изменений, которые он внес в этот вариант.

<sup>46</sup> Моя довольно общая статья (основанная на моей работе по Вятке) была издана вместе с другими статьями этой конференции [см.: Уо, 2006].

*Афферика Дж.* К вопросу об определении русских рукописей М. М. Щербатова в Эрмитажном собрании Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина // Труды Отдела древнерусской литературы. 1980. Т. 35. С. 376–393.

*Беляев И. С.* Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII столетий. 2-е изд. М. : Синодальная тип., 1911. 88 с.

Библиотека Ивана Грозного. Реконструкция и библиографическое описание / сост. Н. Н. Зарубин, подгот. к печати, примеч. и доп. А. А. Амосова ; под ред. С. О. Шмидта. Л. : Наука, 1982. 159 с.

*Бычков А. Ф.* Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной библиотеки. Ч. 1. СПб. : Тип. Имп. академии наук, 1882. II, 540, 154 с.

*Ганелина И. Е. Я. С.* Лурье: история жизни // In memoriam : сб. памяти Я. С. Лурье / сост. Н. М. Ботвинник и Е. И. Ванеева. СПб. : Atheneum-Феникс, 1997. С. 5–40.

*Градова Б. А., Клосс Б. М., Корецкий В. И.* К истории Архангельской библиотеки Д. М. Голицына // Археографический ежегодник за 1978 г. М. : Наука, 1979. С. 238–253.

*Градова Б. А., Клосс Б. М., Корецкий В. И.* О рукописях библиотеки Д. М. Голицына в Архангельском // Археографический ежегодник за 1980 г. М. : Наука, 1981. С. 479–490.

*Зимин А. А.* Выпись о втором браке Василия III // Труды Отдела древнерусской литературы. 1976. Т. 30. С. 132–148.

*Иванова К.* Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. София : Изд-во на Българската академия на науките, 1981. 578 с.

*Кашианов С. М.* Уо Д. К. История одной книги. Вятка и «не-современность» в русской культуре Петровского времени [Электронный ресурс] // Отечественные архивы. 2004. № 5. С. 111. URL: <http://rusarchives.ru/publication/otecharh/045.shtml>.

*Ковалев Г. Е.* Библиотека Ивана Грозного и Александровский кремль. Александров, 2002. 114 с.

*Кукушкина М. В.* Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки истории книжной культуры XVI–XVII. Л. : Наука, 1977. 223 с.

*Лихачев Д. С.* Задачи составления методик описания славяно-русских рукописей // Археографический ежегодник за 1972 г. М. : Наука, 1974. С. 234–242.

*Лихачев Д. С.* Текстология на материале русской литературы X–XVII веков. 2-е изд. Л. : Наука, 1983. 605 с.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. Л. : Наука, 1979. 433 с.

Переписка Я. С. Лурье и В. Д. Бонч-Бруевича // Лурье Я. С. Избранные статьи и письма. СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2011. С. 215–263.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 33. Холмогорская летопись. Двинский летописец. Л. : Наука, 1977. 250 с.

Россия на путях централизации : сб. ст. / [редкол.: В. Т. Пашуто (отв. ред.) и др.]. М. : Наука, 1982. 296 с.

Рукописные книги Собрания М. П. Погодина. Каталог : в 4 вып. Л. (СПб.), 1988–2010.

Славянские рукописи собрания Ф. А. Толстого : материалы к истории собрания и указатели старых и новых шифров / сост. Д. К. Уо. Л. : БАН СССР, 1980. 135 с.

Словарь книжников и книжности Древней Руси : в 2 вып. / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л. : Наука, 1987–1989. Вып. 1 (XI – первая половина XIV в.). Л. : Наука, 1987. 493 с. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1 : А–К. Л. : Наука, 1989. 516 с. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 2 : Л–Я. Л. : Наука, 1989. 528 с.

Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков : тез. докл. и сообщ. Первых чтений, посвящ. памяти А. А. Зимина. Москва, 13–18 мая 1990 г. : в 2 вып. М., 1990. 324 с.

*Стеллецкий И. Я.* Мертвые книги в московском тайнике. М. : Моск. рабочий, 1993. 270 с.

*Уо Д.* К изучению истории рукописного собрания П. М. Строева // Труды Отдела древнерусской литературы. 1976. Т. 30. С. 184–203; 1977а. Т. 32. С. 133–164.

*Уо Д.* «Одоление на Турское царство» – памятник антитурецкой публицистики XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы. 1977б. Т. 33. С. 88–107.

*Уо Д.* Америка изучает историю Вятки // Наш вариант. 1996. № 48. С. 1.

*Уо Д.* К истории вятского летописания // In memorem : сб. памяти Я. С. Лурье / сост. Н. М. Ботвинник и Е. И. Ванеева. СПб. : Atheneum-Феникс, 1997. С. 303–320.

*Уо Д.* К изучению фальсификации письменных источников по истории средневековой России // Russian History/Histoire Russe. Festschrift for A. A. Zimin / ed. by P. B. Brown. Vol. 25, Nos. 1–2. P. 11–20.

*Уо Д.* Местное самосознание и «изобретение» регионального прошлого // Труды отдела древнерусской литературы. 2006. Т. 57. С. 350–358.

*Уо Д.* Скрипторий в Холмогорах: Некоторые палеографические наблюдения [Электронный ресурс]. URL: [http://faculty.washington.edu/dwaugh/publications/Waugh\\_ScriptoriuminKholmogory\\_1977\\_2012.pdf](http://faculty.washington.edu/dwaugh/publications/Waugh_ScriptoriuminKholmogory_1977_2012.pdf)

*Afferica J.* Considerations on the Formation of the Hermitage Collection of Russian Manuscripts // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 24. 1978. S. 237–336.

Correspondence concerning the 'Correspondence' / ed. by D. Waugh // Harvard Ukrainian Studies. 1995. Vol. XIX.

[Erratum] // Slavic Review. 1997. 56/3. P. 611.

Essays in Honor of A. A. Zimin / ed. D. Waugh. Columbus, O. : Slavica, 1985. XIV + 416 p.

*Fennell J. L. I.* The Recent Controversy in the Soviet Union over the Authenticity of the *Slovo* // Russia: Essays in History and Literature / ed. L. Legters. Leiden : E. J. Brill, 1972. P. 1–17.

*Hellie R.* Essays in Honor of A. A. Zimin. Edited by Daniel Clarke Waugh // Slavic Review. 1986. 45/3. P. 554–556.

*Ingham N. D. C. Waugh, The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants* // Modern Philology. 1981. 78/3. P. 307–309.

*Keenan E. L.* Ivan III, Nikolai Karamzin, and the Legend of the 'Casting off of the Tatar Yoke' (1480) // The New Muscovite Cultural History. A Collection in Honor of Daniel B. Rowland / eds. V. Kivelson et al. Bloomington, IN : Slavica, 2009. P. 237–251.

*Keenan E. L.* The Kurbskii-Groznyi Apocrypha: The Seventeenth-Century Genesis of the "Correspondence" Attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV / with an appendix by D. C. Waugh. Cambridge, MA : Harvard Univ. Press, 1971.

[Letter to the Editor] // Slavic Review. 1997. 56/1. P. 186.

*Ryan W. F.* The F. A. Tolstoi Collection. The Slavic Manuscripts in the Collection of Count F. A. Tolstoi. Materials on the History of the Collection and Indexes of Former and Current Code Numbers, compiled by D. C. Waugh // The Slavonic and East European Review. 1980. 58/1. P. 155.

The F. A. Tolstoi Collection. The Slavic Manuscripts in the Collection of Count F. A. Tolstoi. Materials on the History of the Collection and Indexes of Former and Current Code Numbers, compiled by D. C. Waugh. Zug, Switzerland : Inter Documentation Co., 1977.

The Library of Aleksei Mikhailovich // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 38. 1986. S. 299–324.

*Tumins V.* The F.A. Tolstoi Collection. The Slavic Manuscripts in the Collection of Count F. A. Tolstoi. Materials on the History of the Collection and Indexes of Former and Current Code Numbers, compiled by D. C. Waugh // The Russian Review. 1978. 37/3. P. 364.

*Waugh D.* Ocherki russkoi diplomatiki. By S. M. Kashtanov // Slavic Review. 1973. 32/1. P. 158–160.

*Waugh D. P. K.* Grimsted, *Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Moscow and Leningrad* // Slavic Review. 1974. 33/1. P. 148–149.

Waugh D. Ia. S. Lur'e, Obshcherusskoe letpisanie XIV–XV vv. // The Russian Review. 1977. 36/3. P. 351–352.

Waugh D. The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants / with a foreword by Academician D. S. Likhachev. Columbus, O. : Slavica, 1978. IX, 354 p.

Waugh D. Two Unpublished Muscovite Chronicles // Oxford Slavonic Papers, N. S. 1979. 12. P. 1–31.

Waugh D. B. L. Fonkich, Grechesko-russkie kul'turnye sviazi v XV–XVII vv. // Russian History. 1981. 8/3. P. 414–416.

Waugh D. N. N. Zarubin, *Biblioteka Ivana Groznogo: Rekonstruktsiia i bibliograficheskoe opisanie* // Slavic Review. 1984. 43/1. P. 95.

Waugh D. A. A. Zimin's Study of the Sources for Medieval and Early Modern Russian History // Essays in Honor of A. A. Zimin / ed. D. Waugh. Columbus, OH : Slavica, 1985. P. 1–58.

Waugh D. The Unsolved Problem of Tsar Ivan IV's Library // Russian History. 1987. 14/1-4. P. 395–408.

Waugh D. Introduction // Russian History/Histoire Russe. Festschrift for A. A. Zimin / ed. by P. B. Brown. 1998. Vol. 25, Nos. 1–2. P. 7–10.

Waugh D. The End of an Era. Remembering Sigurd Ottovich Shmidt (1922–2013) // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2013. 14/4. P. 910–920.

---

Afferica, J. (1978). Considerations on the Formation of the Hermitage Collection of Russian Manuscripts. *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*, 24, 237–336.

Afferika, Dzh. (1980). K voprosu ob opredelenii russkikh rukopisej M. M. Shherbatova v E'rmitazhnom sobranii Publichnoj biblioteki im. M. E. Salty'kova-Shhedrina [Revisiting the definition of Russian manuscripts of M. M. Sherbatov in the Hermitage collection of Public library n. a. M. E. Saltykov-Shedrin]. In *Trudy' Otdela drevnerusskoj literatury'* [Proceedings of the Department of the Old Russian literature]. (Vol. 35) (p. 376–393).

Belyaev, I. S. (1911). *Prakticheskij kurs izucheniya drevnej russkoj skoropisi dlya chteniya rukopisej XV–XVIII stoletij* [Practical course of study of the Old Russian cursive for reading the manuscripts of 15<sup>th</sup>–18<sup>th</sup> centuries]. (2<sup>nd</sup> ed.). Moscow: Sinodal'naya tip.

By'chkov, A. F. (1882). *Opisanie cerkovno-slavyanskikh i russkikh rukopisny'h sbornikov Imperatorskoj publichnoj biblioteki* [Description of Church Slavonic and Russian manuscript collections of the Imperial public library]. Part 1. St. Petersburg: Tip. Imp. akademii nauk.

[Erratum]. (1997). *Slavic Review*, 56/3, 611.

Fennell, J. L. I. (1972). The Recent Controversy in the Soviet Union over the Authenticity of the *Slovo*. In Legters L. (Ed.). *Russia: Essays in History and Literature* (p. 1–17). Leiden: E.J. Brill.

Ganelina, I. E. (1997). Ya. S. Lur'e: istoriya zhizni [J. Lurie: life history]. In N. M. Botvinnik, E. I. Vaneeva (Comp.). *In memoriam: sb. pamyati Ya. S. Lur'e* [In memoriam: collection in memory of J. Lurie] (p. 5–40). St. Petersburg: Atheneum-Feniks.

Gradova, B. A., Kloss, B. M., Koreczkij, V. I. (1979). K istorii Arhangel'skoj biblioteki D. M. Golicy'na [To the history of the Arkhangelsk library of D. M. Golitsyn]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1978 g.* [Archeographic annals for 1978 yr.] (p. 238–253). Moscow: Nauka.

Gradova, B. A., Kloss, B. M., Koreczkij, V. I. (1981). O rukopisyah biblioteki D. M. Golicy'na v Arhangel'skom [About manuscripts in the library of D. M. Golitsyn in Arkhangelskoe]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1980 g.* [Archeographic annals for 1980 yr.] (p. 479–490). Moscow: Nauka.

Hellie, R. (1986) Essays in Honor of A. A. Zimin. *Slavic Review*. D. C. Waugh (Ed.), 45/3, 554–556.

Ingham, N., Waugh D. C. (1981). The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants. *Modern Philology*, 78/3, 307–309.

Ivanova, K. (1981). *B"lgarski, sr"bski i moldo-vlahijski kirilski r"kopisi v sbirkata na M. P. Pogodin* [Bulgarian, Serbian and Moldo-Vlahian Cyrillic manuscripts in the collection of M.P. Pogodin]. Sofia: Izd-vo na B"lgarskata akademiya na naukite.

Kashtanov, S. M., Waugh, D. C. (2004). Istoriya odnoj knigi. Vyatka i "ne-sovremenost" v russkoj kul'ture Petrovskogo vremeni [History of one book. Vyatka and "pastness" in Russian culture in the time of Peter the Great]. In *Otechestvenny'e arhivy'* [National archives]. 5. URL: <http://rusarchives.ru/publication/otecharch/045.shtml>.

Keenan, E. L. (1971). *The Kurbskii-Groznyi Apocrypha: The Seventeenth-Century Genesis of the "Correspondence" Attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV*. In D. C. Waugh (App.). Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

Keenan, E. L. (2009). Ivan III, Nikolai Karamzin, and the Legend of the 'Casting off of the Tatar Yoke' (1480). In V. Kivelson et al. (Ed.). *The New Muscovite Cultural History. A Collection in Honor of Daniel B. Rowland* (p. 237–251). Bloomington, IN: Slavica.

Kovalev, G. E. (2002). *Biblioteka Ivana Groznogo i Aleksandrovskij kreml'* [Library of Ivan the Terrible and Alexander Kremlin]. Aleksandrov.

Kukushkina, M. V. (1977). *Monasty'rskie biblioteki Russkogo Severa: Ocherki istorii knizhnoj kul'tury XVI–XVII* [Monastic libraries of Russian North: Essays on the history of book culture of 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> centuries]. Leningrad: Nauka.

[Letter to the Editor]. (1997). *Slavic Review*, 56/1, 186.

Lihachev D. S. (Ed.). (1987, 1989) *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi* [Dictionary of bibliophiles and book-learning of Old Russia]: in 2 iss. Leningrad: Nauka. Iss. 1 (11<sup>th</sup> – first half of 14<sup>th</sup> c.). (1987). Leningrad: Nauka. Iss. 2 (second half of 14<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> c.). (1989). Part 1: A – K. Leningrad: Nauka. Iss. 2 (second half of 14<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> c.). (1989). Part 2: L – Ya. Leningrad: Nauka.

Lihachev, D. S. (1974). Zadachi sostavleniya metodik opisaniya slavyano-russkikh rukopisej [Tasks of compiling methods of description of the Slavic-Russian manuscripts]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1972 g.* [Archeographic annals for 1972 yr.] (p. 234–242). Moscow: Nauka.

Lihachev, D. S. (1983). *Tekstologiya na materiale russkoj literatury' X–XVII vekov* [Textual studies on the material of Russian literature of 10<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> centuries]. (2<sup>nd</sup> ed.). Leningrad: Nauka.

Lurie, J., Ry'kov, Yu. D. (Rewrite). (1979). *Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim* [Correspondence of Ivan the Great and Andrey Kurbsky]. Leningrad: Nauka.

Pashuto, V. T. (Ed.). (1982). *Rossiya na putyah centralizacii: sb. st.* [Russia on the way of centralization: collection of articles]. Moscow: Nauka.

Perepiska Ya. S. Lur'e i V. D. Bonch-Bruevicha [Correspondence of J. Lurie and V. D. Bonch-Bruevich]. (2011). In Ya. S. Lur'e. *Izbranny'e stat'i i pis'ma* [Selected letters and articles] (p. 215–263). St. Petersburg: Izd-vo Evropejskogo un-ta.

*Polnoe sobranie russkikh letopisej (PSRL). Holmogorskaya letopis'. Dvinskij letopiseec* [Complete Edition of Russian Chronicles. Holmogory chronicle. Dvina chronicler]. (1977). (Vol. 33). Leningrad: Nauka.

*Rukopisny'e knigi Sobraniya M. P. Pogodina* [Manuscript books in the Collection of M. P. Pogodin]. Catalogue: in 4 iss. (1988–2010). Leningrad (St. Petersburg).

Ryan, W. F. (1980). The F. A. Tolstoi Collection. The Slavic Manuscripts in the Collection of Count F. A. Tolstoi. Materials on the History of the Collection and Indexes of Former and Current Code Numbers. In D. C. Waugh (Comp.). *The Slavonic and East European Review*, 58/1, 155.

*Sporny'e voprosy' otechestvennoj istorii XI–XVIII vekov: tez. dokl. i soobshh. pervyh' chtenij, posvyashh. pamyati A. A. Zimina* [Disputable questions of national history

of 11<sup>th</sup>–18<sup>th</sup> centuries: thesaurus of papers of the first conference dedicated to the memory of A. A. Zimin. Moscow, 13–18 May 1990: in 2 iss.]. (1990). Moscow.

Stelleckzjij, I. Ya. (1993). *Mertvy'e knigi v moskovskom tajnike* [Dead books in Moscow hiding]. Moscow: Mosk. rabochij.

The Library of Aleksei Mikhailovich. (1986). *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*, 38, 299–324.

Tumins, V. (1978). The F. A. Tolstoi Collection. The Slavic Manuscripts in the Collection of Count F. A. Tolstoi. Materials on the History of the Collection and Indexes of Former and Current Code Numbers. *The Russian Review*. D. C. Waugh (Comp.), 37/3, 364.

Waugh, D. (1973). Oчерки russkoi diplomatiki. By S. M. Kashtanov. *Slavic Review*, 32/1, 158–160.

Waugh, D. (1974). P. K. Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Moscow and Leningrad. *Slavic Review*, 33/1, 148–149.

Waugh, D. (1976). K izucheniyu istorii rukopisnogo sobraniya P. M. Stroeva [Studying the history of manuscript collection of P. M. Stroev]. *Trudy' Otdela drevnerusskoj literatury'* [Proceedings of the Department of the Old Russian literature]. (Vol. 30, p. 184–203; Vol. 32, p. 133–164).

Waugh, D. (1977a). “Odolenie na Turskoe czarstvo” – pamyatnik antitureczkoj publicistiki XVII v. [“Overcoming Tursk kingdom” – a monument to anti-Turkish publicism of 17<sup>th</sup> c.]. *Trudy' Otdela drevnerusskoj literatury'* [Proceedings of the Department of the Old Russian literature]. (Vol. 33, p. 88–107).

Waugh, D. (1977b). Ia. S. Lur'e, Obschcherusskoe leptopisanie XIV–XV vv. *The Russian Review*, 36/3, 351–352.

Waugh, D. C. (Comp.). (1977). *The F. A. Tolstoi Collection. The Slavic Manuscripts in the Collection of Count F. A. Tolstoi. Materials on the History of the Collection and Indexes of Former and Current Code Numbers*. Zug, Switzerland: Inter Documentation Co.

Waugh, D. (1978). *The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants*. D. S. Likhachev (foreword). Columbus, O.: Slavica, IX.

Waugh, D. (1979). Two Unpublished Muscovite Chronicles. *Oxford Slavonic Papers*, N.S. 12, 1–31.

Waugh, D. C. (Comp.). (1980). *Slavyanskije rukopisi sobraniya F. A. Tolstogo: materialy' k istorii sobraniya i ukazateli stary'h i novy'h shifrov* [The Slavic manuscripts in the collection of F. A. Tolstoi: materials on the history of collection and indexes of former and current codes]. Leningrad: BAN SSSR.

Waugh, D. (1984). Zarubin N. N. Biblioteka Ivana Groznogo: Rekonstruktsiia i bibliograficheskoe opisanie. *Slavic Review*, 43/1, 95.

Waugh, D. (1985). Zimin's Study of the Sources for Medieval and Early Modern Russian History. In D. Waugh (Ed.). *Essays in Honor of A. A. Zimin* (p. 1–58). Columbus, OH.: Slavica.

Waugh, D. (Ed.). (1985). *Essays in Honor of A. A. Zimin*. Columbus, O: Slavica, XIV.

Waugh, D. (1987). The Unsolved Problem of Tsar Ivan IV's Library. *Russian History*, 14/1–4, 395–408.

Waugh, D. (Ed.). (1995). Correspondence concerning the 'Correspondence'. In *Harvard Ukrainian Studies* (Vol. XIX).

Waugh, D. (1996). Amerika izuchaet istoriyu Vyatki [America studies the history of Vyatka]. *Nash variant* [Our variant], 48.

Waugh, D. (1997). K istorii vyatskogo letopisaniya [To the history of Vyatka chronicle]. In N. M. Botvinnik, E. I. Vaneeva (Comp.), *In memoriam: sb. pamyati Ya. S. Lur'e* [In memoriam: collection in memory of J. Lurie] (p. 303–320). St. Petersburg: Atheneum-Feniks.

Waugh, D. (1998). Introduction. Festschrift for A. A. Zimin. *Russian History / Histoire Russe*. P. B. Brown (Ed.). (Vol. 25, 1–2, 7–10).

Waugh, D. (1998). K izucheniyu fal'sifikacii pis'menny'h istochnikov po istorii srednevekovoj Rossii [Studying the falsification of written sources on the history

of medieval Russia]. In P. B. Brown (Ed.) *Russian history / Histoire Russe. Festschrift for A. A. Zimin*. (Vol. 25, 1–2. p. 11–20).

Waugh, D. (2006). Mestnoe samosoznanie i “izobretenie” regional'nogo proshlogo [Local consciousness and “invention” of regional past]. In *Trudy' Otdela drevnerusskoj literatury'* [Proceedings of the Department of the Old Russian literature]. (Vol. 57, p. 350–358).

Waugh, D. (2013). The End of an Era. Remembering Sigurd Ottovich Shmidt (1922–2013). *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 14/4, 910–920.

Waugh, D. (n. d.). *Skriptorij v Holmogorah: nekotory'e paleograficheskie nablyudeniya* [Scriptorium in Holmogory: some paleographic observations]. URL: [http://faculty.washington.edu/dwaugh/publications/Waugh\\_ScriptoriuminKholmogory\\_1977\\_2012.pdf](http://faculty.washington.edu/dwaugh/publications/Waugh_ScriptoriuminKholmogory_1977_2012.pdf)

Waugh, D., Fonkich, B. L. (1981). Grechesko-russkie kul'turnye svyazi v XV–XVII vv. *Russian History*, 8/3, 414–416.

Zarubin, N. N. (Comp.), Amosov, A. A. (Edit, comments), Shmidt, S. O. (Ed.). (1982). *Biblioteka Ivana Groznogo. Rekonstrukciya i bibliograficheskoe opisaniye* [Library of Ivan the Terrible. Reconstruction and bibliographical description]. Leningrad: Nauka.

Zimin, A. A. (1976). Vy'pis' o vtorom brake Vasiliya III [Extract on the second marriage of Ivan III]. In *Trudy' Otdela drevnerusskoj literatury'* [Proceedings of the Department of the Old Russian literature]. (Vol. 30, p. 132–148).

*Translated by Elena Galitsyna*

*The article was submitted on 30.04.2014*

**Даниель Уо**

почетный профессор

США, Сиэтл

Вашингтонский университет

dwaugh@u.washington.edu

**Daniel Waugh**

Professor Emeritus

USA, Seattle

University of Washington

dwaugh@u.washington.edu



## Problema voluminis

Деспотизм и противостояние насилию в истории России  
Странности русского мира в пространстве литературы





## Problema voluminis

Despotism and Resistance to Violence in Russian History

The Strangeness of the Russian World in the Space of Literature

---

# DESPOTISM AND RESISTANCE TO VIOLENCE IN RUSSIAN HISTORY

УДК 342.2 + 342.36 +  
+ 929 Иван Грозный +  
+ 929 Магомет-салтан

**Giovanni Maniscalco Basile**

## LAW AND POWER. THE IDEA OF SOVEREIGNTY IN 16<sup>TH</sup> CENTURY RUSSIA

The late 15<sup>th</sup> century and the first half of 16<sup>th</sup> century is a crucial period for the formation of the ideology that would support Russian autocracy until the October Revolution. In those years, Moscow transformed from a city ruled by a Prince into the capital of an empire, whose borders would reach the Sea of Japan. The stages of this transformation had a turning point in 1564, when Ivan IV Vasilyevich received a mandate from the people of Moscow to punish the traitors of the country.

This was the last piece of a complex mosaic that would make Russian autocracy a unique phenomenon in Renaissance Europe: a monarchy in which the legislative power of the sovereign was not limited by any intermediate body. The power of the Muscovite sovereign rested not only on the consent of the people, but also on the support of the Orthodox Church that consecrated Moscow as the Third and Last Rome, the last Empire of the prophecy of Daniel (2 and 7) and its ruler as the “apostle”, destined by God to save his subjects “from the fire (of Hell) with fear” and to convert all the Heathen people to Christian faith. In this article, this evolution is analysed in all its most important phases.

Keywords: Ivan the Terrible; Sultan Mehmed; autocracy; theory of sovereignty; absolute monarchy; customary law.

Конец XV – первая половина XVI в. – это ключевой период формирования идеологии, которая будет поддерживать русское самодержавие до самой Октябрьской революции. В те годы Москва из города, управляемого князем, превращается в столицу империи, которая протянется до Японского моря.

Решающим годом в этом превращении был 1564, когда Иван IV Грозный получает от москвичей поручение наказать изменников. Это событие стало последним элементом сложной мозаики, которая сделает русское самодержавие уникальным явлением в Европе эпохи Возрождения: в этой монархии законодательная власть правителя не ограничена никакими промежуточными органами. В Московском государстве власть монарха основана не только на согласии народа, но и на поддержке православной церкви. Для нее Москва – священный город, Третий и Последний Рим, последнее

Царство в пророчестве Даниила (2 и 7), Правитель Москвы же – «апостол», которому Богом предначертано «страхом» спасти своих подданных, «исторгая из [адского] огня» и обратить в христианство всех язычников. В статье анализируются важнейшие стадии этой эволюции.

Ключевые слова: Иван Грозный; Магомет-салтан; самодержавие; теория верховной власти; абсолютная монархия; обычное право.

### Ivan Groznyj and Magmet Saltan

Shortly after the conversion of the *Rus'* to Christianity, in the year 6504 from the creation of the world (996 A. D.), the Constantinopolitan bishops who came to instruct the Russians on matters of the faith, said to the Prince of Kiev, Vladimir Svjatoslavich: «Се умножишася разбойници; почто не казниши их?» Он же рече имъ: «Боюся греха» (“The bandits are increasing in number, why don’t you punish them?” Vladimir answered: “I am afraid to sin”) [Повесть временных лет, с. 86].

Five centuries later, in 1565, Ivan IV the Terrible left Moscow with the court, the treasury and his trusted followers, retreating to the fortified stronghold of Aleksandrovskaia Sloboda and leaving two letters behind: one to the Metropolitan and one to the people of Moscow. In the first, he accused the church of plotting against him with the boyars, and in the second he declared to the people that, due to the boyars’ betrayal, he was forced to abdicate, leaving them, his flock, to the wolves. The people responded, imploring the Metropolitan to beg the *Car'* to return to Moscow and to tell him: “Whom-ever you want to punish, punish them” [see: Maniscalco Basile, 1988, p. 27].

What do the strange affirmation of the holy prince who had converted the *Rus'* to Christianity and who declared that he could not obey a prescription of the Christian bishops for fear of committing a sin, and the imploration of the Muscovites who – faced with the fear of being, as in the past, during Ivan the Terrible’s infancy, at the mercy of the uncontrolled power of the great nobility – gave the sovereign their mandate to punish the wicked, have in common?

The answer is in part contained in Ivan IV’s Letter to his friend-enemy Andrej M. Kurbskij, in which the *car'* (*царь*) declares that the function of civil authority consists in the duty of saving his people from the flames [of hell], with fear [see: Послания Ивана Грозного]. The affirmation directed towards Kurbskij is positioned perfectly in the Roman-Eastern tradition of the authority of the *basileus* – elaborated by Agapetus and Eusebius<sup>1</sup> – as the helmsman of the vessel who has to ferry humanity from misery and pain in this world, to eternal beatitude in the afterlife.

The most evident common element is in fact the concept of “punishment” and the relationship of the right to punish with the prince’s power.

<sup>1</sup> See: [Migne, coll. 1163–1186]. About Agapetus see: [Shevcenko; Agapetus and the West...; Quaglioni, 1980]. See also: [Miller, 1979b, p. 277–288; Eis Konstantinon Triakontaeterikos].

Vladimir Svjatoslavich fears sinning, punishing the wicked, because he believes that he does not have the power of doing so: and this despite the Christian bishops' exhortation.

The people implore Ivan Vasilevich to return to Moscow, and they confer him the authority of punishing those who he, the sovereign, wants to, because even the Prince of Moscow needed the mandate of the people in order to wield the (terrible) authority to punish the wicked.

Which norm prevented Vladimir from exercising that which, today, is considered one of the fundamental powers of the State? Which norm did the people of Moscow abrogate in Ivan IV's "mandate"?

The answer to these questions, and many others concerning the juridical and institutional structure of medieval Russia, lies in the *starina* (antiquity).

A sacred and immutable tradition,<sup>2</sup> crystalized in a past whose characteristics the present cannot alter, the *starina* is a source of customary norms which are stronger than positive law. It is a source of norms which the prince cannot innovate, because he did not make them: it is a *ius conuetudinis* made up of countless consolidated and crystalized traditions, *ab immemorabile*, of which the author-legislator is the people.

The path which runs from the fear to sin which stops the punishing hand of Vladimir Svjatoslavich, to the mandate which the Muscovite people confer to Ivan IV – whose outcome will be the destructions and the systematic exterminations of the *Oprichnina* – is that which has brought, in various times and places, the sovereign to be "*lex animata in Terris*"<sup>3</sup> and the author of "public" penal justice.

In Russian lands, the evolution of law had been lengthy, and not always.

Historic experience, not only that which is European and recent [see: Diamond], shows that the formal apparatus of "public law" penal sanctions is closely connected to the maturation of complex organizational and juridical structures. In simple communities, relationships of a personal type tend to prevail, based on unwritten agreements, or also on the equally unwritten "pact" that the members of the community are allowed to resort to weapons in order to resolve conflicts, but without the use of weapons causing destabilizing factors for the community as a whole. When said community becomes more complex, the 'private' resort to the use of force becomes in fact destabilizing, but sometimes 'private' reparations of wrongdoings is still tolerated: the *wergeld* takes on the main role of 'compensatory' justice.

Later on, in social development (an increase in the complexity of the system, the improvement of administrative structure and of the government),

<sup>2</sup> A tradition invoked by Ivan IV during the ceremony of his coronation as the foundation of his right to the *otčiny* of Vladimir, Novgorod and Moscow. See: [L'idea di Roma a Mosca, p. 78, ff.; Maniscalco Basile, 1983].

<sup>3</sup> This idea is already found in Arkitas (as quoted by Stobeus) who speaks about the king as *nomos empsychos* and, with a similar meaning, referred to the magistrate, in Cicero (De Legibus, 3,2). See also: [Viterbo: "Deus subiecit leges imperatori et legem animatameum misit hominibus;" and later, Matteo d'Afflitto, In utriusque Siciliae Neapolisque sanctione et constitutionum novissima praelectio, Venetiis 1562, comment to Lib. aug., I, 31: "...et ideo dicitur [imperator] lex animata in terris..." See also: [Kantorowicz].

the same private justice, even in the form of payment of a pecuniary compensation to the offended party or to his family, becomes insufficient, because in a complex society the private composition of misdemeanours which the community condemns acquires a negative value which goes far beyond the concrete damage provoked by the condemned behaviour; this becomes a danger: the danger that the behaviour repeats itself and, maybe, in conditions in which reparation, for the same complexity of the community, is not possible. In conditions like these, 'reparations' must acquire a dissuasive value. The justice of 'private' vendettas and the *wergeld* does not respond to needs of this type: Something like which we call "criminal law" must then be established, that is, a set of rules which, if violated, correspond to a sanction dissuasive enough to make the guilty action 'non-remunerative' and discourages its repetition.

Only at this point the state, or however the authority capable of reserving itself the right to use force is called, intervenes to sanction the overcoming of a 'private' stage of the resolution of controversies which implicate the use of force and to establish a system of 'sanctions'.

In Russia, a social and political transformation, such that it rendered necessary the transition from a prevalently 'horizontal' structure, made up of 'equals' which regulate their own conflicts, to a 'vertical' one in which a regulating authority which issues commands equipped with a sanction which does not have prevalently 'reparatory' functions, but 'dissuasive ones', exists and will be complete only in the 17<sup>th</sup> century.

In medieval Russia, the 'penal' conscience is quite complex and, in some ways, mixed. The *Russkaja Pravda* and the *Zakon Sudnyj ljudem* (*Русская правда и Закон судный людем*) contain both elements of private vendetta and elements of Mosaic law (the principle of the talion) which contain both elements of 'private' criminal law (vendetta amongst families) and elements of 'dissuasion' (the discipline of the measure of the vendetta: an eye for an eye, a tooth for a tooth) [see: Kaiser, p. 63 ff.]: but throughout the period which goes from the drafting of the first medieval Russian code to the first *Sudebniki* (*Судебники*), the principle of paying compensation (the *vira*), which coexists, however, with 'state' forms of punishment, such as confiscation (*razgrablenie*) and, in some cases, direct punishment on behalf of the prince (prison, enslavement, or exile [see: *Ibid.*, p. 65]). In particular, the *dikaja vira* (word for word: "wild compensation") soon becomes a form of fine to be paid to the prince, instead of compensation paid to the family of the offended party. A significant uncertainty remains regarding the number and the functions of the 'officials' of justice (*og-nishchaniny*) who, probably carried out both 'judiciary' functions (of mediation to ensure that the vendetta was adequate to the crime) and administrative functions for the patrimony of the prince. Their protection was in fact assured by the *dikaja vira* [*Ibid.*, p. 67]. An archaic form of 'objective responsibility' was the *vina* – of which, as we will see, Peresvetov speaks as a source of judiciary corruption – a fine to be paid by the person or community within whose territory a cadaver, victim of a homicide, is found.

As in the passage of the *Povest' Vremennykh Let* which I cited above, the Church energetically made every effort to push the prince to exercise justice: "God ordered you lead your life justly on this earth, to carry out trials justly, to found them on your oath to the cross and to take care of the Russian lands" [ПСРЛ, т. 1, с. 25–75; Kaiser, p. 171], the hegumen (игумен) Feodosii advises Rostislav Mstislavich. But, until relatively later, the forms of justice as to 'public law' almost exclusively regard the fines imposed for crimes against the officers of the prince.

As Kaiser reveals, the rise of the law (to be understood as positive law, emanated by a legislator prince) was slow and discontinuous in medieval Russia, with important permanence, especially in decentralized territories, of element of a 'private justice' which indicated the strong rootedness of a juridical conception of an ascendant type [comp.: Uhlmann].

In the *Sudebnik* which Ivan III Vasil'evich had drawn up in 1497, the elements of public law are already much more evident. Dedicated to the regulation of judgements for crimes against the boyars and the *okolniči*, the Code, in many cases, provides for the death penalty as well as fines of various amounts [Штамм]. But (pecuniary) punishments are provided for the violation of legitimate orders of the prince and for judicial corruption.

In this 'juridical atmosphere', Ivan Semenovič Peresvetov's *Čelobitnye* (Челобитная)<sup>4</sup> are set.

Peresvetov addresses two *Čelobytnye* to the prince of Moscow, as well as some narrative works on the fall of Constantinople, on the reasons for the fall of the Eastern Roman Empire and on the government of Mohammed II. In all of these works, the Turkish Empire is a model which Peresvetov proposes that the prince of Moscow imitate.

The dating of Peresvetov's works is uncertain, but it is not a great error to refer them to the era of Elena Glinskaja's regency, when Ivan IV was still a minor. Zimin holds that the model of state which Peresvetov proposes to the prince makes up an ideological presentation of the interests of the emerging class of service nobility [Зимин]. Even if Zimin's thesis does not lack elements assumed to be historically correct (for example, that a nobility of service with well-defined interests existed), it does not appear dubious that the state model which Peresvetov proposes is strongly in contrast with Slavic-Norman juridical model, founded on the *otchina* which, even in the Muscovy of the 16<sup>th</sup> century, but especially while Ivan IV was a minor, was far from extinct: a model which had justified (allowed) the excess of power of the great nobles of the sword (*bojary*) and the oppressions and abuses during Ivan Vasil'evich's childhood and about which, later on, the sovereign will complain in his first Letter to Kurbskij [Послания Ивана Грозного...].

Peresvetov's model is founded on the *groza*.

The term *groza* refers to threatening or terrifying meanings: *u-groza* means threat and the meaning of the root alludes to terrible atmospheric

<sup>4</sup> About this writer-adventurer, see: [Scritti Politici; Зимин; Сочинения И. Пересветова]. See also: [Maniscalco Basile, 1990].

events, tempests or storms. “*Groznyj*” was the appellative attributed to Ivan IV “the Terrible”. But, in contrast to the connotation normally connected to the appellative, *Groznyj* does not mean “Terrible”, but “Severe”, that is, “Just”.<sup>5</sup>

The ‘popular’ desire for severity in the administration of the Russian lands was not a novelty. The Russian version of the *Povest’ o Drakule* – unlike the German one, in which the Transilvanian *voevoda* is represented as a cruel monster *tout court* – shows a sovereign capable of *just* cruelty; who impaled his enemies, but in his kingdom there is a fountain whose water can quench the thirst of travellers, drawing it with a golden cup which no one dares to steal.

The *groza*, therefore, delineates a state model – and a judiciary model within this state – in which the sovereign makes just laws and imposes their observance with a terrible but just severity. It is interesting that Peresvetov proposes his model, attributing the conception to *Magmet-Saltan*, to Mohammed II the Conqueror.

The reasons for this choice were various. The ‘40s of the 16<sup>th</sup> century Muscovy felt, in a significant manner, the effects of the well established filofeian ideological structure of the *traslatio imperii* and Moscow was seen as the third and last capital of the Christian empire,<sup>6</sup> but the feats of Mohammed II, the Conqueror, despite the fact that he was a “Hagarene infidel”, were viewed with respect: after all, wasn’t he the instrument of God for the punishment of the sins of the second Rome and of the succession of Moscow to the head of the universal empire? Peresvetov, then, had lived in Wallachia, where he met Pëtr Rareš, “Wallachian voevoda”;<sup>7</sup> he had, therefore, lived in an area in which the Turkish influence was quite strong and the Turkish state institutions were well-known. Finally, which model could be proposed to a sovereign who – at least in the works of he who had elaborated the theory of sovereignty – aspired to the secular-religious primacy on all the oecumene, if not that of the sovereign to whom God had given the capital of the universal empire as his fief?

Thus, Magmet Saltan had valiant soldiers under him and he enlivened their hearts, so that they were always ready “to play the game of death for him” and he ordered the judges to judge justly, so that the dead do not accuse the living.<sup>8</sup> He then sent officers who checked whether or not

<sup>5</sup> Not by chance Ivan Groznyj opens his first letter to Andrej Kuyrbskij with a quotation from Proverbs, 8:15

Богъ нащъ Троица, иже предже векъ сый и ныне  
 есть, Отецъ и Сынъ и Святыи Духъ, ниже начала  
 иметь, ниже конца, о нем же живемъ и движемъся,  
 им же царие величаются и силнии пишут правду  
 [see: L’idea di Roma a Mosca]

<sup>6</sup> See the letters of the starec Filofej of Pskov to Vasilij III: [see: L’idea di Roma a Mosca, p. 162, ff; Синоцина, с. 133 и далее].

<sup>7</sup> See: [Scritti Politici, p. 25, note 85]. Rareš was a distant relative of Elena Glinksaja, mother of Ivan IV.

<sup>8</sup> So that the judges would not carry during the night corpses in the estates of those whose properties they intended to steal and then accuse them of murder. This is a clear allusion to the abuses to which had led the establishment of the vna.

the judges judged well. If the judgement of the judges was negative, he skinned them, filled their skin with hay and hung them in the village square, and if their skin grew back he pardoned them.<sup>9</sup> He did not rely on the judgment of the magnates, who are lazy because they are afraid to lose their many possessions: this was, in fact, the reason for the fall of the *Car'* Constantine.<sup>10</sup> Magmet in fact rules with an iron fist, rewarding the good (the soldiers and the good judges) and punishing the wicked horribly but justly.

It cannot be missed, however, that Peresvetov, once the legitimacy of a model is established, referring it to the conqueror of Constantinople, later introduces elements – probably better known to him – introduced by Suleiman the Magnificent: such as the institution of judicial inspectors [Bombaci, p. 384].

Peresvetov's model is Turkish, somewhat due to second-hand knowledge, but it reflects the basic idea of a state in which the sovereign makes the laws, applies them with 'severity', founding his authority and his power on a 'caste' (not a 'class', as Zimin affirms) of professional soldiers and loyal judges who own him their fortunes and lives. It is not difficult to detect the system of *devshirme* and the corps of the Janissaries in the background of Peresvetov's *specula principis* [Veinstein; Mantran; Histoire de l'Empire ottoman].

At the base of all that is a revolutionary concept of the state, even with respect to the model in evolution of the *Sudebniki* at the end of the 15<sup>th</sup> and the beginning of the 16<sup>th</sup> century: a concept which, in a total break with the *starina*, delineates a state which is not only centralized and administrated in a 'complex' manner, but also a state governed by a sovereign whose word-law goes beyond the traditions,<sup>11</sup> and who has the power not only to administrate but also to legislate. Ultimately the sovereignty comes through the people from God who, as in the accounts of the Zemskij Sobor during which Michail Fedorovich Romanov was chosen as the new *car'*, whispers to the hearts of those who listen "*strachom i trepetom*," the words which sanction earthly authority [Maniscalco Basile, 1987].

The idea of sovereignty, therefore, had a slow evolution in Russia, but in the second half of the 16<sup>th</sup> century and the beginning of the 17<sup>th</sup> century, it was already mature and deeply rooted.

Although the Ivan Groznyj's reign has sometimes been seen by historians as an era of cruelty and barbarity, it does, however, indicate a time in which this idea moves forward and affirms itself in a way so profound that it constitutes the base of the Russian state for centuries to come [see: De Madariaga, p. 207].

---

<sup>9</sup> The penalty of skinning was common for corrupt judges in many other European regions. There is a legend according to which the Emperor Charles V ordered that the skin of some corrupt Sicilian judges should upholster the chairs of their successors, and an alley in Palermo, along which the judges were brought to their fate, still has the name of "Discesa dei Giudici (Alley of Judges)." In a museum in Bruges, there is an anonymous 15<sup>th</sup>-century painting depicting the torture of skinning inflicted to a prevaricating judge.

<sup>10</sup> Peresvetov writes about Constantin XI, the last Roman basileus of Constantinopolis.

<sup>11</sup> About the basics of Roman law on *consuetudo* see: C. 8.52 [53] and D. 1.3.32.



If Ivan Peresvetov had identified the cornerstones of a modern state (justice, army, centralized administration), it is, however, the Church which stamps its seal on the doctrine of sovereignty of the *Car'*, sanctioning the profound interpenetration of *sacerdotium* and *imperium*.

### The idea of sovereignty

The definition of the territory on which the power connected to a certain office is wielded is essential to the definition of the political *content* of that office. If said content was allowed to be positioned within a system of Cartesian coordinates, it would show that this is a function of the greater or lesser territorial area in which the orders issued by the person in office must be applied.

On the basis of this type of structure – we could say, more precisely, of mathematical metaphor – it cannot be doubted that, in the case of the Roman empire, at least within the ideological apparatus which describes it, in Rome, in Constantinople and then in the West, according to which the sovereign is *legibus absolutus* and *dominus mundi*,<sup>12</sup> this office tends towards infinity. The emperor, in fact, is, on one hand “*lex animata in terris*”, and on the other he dominates the *oecumene*: the entire inhabited world.

If this ideological structure is affirmed clearly with reference to the Western and Eastern Roman empire, it is less clear, or at least poses some questions, when the ideas which make up its fabric filter into cultures different from the Roman one, partially but not completely derived from, and not totally homogeneous to it.

In the *Skazanie o knyazjakh Vladimirskih* (*Tale of the Princes of Vladimir*) [see: *L'idea di Roma a Mosca*, p. 11], the chronicler seems to make the idea of *oecumene* shift towards a vaguely similar or at least strongly correlated meaning to the patrimonial one of the *otčina*. In other 16<sup>th</sup> century Russian texts, though, the doctrinaire elaboration regarding the power of Muscovite princes seems to gradually draw closer, not without some hesitations, to the Roman one [see: Maniscalco Basile, 1991].

Here some questions must be asked about the interpretation of two documents of great importance for the understanding of Russian political thought in 16<sup>th</sup> century: the allocution pronounced by the Metropolitan of Moscow, Makarij, during the ceremony of coronation of Ivan IV<sup>13</sup> and the *Stepennaja kniga* [*L'idea di Roma a Mosca*, p. 50] are very significant with regard to this point. The focus of the analysis will have to be concentrated on a key term: *carstvo*; a term whose interpretation entails the exploration of both the aforementioned coordinates: power and the space of the power.

<sup>12</sup> See, among the many references, Odofridus, *Commentaria in Digestum*, Prima const., I, 1, (fol. 2, 2): “[Imperator]. Quia princeps Romanorum vocatur Imperator: quia ipse est qui omnibus subsistentibus sub sole debet posse imperare...”

<sup>13</sup> “...да умножит Господь Бог лет царству твоему и положит на главе твоей венец от камени честна, и дарует тебе долготу дней и вдаст тебе Господь в деснице твоей скипетр царствия, и посадит тя на престоле правды <...> и покорит тебе вся языки варварския <...>” [see: *L'idea di Roma a Mosca*, p. 83].

In both the texts I mentioned, the term “*carstvo*” is often correlated with the connotative terms “*russkoe*” and, sometimes, with “*moskovskoe*”. These words are obviously of great importance, in order to understand the meaning of the political form to which they refer. If they were, in fact, mere ‘geographical’ connotative, the *car*’ would only be the sovereign of a territory delimited by certain boundaries within the *oecumene*: those of Russia, or of Muscovy. Would the value of the term be different, though, if it did indicate the location of the power, but not its extension: that is, ‘empire’ which coincides with Russia or empire which has its *caput* (maybe *mundi*) in Russia, and in the “imperial city” (*carstvujuschij grad*) of Moscow?

The problem has been dealt with, amongst others, by David Miller [Miller, 1979a; 1967], who observed how, in the *Stepennaya kniga*, the structure of Agapetus was adapted to a limited territorial area, that of Russia, and this interpretation finds many confirmations in sources from the 15<sup>th</sup> and 16<sup>th</sup> century,<sup>14</sup> but there is some evidence of the fact that, inside this document – and others which are coeval, coming from the same cultural *milieu* – such an interpretation could appear restrictive.

First of all, it must be considered that meaning of “*carstvo*” does not only depend on “*y*” (in my mathematical metaphor: the boundaries of the empire), but also on “*x*”, that is, on the measure of the independence of the holder of the office of *car*’ from norms put in place by others than him: that is, in the political context of 16<sup>th</sup> century Russia and in other and more usual words, on the relationships between *sacerdotium* and *imperium*.

As can be seen, despite the limitedness of the field of analysis (the two aforementioned documents), the research is very complex and involves all of the most problematic and delicate areas of discussion relative to Russian political thought in the 16<sup>th</sup> century.

### The shift of the space of power

One of the main problems which arise in the historical analysis of the ideology which is at the base of a certain political system is that of verifying if, when a political concept, coming from a specific culture is adopted by a different culture, becomes, or not, so to speak, ground, mixed with autonomous autochthonous ingredients and reassembled in such a way that, although maintaining the original *nomen*, it takes on a different juridical and political meaning.

Using an analytical approach which takes into account this perspective as to Makarij’s allocution, one wonder what is the Metropolitan of Moscow’s

<sup>14</sup> See Ivan III’s answer a Frederick III of Augsburg:

<...>

А что еси нам говорил о королевстве, есть ли нам любо от цесаря хотети кралем поставлену быти на своей земле, – и мы Божию милостию государи на своей земли изначяла, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы..., а поставления как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим...

concept of “*vselennaja*” (oecumene), and which are the filtering categories which allow the transposition of the Roman idea of oecumene within Russian culture in the 16<sup>th</sup> century?

First of all, it must be noted that Makarij creates his own interpretation of Agapetus’ theory, as it was elaborated in Russia by Iosif Volockij: as to the body of the car’ it is similar to any other man, but his power is likened to that of God Almighty [Волоцкий, с. 546]. He received the power to govern all of humanity and he has the obligation to protect it from the wolves and to bring the “Heathen” to the true faith [Miller, 1967, p. 560; Барсов, с. 57–58]. The purpose of his power, therefore, is justice (*pravda*, which means also truth): he has to hold the celestial sickle and not give liberty to those who do evil, whose souls have already left their bodies. Protecting the holy ecumenical church and exercising just judgement is most of this duty [Там же, с. 58].

Ivan IV’s enthronement ceremony, however, shows an interesting dual coronation [Там же, с. 49–50]: it is Ivan IV himself, in fact, who declares to the Metropolitan that his ancestors were princes of Vladimir, Novgorod and Moscow, asking for recognition of these titles. Makarij does so and blesses the sovereign, but Ivan IV continues, asking to be “anointed and crowned great prince and car’ crowned by God, according to our ancient custom (*starina*)” [Там же, с. 48].

The overlapping is evident, in this formula, of two different ‘offices’: that of the heir of the “*otčina*” of all of Russia [Там же, с. 46], and that of a car’ crowned by God. But according to which ‘ancient custom’, if in none of the previous *chiny venchanija* [L’idea di Roma a Mosca, p. 67] do explicit references to an ecumenical enthronement appear? One could think of Vladimir Monomach, spoken of in the legend certainly known to the Metropolitan of Moscow, who reports it in the Velikije Minei-Čet’i [Там же, p. I 1]. In fact, at the end of the first chapter of the I Step of the *Stepennaja Kniga*, referring to Vladimir Jaroslavich’s baptism, the text says that, with baptism, the prince of Kiev:

Василие наречень бысть. Василие  
же по Греческому языку глаголется,  
по Русскому же языку толкуется царь.  
Василий бо царское священство, царское  
же и божественное именованье

[Степенная книга, с. 60]

Therefore, with baptism the first Russian Christian prince and converter to Christianity of the Rus’ is *basileus* and car’, and it is a sacred ‘investiture’ which, on one hand, clearly separates ‘patrimonial’ power from ‘ecumenical’ power; on the other, it makes it possible for Russia, initially only “*otčina*” of the prince, to become the solid nucleus of aggregation of all the members of the Orthodox church and all of those who should have

become members, that is, all of humanity [Барсов, с. 51]. That political conception, therefore, instead of looking at the contrast between *otčina* and *oecumene* with embarrassment, manages to reconcile the limitedness of Russian borders with their future extension to all inhabited lands.

### Constantine, Vladimir and Ivan IV

From this point of view, it may be possible to read Miller' [Miller, 1970, p. 440] interpretation of "*russkoe carstvo*", contained in the *Stepennaja kniga*, differently.

Besides the substantial allusions to the Augustan ancestry of the Muscovite princes, the *Stepennaja kniga* gives significant prominence to their ancestors from Kiev, whose title transfers from Kiev, to Vladimir and, finally, to Moscow: that is, to the Christian princes: to Ol'ga and, above all, to Vladimir Svjatoslavič who – like Constantine – converted his people [Послание Новгородского архиепископа Макария, с. 22–23; Miller, 1970, p. 103], just like Ivan IV will have to convert the Heathen to the true faith [Барсов, с. 51].

The union in the person of the prince of the right-duty to carry out justice and that of converting the pagans, conceals a sort of "*plenitudo potestatis*" which seems to give an etymological and not only ceremonial meaning to the term "*carstvujučij grad*" [Там же, с. 56]: the *russkoe carstvo* is not a reign whose borders coincide with those of Russia, but the Russian empire, in which the "empire-city" and also all of barbarian peoples (all the world) must be included, the latter converted to the true faith by its prince-*sacerdos*.

Such a structure suggests a certain syncretism, but not a contradiction, at least in so much as, for example, Frederick II could be both the king of Sicily and emperor: king of a *regnum* and emperor of all of the *regna*, including his own.

In the conception which seems to be at the base of the two document I am referring to, a more mature and complete elaboration of the Muscovite prince's sovereignty can be noted, as compared to that which emerges from genealogical legends, and also – maybe – compared to that of Filofej. And the legendary, symbolic and prophetic approach is substituted by a more lucid structure which hinges once again on the imperial continuity of the three Romes and the figures of the emperors-apostles: first Constantine, then Vladimir Svjatoslavič and, finally, Ivan IV: sovereigns and converters to Christianity and, as such, "apostles, and for this same reason all three *basileis*."

The eschatological duty of the Muscovite ruler – duty which he inherited from his ancestors and from Constantine – makes up the 'mask' of the *translatio* of the imperial ideology from Roman-Constantinopolitan culture to the Russian one, where it seems to coexist without contrast with the patrimonial sovereignty. It is this 'mask' which makes the succession

of the rulers of the oecumene noteworthy: the empire of Augustus is marked by the birth of Christ, that of Constantine and Vladimir by their apostolic duty, while the principedom of Rjurik – the link between Rome and Kiev – Vladimir – Moscow – is just a great power (*velikaja derzhava*) [Там же]: the ‘mask’ does not always correspond to the facts, and in this case the facts are simply absorbed, as they are, into the parabola of the formation and affirmation of the Muscovite empire.

This empire maintains its own patrimonial stability which acts as support, when the conditions demand it (for example, when the prince is called to convert ‘barbaric peoples’), for the ecumenical vocation of the *carstvo*.

Makarij’s conception appears, therefore, quite elastic from a strictly political point of view, but not less vast and all-inclusive: when the princes were not also “apostles, they were, in any case, hereditary sovereigns, repositories of a sacred inheritance. When they were – or will be – instruments of the conversion of barbaric peoples, they were – and will be – emperors and “apostles” and, as such, *domini mundi*.

As shown, the Russian State is rapidly consolidated in the 16<sup>th</sup> century with the formation of the essential organs of a “modern” State:<sup>15</sup> justice, army, legislative power of the sovereign.

A structure of power whose justification – a unique case in the panorama of the European monarchies of the time – is both descendent and ascendant: from God to the people, from the people to the sovereign.

It is a particularly elastic ideological structure, such that it allows that the ascendant justification of power (i. e.: in the Zemskie Sobory between the end of the 16<sup>th</sup> and the beginning of the 17<sup>th</sup> century) but also the descendent one (from God to the *car*) mix, expanding the (absolute) power of a *car*, whose authority derives directly or indirectly from God, well beyond the borders of Muscovy towards the unlimited territory of cecumene.

---

Барсов Е. В. Древне-русские памятники священного венчания царей на царство // ЧОИДР. 1883. № 74. Т. 1.

Великие Миней-Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1–13. СПб., 1868.

Волоцкий И. Просветитель // Слово IX. Казань, 1904.

---

<sup>15</sup> The historical category of “absolute state” has recently been called into question [see: Dunning and references there in], stating that the state that emerges from the Middle Ages in the Sixteenth and Seventeenth centuries would be better defined as “Fiscal-Military” rather than “Absolute”. Beyond the value (very modest) of labels stuck to complex historical phenomena, the new definition seems ignore that the attribute “absolute” connected to the state does not allude to a state in which the monarchical power, instead of being tied to the ancient medieval institutions and relatively weak, it is strong and, we would say with in modern terms, authoritarian. In the historical categorization, “absolute” simply means that, as stated by Jean Bodin, the sovereign has the power to make laws “without the consent of his subjects” [cf.: Quaglioni, 2004, p. 45 and ff. and references cited therein]. To be “legibus absolutus”, of course, does not mean that the monarch is allowed to do whatever he likes, but it means that he is not bound by the customary laws that formed the juridical substrate of Medieval reigns. In a word: he is a legislator.

Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века / отв. ред. М. Н. Тихомиров. М. : Изд-во АН СССР, 1958. 498 с.

Повесть временных лет. Ч. 1 / текст и пер., подгот. текста Д. С. Лихачева, пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1950. 405 с. (Сер. «Литературные памятники»).

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 1 : Лаврентьевская летопись / под ред. И. Ф. Карского. М. : Изд-во АН СССР, 1962.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 21. 1-е изд. Половина 1-я. Книга Степенная царского родословия (1–10 степени грани). СПб., 1908. 350 с.

Послание Новгородского архиепископа Макария великому князю Василию Ивановичу, об учреждении общежития в Новгородских монастырях // ДАИ. I. № 25. С. 22–23.

Послания Ивана Грозного / подгот. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье ; пер. и коммент. Я. С. Лурье. М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1951. 715 с. (Сер. «Литературные памятники»).

Синицына Н. В. Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М. : Индрик, 1998. 416 с.

Сочинения И. Пересветова / подгот. текст А. А. Зимин. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956.

Штамм С. И. Судебник 1497 года : учеб. пособие по истории государства и права СССР. М. : Юрид. лит., 1955. 112 с.

Agarpetus and the West: the fate of a Byzantine “Mirror of Princes” // *Revue des Etudes Sud-East Européennes*. 1978. XVI. P. 3–44.

Bombaci A., Shaw S. J. *L’Impero Ottomano*. Torino : UTET, 1981.

*De Madariaga I. Ivan il Terribile*. Torino : Einaudi, 2005.

Diamond J. Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies. New York ; London : W. W. Norton & Co., 1997.

Dunning C. Were Castile and Muscovy the First Fiscal-Military States? // *Quaestio Rossica*. 2014. № 1. P. 191–197.

Eis Konstantinon Triakontaeterikos /EusechiusWerke/ I. Heikel. Leipzig, 1902.

Histoire de l’Empire ottoman / R. Mantran. Lille : Fayard, 1989.

Kaiser D. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton : Princeton Univ. Press, 1980.

Kantorowicz E. H. The King’s two bodies. A study on Mediaeval Political Ideology. Princeton : Princeton Univ. Press, 1957.

L’idea di Roma a Mosca, Secoli XV–XVI / P. Catalano and V. T. Pašuto. Roma : Herder, 1992.

Maniscalco Basile G. La sovranità ecumenica del gran principe di Mosca: Genesi di una dottrina: fine XV – inizio XVI secolo. Milano : Giuffrè, 1983.

Maniscalco Basile G. Popolo e potere in Russia nel XVI e nel XVII secolo // *Il Pensiero Politico*. XX. 1987. № 3. P. 307–339.

Maniscalco Basile G. Aspetti popolari e religiosi della legittimazione del potere in Russia nei secoli XVI e XVII. Palermo, 1988.

Maniscalco Basile G. Ivan Semenovič Peresvetov e la Povest’ o Cargrade. Forma e ideologia politica // *Europa Orientalis*. 1990. 9. P. 211–235.

Maniscalco Basile G. Alcune osservazioni sul significato del termine “vseleennaya” nello Skazanie o knyaz’jakh vladimirskich // *Il Pensiero Politico*. XXIV. 1991. N. 2. P. 245–257.

Mantran R. L’Empire ottoman du XVIe au XVIIIe siècle. Administration, économie, société. London : Variorum, 1984.

Migne // PG. 86. 1.

Miller D. B. The literary activities of Metropolitan Makarius: a study of Muscovite political ideology in the time of Ivan IV : diss. Columbia Univ., 1967; Univ. Microfilms, Inc. Ann Arbor, 1970.

Miller D. B. The Velikie Minei Chetii and the Stepennaia Kniga // *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*. 1979a. Bd. 26.

Miller D. B. The Velikie Minei Chetii and the Stepennaja Kniga of Metropolitan Makarij and the Origins to Russian National Consciousness. Wiesbaden : Harassowitz, 1979b.

Quaglioni D. La sovranità. Roma ; Bari : Laterza, 2004.

Quaglioni D. Una fonte di Bodin: Andre Tiraqueau (1488–1558), giureconsulto. *Apuntisu De Republica*. III, 8 // La “Republique” di J. Bodin. Firenze, 1980.

Scritti Politici di Ivan Semenovic Peresvetov / a cura di G. Maniscalco Basile. Palermo : A. Giuffrè, 1976.

Shevcenko I. A neglected Byzantine source of Muscovite political ideology // *Harvard Slavic Studies*. 1954. 11. P. 27–34.

Uhlmann W. *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*. London : Methuen, 1961.

Veinstein G. *État et Société dans l'Empire ottoman, XVIe-XVIIIe siècles*. Aldershot, Hampshire, Great Britain ; Brookfield, Vt., USA : Variorum, 1994.

Viterbo G. da. *Liber de regimine civitatum* // *Biblioteca jurídica medii aevi* / ed. by G. Salvemini. Vol. 3. Bologna, 1901.

Agapetus and the West: the fate of a Byzantine “Mirror of Princes”. (1978). *Revedes Etudes Sud-East Européennes*, XVI, 3–44.

Bombaci, A. & Shaw, S. J. (1981). *L'Impero Ottomano*. Torino: UTET.

Catalano, P., Pašuto, V. T. (Ed.). (1992). *L'idea di Roma a Mosca, Secoli XV–XVI*. Roma: Herder.

De Madariaga, I. (2005). *Ivan il Terribile*. Torino: Einaudi.

Diamond, J. (1997). *Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies*. New York; London: W. W. Norton & C.

Dunning, C. (2014). Were Castile and Muscovy the First Fiscal-Military States? *Quaestio Rossica*, 1, 191–197.

Eis Konstantinon Triakontaeterikos. (1902). In I. Heikel (Ed.) *Eusehios Werke*. Leipzig.

Kaiser, D. (1980). *The Growth of the Law in Medieval Russia*. Princeton: Princeton Univ. Press.

Kantorowicz, E. H. (1957). *The King's two bodies. A study on Mediaeval Political Ideology*. Princeton: Princeton Univ. Press.

Maniscalco Basile, G. (1976). *Scritti Politici di Ivan Semenovic Peresvetov*. Palermo: A. Giuffrè.

Maniscalco Basile, G. (1983). *La sovranità ecumenica del gran principe di Mosca: Genesi di una dottrina: fine XV – inizio XVI secolo*. Milano: Giuffrè.

Maniscalco Basile, G. (1987). Popolo e potere in Russia nel XVI e nel XVII secolo. *Il Pensiero Politico*, XX, 3, 307–339.

Maniscalco Basile, G. (1988). *Aspetti popolari e religiosi della legittimazione del potere in Russia nei secoli XVI e XVII*. Palermo.

Maniscalco Basile, G. (1990). Ivan Semenovič Peresvetov e la Povest' o Cargrade. Forma e ideologia politica. *Europa Orientalis*, 9, 211–235.

Maniscalco Basile, G. (1991). Alcune osservazioni sul significato del termine “vselenaya” nello Skazanie o knyaz'jakh vladimirskich. *Il Pensiero Politico*, XXIV, 2, 245–257.

Mantran, R. (1984). *L'Empire ottoman du XVIe au XVIIIe siècle. Administratio'n, economie, societe*. London: Variorum.

Mantran, R. (1989). *Histoire de l'Empire ottoman*. Lille: Fayard.

Migne. *PG*, 86, 1.

Miller, D. B. (1967). *The literary activities of Metropolitan Makarius: a study of Muscovite political ideology in the time of Ivan IV*. (Dissertation). Columbia Univ.

Miller, D. B. (1979a). The Velikie Minei Chetii and the Stepennaia Kniga. *Forschungen zur osteuropaischen Geschichte*, 26.

Miller, D. B. (1979b). *The Velikie Minei Chetii and the Stepennaja Kniga of Metropolitan Makarij and the Origins to Russian National Consciousness*. Wiesbaden: Harassowitz.

Quaglioni, D. (1980). Una fonte di Bodin: Andre Tiraqueau (1488–1558), giureconsulto. *Appuntisu De Republica*. In J. Bodin (Ed.). *La “Republique”*, III, 8.

Quaglioni, D. (2004). *La sovranità*. Roma; Bari: Laterza.

Shevcenko, I. (1954). A neglected Byzantine source of Muscovite political ideology. *Harvard Slavic Studies*, 11, 27–34.

Uhlmann, W. (1961). *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*. London: Methuen.

Veinstein, G. (1994). *État et Société dans l'Empire ottoman, XVIe–XVIIIe siècles*. Aldershot, Hampshire, Great Britain; Brookfield, Vt., USA: Variorum.

Viterbo, G. da. (1901). *Liber de regimine civitatum*. In G. Salvemini (Ed.). *Biblioteca jurídica medii aevi*. (Vol. 3). Bologna.

Barsov, E. V. (1883). Drevne-russkie pamyatniki svyashennogo venchaniya czarej na czarstvo [Old Russian monuments of sacred coronation of tsars]. In *CHOIDR* [Readings in the society of history and antiquities of Russia], 74. (Vol. 1).

*Great Lives of Saints gathered by All-Russian metropolitan Makarius*. September, 1–3. St. Petersburg.

Karskij, I. F. (Ed.). (1962). *Polnoe sobranie russkikh letopisej. Lavrent'evskaya letopis'*. [Complete Edition of Russian Chronicles. Laurentian Chronicle]. (Vol. 1). Moscow: Izd-vo AN SSSR.

Lihachev, D. S. (Rewrite). (1950). *Povest' vremenny'h let* [The Tale of Bygone Years]. (D. S. Lihachev, B. A. Romanova, Trans.). Part 1. Series “Literaturnye pamyatniki”. Moscow; Leningrad: Izd. AN SSSR.

Lihachev, D. S., Lurie, J. S. (Rewrite). (1951). *Poslanie Ivana Groznogo* [Letter of Ivan the Great]. (J. Lurie, Comm., Trans.). Series “Literaturnye pamyatniki”. Moscow; Leningrad: Izd. AN SSSR.

*Polnoe sobranie russkikh letopisej (PSRL). Polovina 1-ya. Kniga Stepennaya czarskogo rodosloviya (1–10 stepeni grani)* [Complete Edition of Russian Chronicles. 1<sup>st</sup> half. The Book of Royal descent (1–10 degree verge). (1908). (1<sup>st</sup> ed.). St. Petersburg.

Poslanie Novgorodskogo arhiepiskopa Makariya velikomu knyazyu Vasiliyu Ivanovichu, ob uchrezhdenii obshhezhiya v Novgorodskih monasty'ryah [Letter of Novgorod archbishop Makarius to grand prince Vasily Ivanovich on hostel initiation in Novgorod monasteries]. In *DAI*, I, 25 (p. 22–23).

Shtamm, S. I. (1955). *Sudebnik 1497 goda: ucheb. posobie po istorii gosudarstva i prava SSSR* [Law Book of 1497: study guide on history of state and law of the USSR]. Moscow: Yurid. lit.

Sinicy'na, N. V. (1998). *Tretij Rim: istoki i e'voluciya russkoj srednevekovoj koncepcii (XV–XVI vv.)* [The third Rome: the origins and evolutions of Russian medieval concept (XV–XVI cc.)]. Moscow: Indrik.

Voloczkij, I. (1904). *Prosvetitel'* [Enlightener]. In *Slovo IX* [Word IX]. Kazan.

Zimin, A. A. (Rewrite). (1956). *Sochineniya I. Peresvetova* [Works by I. Peresvetov]. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR.

Zimin, A. A. (1958). *I. S. Peresvetov i ego sovremenniki. Ocherki po istorii russkoj obshhestvenno-politicheskoj my'sli serediny' XVI veka* [I. S. Peresvetov and his contemporaries. Essays on the history of Russian socio-political thought in the middle XVI century]. M. N. Tihomirov (ch. ed.). Moscow: Izd-vo AN SSSR.

*Translated by prof. Irina Dergacheva*

*The article was submitted on 12.05.2014*

**Джованни Манискалко Базиле**  
профессор  
Италия, Университет Рим III  
gianni.maniscalco@gmail.com

**Giovanni Maniscalco Basile**  
Professor  
Italy, Third Rome University  
gianni.maniscalco@gmail.com



**«КАК БЫ СЛУЖБУ НАМ УСТРОИТИ»:  
ВОЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
СЕРЕДИНЫ XVI в.**

**“HOW SHOULD WE ORGANIZE OUR SERVICE”:  
ON THE CHANGES OF MILITARY ORGANIZATION  
IN THE MID-16<sup>TH</sup> CENTURY**

The author considers the correspondence between oprichnina terror and the unsolved issues in military service between the 1550s and 1560s. The analysis references a vast number of records, i. e. court records (1550s), desyatni, Boyar books (1555–1556), cadastres, Novgorod order books, and private acts. The author studies the functional potential of the social reforms of the Select Council (Izbrannaya rada). This approach enables the author to sketch a gradual increase in problems for the Muscovite government and its attempts to solve them. The inefficient mobilization of the service class, resulting from the earlier Boyar rule, caused the service class's poor combat readiness and lack of property. The reforms that were carried out to resolve the situation were limited and worked slowly; thus, constraint and repression were crucial for the policy of the oprichnina years, which continued the policy of the 1550s, radicalizing it.

**Key words:** Ivan the Terrible; oprichnina; repressions; tsar's court; estate system; taxes; desyatni.

Ставится вопрос о связи механизма опричного террора с нерешенными вопросами организации службы, актуальными для времени 50-х – начала 60-х гг. XVI в. Исследование основано на привлечении широкого круга делопроизводственных документов: Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в., десятины, Боярская книга 1555/56 гг., писцовые книги, материалы новгородской приказной избы, частные акты. Рассматривается функциональный потенциал социальных реформ «Избранной рады». Такой подход позволяет выстроить картину постепенного нарастания проблем и попыток их решения, исходя из средств, имеющихся в арсенале московского правительства. Комплекс проблем, доставшийся со времен боярского правления, не позволял эффективно использовать мобилизационные возможности массы служилых людей, негативно сказываясь на их обеспеченности землей и боеготовности. Проводившиеся с этой целью

реформы были ограничены по своему характеру и не могли обеспечить быстрые результаты. Форсировать этот процесс должны были принудительные методы воздействия и репрессии, взятые за основу политики в опричные годы. В этом отношении опричнина продолжала начинания 1550-х гг., радикализовав их внутреннее содержание.

**Ключевые слова:** Иван Грозный; опричнина; репрессии; Государев двор; поместная система; оклады; десятины.

Для осмысления феномена опричнины необходимо разделять две основные ее составляющие: личные взгляды и антипатии Ивана Грозного, который, не отличаясь излишне толерантным характером, сосредоточил в своих руках немислимые для традиционных европейских монархий объемы власти, и существующие проблемы, проявившиеся в ходе создания системы централизованного управления Русским государством.

Трудно предположить, что у самого Ивана IV существовало четкое понимание направленности своих действий. Вне зависимости от симпатий или антипатий первого русского царя существовал, однако, ряд проблем объективного характера, «важные вопросы, которые задавал век государству», по определению С. М. Соловьева, с решением которых не удалось успешно справиться в предшествующие десятилетия. Опричнина, а точнее, механизм опричного террора, в этом отношении была не отдельным институтом, а инструментом, позволявшим быстро и решительно (под страхом репрессий) добиваться поставленных задач.

Наиболее характерным показателем изменения методов воздействия является система организации службы, которая с учетом сложившейся военно-политической модели Русского государства имела приоритетное значение для его развития [см.: Филюшкин]

Разрозненные источники, позволяющие охарактеризовать состояние дел с организацией службы в 1550-е гг., показывают, что необходимо было осуществить серьезную «перезагрузку». Поместная система – основа военной организации – была представлена в это время в нескольких вариациях. В новоосваиваемых уездах, где массовые поселения начали проводиться сравнительно недавно, существовала реальная возможность строить служебные отношения на единых «правильных» основаниях, не считаясь со сложившимися традициями. В «старых» поместных уездах, к которым относились, к примеру, Новгородская земля и Тверской уезд, служебные отношения уже находились в более устоявшемся состоянии, изменить которые было проблематично. Еще большее разнообразие существовало в центральных уездах страны, где поместья соседствовали с вотчинами, дополняя друг друга. В этом случае вряд ли вообще приходилось говорить о каком-то единообразии и действенном контроле над этим процессом со стороны центрального правительства. В. Б. Кобрин приводил даже пример раздела поместий по завещаниям [Кобрин, с. 94]

О состоянии дел на территории Тверского уезда красноречиво свидетельствует дозорная книга 1551–1554 гг. По наблюдениям М. М. Крома, всего в этом источнике зафиксировано 1173 землевладельца, из которых на службе у царя и великого князя находилось всего 489. 168 человек несли частную службу, а еще 220 не служили никому [Кром, 2012, с. 427]. В числе последних были землевладельцы из числа помещиков. Подавляющее большинство «старых» помещиков служило с земель, переданных им в предшествующие десятилетия без дополнительных «придач», хотя зачастую их владения принадлежали уже нескольким совладельцам. Некоторые из них не служили «государеву службу», в других случаях (конюхи К., Ф. Г. Софроновские) их поместья были фактически отобраны соседями из числа знати. Отсутствовал действенный механизм перераспределения «вдовьих» наделов. Полноценными поместьями, не принимая во внимание вдову знатного князя В. А. Микулинского, владели вдовы помещиков А. Ширяева, О. Ларионова и С. Юрлова [Писцовые материалы Тверского уезда XVI века, с. 99, 104]. Раздачи конца 1530-х гг., времени «большого поместного верстанья», производились здесь достаточно произвольно. Размеры передаваемых земель не преследовали цели соответствовать определенным поместным окладам. Значительные массивы земель, в результате, оказались в распоряжении у лиц, связанных с придворной средой.

Складывается впечатление, что работа поместной системы, начало которой было положено еще в 80-е гг. XV в., в этом случае была пущена на «самотек», что привело к плачевным результатам.

Несколько лучше был налажен механизм функционирования поместной системы в Новгородской земле. Но и здесь к началу 1550-х гг. наметились серьезные проблемы. Согласно Летописцу начала царства, во время казанского похода 1552 г. «много же несогласию бывшу в людех, дети боярские ноугородцы... бьют челом, что им невозможно столко будучи на Коломне на службе от весны, а иным за царем ходящим и на боих бывших да толику долготу пути идти, а там на много время стояти». Это заявление едва не привело к срыву всего похода [ПСРЛ, т. 29, с. 85]. В новгородских писцовых книгах и делопроизводственных материалах новгородской приказной избы сохранились имена нескольких десятков казанских «нетчиков» – помещиков, которые не смогли явиться на службу. Все они лишились своих поместий, которые были возвращены им только спустя несколько лет. Дальнейшие разбирательства показали, что в ряде случаев упомянутые «нетчики» действительно были не в состоянии нести службу. Поместье М. М. Палицына, например, было «все пусто и лесом поросло, от голоду и от лихого поветрея и от податей» [Дополнения к актам историческим..., с. 92–93]. Писцовые книги фиксируют большое количество помещиков, вынужденных служить с минимальных земельных наделов, находящихся в совместном управлении нескольких родственников.

Отсутствие источников не позволяет оценить масштабы уклонения от службы. Позднее в переписке с князем А. М. Курбским Иван Грозный предъявлял очередные обвинения боярам-изменникам о «недоборе» служилых людей в казанском походе 1553 г.: «Егда же бог милосердие свое яви нам, и тот род варварский христианству покори, и тогда како вы не хотесте с нами воевати на варвары, яко боле пятнадцать тысящ, вашего ради нехотения, тогда с нами не быша» [Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, с. 87]. Эти цифры, выглядят вполне правдоподобными, учитывая реальную возможность Ивана IV сопоставить общую численность русского войска во время взятия Казани с недавним разрядом полоцкого похода 1563 г., в котором была задействована подавляющая масса имевшихся в наличии служилых людей.

Другой вопрос, который должен был постоянно вставать на повестку дня при организации крупных походов – уровень боеготовности армии. О. А. Курбатов отмечал низкий уровень «оружности» детей боярских и их «людей», упомянутых в каширской десятне 1556 г. Уровень земельного обеспечения каширян в целом был достаточно высоким, но количество имеющихся в их распоряжении доспехов и тягиляев было совершенно неудовлетворительным [Курбатов, с. 261].

Низкий уровень боеготовности в значительной степени объяснялся недостаточным уровнем обеспечения «воинников». В проектах вопросов к Стоглавому собору 1550 г. прямо поднималась тема несоответствия номинального и фактического поместных окладов: «А у которых отцов было поместья на сто четвертей, ино за детми ныне втрое, а иной голоден; а в меру дано на только по книгам, а сметить, ино вдвое, а инъде болши» [Памятники русского права..., с. 577]. Позднее, в 1556 г., при принятии «Уложения о службе» именно 100 четвертей рассматривались в качестве минимального поместного оклада. Как видно из этого сообщения, с момента проведения последнего верстанья и фиксации его итогов прошло значительное количество времени. «Валовая» перепись земель затронула в конце 1530-х – начале 1540-х гг. большое количество уездов Русского государства, но, очевидно, далеко не всегда преследовала цель упорядочить имеющиеся поместные оклады [Кром, 2010, с. 552]. В середине XVI в. нередки были случаи службы с куда меньших размеров поместий, составлявших 25–30 четвертей земли.

Система кормлений к этому времени отличалась громоздкостью и не давала возможности обеспечить потребности увеличивающейся в размерах массы служилых людей. Длинные очереди на получение кормлений, дальность перемещений по стране для получения «корма» делали этот институт крайне неэффективным. Приоритетное значение приобретал вопрос о рациональном перераспределении имеющегося земельного фонда.

Слабые организационные возможности центрального правительства по комплектации армии в значительной степени объяснялись

отсутствием необходимой информации об имеющихся мобилизационных ресурсах. Первый общевоинской смотру русской армии, нашедший отражение в комплексе десятен, был произведен в 1556 г. в Серпухове. В «боярской книге 1556/57 г.» упоминается «старый смотр в Казани в зимнем походе». Ссылки на него содержат сведения о сопровождавших детей боярских «людях» и их вооружении без сведений о землевладении, которое, очевидно, не было зафиксировано. По свидетельству официальной летописи, по своему размаху серпуховский смотр не имел аналогов: «И свезли к государю списки изо всех мест, и государь сметил множество воинства своего, еще прежде сего не быть так, многия бо крышася, от службы избываше» [ПСРЛ, т. 13, 1-я половина, с. 270].

Вероятно, что десятни, как документ, фиксирующий личный состав той или иной корпорации «служилого города», к началу XVI в. имели ограниченное распространение. Их место могли занимать списки отдельных обособленных корпораций, основанные на наследственном принципе комплектации. Выделение в структуре каширской десятки 1556 г. «становых отрядов» отчасти подтверждает это предположение. Многие из них имели исключительно дробный характер, обладали собственными традициями службы и служили по отдельному списку, часто не смешиваясь с другими группами. В казанском разряде 1549 г. встречается, например, разделение городских кашинских детей боярских на две группы: «кашинцы княж Юрьевские» и «кашинцы старые послужилцы», каждая из которых должна была собираться у своего воеводы, в Суздале и Ярославле соответственно. [Бенцианов, с. 106–107]. Наследственный статус службы и, видимо, ее коллективный характер обуславливали трудность учета. В Дворовой тетради 50-х гг. XVI в., показывающей характерный пример наследственного принципа комплектования, семьи детей боярских были записаны целыми «гнездами», с нередким включением в основной текст несовершеннолетних недорослей [Павлов, с. 89]. Определить точное количество лиц, подлежащих службе, и тем более определить уровень их служебного обеспечения и боеготовности по подобным делопроизводственным документам представлялось задачей непростой. Не удивительно, что при таком раскладе многие служилые люди ускользали из ведения дьяков. В Дворовой тетради сохранилась красноречивые пометы, относящиеся к В. Т. и В. С. Лапиным Заболоцким: «Не служит – помесья нет». И. Угримов Ухтомский, в свою очередь, был отмечен пометой «не служит и денег не имал» [ТКДТ, с. 129, 139, 146].

Анализ каширской десятки 1556 г. и «боярской книги 1556/57 г.» показывает, что в середине века московским правительством велась активная работа по унификации поместных окладов, которая, однако, в эти годы еще не была доведена до конца. В ряде случаев у проводивших верстание лиц не было сведений о поместных окладах, поэтому данные записывались со слов самих служилых людей. В отрывках новгородской десятки смотра того же 1556 г. прямо говорится об этой

процедуре: «И поместья их писаны, что которой за собою в памяти написал» [РГАДА, ф. 388, кн. 846, л. 544].

Такая же ситуация была описана в «боярской книге 1556/57 г.». У многих детей боярских государева полка отсутствовали поместные оклады, и отражение в этом источнике получило фактическое количество находящейся в их распоряжении земли. М. Т. Шетнев владел 147 четвертями земли, Я. И. Кузьмин — 1184, а И. Шапкин Рыбин — 503. Удаётся насчитать несколько десятков подобных примеров [Антонов, с. 82, 109]. Обращает внимание явное несоответствие принадлежащего Я. И. Кузьмину количества земли его действительному не слишком высокому статусу. В случае князя М. Ф. Бахтеярова Ростовского упоминается поместный оклад – полсохи со ссылкой на «старое письмо». Характерно, что уже валовая писцовая перепись конца 1530-х гг. описывала поместья в четвертях, т. е. в этом случае отсылка шла к более ранним писцовым описаниям. В сохах было описано также поместье Н. С. Вельяминова, который, правда, сам перевел его в четверти [Кольчева, с. 18; Антонов, с. 86, 110].

Отсутствие сведений по более ранним смотрам, фиксирующим размеры поместных окладов, приводило к необходимости опираться на «сказки» служилых людей, что вело к множественным искажениям. Например, Н. С. Вердеревский сказал, что «не ведает» о размерах собственной рязанской вотчины [Антонов, с. 91].

Раздача поместий по унифицированным окладам получила отражение в актовых материалах. В 1554 г. А. С. Сазонов получил поместье в Тульском уезде. Ему был присвоен отцовский поместный оклад: «велено по окладу учинить 100 четвертей». В рассматриваемом акте содержится ссылка на письмо В. Фомина и Я. Старого 1551/52 г. Скорее всего, одновременно с этим «письмом» (или даже несколько ранее) проводилось верстание тульских детей боярских. В 1557 г. прибавку к тульскому же поместью получил Третьяк Сухотин: «велено учинити поместья на 300 четей». В Мценском уезде поместья П. П. и Б. С. Жиленковым были отданы в соответствии с их поместными окладами — 100 и 50 четвертей. В 1550/51 г. поместье в 600 четвертей в Дорогобужском уезде было пожаловано новгородцу князю И. Б. Корецкому, а «на Велиже» в 300 четвертей – торопчанину Вериге Ушакову [Акты служилых землевладельцев XV – начала XVIII века, т. 4, № 133, с. 98; № 412, с. 306; № 458, с. 337; Дополнения к актам историческим..., с. 93, 110].

Невозможно определить, когда верстания были проведены для всех корпораций Русского государства. Для Новгородской земли имеются свидетельства источников о том, что здесь унификация поместных окладов в соответствии с едиными служебными нормами не была осуществлена еще в середине 50-х гг. При разборе поместных дел в 1555–1556 гг. дьяки делали характерную оговорку «до поместного верстания», которая свидетельствовала о нерешенности этого вопроса [ДАИ, с. 87, 88 и далее].

Поместные оклады 1550-х гг. имели вполне реальное значение, и их обладатели должны были со временем получить причитающееся им земельное обеспечение. Серпуховский городской приказчик В. Ситчин, производивший в 1555 г. отделение поместий, добросовестно относился к своему заданию: практически все фигурировавшие в списке лица получили земельные наделы в точном соответствии с их окладами. Столь же тщательно был организован процесс испомещения в Звенигородском уезде бояр и детей боярских Симеона Касаевича. Эта работа отражала планы правительства по приведению в порядок окладной системы: «поверстати по достоинству безгрешно... ино недостаточного пожаловати» [ПРП, с. 587].

Работа по систематизации поместных окладов и проведению верстаней была упорядочена и активизирована после выделения Поместной избы – будущего Поместного приказа. Заметным толчком для ее дальнейшего развития стало принятие «Уложения о службе», которое определило служебные нормы и было ориентировано на унифицированные оклады. Согласно этому документу предписывалось выставлять одного воина «со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву конь» [ПРП, с. 586].

При всей важности «Уложения» для организации службы реализовать его положения на практике в рамках всей страны было практически невозможно. Свободных земель для новых поместных раздач в центральных уездах страны осталось немного. Анализ писцовых книг Ярославского и Рязского уездов 1567–1569 гг. показывает, что размер поместья большинства старых помещиков существенно не дотягивал до минимальной нормы, не говоря уже о качестве принадлежавшей им земли. Аналогичная ситуация, судя по данным Полоцкой писцовой книги, существовала среди помещиков Невельского уезда, большинство из которых до пожалования полоцких поместий довольствовались наделами в 30–40 четвертей (при окладе в 200–250 четвертей).

Проведенная унификация окладов предполагала возможность фиксированного вознаграждения за успешную службу. Так, новгородский помещик князь Кудеяр Мещерский в 1568 г. должен был получить 50 четвертей земли за «невелскую послугу». В итоге же из его оклада в 350 четвертей (с учетом выслуги) ему «не дошло» 2/3 – 247 четвертей [Акты служилых землевладельцев XV – начала XVIII века, т. 4, №172, с. 142]. «Уложение о службе 1556 г.» было выстроено в соответствии с номинальными поместными окладами, что приводило к противоречию: требуемое число воинов не было подтверждено необходимым количеством земли. Именно это обстоятельство привело к быстрому нивелированию его норм. По наблюдениям О. А. Курбатова, уже к началу 1570-х гг. «Уложение» было практически отменено, а проведение верстаней отдано в руки окладчиков – представителей служилых корпораций [Курбатов, с. 281–282].

По этой же причине было парализовано проведение тысячной реформы 1550 г., которая должна была создать ядро для реформирования Государева двора. Судя по попытке воссоздать этот проект при учреждении опричнины («учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских дворовых и городских 1000 голов... И поместья им подавал в тех городех с однава, которые города поимал в опришнину»), а затем и в 1586 г. заново поставить вопрос о подмосковных поместьях, этой реформе уделялось особое значение. Государев двор в его сложившемся к середине XVI в. виде перестал удовлетворять новым требованиям московского правительства. Эта привилегированная «корпорация корпораций» утратила характер личного двора московских великих князей (царей), состав которого они могли менять, исходя из собственных пристрастий. Преимущество традиций службы, укреплявшаяся местнической системой и принципами родового выдвижения, заставляла ограничиваться определенным кругом фамилий при назначениях на наиболее важные должности центрального и местного аппаратов власти. Возросшая численность дворовых детей боярских (в середине века не менее 2500 человек), многие из которых в силу происхождения и родственных связей претендовали на получение кормлений и допуск к «разрядным» назначениям, вступала в противоречие с их действительной служебной годностью, находившейся далеко не на должном уровне. Даже частичное проведение тысячной реформы позволило значительно повысить качественный уровень исполнителей, привлекая для этой цели в том числе и лучших выходцев из городских детей боярских. [Зимин, с. 366–371].

Желания и потребность московского правительства «иметь под рукой» нужных им людей, тем не менее, столкнулись с дефицитом свободных земель в Подмоскowie. И если некоторые тысячники из центральных уездов, видимо, все-таки сумели получить здесь какие-то владения, то тысячники из Северо-Запада (более трети от общего числа) не получили такой возможности, что способствовало сохранению ими значительных элементов обособленности [Павлов, с. 265]. Получая поместья в городах «Московской земли», тысячникомовгородцы теряли свои новгородские поместья.

При этом у всех на виду существовал источник для новых поместных раздач. Выше уже было отмечено несоответствие некоторых фактических размеров поместий действительному статусу служилых людей в «боярской книге 1555/56 г.» «Уложение о службе» предполагало конфискации избытков земли: «преизлишки же роздели неимущим» [ПРП, с. 586]. На практике, однако, не было известно ни одного случая практической реализации этого плана. Само подобное несоответствие должно было иметь серьезное деморализующее действие и являться источником постоянного раздражения со стороны рядовых детей боярских.



В поисках свободных земель в 1550-е гг. проводились переселения служилых людей. Приписки к основному тексту Дворовой тетради показывают значительный масштаб этого процесса. Особенно существенными были изменения в центральных и пограничных корпорациях. И если первые теряли людей, то вторые приобретали их.

Существенно обновились в это время будущие опричные территории. Состав Можайской корпорации пополнили старичане Ф. А. Голостенев, Д. и Жокула З. Новосильцевы, А. Услюм В. Валуев, суздалец Т. И. Тетерин-Пухов, галичанин Копоть Жуков Зачесломский, москвич П. Д. Семенов, владимирец А. И. Варганов. Вяземскими помещиками в 50-е гг., в свою очередь, стали суздалец Д. И. Черемисинов, тверичи И. Д. и Лопата В. Посевьевы, кашинец В. О. Кувшинов, переславец А. Т. Михалков, муромец Мещерин Ф. Прокофьев, новокрещен князь И. Тевекелев, новгородец князь Ф. Ю. Оболенский [РГАДА, ф. 1209, кн. 619, л. 54, 54 об., 106, 631, 697, 715, 1126 об.; Писцовые книги Московского государства, с. 577, 592, 764, 767; Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в., с. 71, 82, 115, 135, 140, 153, 197, 198].

Социальный состав новых помещиков был различен: значительное число вяземских помещиков 1550-х гг. составляли новики, переведенные из других корпораций Русского государства. Поместья жаловались также «в додачу» малоземельным детям боярским. Интересен пример Немятого Тишкова. После проведения смотра 1556 г. ему решено было «додати поместья». Действительно, в конце 1550-х гг. он получил поместье в Вяземском уезде [Антонов, с. 89; РГАДА, ф. 1209, кн. 619, л. 428]. Вяземскими поместьями в это время владело, по крайней мере, 45 человек, служивших в составе других корпораций. Многие из них входили в состав ближайшего окружения Ивана Грозного.

Смена корпорации могла произойти в течение жизни одного поколения. Пример Г. И. Нармацкого, владимирского вотчинника, получившего Можайское поместье и вскоре перешедшего в состав Дорогобужской корпорации, иллюстрирует эту тенденцию.

В количественном выражении перемещение на западные рубежи лучше всего проявилось на примере Смоленска. В 1556 г. инструкция московского правительства предписывала привлечь для встречи литовского посольства 200 смоленских помещиков. Это число было набрано, но только с помощью годовщиков, «серпян и мощинцев». В это время, очевидно, количество смоленских помещиков не доходило до требуемого числа. Впрочем, оно увеличивалось достаточно быстрыми темпами. Полоцкий разряд 1563 г. говорит о том, что после взятия Полоцка войсками Ивана IV в распоряжении у смоленских воевод находилось уже 411 местных помещиков [Сборник русского исторического общества, т. 59, с. 382; Баранов, с. 154].

Поместная колонизация была направлена и на восточные уезды, примыкавшие к завоеванному Казанскому ханству, в первую очередь, на Нижегородский уезд. Процедура испомещений была зафиксирована

в одном из судебных актов. Переяславец В. Б. Петлин «написался в жилцы... в Новгород в Нижней. И бояре наборзе сослали в Новгород поместий имати» [Кобрин, с. 133]. Разряд полоцкого похода 1563 г. зафиксировал 350 нижегородских детей боярских [Баранов, с. 127].

Менее успешно развивалось поместное землевладение на территориях Казанского и Свияжского уездов, где требовалось постоянное присутствие значительных воинских контингентов. С этой задачей справлялись сменявшие друг друга годовщники, набираемые из разных частей Русского государства. Требовались, однако, и «жилцы», которые постоянно находились бы здесь. Первая раздача земель произошла в 1557 г. после окончания военных действий [ПСРЛ, т. 13, с. 283].

Помещиками стали, видимо, находившиеся здесь годовщники. Всего, по наблюдениям Е. В. Липакова, число «старых» помещиков (пожалованы поместьями до казанской ссылки 1565 г.) составляло порядка 100 человек [Липаков, с. 8]. Анализ состава этих лиц показывает, что большинство из них было выходцами из поволжских уездов: Владимирского, Костромского, Суздальского, – т. е. с территорий, традиционно задействованных на казанском направлении. Другой вопрос, что общее число «новых» помещиков было явно недостаточно. «Жилцы» часто оставляли новые поместья. Служилые люди не спешили добровольно покидать родные уезды и селиться на небезопасных окраинах.

Налицо был функциональный дисбаланс. В центре страны наблюдался острый дефицит земли, в то время как окраины не получали нужного количества людей для несения службы. Особенно ярко этот дисбаланс проявлялся в случае с родовыми княжескими корпорациями (князья Ярославские, Ростовские, Стародубские), которые в течение предшествовавшего столетия «специализировались» на казанской службе. В изменившихся условиях логично было перенести прежнюю модель несения службы на новые территории.

Масштабы переселений 1550-х – начала 1560-х гг., безусловно, были менее значительными, чем в опричные годы. Тем не менее, очевидно, что вектор развития поместной системы и миграции служилых людей из одного уезда в другой были заданы именно в это время. Стоит отметить также, что подобные перемещения носили добровольный характер.

Нельзя сказать, что все перечисленные проблемы относились к категории неразрешимых. Их решение было возможно путем постепенной перестройки сложившихся служебных отношений, совершенствования работы государственного аппарата. На это, однако, требовались десятилетия последовательной методичной работы. Можно было действовать по-другому, более быстро и решительно, прибегая к помощи репрессий. Именно этим путем и решил пойти Иван Грозный, разделив в 1565 г. государство на две части: опричнину и земщину.

В долговременной перспективе эта политика принесла неудовлетворительные результаты. Насильственные методы имели кратковременный эффект. В ряде случаев атмосфера террора привела к прямо противоположным результатам, законсервировав на многие десятилетия существующие проблемы. Это касалось, например, болезненного вопроса о поместных окладах. Наметившееся в 1550-е гг. расхождение между номинальными поместными окладами и фактическим земельным обеспечением у значительной массы служилых людей в годы опричнины получило свое продолжение. Исполнение «сполна» стало, скорее, исключением, чем правилом. «Недодачи» получили системный характер и рассматривались как норма. Анализ полоцкой писцовой книги начала 1570-х гг. показывает, что в соответствии с окладами были обеспечены командиры стрелецких и казачьих отрядов (головы, сотники и пятидесятники). Полный оклад получили и переселяемые новгородские дети боярские (26 человек). Хуже обстояло дело с невельскими помещиками. Несмотря на наличие существенных запасов земель после проведенных конфискаций, практически никто из них не получил причитающегося им по окладу количества земель. Значительная часть земель была оставлена «впрок», для будущих раздач.

В 1567–1568 гг., после перехода Костромского уезда в опричнину, переселения затронули местную служилую корпорацию. Грамота Улану и П. А. Немировым на поместье в Деревской пятине уточняет порядок этой процедуры: «А по государеву наказу велено за ними поместья учинити в половину их меры живущего, а в другую половины их меры пусто». Отдельные книги К. И. Морина показывают, что так же наделение поместьями костромичей производилось и на территории Бежецкой пятины [Акты служилых землевладельцев XV – начала XVIII века, т. 1, № 194, с. 163; Козляков, с. 211]. Крайне незначительные участки земли («худая» земля и перелог) достались казанским ссыльным 1565–1566 гг. В условиях опричного террора вряд ли кому-то из невольных переселенцев пришло бы в голову «докучать» челобитными об их несогласии с отводимыми участками земли, как это было с казанскими «нетчиками» 1550-х гг. De facto несоответствие поместных окладов их реальному содержанию было узаконено для большинства «земских» уездов.

Репрессивные меры против «нетчиков», число которых увеличилось в годы Ливонской войны, также оказались безрезультатными [см.: Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе, с. 37–38]. Стремительное обнищание страны негативно сказывалось на мобилизационных способностях служилых людей, что со временем вынуждено было признать само московское правительство.

Более весомые результаты дали опричные переселения, которые не только разнообразили генеалогический и социальный состав большинства служилых корпораций, как земских, так и опричных, но и дали существенный импульс для количественного роста

некоторых пограничных «городов». После амнистии 1566 г. многие ссыльные вернулись обратно на родину. Некоторые из них, однако, в будущем связали свою судьбу с казанской службой. Значительное число земских «сведенцев» обосновалось на территории Каширского и Рязанского уездов. (В каширской десятне 1570 г. существовали даже особые рубрики: «дети боярские из разных городов дворовые» и «дети боярские новые помещики, преж того служили из разных городов»). Вряд ли, однако, подобные «достижения» могли перевесить общие потери, понесенные в результате прямого и косвенного влияния опричного террора на систему организации службы.

---

Акты служилых землевладельцев XV – начала XVIII века. Т. 1. М. : Памятники исторической мысли, 1997. 431 с.; Т. 4. М. : Дрвлекранилище, 2008. 632 с.

*Антонов А. В.* «Боярская книга» 1556/57 года // Русский дипломатарий. Вып. 10. М. : Дрвлекранилище, 2004. С. 80–118.

*Баранов К. В.* Записная книга Полоцкого похода 1562/63 года // Русский дипломатарий. Вып. 10. М. : Дрвлекранилище, 2004. С. 119–154.

*Бенцианов М. М.* Каширская десятна 1556 г. и проблема формирования «служилого города» // Проблемы истории России. Вып. 10. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. С. 97–120.

Дополнения к актам историческим, собранным и изданным археограф. комиссиею. Т. 1. СПб. : Изд. имп. археограф. комиссии, 1846.

*Зимин А. А.* Реформы Ивана Грозного. М. : Изд-во соц.-эконом. лит., 1960. 515 с.

*Кобрин В. Б.* Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). М. : Мысль, 1985. 280 с.

*Козляков В. Н.* Новый документ об опричных переселениях // Архив русской истории. Вып. 7. М. : Архив русской истории, 2002. С. 197–211.

*Кольчева Е. И.* Аграрный строй России XVI века. М. : Наука, 1987. 233 с.

*Кром М. М.* «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30–40-х годов XVI века. СПб. : Нов. лит. обозрение, 2010. 888 с.

*Кром М. М.* Частная служба в России XVI века // Русское средневековье : сб. ст. в честь проф. Ю. Г. Алексеева. М. : Дрвлекранилище, 2012. С. 422–433.

*Курбатов О. А.* «Конность, людность и оружность» русской конницы в эпоху Ливонской войны 1558–1583 гг. [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. Спец. вып. 1. Русская армия в эпоху царя Ивана IV Грозного : материалы науч. дискуссии к 455-летию начала Ливонской войны. Ч. 1. Статьи. Вып. 2. 2013. <[http://www.milhist.info/2013/08/14/kyrbatov\\_3](http://www.milhist.info/2013/08/14/kyrbatov_3)> (дата обращения: 14.08.2013).

*Литаков Е. В.* Дворянство Казанского края в конце XVI – первой половине XVII вв.: Формирование. Состав. Служба : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1989.

*Павлов А. П.* Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб. : Наука, 1992. 280 с.

Памятники русского права. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1956. Вып. 4.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л. : Наука, 1979.

Писцовые книги Московского государства. СПб. : Изд. рус. географ. о-ва, 1877. Ч. 1. Отд. 2.

Писцовые материалы Тверского уезда XVI века. М. : Дрвлекранилище, 2005.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 13. 1-я половина, Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб. : Изд. имп. археограф. комиссии, 1904.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 29. Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александрово-Невская летопись. Лебедевская летопись. М. : Наука, 1965.

Послание Иоганна Таубе и Элрета Крузе // Русский исторический журнал. Кн. 8. 1922. С. 8–60.

РГАДА. Ф. 388. Кн. 846; Ф. 1209. Кн. 619.

Сборник русского исторического общества. СПб. : Изд. рус. ист. о-ва, 1887. Т. 59. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1950.

Филошкин А. И. Поворот во внутренней политике Ивана Грозного: 1560 или 1564 год? // Нестор. Историко-культурные исследования : альманах. Вып. 3. Воронеж : Нестор, 1955. С. 60–74.

*Akty' sluzhily'h zemlevadel'cev XV – nachala XVIII veka* [Acts of landowing servicemen of 15<sup>th</sup>–early 18<sup>th</sup> century]. Vol. 1. (1997). Moscow: Pamyatniki istoricheskoy my'sli; Vol. 2. (2008). Moscow: Drevlehranilishhe.

Antonov, A. V. (2004). “Boyarskaya kniga” 1556–57 goda [“Boyar book” of 1556–57 yr.]. In *Russkij diplomatarij* [Russian diplomatarj]. (Iss. 10) (p. 80–118). Moscow: Drevlehranilishhe.

Baranov, K. V. Zapisnaya kniga Poloczkogo pohoda 1562–63 goda [Notebook of Polotsk campaign of 1562–63 yr.]. In *Russkij diplomatarij* [Russian diplomatarj]. (Iss. 10) (p. 119–154). Moscow: Drevlehranilishhe.

Bencianov, M. M. (2013). Kashirskaya desyatnya 1556 g. i problema formirovaniya “sluzhilogo goroda” [Kashirsk desyatnya of 1556 and the problem of formation of “servicemen city”]. In *Problemy' istorii Rossii* [The problems of the history of Russia]. (Iss. 10) (p. 97–120). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

*Dopolneniya k aktam istoricheskim, sobranny'm i izdannym arheograf. komissieyu* [Addenda to the acts gathered and published by the archeographic committee]. (1846). (Vol. 1). St. Petersburg: Izd. Imp. arheograf. komissii.

Filiushkin, A. I. (1955). Povорот vo vnutrennej politike Ivana Groznogo: 1560 ili 1564 god? [Turning point in the internal policy of Ivan the Terrible: the year 1560 or 1564?]. In *Nestor. Istoriko-kul'turnye issledovaniya: al'manah* [Nestor. Historical and cultural studies: almanac]. (Iss. 3) (p. 60–74). Voronezh: Nestor.

Kobrin, V. B. (1985). *Vlast' i sobstvennost' v srednevekovoj Rossii (XV–XVI vv.)* [Authorities and property in medieval Russia (15<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> cc.)]. Moscow: My'sl'.

Kozlyakov, V. N. (2002). Novyj dokument ob oprichnyh pereseleniyah [New document on oprichny resettlement]. In *Arhiv russkoj istorii* [Archive of Russian history]. (Iss. 7) (p. 197–211). Moscow: Arhiv russkoj istorii.

Kolycheva, E. I. (1987). *Agrarnyj stroj Rossii XVI veka* [Agrarian structure of Russia in 16<sup>th</sup> century]. Moscow: Nauka.

Krom, M. M. (2010). “Dovstvuyushhee царство”: *Politicheskij krizis v Rossii 30-40-h godov XVI veka* [“Dowager kingdom”: Political crisis of Russia in 30–40s of 16<sup>th</sup> century]. St. Petersburg: Nov. lit. obozrenie.

Krom, M. M. (2012). Chastnaya sluzhba v Rossii XVI veka [Private service in Russia of 16<sup>th</sup> century]. In *Russkoe srednevekov'e: sb. st. v chest' prof. Yu. G. Alekseeva* [The Middle Ages of Russia: collection of articles in honor of prof. Yu. G. Alekseev] (p. 422–433). Moscow: Drevlehranilishhe.

Kurbatov, O. A. (n. d.). “Konnost', lyudnost' i okruzhnost'” russkoj konnicy v e'pohu Livonskoj vojny' 1558–1583 gg. [“Horses, people and vicinity” of Russian cavalry in the era of Livonian war 1558–1583 yrs.]. In *Istorija voennogo dela: issledovaniya i istochniki. Spec. vyp. 1. Russkaja armiya v e'pohu czarya Ivana IV Groznogo: materialy' nauch. diskussii k 455-letiyu nachala Livonskoj vojny'*. [History of military arts: research and sources. Spec. iss. 1. Russian army in the era of Ivan IV the Great: the materials of scholarly dispute to the anniversary of the beginning of Livonian war]. Part 1. Articles. Iss. 2. Retrieved from: [http://www.milhist.info/2013/08/14/kyrbatov\\_3](http://www.milhist.info/2013/08/14/kyrbatov_3) (last accessed on 14.08.2013).

Lipakov, E. V. (1989). *Dvoryanstvo Kazanskogo kraja v konce XVI – pervoj polovine XVII vv.: Formirovanie. Sostav. Sluzhba: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk* [Nobility of Kazan region in the end of 16<sup>th</sup> – first half of 17<sup>th</sup> cc.: Formation. Structure. Service. Dissertation abstract: Historical Sciences]. Kazan.

*Pamyatniki russkogo prava* [Monuments of Russian law]. (1956). (Iss. 4). Moscow: Gos. izd-vo yurid. literatury'.

Pavlov, A. P. (1992). *Gosudarev dvor i politicheskaya bor'ba pri Borise Godunove* [Monarchic court and political struggle under Boris Godunov]. St. Petersburg: Nauka.

*Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim* [Correspondence of Ivan the Great and Andrey Kurbsky]. (1979). Leningrad: Nauka.

*Pisczovy'e knigi Moskovskogo gosudarstva* [Cadastres of Moscovy]. (1877). Part 1. Dep. 2. St. Petersburg: Izd. Rus. geograf. o-va.

*Pisczovy'e materialy' Tverskogo uezda XVI veka* [Cadastres materials of Tver district in 16<sup>th</sup> century]. (2005). Moscow: Drevlehranilishhe.

*Polnoe sobranie russkih letopisej. Letopisny'j sbornik, imenuemy'j Patriarshej ili Nikonovskoj letopis'yu, 1-ya polovina* [Complete Edition of Russian Chronicles. Annalistic collection, called Patriarchal or Nikon chronicle, 1<sup>st</sup> half]. (1904). St. Petersburg: Izd. Imp. arheograf. komissii.

*Polnoe sobranie russkih letopisej. Letopisecz nachala czarstva i velikogo knyazya Ivana Vasil'evicha. Aleksandro-Nevskaya letopis'. Lebedevskaya letopis'* [Complete Edition of Russian Chronicles. Chronicler in the beginning of the reign of grand prince Ivan Vasilievich. The Alexander Nevsky chronicle. Lebedevsk chronicle]. (1965). (Vol. 29). Moscow: Nauka.

*Poslanie Ioganna Taube i E'lerta Kruze* [Message of Johann Taube and Alert Kruse]. (1922). *Russkij istoricheskij zhurnal* [Russian historical magazine], 8, 8–60.

*Sbornik russkogo istoricheskogo obshhestva* [Collection of Russian historical society]. (1887). (Vol. 59). St. Petersburg: Izd. Rus. ist. o-va.

*Ty'syachnaya kniga 1550 g. i Dvorovaya tetrad' 50-x gg. XVI v.* [Tysyachnaya book of 1550 yr. and Dvorovaya sheet of 50s yrs. of 16<sup>th</sup> c.]. (1950). Moscow; Leningrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Zimin, A. A. (1960). *Reformy' Ivana Groznogo* [Reforms of Ivan the Terrible]. Moscow: Izd-vo socz.-e'konom. lit.

*The article was submitted on 29.05.2014*

**Михаил Михайлович Бенцианов**

к. и. н.

Россия, Екатеринбург

Уральский федеральный

университет

bmm4@yandex.ru

**Mikhail Bentsianov, Dr.**

Russia, Yekaterinburg

Ural Federal University

bmm4@yandex.ru

**ПРОЕКТ «РУССКАЯ ЛИВОНИЯ»****THE “RUSSIAN LIVONIA” PROJECT**

The ‘Russian Livonia’ project was an attempt to establish a province of Russian Tsardom in the lands conquered in Livonia between 1558–1560 which could be regarded as a model of integration of foreign territories into Russia in the 16<sup>th</sup> century. Russian authorities used a number of integration approaches, such as the system of agreements with Livonian cities and later the political model of the Holy Roman Empire. They tried to found a Livonian Kingdom, which was subordinate to Ivan the Terrible as Emperor. There were two attempts to carry out this reform: in 1564 and in 1569–1578, both unsuccessful. They never led to the integration of Livonia into the Russian state and commonwealth. The Russification of Livonia failed. Livonia saved its status as a *middle earth* between different cultures.

**Keywords:** Ivan the Terrible; Livonia; Livonian War; Duke Magnus.

Проект «Русская Ливония» был попыткой создания провинции Российского царства на землях, завоеванных в Ливонии в 1558–1560 гг. Его можно рассматривать как пример модели интеграции в XVI в. Россией иноземных территорий в состав своего государства. Российские власти пробовали разные варианты этой модели: систему договоров с ливонскими городами, пытались адаптировать модель, применявшуюся в Священной Римской империи. Они старались учредить в Ливонии вассальное королевство, по отношению к правителю которого Иван Грозный выступал бы как император. Было две попытки такой реформы: в 1564 и 1569–1578 гг. Но все они оказались неудачными. Интеграция Ливонии в систему русской государственности не состоялась, попытки русификации провалились. Ливония сохранила свой статус «срединной земли» между различными культурами.

**Ключевые слова:** Иван Грозный; Ливония; Ливонская война; герцог Магнус.

На берегу Балтийского моря на 81 км шоссе Нарва – Таллин, возле деревни Кырккюла стоит каменный крест XVI в. В эстонской земле похоронен русский дворянин, он же «мужественный и благородный шведский рыцарь» Василий Росладин (Разладин). Он перешел на сторону шведов в 1582 г., в 1590 г. был убит в бою с русскими,

и в память его был поставлен каменный крест с надписями на русском и немецком языках. Он являет собой, по выражению Анти Селарта, пример религиозного диффузионизма, поскольку содержит как протестантские, так и православные символические изображения и надписи одновременно [Селарт, 2012].

В этом русско-шведско-немецко-эстонском, православно-протестантском смещении – вся символика прибалтийской истории. Прибалтика на протяжении своего пути была на границе язычества и христианства, германского и славянского мира, Шведской и Российской империй, Евросоюза и СНГ.

Попытки преобразовать ее из «зоны срединности» в «зону идентичности» предпринимались в истории несколько раз. Немцы с помощью рыцарского ордена, католического креста и Ганзейского союза строили здесь провинцию Священной Римской империи, пока последние северные крестоносцы не полегли под русскими саблями в августе 1560 г. под крепостью Эрмес.

Именно в Прибалтике пыталась в XVI в. вступить на державный и экспансионистский путь Польша, низложив Немецкий орден и создав на основе его бывших владений в дополнение к вошедшей в состав Польши Королевской Пруссии (1466) две вассальных провинции в Прибалтике – Герцогство Пруссия (Prusy Książęce, Ducatus Prussiae, 1525) и польских Инфлянтов (с 1566 – Задвинское герцогство, Księstwo Inflanckie). Но крест на идее Польской Прибалтики поставили шведы, в первой половине XVII в. вытеснив поляков из региона и в 1655 г. устроившие знаменитый «Шведский Потоп» уже на собственных землях Речи Посполитой.

Русский имперский проект Прибалтики XVIII–XIX вв., равно как и советская модель братских Эстонской, Латвийской и Литовской ССР хорошо известны. Однако они также не привели к созданию устойчивой к испытаниям временем имперской или советской прибалтийской «зоны идентичности»: в 1918 г. быстро рухнула империя, а в 1990–1991 гг. столь же стремительно ушел из истории стран Балтии СССР. Возможно, прибалтийские страны и народы сумеют преодолеть собственную «срединность» путем построения современных национальных государств, во всяком случае, они прилагают к этому много усилий. Другое дело, что успешность этого пути покажет только время (предыдущая аналогичная попытка государственного нацистроительства в Прибалтике в 1918–1940 гг. продлилась менее срока исторической жизни одного поколения).

Вышеперечисленные эпизоды попыток преодоления срединности этого региона хорошо известны и исследованы. Целью же настоящей статьи является рассмотрение гораздо менее изученной истории создания в Прибалтике «Русской Ливонии» Иваном Грозным в 1558–1582 гг. Почему провалился проект «Русской Ливонии», почему за 25 лет она так и не стала русской территорией, а осталась для россиян «зоной срединности» – предмет изучения в настоящей статье.



Общеизвестно, что история попыток русского проникновения в Прибалтику начинается задолго до Ивана Грозного. Подробный обзор фактов русского присутствия в регионе в Средневековье приводится в книге Анти Селарта и в других работах [Tvauri, l. 215–232; Selart, 2007, S. 55–68]. Некоторые балтийские местности и племена пытались обложить данью Новгород и Псков [Назарова, 1986, с. 180–182; Selart, 2007, S. 60–64]. В Ерсике (Герцике) и Кокнесе (Кокенгаузе) в начале XIII в. фиксируются князья восточнославянского происхождения, но степень их политической подчиненности древнерусскому Полоцку остается предметом дискуссий [Taube, S. 391–393; Starodubec, S. 349–350; Назарова, 1995, с. 183–187; Алексеев, с. 284–287; Selart, 2007, S. 59–65, 95–99]. По летописным известиям, один из главных городов Ливонии, Юрьев (будущий Дерпт, Тарту) был основан Ярославом Мудрым в 1030 г. [см.: ПСРЛ, т. 2, стб. 137]. Постоянное военное присутствие русских в регионе выражалось и в многочисленных походах по прибалтийским землям.

Однако после прихода в XII–XIII вв. в Прибалтику немцев русские как значимая политическая сила были вытеснены из региона. Их присутствие осталось в двух видах. Во-первых, в крупных городах (Риге, Ревеле, Дерпте) были районы, заселенные славянскими ремесленниками и купцами, с православными церковными приходами [Казакова, 1975, с. 137–141, 169, 185, 252; Казакова, 1963, с. 155]. Русский язык в средневековой Прибалтике учили, хотя, конечно, не массово, а избранно: его знание «было привилегией, которая открывала двери на Русь» [Селарт, 2014, с. 50; см. также: Forstreuter, S. 206]. Русь была выгодным рынком сбыта и направлением торгового транзита из Европы через Ливонию, от которого зависело само существование Ливонии, т. е. русский лингвистический фактор носил чисто внешний характер, воспринимался как немаловажный, но «чужой».

Во-вторых, с XV в. важной составляющей ливонского политического дискурса стал фактор «русской угрозы». Ее реальные масштабы были куда скромнее, чем представлялось в спекуляциях ливонских ландсгерров<sup>1</sup>, но этот фон играл важную роль в выстраивании политических декораций в ходе борьбы за доминирование между епископами, орденом и городами.

В XIV–XV вв. юго-восточный Балтийский регион оформляется как «мир-экономика» (в терминологии Ф. Броделя) в виде треугольника: Ливония – Великий Новгород – Псков [Бессуднова, 2009а, с. 10–55; Бессуднова, 2013]. В отношениях начинает превалировать экономическая составляющая. Военные конфликты (которые, впрочем, случались довольно часто) носили локальный характер и в конечном итоге имели в виду цель добиться более выгодных условий для торговли и заключения взаимоприемлемого мира. Никогда ни Псков, ни Новгород, ни Ливония не ставили своей целью уничтожение противника

<sup>1</sup> О проблематике «русской опасности» см.: [Selart, 1998, l. 119–127; Маазинг; Бессуднова, 2014].

как государства и значительную аннексию его территории. Мелкие пограничные споры держали стороны в военном и политическом тоне, но никогда не переходили мысленные границы дозволенного.

Все рухнуло в конце XV в. Присоединение Россией Великого Новгорода в 1471–1478 гг. разрушило одну из сторон треугольного «мира-экономики». Состав русских купцов, торговавших с Ливонией, изменился даже физически: вместо высланных новгородцев на Северо-Запад Руси приехали москвичи. У них был совсем другой стиль ведения дел: агрессивный, напористый, силовой<sup>2</sup>. Причем теперь экономика с легкостью приносилась в жертву политике. Примером может служить внезапный разгон в Новгороде немецкого Ганзейского двора в 1494 г. По предположению ряда исследователей, он был местью Ивана III за неудачи в дипломатических отношениях со Священной Римской империей [Казакова, 1963; Коваленко, Смирнов, с. 134; Бессуднова, 2009б]. Сама империя вряд ли сильно ощутила разгром одного из многочисленных региональных ганзейских дворов, но для Ивана III это был важный символический жест.

С утратой независимости Пскова в 1509–1510 гг. и его присоединением к Московскому государству «мир-экономика» в Прибалтике окончательно перестал существовать. Возникла принципиально новая геополитическая конфигурация. Возник «ливонский вопрос» [Kirchner, p. 5–33], соседние страны стали строить планы раздела Ливонии как страны, «отжившей свое».

Изменение геополитической ситуации в Ливонии совпало с политической трансформацией «Государства всея Руси». В XVI в. в своем территориальном росте Московское государство исчерпало территориальные пределы бывшей Северо-Восточной и Северо-Западной Руси и начало занимать земли, никогда ранее не входившие в состав Руси/России. В силу инерции политического мышления для этого использовался вотчинный дискурс. Захваченные земли объявлялись исконно русскими, древней вотчиной московских государей. При Иване Грозном его применяли при аннексии Казанского и Астраханского ханств и на первом этапе борьбы за Ливонию [Филюшкин, 2004, с. 387–391].

Но вотчинный дискурс был задействован только в области идеологии. В практическом плане надо было найти механизм интеграции этих земель и место этих земель в российской системе. Задача была не из простых. Русская Ливония в этом смысле выступала пилотным проектом будущей Российской империи на западном направлении – проекте неудачном, несбывшемся, полузабытом. Его можно изучать именно как поиск путей реализации имперской модели на начальной стадии постепенного превращения России в империю, которую мы определяем как фазу «неонатальной империи» [Филюшкин, 2004]. До середины XVI в. традиционной моделью присоединения земель

---

<sup>2</sup> Описание новой политики и стиля поведения московских купцов в Новгороде см.: [Казакова, 1975, с. 195–197].

и их включения в состав «Государства всея Руси» была следующая. Она включала в себя:

- «перебор людишек» – переселение вглубь России местной элиты и ее замену на переселенцев из России: купцов, служилых людей;
- установление воеводской власти, подконтрольной Москве;
- распространение православия, в том числе путем массового церковного строительства; руководство церковью в регионах назначается Москвой и зависит от нее;
- налогообложение в пользу центра;
- воинская повинность (формирование местных служилых дворянских корпораций, подчиняющихся центральному правительству).

Эта модель прекрасно работала в время собирания под властью Москвы русских земель в XV–XVI вв. и даже в значительной степени при присоединении Казани (1552) и Астрахани (1556) [Keenan; Pelensky, 1967; Pritsak; Kampf; Pelensky, 1974, p. 65–138]. В Ливонии же все это реализовать было непросто, т. е. традиционная модель присоединения новых земель оказалась малоприменима.

Почему в Ливонии не работала традиционная модель присоединения земель? Во-первых, это было связано с прифронтовым статусом территории, который не позволял превратить страну в «русский уезд» и заставлял хоть немного считаться с местным населением, добиваться его лояльности. Вся территория Ливонии так и не была завоевана, и даже те земли, которые называли «Русской Ливонией» с центром в Юрьеве (переименованном Дерпте), весь 25-летний период оставались зоной нестабильности, ареной боевых действий и т. д.

Во-вторых, «перебор людишек» также не состоялся. Дворянская элита Ливонии или погибла, или бежала, случаи перехода ливонской знати на русскую сторону есть, но немногочисленны [Опарина; Скобелкин]. Можно говорить о персонах, но не о социальном слое, перешедшем служить Москве.

В-третьих, массовых переселений из России в Ливонию также не было – в крепостях стояли гарнизоны, в Нарве увеличилось количество русских купцов, но не более того. Производились поместные раздачи земель [Новицкий; Angermann, S. 47–53; Флоря; Selart, 2002; Пиотух; Martin], но об их масштабе трудно судить. В любом случае, русские помещики мало жили в своих имениях, а в основном воевали на фронте, т. е. их присутствие чувствовалось преимущественно во взимании податей. Привнесения русской землевладельческой культуры на ливонскую землю не состоялось. Показательно, что русские помещики, которые не захотели бросать свои владения и возвращаться в Россию во время эвакуации 1582 г., не образовали своей «русской корпорации», а стремительно интегрировались в местную среду, подстроились под нее, как уже упоминавшиеся Росладины. Они не хотели считаться русскими.

В 1581 г. ракверские и падисские дворяне русского происхождения участвовали в нападении шведов на российский гарнизон в Нарве,

т. к. хотели сохранить в Ливонии свои поместья. В 1584 г. шведский король Юхан III велел «...давать [русским] “боярам” земли в Швеции, Финляндии, Кексгольмском лене, Эстляндии и Ингерманландии. В Эстонии русским были вначале пожалованы села на острове Хийумаа. В 1589 г. земли на Хийумаа, взятые обратно для государства, были заменены владениями в других местах Эстляндии и Ингерманландии. Когда Ингерманландия в 1590 г. отошла к России, в Эстляндии был, соответственно, увеличен объем «боярских» земель. В 1594 г. землевладения русских и татар в Эстонии грамотой закрепил король Сигизмунд III Ваза. В начале XVII в. русским дополнительно раздавались земли в Западной Финляндии» [Селарт, 2012, с. 6]. Происходила быстрая интеграция бывших русских дворян в знать Швеции. Если прибегать к более поздней, современной терминологии, то русификации Прибалтики за 25 лет существования Русской Ливонии так и не получилось.

Следующая причина вытекала из целей войны. Одной из них был захват торговой инфраструктуры ливонских городов и ее использование в пользу России. Сама Россия не могла наладить морскую торговлю, построить свои порты, флот и т. д. – все попытки этого до захвата Ливонии были неудачны. Россия в XVI в. владела на Балтике городком Невское устье на Неве, который, видимо, использовался как мелкая торговая фактория. Как минимум трижды между 1536 и 1577 гг. предпринимались попытки строительства русской крепости в устье Наровы, выше по течению от Нарвы [Косточкин; Носов, с. 28]. Кроме того, вход в Неву со стороны Ладожского озера запирала русская крепость Орешек. Все эти пункты в XVI в. так и не выросли в центры торговли, оставшись военными сооружениями, обеспечивавшими только мелкую торговлю (да и то предположительно). Весь поток товаров из Европы продолжал идти через Нарву, Ревель и другие ливонские города.

Вместе с тем выгода от поступления морем вооружений и товаров из Европы была очевидной. Здесь стоит сделать ремарку к известному тезису о Ливонской войне как «войне за выход к Балтийскому морю» – таковой она, конечно, не была, т. к. и до войны Россия владела всем южным побережьем Финского залива. Да и значимость «торгового фактора» в формировании направлений внешней политики России в XVI в. не стоит преувеличивать [Tiberg, S. 613; Филлюшкин, 2001; Filiushkin, 2004]. Но владеть торговыми факториями было лучше, чем не владеть, и «Нарвское плавание» приносило прямую прибыль [Ataman, p. 73–83, 116–118].

Поэтому Москве было важно сохранить ливонские торговые города как структурные единицы всей системы балтийской морской торговли. Горожан не трогали, или, по крайней мере, сначала старались не трогать. Жители Дерпта в «русский период» его истории отмечали корректный («вежливый») характер российской власти (наведение в городе порядка, борьбу с преступностью, защиту горожан), что отразилось в «Ливонской хронике» Франца Ниенштедта:

Затем князь [Шуйский, командовавший русскими войсками, взявшими Дерпт. – А. Ф.] велел объявить, что под страхом смерти никто не смеет ничем обижать жителей города. Велел он также объявить, чтобы бюргерские люди не продавали в своих домах никаких напитков для ратных людей, в предупреждение несчастья. Всех русских ратников разместили в замке, в соборных помещениях и в оставленных жителями домах, и строго смотрели, чтобы они никого не обижали, а кто в этом провинился, того князь велел постыдным образом бить и плетью наказывать; князь назначил также нескольких бояр со стрельцами для объездов по городу, которые ежедневно ездили кругом и забирали всех нетрезвых людей и всех, кто только неподобающе себя вел, и тотчас сажали в тюрьму. Видя это, бюргеры несколько успокоились в своем несчастье, и не боялись уже открытого нападения и насилия [Ниенштедт, с. 26].

Отношения с ливонскими бюргерами русские воеводы изначально пытались поставить на правовую основу. В нашем распоряжении есть уникальный документ – Жалованная грамота Дерпту 1558 г., которую можно сопоставить с требованиями горожан, выдвинутыми к русским воеводам после взятия крепости. Из сопоставления этих текстов наглядно видна разница политических культур и отличие целей, которые преследовали стороны.

История создания документа такова. 17 июля 1558 г. прошли переговоры жителей Дерпта с осаждающей город русской армией об условиях сдачи. Отдельно были поданы условия от епископа, магистрата и городской общины. Воевода П. И. Шуйский отправил их на утверждение в Москву. Их рассмотрели и 6 сентября выдали грамоту, содержание которой сильно отличалось от пожеланий жителей. Большинство условий в текст не попало, а то, что попало, было сильно искажено. При составлении документа Москва руководствовалась не договоренностями между Шуйским и магистратом Дерпта (на которых, собственно, и был сдан город), а российской традицией составления подобных актов, русской юридической практикой. Вместе с тем, какие-то безобидные требования горожан старались учесть. В итоге получился документ несколько противоречивого содержания.

Русские власти гарантировали свободу вероисповедания, неприкосновенность церквей (это совпадало с требованиями горожан). Однако пространственный пункт требований о сохранении городского самоуправления был передан в грамоте очень кратко и абстрактно: «А в Юрьеве Ливонском быти им по своим обычаям», что давало широкий простор для толкований. При этом подтверждалось финансирование дерптской ратуши за счет земельных пожалований (но не городских налоговых сборов). Москва признавала наличие особого немецкого суда по торговым делам, но ввела в него русского стряпчего как наблюдателя. Воевода отверг просьбу магистрата апеллировать по спорным делам к Риге (как было раньше), взамен воеводская власть выступила гарантом защиты бургомистра и его «товарищей».

Постояй войск разрешался только в домах, оставленных горожанами. Разрешалось переселение русских в Дерпт и дерптцев в русские города на места поселения по согласованию с местными властями. Для дерптцев вводилась беспошлинная торговля в русских городах. Им было оставлено право эмиграции «за море» при уплате соответствующего налога на имущество. Русской стороной был внесен пункт, что немцы по вечерам и ночам должны ходить только с фонарями, освещать себя и по первому требованию объяснять патрулям, кто они и куда идут. По городу вводились многочисленные армейские посты.

Очень показательно, что из требований горожан не вошло в русский текст грамоты. В нее не было включено 20 из 34 пунктов. Не попали следующие требования: сохранить школы для юношества (п. 3); право судебного поединка (суда мечом – п. 7); сохранение гильдий и цехов (п. 9); сохранение гильдии «черноголовых» со всеми их правами (п. 10); свобода производства и торговли спиртными напитками для жителей Дерпта (п. 12); свобода продажи недвижимого имущества и возможность беспрепятственно покинуть город в любое время со всеми деньгами, не платя никаких отчислений (п. 14, 18); свобода покинуть город, оставляя имущество на хранении у друзей с возможностью вывезти его позже (п. 15); свобода возвращения в Дерпт с восстановлением всех прав горожанина (п. 16); запрет прямой торговли на территории Дерпта иностранных купцов, они могли совершать свои сделки только через магистрат (п. 20); магистрат сохраняет право суда над цехами (п. 21); ярмарки проводятся в традиционное время, инспекцию над торговлей осуществляет магистрат (п. 22); магистрат обладает правом прощения лиц, признанных виновными судом (п. 23); магистрат по-прежнему выдает въездные и выездные паспорта (п. 24); оккупационные власти не будут выселять бюргеров в Россию (п. 26); выморочное имущество, если оно не востребовано в течение года и одного дня, достается магистрату (п. 29); магистрат контролирует вступление в гильдии новых бюргеров (п. 30); сохраняется верховенство рижской юрисдикции над дерптскими законами (п. 31); лица, сделавшие в Дерпте долги, не могут быть арестованы во время их выезда в Россию, их дела могут рассматриваться только дерптским судом (п. 32); свобода вывоза из России для ливонских купцов хлеба, меди и продовольствия (п. 33) [Филюшкин, 2008].

Из сравнения принятых и исключенных пунктов четко видна разница политических / правовых культур: русская администрация включила в грамоту положения, обеспечивавшие ее власть и гарантию тех прав дерптцев, которые были ей выгодны («торгуйте для нас»). При этом как фундаментальная ценность провозглашалась свобода вероисповедания. Для немецких жителей Дерпта важно было сохранить свои ценности, свой *modus vivendi*, со всеми его компонентами – развитым судопроизводством, образованием, свободой передвижения и имущественных сделок и т. д. Русским эти пункты просто показались несущественными.



Печать Магнуса, епископа  
Эзельского (1560–1572), будущего  
«короля Русской Ливонии».  
Прорис

Показательно, что в грамоте нет ни слова о языке – важны религия, подданство, подчиненность судебной и местной власти, пути экономических сделок, но неважно, на каком языке говорит власть, и тем более – подданные (фактически сохранялось двуязычие – воеводская власть говорила на русском, магистрат на немецком, и это не воспринималось как помеха в общении и взаимодействии). Это свидетельствует о том, что в интеграционных механизмах в XVI в. язык не рассматривался ни как фактор интеграции, ни как фактор сохранения идентичности. Конечно, это в какой-то степени было порождено принципиальным полилингвизмом

Прибалтики (многовековое сочетание латыни, немецкого и местных языков) и билингвизмом Средневековья вообще (латынь как государственный и богослужебный язык и национальные языки). Но, возможно, перед нами маркер, отделяющий неонатальную империю от империи нового времени, когда языковая политика становится фактором ассимиляции.

В любом случае, предлагаемые в жалованной грамоте Дерпту механизмы не решали проблему, как интегрировать в Россию Ивана Грозного немецкий торговый город. Видимо, сходные грамоты выдавались и другим городам (известна грамота Нарве – «Privilegium des Grossfürsten für Narva» [Schirren, S. 49–51; Renner, 1953, S. 24–25]). Срачивания в итоге не получилось, вместо него возникла *атомизация* населения немецких городов и стоящих в них русских гарнизонов, на которую соглашались российские власти (так было проще контролировать те же гарнизоны). В самом примитивном смысле она могла вести к имперской структуре (если трактовать империю как объединение разнородных объектов под единой властью). Но этот эксперимент оказался неудачным. С уходом России из Прибалтики немецкие города вздохнули с облегчением, а русские, по нашему мнению, не ощутили никаких последствий культурного влияния от 25-летнего стояния российских гарнизонов в Ливонии.

Свою роль сыграла и принципиальная религиозная толерантность Москвы. В Ливонии не было православного миссионерства [Selart, 2009], а отдельные акции по торжеству православия во взятых городах (крестные ходы, строительство храмов, перенос икон) имели своим адресатом русских прихожан. Католиков и протестантов не трогали, перекрещиваться не заставляли. Это не вызывало проблемы религиозного противостояния, но и не создавало почвы для интеграции на основе общей религии.

Конечно, Ливонию не обошли проявления тирании Ивана Грозного (репрессии жителей Дерпта после подавления мятежа Таубе и Крузе 1571 г., бесчинства опричников в Нарве и т. д.). Их было не больше, чем в самой России (специально антиливонской политики мы не фиксируем, но Ливония разделяла опричный террор, обрушившийся на всю Россию). Но очевидно, что такие акции интеграции также не способствовали и подавляли саму мысль о единении.

Русские в Прибалтике не сумели переделать инфраструктуру общества. Все попытки гарнизонов создать «свой мирок», перенести для себя в незнакомый мир «свою Русь» оказались непрочными. Империя должна вкладывать в новоосваиваемый мир довольно значительные ресурсы, но особого притока ресурсов из России в Ливонию не происходило. Гарнизоны ливонских крепостей испытывали существенные трудности. [Angermann, S. 25–64; Filiushkin, 2013]. Особую проблему составляла малочисленность православных церквей. Не хватало священников, храмов, их было непросто построить [Селин]. Люди умирали без отпевания и исповеди, что страшило особо: «Милостивый государь, смилуйся, пощади нас, холопов твоих, вели из Пскова прислать попа, умирают, государь, твои государские люди без отца духовного, а мы, холопы твои государские, живем что овцы, заблудившиеся без пастуха» (1578 г., между 17 и 21 января. Отписка круцбургского воеводы кн. М. М. Путятина в Городовой приказ) [Памятники истории Восточной Европы, с. 61]).

Москва попыталась решить вопрос на политическом уровне: применить в Прибалтике модель Священной Римской империи, учредить собственное королевство, вручить власть над вассальным государством из рук русского царя так же, как вручал европейские короны германский император. Речь идет о знаменитом проекте «королевства Магнуса». Его идея, как известно, была разработана именно немецкими политиками и изначально развивалась в рамках германской политической культуры. Россия мыслилась как субъект, который восстановит под своей властью территориальную целостность Ливонии (а лучше – Ливонии и Пруссии, т. е. возродит Тевтонский орден), а затем передаст ее правителям ордена на условии выплаты дани, т. е. признания сюзеренитета московского государя. По сведениям папского нунция в Польше Джованни Франческо Коммендоне, царь выдвигал следующие условия: «Правитель вассального Ливонского государства возвратит русским православные церкви в Ливонии со всеми их доходами; все главные крепости Ливонии останутся в руках московитов; в совете магистра должны заседать шесть московитов с решающим голосом; правитель Ливонии может выступать в военные походы только с согласия царя; переход власти (после смерти правителя) происходит по усмотрению Москвы: русский царь назначает следующего владыку в Ливонию». Как справедливо отметил Анти Селарт, получалось, что русский царь должен был



взять на себя в отношении Ливонии роль императора, который признает автономность своего вассала<sup>3</sup>.

В 1564 г. проект не был реализован из-за того, что желающих на роль вассала не нашлось. Лишь в 1569–1570 гг. датский герцог Магнус принял предложение Ивана IV и, как считается, основал Ливонское королевство практически на тех же условиях, что обсуждались пятью годами ранее [Zeļenkovs; Leimus; Olesen]. А. Адамсон, видимо, справедливо видит одной из причин реанимации проекта Ливонского королевства в конце 1560-х гг. некий политический тупик, в который зашла ситуация в Ливонии (собственно политические амбиции датских Ольденбургов – это другая сторона медали [Adamson, l. 9–11, 232–233]). Военным путем она не решалась, завоевать всю Ливонию ни одной из сторон (полякам, литовцам, шведам, датчанам, русским) не удалось. Раздел по принципу «Кто чем владеет» не получался, – собственно, только Россия и Дания в 1562–1563 гг. заключили международное соглашение, в котором признали захваты сторон в Ливонии (причем Дания признала даже будущие захваты России, еще не случившиеся). Между всеми остальными участниками аннексии Ливонии согласия не было. К тому же, как замечает А. Адамсон, надо было еще добиться признания легитимности захватов от Священной Римской империи, поскольку Ливония являлась бывшей имперской провинцией. Вариант с созданием в Ливонии вассального королевства здесь подходил идеально. Европейские монархии получали шанс участвовать в судьбах Ливонии через решение династической проблемы [Ibid., l. 25, 75]. Это была модель, понятная политической культуре германской империи.

Правда, это дало неожиданный для Москвы эффект: королевство Магнуса в Ливонии воспринималось местными жителями не как вассальная провинция Московии, но скорее как некое послабление оккупационного режима, передача его под управление братьев по вере – датских протестантов, т. е. с Магнусом в Ливонию частично вернулась Европа. И хотя наемные войска датского принца воевали вместе с русскими детьми боярскими против шведов и поляков, местное население относилось к ним куда менее враждебно, чем к российским войскам. Тем самым Королевство Магнуса работало не на превращение Ливонии в провинцию Российской империи (по аналогии со Священной Римской империей), но, напротив, подрывало саму имперскую идею на корню. Не говоря уже о том, что зависимость «ливонского короля» от «русского кайзера» получалась чисто личной, никаких социально-политических и социально-экономических структурных преобразований по интеграции Ливонии в Московию Магнус не проводил и не собирался этого делать [Renner, 1988]. В результате усилилось «срединное состояние» Ливонии (можно говорить о маргинализации политических процессов в Ливонии при Магнусе

<sup>3</sup> Подробнее об этих планах и их развитии см.: [Селарт, 2013]; письмо Коммедоне: Commedone. Al medesimo a li 19. Decembre 1564 di Petrikovia [Акты исторические..., с. 203].

[Hübner]). Благодаря Магнусу вектор ее превращения в русский уезд с центром в Юрьеве Ливонском перестал быть столь уж предопределенным.

Уход России из Ливонии по результатам Ям-Запольского перемирия 1582 г. (кстати, это первый в истории случай массовой эвакуации русских войск и населения с занятых территорий) поставил точку в проекте «Русской Ливонии», хотя титул «Ливонский» продолжал носить царь Федор Иванович (1584–1598). Это показывает, что Россия считала спор о Прибалтике незаконченным. Борьба за Ливонию в 1558–1583 гг. стала своего рода срединным – дипломатическим и военным – проектом русской истории.

Планы возвращения в Прибалтику правительством Федора Ивановича были реализованы вполне успешно. После русско-шведской войны 1589–1590 гг. и Тявзинского мира 1595 г. Россия вернула почти все территориальные потери, понесенные от шведов (кроме Нарвы) и фактически вернулась к довоенным границам 1558 г. Но Русская Смута – гражданская война начала XVII в. – надолго отбросила назад геополитические планы Москвы и лишила ее балтийских берегов, превратив после Столбовского мира 1618 г. Балтийское море в «шведское озеро».

Опыт Русской Прибалтики был в дальнейшем не востребован для русского имперского строительства. Им интересовались, но не более того. Он не стал руководством к действию. В XVII в. Посольский приказ заказывал копии Жалованной грамоты Дерпту 1564 г. [Курукин, с. 36] и переводы международных договоров, связанных с Ливонской войной. Был составлен специальный сборник посольских грамот последнего периода войны [Филюшкин, 2002]. Но прибалтийские завоевания царя Алексея Михайловича (Дерпт и Вильно) в конце концов пришлось возвращать.

Такой же всплеск интереса к документации, связанной с борьбой за Прибалтику при Иване Грозном, будет происходить в начале XVIII в., когда аналогичные копии и переводы будут делаться по приказу Петра I<sup>4</sup>. Но Петр Алексеевич строил свою империю на иных началах, и, как показала история, более долговечно. После успеха русского имперского проекта в начале XVIII в. проекту «Русской Ливонии» был окончательно присвоен статус неудачного исторического опыта, всего лишь предшествующего великим победам первого российского императора и оттеняющего их славу и величие.

---

<sup>4</sup> Перевод с договора между королем Сигизмундом и последним магистром Готардом Кетлером о отдаче в польскую сторону Лифляндии. 28 ноября 1561 г. Копия начала XVIII в. [РГАДА, ф. 64, оп. 1, д. 4]; Список на латинском языке и перевод ратификации польского короля Жигимонта Августа на учиненный между им, королем, и между Готурдом, лифляндским магистром кавалерии ордена Теитонического против России, 28 ноября 1561 года. Рукопись 1723 г. [Там же, д. 5].

Акты исторические, относящиеся до России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым. СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1841. Т. I. 434 с.

*Алексеев Л. В.* Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии). М. : Наука, 1966. 295 с.

*Бессуднова М. Б.* История Великого Новгорода конца XV – начала XVI в. по ливонским источникам. Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2009а. 244 с.

*Бессуднова М. Б.* Петрову двору капут: закрытие ганзейской конторы в Новгороде // Родина. 2009б. № 9. С. 43–46.

*Бессуднова М. Б.* Превратность судьбы (Великий Новгород в системе русско-ливонских отношений) // Новгородский исторический сборник. 2013. Вып. 13 (23). С. 171–184.

*Бессуднова М. Б.* «Русская угроза» в свете ливонской орденской документации 80–90-х годов XV в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1. С. 26–37.

*Казакова Н. А.* Ганзейская политика русского правительства в последние годы XV в. (русско-ганзейские переговоры 1498 г.) // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран : сб. ст. к 70-летию академика М. Н. Тихомирова. М. : Изд-во вост. лит., 1963. С. 150–157.

*Казакова Н. А.* Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV – начало XVI в. Л. : Наука, 1975. 358 с.

*Коваленко Г., Смирнов В.* Легенды и загадки Земли Новгородской. М. : Вече, 2007. 372 с.

*Косточкин В. В.* Русские военно-оборонительные сооружения XVI в. у устья Наровы // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1953. Вып. 52. С. 25–32.

*Курукин И. В.* К изучению источников о начале Ливонской войны и деятельности правительства Адашева и Сильвестра // Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М. : Ин-т ист. СССР, 1981. С. 29–38.

*Маазинг М.* «Русская опасность» в письмах Рижского архиепископа Вильгельма за 1530–1550-е гг. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2010. № 1. С. 184–192.

*Назарова Е. Л.* Из истории взаимоотношений ливов с Русью (X–XIII вв.) // Древнейшие государства на территории СССР. М. : Наука, 1986. С. 177–183.

*Назарова Е. Л.* Русско-латгальские контакты в XII–XIII вв. в свете генеалогии князей Ерсики и Кокнесе // Древнейшие государства на территории СССР. 1992–1993 гг. М. : Наука, 1995. С. 182–196.

*Ниенишедт Ф.* Ливонская хроника // Сборник материалов и статей, относящихся к истории Прибалтийского края. Рига : Тип. А. И. Липинского, 1883. С. 7–124.

*Новицкий Г. А.* Новые данные о русском феодальном землевладении в Прибалтике в период Ливонской войны (1558–1582) // Вопросы истории. 1956. № 4. С. 132–138.

*Носов К. С.* Русские крепости конца XV–XVII вв. СПб. : Нестор-История, 2009. 248 с.

*Опарина Т. А.* Род Фаренсбахов во второй половине XVI в. // Человек в пространстве и времени культуры. Барнаул : Алт. гос. ун-т, 2008. С. 40–86.

Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. 3 : Документы Ливонской войны (подлинное делопроизводство приказов и воевод). 1571–1580 гг. М. ; Варшава : Археограф. центр, 1998. 288 с.

*Пиотух Н. В.* Служилые люди на Ливонской войне // Археология и история Пскова и Псковской земли : материалы науч. семинаров за 2001–2002 гг. Псков : Ин-т археологии РАН ; Псков. гос. объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2003. С. 161–183.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 2. М., 1998.

РГАДА. Ф. 64 (Сношения с Лифляндией). Оп. 1. Д. 4–5.

*Селарт А.* «Русские бояре» в Эстляндии (конец XVI – начало XVII вв.) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2012. № 2. С. 3–14.

*Селарт А.* Иван Грозный, Кайзер Ливонский? К истории возникновения идеи о российском вассальном государстве в Ливонии // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2013. № 2. С. 180–197.

*Селарт А.* Тайна купцов, забота дипломатов: русский язык в средневековой Ливонии // Лотмановский сборник 4. М. : ОГИ, 2014. С. 48–60.

*Селин А. А.* Московское церковное строительство в Ливонии в XVI в. // Археология и история Пскова и Псковской земли : материалы науч. семинара за 2000 г. Псков : Ин-т археологии РАН ; Псков. гос. объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2001. С. 242–247.

Скобелкин О. В. Ливонская война и западноевропейцы в русском войске // Балтийский вопрос в конце XV–XVI вв. М. : Квадрига, 2010. С. 207–220.

Филлюшкин А. И. Дискурсы Ливонской войны // *Ab Imperio*. 2001. № 4. С. 43–80.

Филлюшкин А. И. Сборник с посольскими посланиями Ивана Грозного в Речь Посполитую // Историческое источниковедение и проблемы вспомогательных исторических дисциплин. К 140-летию академика Николая Петровича Лихачева (1862–1936) и 100-летию Дома Н. П. Лихачева в Санкт-Петербурге : тез. докл. конф. Санкт-Петербург, 3–5 декабря 2002. СПб. : Петерб. ин-т истории, 2002. С. 86–88.

Филлюшкин А. И. Проблема генезиса Российской империи // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань : Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 375–408.

Филлюшкин А. И. Политическая практика московских властей в Ливонии в период Ливонской войны (новые документы) // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*. 2008. № 1. С. 78–83.

Флоря Б. Н. К истории русского поместного землевладения в Ливонии // Русский дипломатарий. М., 1999. Вып. 5. С. 114–117.

Adamson A. Liivimaa kuningriik. Tallinn : Argo, 2013. 248 lk.

Angermann N. Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs. Marburg : Lann, 1972. 134 S.

Attman A. The Russian and Polish Markets in International trade: 1500–1650. Göteborg : Institute of Economic History of Gothenburg University, 1973. 232 p.

Filiushkin A. Der Diskurs von der Notwendigkeit des Durchbruchs zur Ostsee in der russischen Geschichte und Historiographie // *Narva und die Ostseeregion*. Narva : TU Narva Kolloedz, 2004. S. 171–184.

Filiushkin A. The Livonian War and the Mentality of the Russian Nobles // *Canadian-American Slavic Studies*. 2013. Vol. 47. P. 420–435.

Forstreuter K. Preussen und Russland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Piter dem Grossen. Göttingen : Musterschmidt, 1955. 257 S.

Hübner E. Zwischen allen Fronten. Magnus von Holstein als König von Livland // Zwischen Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und früher Neuzeit. Stuttgart, 1998 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Bd. 51). S. 313–333.

Kampfer F. Die Eroberung von Kazan 1552 als Gegenstand der zeitgenössischen russischen historiographie // *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*. 1969. Bd. 14. S. 7–161.

Keenan E. Muscovy and Kazan: Some introductory remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy // *Slavic Review*. 1967. Vol. 26. P. 548–558.

Kirchner W. The rise of the Baltic question. Westport : Greenwood Press, 1970. 283 p.

Leimus I. Hertzog Magnus, tema võlad ja võlausaldajad // *Tuna*. 2008. T. 11 Bd 2 (38). Lk. 8–18.

Martin J. Two Pomeshchiki from the Novgorod Lands: Their Fates and Fortunes during the Livonian War // *Russian History*. 2007. Vol. 34. P. 239–253.

Olesen J. Die Hochstifte Ösel und Kurland unter dänischen Herrschaft // *Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung*. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500–1721. T. 2. Münster, 2010 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung. Bd. 70). S. 191–216.

Pelensky J. Muscovite imperial Claims to the Kazan Khanate // *Slavic Review*. 1967. Vol. 26. P. 559–576.

Pelensky J. Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438–1560s). Hague : Mouton, 1974. 368 p.

Pritsak O. Moscow, the Golden Horde and the Kazan khanate from a Polycultural point of View // *Slavic Review*. 1967. Vol. 26. P. 577–583.

Renner J. Livländische Historien 1556–1561. Lübeck : Schmidt-Römhild, 1953. 150 S.

Renner U. Herzog Magnus von Holstein als Vasall des Zaren Ivan Groznyj // *Deutschland – Livland – Rußland*. Ihre Beziehungen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Beiträge aus dem Historischen Seminar der Universität Hamburg. Lüneburg : Nordostdeutsches Kulturwerk, 1988. S. 137–158.

Schirren C. Neue Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit. Reval : F. Kluge, 1883. Bd. 1. 389 S.

Selart A. Eesti idapiiri keskajal. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998. 207 lk.

Selart A. Pärnu Liivi sõja aegse Vene halduskeskusena // *Pärnumaa ajalugu*. 2002. Kd. 5. Lk. 21–33.

Selart A. Livland und die Rus' im 13. Jahrhundert. Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2007. 373 S.

Selart A. The Orthodox Monastery in Tartu during the Livonian War // Tuna. Ajalookultuuri ajakiri. Past. Special Issue on the history of Estonia. 2009. P. 46–55.

Starodubec P. A. Das russische Fürstentum Kukenois im Ostbaltikum zu Beginn des 13. Jahrhunderts // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas. 1959. Bd. 3. S. 342–364.

Taube M. Russische und litauische Fürsten an der Düna zur Zeit der deutschen Eroberung Livlands (XII. und XIII. Jahrhundert) // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. 1935. Bd 11. S. 367–502.

Tiberg E. Die politik Moskaus gegenüber Alt-Livland: 1550–1558 // Zeitschrift für Ostforschung. 1976. T. 25. S. 577–617.

Tvaari A. Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost. Tartu ; Tallinn : Tartu Ülikool, 2001. 371 lk.

Zelenskova A. Dānijas prinča Magnusa (1540–1583) darbība Livonijā // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2000. Lp. 15–30.

Adamson, A. (2013). Liivimaa kuningriik. Tallinn: Argo.

*Akty' istoricheskie, otnosyashiesya do Rossii, izvlechenny'e iz inostranny'h arhivov i bibliotek A. I. Turgenyev'm* [Historical acts, referred to before Russia, taken from foreign archives and libraries by A. I. Turgenyev]. (1841). (Vol. 1). St. Petersburg: Tip. E'duarda Pracza.

Alekseev, L. V. (1966). *Poloczkaya zemlya (ocherki po istorii Severnoj Belorussii)* [Poltotskian land (essays on the history of Northern Belorussia)]. Moscow: Nauka.

Angermann, N. (1972). Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs. Marburg: Lann.

Attman, A. (1973). The Russian and Polish Markets in International trade: 1500–1650. Göteborg : Institute of Economic History of Gothenburg University.

Bessudnova, M. B. (2009). *Istoriya Velokogo Novgoroda koncza XV – nachala XVI v. po livonskim istochnikam* [The history of Velikiy Novgorod in the late 15<sup>th</sup> – early 16<sup>th</sup> c. by Livonian sources]. Velikiy Novgorod: Novgorod. gos. un-t.

Bessudnova, M. B. (2009). Petrovu dvoru kaput: zakry'tie ganzejskoj kontory' v Novgorode [The end of Peter the Great's court: closing of Hanseatic office in Novgorod]. *Rodina* [Motherland], 9, 43–46.

Bessudnova, M. B. (2013). Prevratnost' sud'by' (Velikiy Novgorod v sisteme russko-livonskikh otnoshenij) [Adversity (Velikiy Novgorod in the system of Russian-Livonian relations)]. In *Novgorodskij istoricheskij sbornik* [Novgorod historical composite book]. (Iss. 13 (23)) (p. 171–184).

Bessudnova, M. B. (2014). “Russkaya ugroza” v svete livonskoj ordenskoj dokumentacii 80–90-h godov XV v. [“Russian threat” in the light of Livonian Order documents of 80–90s years of 15 c.]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 1, 26–37.

Filiushkin, A. I. (2001). Diskursy' Livonskoj vojny' [Discourse of the Livonian war]. *Ab Imperio*, 4, 43–80.

Filiushkin, A. I. (2002). Sbornik s posol'skimi poslaniyami Ivana Groznogo v Rech' Pospolituju [Collection of Polish letters of Ivan the Great to the Polish-Lithuanian Commonwealth]. In *Istoricheskoe istochnikovedenie i problemy' vspomogatel'ny'h istoricheskikh disciplin. K 140-letiyu akademika Nikolaya Petrovicha Lihacheva (1862–1936) i 100-letiyu Doma N. P. Lihacheva v Sankt-Peterburge: tez. dokl. konf. Sankt-Peterburg. 3–5 dekabrya*. [Historical source study and the problems of supportive historical disciplines. To the 140<sup>th</sup> anniversary of the birth of academician N. P. Lihachev (1862–1936) and 100<sup>th</sup> anniversary of N. P. Lihachev's house in St. Petersburg: abstracts of the conference. St. Petersburg, 3–5 December] (p. 86–88). St. Petersburg: Peterb. in-t istorii.

Filiushkin, A. (2004). Der Diskurs von der Notwendigkeit des Durchbruchs zur Ostsee in der russischen Geschichte und Historiographie. In *Narva und die Ostseeregion* (p. 171–184). Narva: TU Narva Kolledz.

Filiushkin, A. I. (2004). Problema genezisa Rossijskoj imperii [The problem of the genesis of the Russian Empire]. In *Novaya imperskaya istoriya postsovetskogo prostranstva* [The new imperial history of the former Soviet Union] (p. 375–408). Kazan: Centr issledovanij nacionalizma i imperii.

Filiushkin, A. I. (2008). Politicheskaya praktika moskovskih vlastej v Livonii v period Livonskoj vojny' (novy'e dokumenty) [Political practice of Moscow authorities in Livonia during the Livonian war (new documents)]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 1, 78–83.

Filiushkin, A. (2013). The Livonian War and the Mentality of the Russian Nobles. *Canadian-American Slavic Studies*, 47, 420–435.

Florya, B. N. (1999). K istorii russkogo pomestnogo zemlevladieniya v Livonii [To the history of Russian manorial landowning in Livonia]. In *Russkij diplomatarij* [Russian diplomatarj]. (Iss. 5) (p. 114–117). Moscow.

Forstreuter, K. (1955). *Preussen und Russland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Grossen*. Göttingen: Musterschmidt.

Hübner, E. (1998). Zwischen allen Fronten. Magnus von Holstein als König von Livland. In *Zwischen Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und früher Neuzeit*. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Bd. 51) (p. 313–333). Stuttgart.

Kampfer, F. (1969). Die Eroberung von Kazan 1552 als Gegenstand der zeitgenössischen russischen historiographie. *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*, 14, 7–161.

Kazakova, N. A. (1963). Ganzejskaya politika russkogo pravitel'stva v poslednie gody' XV v. (russko-ganzejskie peregovory' 1498 g.) [Hanseatic policy of Russian government in the last years of XV c. (Russian-Livonian negotiations of 1498 yr.)]. In *Problemy' obshchestvenno-politicheskoi istorii Rossii i slavyanskikh stran: sb. st. k 70-letiyu akademika M. N. Tihomirova* [The problems of sociopolitical history of Russia and Slavic countries: collection of articles to the 70<sup>th</sup> anniversary of academician M. N. Tikhomirov] (p. 150–157). Moscow: Izd-vo vost. lit.

Kazakova, N. A. (1975). *Russko-livonskie i russko-ganzejskie otnosheniya. Konec XIV – nachalo XVI v.* [Russian-Livonian and Russian-Hanseatic relations. Late 14<sup>th</sup> – early 16<sup>th</sup> c.]. Leningrad: Nauka.

Keenan, E. (1967). Muscovy and Kazan: Some introductory remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy. *Slavic Review*, 26, 548–558.

Kirchner, W. (1970). *The rise of the Baltic question*. Westport: Greenwood Press.

Kostochkin, V. V. (1953). Russkie voenno-oboronitel'ny'e sooruzheniya XVI v. u ust'ya Narovy' [Russian military defensive fortification of 16<sup>th</sup> c. at Narva creek]. In *Kratkie soobshheniya Instituta istorii material'noj kul'tury'* [Brief reports of the Institute of history of material culture]. (Vol. 52) (p. 25–32).

Kovalenko, G. & Smirnov, V. (2007). *Legendy' i zagadki Zemli Novgorodskoj* [Legends and riddles of Novgorod land]. Moscow: Veche.

Kurukin, I. V. (1981). K izucheniyu istochnikov o nachale Livonskoj vojny' i deyatelnosti pravitel'stva Adasheva i Sil'vestra [Studying of sources on the beginning of the Livonian war and activity of the government of Adashev and Sylvester]. In *Istochnikovedcheskie issledovaniya po istorii feodal'noj Rossii* [Source studies researches on the history of feudal Russia] (p. 29–38). Moscow: In-t ist. SSSR.

Leimus, I. (2008). Hertsog Magnus, tema võlad ja võlausaldajad. *Tuna*, 2 (38), 8–18.

Martin, J. (2007). Two Pomeshchiki from the Novgorod Lands: Their Fates and Fortunes during the Livonian War. *Russian History*, 34, 239–253.

Maazing, M. (2010). “Russkaya opasnost'” v pis'mah Rizhskogo arhiepiskopa Vil'gel'ma za 1530–1550-e gg. [“Russian danger” in the letters of Vilgelm archbishop of Riga for the 1530–1550s yrs.]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 1, 184–192.

Nazarova, E. L. (1986). Iz istorii vzaimootnoshenij livov s Rus'yu (X–XIII vv.). [From the history of relations of Livs with Russia (10<sup>th</sup>–13<sup>th</sup> cc.)]. In *Drevnejshie gosudarstva na territorii SSSR* [The most ancient nations on the territory of the USSR] (p. 177–183). Moscow: Nauka.

Nazarova, E. L. (1995). Russko-latgal'skie kontakty' v XII–XIII vv. v svete genealogii knyazej Ersiki i Koknese [Russian-Latgalian contacts in 12<sup>th</sup>–13<sup>th</sup> cc. in the light of genealogy of the princes of Ersika and Koknese]. In *Drevnejshie gosudarstva na territorii SSSR. 1992–1993 gg.* [The most ancient nations on the territory of the USSR. 1992–1993 yrs.] (p. 182–196). Moscow: Nauka.

Neinshtedt, F. (1883). Livonskaya hronika [Livonian chronicle]. In *Sbornik materialov i statej, otnosyashhiesya k istorii Pribaltijskogo kraya* [Collection of materials and articles referred to the history of the Baltic region] (p. 7–124). Riga: Tip. A. I. Lipinskogo.

Nosov, K. S. (2009). *Russkie kreposti koncza XV–XVII vv.* [Russian fortresses of the late 15<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc.]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya.

Noviczkiĭ, G. A. (1965). Novy'e dannye o russkom feodal'nom zemlevladienii v Pri-baltike v period Livonskoj vojny' (1558–1582) [New information on Russian feudal tenure in the Baltics during the Livonian war (1558–1582)]. *Voprosy' istorii* [Historical issues], 4, 132–138.

Olesen, J. (2010). Die Hochstifte Ösel und Kurland unter dänischen Herrschaft. In *Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500–1721. T. 2.* Münster (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung. Bd. 70) (p. 191–216).

Oparina, T. A. (2008). Rod Farensbahov vo vtoroj polovine XVI v. [The family of Farensbah in the second half of 16<sup>th</sup> c.]. In *Chelovek v prostranstve i vremeni kul'tury'* [A man in the space and time of culture] (p. 40–86). Barnaul: Alt. gos. un-t.

*Pamyatniki istorii Vostochnoj Evropy'. Istochniki XV–XVII vv. T. 3: dokumenty' Livonskoj vojny' (podlinoe deloproizvodstvo prikazov i voevod). 1571–1580 gg.* [Historical monuments of the Livonian war (original paperwork management on orders and voevodes). 1571–1580 yrs.]. (1998). Moscow; Warsaw: Arheograficheskij centr.

Pelensky, J. (1967). Muscovite imperial Claims to the Kazan Khanate. *Slavic Review*, 26, 559–576.

Pelensky, J. (1974). *Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438–1560s)*. Hague: Mouton.

Piotuh, N. V. (2003). Sluzhily'e lyudi na Livonskoj vojne [Noblemen at the Livonian war]. In *Arheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoj zemli: materialy' nauchny'h seminarov za 2001–2002 gg.* [Archaeology and history of Pskov and Pskov region: materials of scientific workshops for the period of 2001–2002 yrs.] (p. 161–183). Pskov: In-t arheologii RAN; Pskov. gos. ob"edinennyj istoriko-arhitekturnyj i hudozhestvennyj muzej-zapovednik.

Pritsak, O. (1967). Moscow, the Golden Horde and the Kazan khanate from a Polycultural point of View. *Slavic Review*, 26, 577–583.

Renner, J. (1953). *Livländische Historien 1556–1561*. Lübeck: Schmidt-Römhild.

Renner, U. (1988). Herzog Magnus von Holstein als Vasall des Zaren Ivan Groznyj. In *Deutschland – Livland – Rußland. Ihre Beziehungen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Beiträge aus dem Historischen Seminar der Universität Hamburg* (p. 137–158). Lüneburg: Nordostdeutsches Kulturwerk.

Schirren, C. (1883). *Neue Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit*. Reval: F. Kluge.

Selart, A. (1998). *Eesti idapiir keskajal*. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Selart, A. (2002). Pärnu Liivi sõja aegse Vene halduskeskuse. *Pärnumaa ajalugu*, 5, 21–33.

Selart, A. (2007). *Livland und die Rus' im 13. Jahrhundert*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.

Selart, A. (2009). The Orthodox Monastery in Tartu during the Livonian War. In *Tuna. Ajalookultuuri ajakiri. Past. Special Issue on the history of Estonia* (p. 46–55).

Selart, A. (2012). “Russkie boyare” v E'stlyandii (konecz XVI – nachalo XVII vv.) [“Russian boyars” in Estonia (late 16<sup>th</sup> – early 17<sup>th</sup> cc.]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 2, 3–14.

Selart, A. (2013). Ivan Groznyj, Kaizer Livonskij? K istorii vozniknoveniya idei o rossijskom vassal'nom gosudarstve v Livonii [Ivan the Great, Caesar Livonian? To the history of the idea of Russian vassal state in Livonia]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 2, 180–197.

Selart, A. (2014). Tajna kupczov, zabota diplomatov: russkijazyk v slednevekovoj Livonii [Merchants' secret, diplomats' concern: the Russian language in the medieval Livonia]. In *Lotmanovskij sbornik 4* [Lotmanovsky collection 4] (p. 48–60). Moscow: OGI.

Selin, A. A. (2001). Moskovskoe cerkovnoe stroitel'stvo v Livonii v XVI v. [Moscow church building in Livonia in 16<sup>th</sup> c.]. In *Arheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoj zemli: materialy' nauchnogo seminarov za 2000 g.* [Archaeology and history of Pskov and Pskov region: materials of scientific workshop for 2000 yr.] (p. 242–247). Pskov: In-t arheologii RAN; Pskov. gos. ob"edinennyj istoriko-arhitekturnyj i hudozhestvennyj muzej-zapovednik.

Skobelkin, O. V. (2010). Livonskaya vojna i zapadnoevropejcy' v russkom vojske [The Livonian war and west-europeans in Russian army]. In *Baltijskij vopros v konce XV–XVI vv.* [Baltic question in the end of 15<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> cc.] (p. 207–220). Moscow: Kvadriga.

Starodubec, P. A. (1959). Das russische Fürstentum Kukenois im Ostbaltikum zu Beginn des 13. Jahrhunderts. *Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas*, 3, 342–364.

Taube, M. (1935). Russische und litauische Fürsten an der Düna zur Zeit der deutschen Eroberung Livlands (XII. und XIII. Jahrhundert). *Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven*, 11, 367–502.

Tiberg, E. (1976). Die politik Moskaus gegenüber Alt-Livland: 1550–1558. *Zeitschrift für Ostforschung*, 25, 577–617.

Tvauri, A. (2001). *Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost*. Tartu; Tallinn: Tartu Ülikool.

Zelenkovs, A. (2000). Dānijas prinča Magnusa (1540–1583) darbība Livonijā. In *Latvijas Kara muzeja gadagrāmata* (p. 15–30). Rīga: Latvijas Kara muzejs.

*The article was submitted on 21.05.2014*

**Александр Ильич Филюшкин**  
профессор  
Россия, Санкт-Петербургский  
государственный университет  
a.filushkin@spbu.ru

**Alexander Filiushkin**  
Professor  
Russia, Saint Petersburg  
State University  
a.filushkin@spbu.ru



---

УДК 94(474.2) + 94(474.3) + 94(470) +  
+ 929 + 316.342.2

Юрген Хайде

**ЛИВОНИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ.  
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ**

**LIVONIA UNDER THE POLISH-LITHUANIAN  
COMMONWEALTH. THE STRUGGLE FOR POWER  
AND THE SOCIAL TRANSFORMATION**

The article describes the controversial correlation of forces in Livonia's fight to retain its status quo. The geopolitical situation caused Livonia, though a sovereign but highly dependent state, to gradually disappear. Livonia's structure was far from monolithic; it was a complex of secular, church, order and city jurisdictions. There were estates that had either lost or acquired rights. Internationally, this European province, whose territory was being claimed by the Polish-Lithuanian Commonwealth, Sweden, Denmark, and Russia, was incapable of surviving in the intensifying political and military confrontations that dominated the region in the last third of the 17<sup>th</sup> century.

**Key words:** Livonia; Polish-Lithuanian Commonwealth; Sweden; Denmark; Russia; Polish gentry; Livonian order; Riga archbishopric; secular and church feudal lords; city estates; nobility; peasantry; Sigismund II Augustus; Sigismund III; Charles, Duke of Södermanland (Charles IX); Stephen Báthory.

Дается развернутая панорама противоречивого соотношения сил в борьбе Ливонии за сохранение своего status quo. Стремительно менявшаяся геополитическая ситуация сложилась не в пользу существования Ливонии как сильно зависимого, но все же самостоятельного государственного образования, что привело к его постепенному упразднению. Внутреннее устройство Ливонии не было монолитным, это был сложный конгломерат различных юрисдикций: светской, церковной, орденовой, городской. Здесь тоже были сословия, потерявшие или приобретшие свои права. Во внешнеполитической перспективе европейская провинция, на которую заявляли свои права польско-литовское государство, Швеция, Дания и Россия не могла устоять в обострившей обстановке военно-политического противостояния сил, доминировавших в регионе, и к концу XVI в. это стало очевидным фактом.

Ключевые слова: Ливония; Речь Посполитая; Швеция; Дания; Россия; шляхта; Ливонский орден; Рижское архиепископство; светские и церковные феодалы; городские сословия; дворянство; крестьянство; Сигизмунд II Август; Сигизмунд III; Карл фон Сёдерманланд (Карл IX); Стефан Баторий.

### Историография вопроса

С 1582 по 1629 г. Ливония находится под властью Речи Посполитой, т. е., с конца Ливонской войны до заключения Альтмарктского перемирия, когда почти вся провинция отошла под власть Швеции; данный период является наименее исследованным в истории Балтийского региона. Это касается как немецкоязычной (немецко-балтийской), так и эстонской, и латвийской историографии [см. Rauch, S. 413f.; Heyde, 2003; 2008]<sup>1</sup>. Немногим больше имеется исследований в полоноязычной научной литературе, но и здесь некоторые основополагающие труды относятся к временам до начала Второй мировой войны [Heyde, 2003; 2008]. Это работы Эдварда Кунтце об административном управлении и Казимижа Тышковского о конфессиональной политике польских властей [Kuntze; Tyszkowski, 1938; 1939]. Основной упор в польских исследованиях делается на Польско-шведскую войну 1600–1629 гг., о которой в последние десятилетия особенно много написал Хенрик Виснер [Wisner, 1970; 1991; 2001; 2005; Herbst]<sup>2</sup>.

До сих пор нет подробного обобщающего описания данной эпохи. Исследования политической истории рассматриваемого периода очень немногочисленны; лучшим введением в тему на немецком языке является до сих пор «История Балтики» Рейнхарда Виттрама (1954). Основное внимание автор уделял военным действиям, лишь побочно касаясь административного управления, конфессиональной и городской политики [Wittram]. Более краткое формальное изложение этой темы находим в работе Хайнца фон цур Мюлена «Страны Балтии» (1994) [Mühlen]<sup>3</sup>. Недостатком обеих работ является анахроничная перспектива трактовки истории в русле национальной конфронтации. Интересным подходом, хотя и несколько традиционным, отличается «История балтийских стран», увидевшая свет в 1999 г. в Таллине, – совместная монография литовских, латышских и эстонских авторов<sup>4</sup>. Необходимо также упомянуть третий том «Eesti Ajalugu», полностью посвященный времени между 1561 и 1710 гг. Первоначально он был опубликован еще в 1940 г. [Eesti Ajalugu III].

<sup>1</sup> Георг фон Раух относит это также на счет «подспудных конфессиональных предпочтений».

<sup>2</sup> См. также статьи Анны Жемлевской, Мариуша Балцерека и Аркадиуша Чволека [Wojny Północne w XVI–XVII wieku].

<sup>3</sup> О времени польского господства см. также [Livland unter polnischer Herrschaft, S. 180–182; Die Gegenreformation in Livland, S. 183–187].

<sup>4</sup> См. также нем. [Geschichte des Baltikums] и русскоязычное издание [История балтийских стран].

На латышском языке имеется краткая история «Latvijas vēsture», вышедшая из-под пера эмигрировавших Эдгара Дунсдорфса и Арнольда Шпекке [Dunsdorfs, Spekke].

В социальной истории историографическая традиция прибалтийских немцев сосредоточивала свое внимание прежде всего на истории дворянства раннего Нового времени<sup>5</sup>, напротив, для эстонской и латышской исследовательской традиций характерно обращение к истории крестьянства. Времени польского правления посвящены монографии Энна Тарвела и Василия Дорошенко, а также автора этой статьи [Тарвел; Дорошенко; Heyde, 2000]. Положительные импульсы получило в последнее время исследование городской истории благодаря монографическим исследованиям по истории Дерпта – Маргуса Лайдре [Laidre] и Риги – Анны Жемлевской [Ziemlewska, 2008].

В менее выгодном положении оказалась история религии. До сих пор основным трудом является статья Казимижа Тышковского 1939 г. Работы на немецком языке «История церкви Балтики» [Baltische] 1956 г. издания и обширная статья Александра Лоита «Реформация и конфессионализация» [Loit] 2009 г. оставляют совершенно без внимания вопрос рекатолизации Ливонии раннего Нового времени и рассматривают историю церкви исключительно в перспективе протестантизма. Эту историографическую лауну отчасти восполняет работа Энна Тарвела «Церковь и третье сословие балтийских городов XVI–XVII столетий», который уделяет внимание и русской православной церкви в Ливонии во время Ливонской войны. Более полной, хотя и не свободной от национальных стереотипов, является краткая история «польской контрреформации в Ливонии» Герхарда Клееберга 1931 г. [Kleeberg]. Из недавних исследований можно назвать работу Кристофа Шмидта «Посеяны на скалах» («Auf Felsen gesät») [Schmidt], одна глава которой посвящена польской религиозной политике в Ливонии. В ней показаны основные события – от Календарных беспорядков в Риге до деятельности Ордена иезуитов – и политический масштаб религиозной политики Польши. Деятельность Ордена иезуитов в Дерпте описана в монографии Велло Хелкса 1977 г., переизданной в 2003 г. на эстонском языке [Helk, 1977; 2003]. Рижский ученый Гвидо Штраубе занимается аналогичной темой, но озвучил до сих пор лишь основные направления своей исследовательской программы [Straube, 2003; 2008].

### **От Ливонской конфедерации до провинции Ливония 1561–1582 гг.**

Время между 1561 и 1621/29 гг. в истории Ливонии традиционно считается «временем польского правления», что нуждается в уточнении. С одной стороны, понятие «Ливония» модифицировалось

<sup>5</sup> Наряду с приведенными обобщающими работами см. [Heyde, 1998].

во время Ливонской войны. До 1561 г. оно распространялось на всю территорию Ливонской Конфедерации, после 1582 г. определяло собственно ливонскую провинцию севернее Двины и герцогства Курляндского, а также южнее доминиона Шведской Ливонии (княжества Эстонского), в то время как остров Эзель (эст. Сааремаа) до 1645 г. находился под датским правлением. С другой стороны, исторически сложилось так, что с этим регионом взаимодействовала не столько Польша, сколько Великое княжество Литовское, имевшее тесные связи с Ливонией. Особенно это можно отнести ко времени после Люблинской унии 1569 г., но и позже позиция литовской стороны оказывала решающее значение на отношения между Ливонией и польско-литовским государством.

К середине XVI в. обозначились глубокие изменения в политической архитектуре Балтийского региона. Реакция на требования Великого Московского княжества в адрес Дерптского епископства показала внутреннюю разрозненность Ливонской Конфедерации. Нарастающая напряженность в северо-восточных областях Балтии не могла оставлять безучастным Польско-Литовское княжество, хотя король Сигизмунд II Август и понимал, что открытое выступление на стороне Ливонии неизбежно приведет к новому конфликту между Москвой и Великим княжеством Литовским. Поэтому король ограничился лишь декларацией политической программы по отношению к Ливонии в Позвольском договоре 1557 г. Он выступил также в так называемой «позвольской выправе» или «войне коадьюторов» протектором Рижского архиепископства и заключил с магистром Ливонского ордена оборонительный союз против Москвы, который вступал в силу лишь после окончания действия договоров Литвы и Немецкого Ордена с последней [Tiberg; Dogiel, S. 210–215].

После того, как Иван IV в 1558 г. отдал приказ о захвате города Нарвы, напав таким образом на Немецкий Орден в Ливонии, вступил в силу *casus foederis*, или исполнение обязательств в рамках союзнического договора: договор о ненападении между Литвой и Москвой имел свою силу еще до 1562 г. В сложившейся ситуации Орден искал поддержку у соседей. Переговоры магистра Ливонского Ордена Фюрстенберга с Данией привели к подписанию с ней договора в январе 1559 г. при условии уступки последней Эстляндии; одновременно Фюрстенберг послал делегацию с просьбой о помощи ко двору польского короля. Как один из вариантов обсуждалось присоединение Ливонии к личной (персональной) унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского, но не могла быть достигнута единая точка зрения касательно условий, на которых это должно было произойти. Магистр Ливонского ордена и ливонские привилегированные сословия стремились, по примеру Пруссии, добиться присоединения к унии. Король Сигизмунд II Август и литовская знать желали объединить Ливонию с Великим княжеством Литовским, а польские привилегированные сословия не желали участвовать в конфликте на Северо-Востоке.

В конечном итоге в принятых Виленских договорах был найден компромисс: Ливонский Орден и Рижское архиепископство соглашались подчиниться непосредственно королю<sup>6</sup>. В дальнейших переговорах с литовскими сенаторами король продолжал выступать за инкорпорацию в Великое княжество Литовское. По его мнению, совпадавшему с мнением литовских сенаторов, присоединение Ливонии к Литве было исключительно выгодным из-за торгового пути по Двине, в то время как для польской короны он не играл никакого значения. Решающим же фактором для Ливонии было опасение по поводу неспособности Литвы выдерживать в одиночку долгое время военную конфронтацию с Москвой. Ливонские привилегированные сословия понимали, что литовское боярство гораздо менее влиятельно по сравнению с польской шляхтой (это должно было кардинально измениться после заключения Люблинской унии 1569 г.). Присоединение Ливонии к Польше означало бы значительное усиление власти шляхты по отношению к магнатам.

После более чем двух лет переговоров в ноябре 1561 г. была подписана Виленская уния (*Pacta Subjectionis*). Будучи последним магистром Ливонского ордена, Готхард Кетлер был объявлен герцогом Курляндским и Семигальским, а также стал губернатором Лифляндии. Прежние территории Ордена и Рижское архиепископство (которому архиепископ Вильгельм принес присягу на верность) должны были быть подчинены непосредственно польскому королю, но их степень подчиненности по отношению к обеим частям Речи Посполитой должна была быть определена позже [Klot].



Готхард фон Кетлер, последний ландмейстер Ливонского ордена, передавший его территории в 1561 г. под протекторат Польско-Литовского государства, первый герцог Курляндии. Портрет неизвестного художника

На данном этапе значение личности короля Сигизмунда II Августа было решающим для успеха переговоров [Sucheni-Grabowska, S. 369–399, 281–302]. Уже с середины 1550-х гг. он активно выступал за более широкий ангажемент Польши в Ливонии и введение протектората. Польский сейм, не видя в присоединении Ливонии очевидной пользы, рекомендовал сдержанную политику, опасаясь роста затрат на содержание армии и иных финансовых расходов. Еще в 1556 г. он потребовал от короля созвать общий сейм, чтобы обсудить

политику по отношению к Ливонии, возобновив это требование перед подписанием Виленской унии в 1561 г. В ответ на это король созвал лишь сенаторов в Ломже в Мазовии, но те не стали принимать окончательного решения по поводу Ливонии, вновь потребовав созыва

<sup>6</sup> Виленские договоры см. [Dogiel, S. 210–233].

общего сейма [Michalski, S. 157f.]. В последующие годы этот вопрос отошел на второй план. Ввиду большой заинтересованности короля и литовской знати в инкорпорации Ливонии, польский сейм пытался разыграть эту карту во время переговоров по Люблинской унии между Польшей и Литвой для того, чтобы получить больше преимуществ в свою пользу. Общие сеймы 1562/63 и 1564 гг. решительно отклоняли прения по этой проблематике, пока не будет достигнуто соглашение о конфедерации между двумя субъектами польско-литовской унии.

Хотя рижские привилегированные сословия не присягали в 1561 г. польскому королю на верность, в 1563 г. они предотвратили попытку секуляризации рижским коадьютором Христофором Мекленбургским владений архиепископства в пользу Швеции и выдали его Польше. Готхарду Кетлеру, которому было поручено управление только что образованным герцогством Курляндским и Семигальским и Задвинской Ливонией, также не удалось распространить свое влияние на всю территорию бывшей Ливонской конфедерации. Не помог ему и захват с помощью польских войск города-порта Пярну в 1565 г., когда Кетлер натолкнулся на решительное сопротивление рижского архиепископства. По инициативе рижских городских сословий король Сигизмунд II Август отозвал в августе 1566 г. Кетлера с должности управляющего Задвинской Ливонией; на его место был назначен литовец Ян Ходкевич, получивший должность губернатора. Последнему удалось привлечь на свою сторону членов ливонского ландтага в Кокенгаузене, проголосовавших за унию с Литвой. С этого времени так называемое Задвинское герцогство (*ducatus ultraduniensis*) было подразделено на четыре административных округа с центрами в Риге, Турайде, Вендене и Динабурге и охватило, таким образом, лишь те области, которые до сих пор находились под влиянием польской короны. Одновременно с этим были упразднены прежние ливонские административные границы (прежде всего между территориями Немецкого ордена и рижского архиепископства) [Donnert, S. 89–91; Kuntze, S. 14; Staemmler, S. 36; Tarvel, S. 61; о союзной привилегии см. Dogiel, S. 269–273, 273–278; ср. с *Pacta Subjectionis*: Klot, S. 130–132].

В 1569 г., когда польские и литовские привилегированные сословия решили заключить Люблинскую унию и перейти от личной унии к союзу государств, ливонский вопрос так и не удалось решить окончательно. Но в отличие от литовско-ливонского договора 1566 г. в заключительном акте Люблинской унии говорилось о необходимости равного подданства Ливонии как польской короне, так и Литве, принесших большие жертвы в присоединении последней [Volumina Legum, S. 94; Kuntze, S. 14]. Несмотря на то, что представители Ливонии не участвовали в переговорах, король Сигизмунд II Август пообещал заняться решением их вопросов на следующем общем сейме. Но ни в 1570 г., ни в последующие годы на общих сеймах этого не произошло. Принципиально изменилась политическая обстановка: царь

Иван IV привлек на свою сторону герцога Магнуса Голштейнского, принца датского, обещанием помочь ему стать «королем Ливонии». Магнус уже в 1559 г. стал епископом Курляндским и приобрел остров Эзель (Сааремаа). Многочисленные представители ливонского дворянства поддержали Магнуса, когда тот возглавил русские отряды в 1570 г. во время похода в Ливонию. К моменту наступления русских войск в 1572 г. еще более усилились сомнения в лояльности ливонцев [Kuntze, S. 14, S. 50 mit Anm. 77; Heyde, 2006].

Во время междуцарствий 1572 и 1574–1576 гг. борьба за влияние в Ливонии как в ней самой, так и за ее пределами ослабла, т. к. Ивана Грозного больше интересовала возможность наследования польской короны [Bues, S. 29–32; Augustinowicz, S. 39f., 86f.]. Только после выбора Стефана Батория было начато новое наступление русских войск, дошедших до стен Риги и Ревеля. Стефан Баторий оставил поначалу действия русских войск без внимания, сконцентрировавшись на польско-литовском театре военных действий, где он пытался вернуть захваченные Москвой в 1563 г. литовские земли. Одновременно он вошел в сношения с королем шведским Иоганном III, также женатым на одной из сестер последнего короля из династии Ягеллонов. В операциях между 1579 и 1582 гг. им удалось вытеснить русские войска из Ливонии и принудить Ивана IV к перемирию. Северная часть прежней Ливонской конфедерации с уездами Харьу, Вирланд, Йервен и Виик была объявлена под шведским протекторатом и называлась княжеством Эстляндским, область же, находившаяся южнее их вплоть до Двины образовывала польскую провинцию Ливонии – Задвинское герцогство. Города Йервен и Виик, отказавшиеся подчиниться шведам в 1561 г., были заняты шведскими войсками только в 1582 г., после того как русские войска оставили их. По этой причине польская сторона видела здесь нарушение своих прав, закрепленных в Виленской унии 1561 г., но Стефан Баторий ограничился протестом; он не был готов к военным действиям против своего неформального союзника [Franz, S. 86; см. Almquist, S. 73, Anm. 3].

### **От изоляции к интеграции**

После окончания войны политическим акторам не было до конца понятно, какое же место в будущем должна была занять Ливония в польско-литовском государстве. Поначалу она воспринималась лишь как военный форпост в борьбе с Московским государством, аналогично центру северо-восточного региона Великого княжества Литовского Смоленску. Король Стефан Баторий планировал сначала разобрать все ливонские замки, не задействованные в защите границ государства, т. к. наличие большого количества крепостей лишь помогло бы противной стороне укрепиться на этой территории. Дворяне получали право лишь оставить за собой жилую усадьбу

[Heyde, 2000, S. 38f.]. В связи с тем, что провинция за 25 лет войны обезлюдела, за вербованными военными колонистами предполагалось заселить стратегически важные районы. В этом случае Ливония оставляла за собой особый статус, будучи своего рода «королевским протекторатом», отрезавшим Россию от Балтийского моря, чтобы защитить границы Литвы.



Карта Ливонской конфедерации второй половины XVI в. Иоанн Портанций, 1573 г.

Стефан Баторий не скрывал своих намерений, введя еще в 1582 г. новое административное устройство в Ливонии. Так называемое Собрание законов Ливонии („Constitutiones Livoniae“) не было представлено на обсуждение общему польско-литовскому сейму, но было утверждено на ливонском ландтаге в 1583 г. Административное деление не оставляло никаких признаков от прежних традиций. Были образованы три округа с центрами в Вендене, Пярну и Дерпте; президенты этих округов должны были иметь такие же полномочия, как и воеводы в королевстве Пруссия. Судебные ландтаги, введенные как признак провинциального самоуправления, служили инстанцией, утверждающей в должности; в то время как апелляция к королю не была предусмотрена.

Собрание законов Ливонии содержало также новшества социального порядка. Дворянство получало право приобретать недвижимое имущество граждан городских привилегированных сословий, а граждане – земельные владения феодалов. В этом случае они должны были взять на себя связанные с этим обязанности. Таким образом, более не имелось разграничения в правах между обеими социальными группами. «Дворянство» перестало дефинироваться как социальная привилегия по рождению, но принимало чисто функциональное значение. Исключенным из этой новой сословной принадлежности являлось крестьянство. Конституция категорически запрещала крестьянам владеть оружием, гарантируя им одновременно особую защиту короля [Staemmler, S. 78–81; Tarvel, S. 65–69].

Для последних лет правления Стефана Батория характерны споры по поводу статуса Ливонии в Речи Посполитой. С литовской стороны следовали постоянные напоминания о том, что провинция была инкорпорирована в Великое княжество Литовское уже договором 1566 г., в то время как с польской стороны указывалось, что для овладения



Ливонией необходимо было применить оружие, а значит, обе половины унии имеют равные права на провинцию и, в частности, на раздачу служебных мест [Dyariusze sejmowe 1585 r., S. 334 (Dodatek I: Sejm walny koronny w Warszawie 1582), 255, 261f., 356; Heyde, 2003a, S. 162–165].

В течение 1580-х гг. Ливония стала своего рода катализатором, обострившим нерешенные глубокие проблемы, заложенные со времени образования конфедерации в 1569 г. Особенно очевидным это стало во время междоусобицы – до восшествия на престол Сигизмунда III Вазы в 1587 г. Обе стороны пытались перетянуть нового монарха на свою сторону, чтобы получить максимальное количество привилегий. В конечном итоге ими было сделано предложение поделить Ливонию на польскую и литовскую части, но король решительно отклонил его, т. к. это несло в себе, по его мнению, потенциальную опасность для унии. Новая провинция несла в себе зерно раздора еще и потому, что, как сын короля Иоганна III и наследник шведского престола, Сигизмунд был обязан польским и литовским привилегированным сословиям содействовать Речи Посполитой в возвращении Эстонии [Diaryusze sejmowe r. 1587, S. 70f.].

В 1589 г. Сигизмунд III предложил на общем сейме в Варшаве принять новые статуты провинции: «*Ordinatio Livonica*» [Volumina Legum II, S. 278–280; Tarvel, S. 72f.; Heyde, 2000, S. 71f.]. Они мало что меняли в ее административном порядке; непосредственная задача статутов заключалась в разрешении конфликта между польской и литовской сторонами в борьбе за влияние в Ливонии. Теперь служебные должности распределялись равномерно между представителями польской и литовской национальности. То же самое касалось и доходов с провинции, поступающих попеременно в польскую и литовскую казну. Все постановления общего сейма должны были утверждаться как польской, так и литовской печатями. Местное, ливонское дворянство не было упомянуто в них ни единым словом. Периферийное географическое положение новой провинции внутри двойной монархии обусловило ее второстепенную политическую роль и маргинализацию политической ливонской элиты. Но, собственно, такое положение вещей соответствовало тому незначительному политическому влиянию, которое имела Ливония в польско-литовском государстве. При новой констелляции с Сигизмундом III Вазой как королем Польши и великим князем Литовским и его отцом Иоганном III как королем Швеции, когда больше не исходило прямой угрозы от Москвы, балтийские провинции оказались в центре внимания династической географии.

Данная политическая ситуация просуществовала недолго. После смерти Иоганна III в 1592 г. Польша и Швеция стояли перед неразрешимой проблемой: наследник престола католического вероисповедания из Польши в протестантской Швеции. Этим противоречием воспользовался младший брат Иоганна, герцог Карл фон Сёдерманланд, поставивший в 1594 г. под вопрос легитимность прав Сигизмунда на шведский престол. В политической полемике обоих представителей династии Ваза

большую роль сыграла их конфессиональная принадлежность, хотя для элиты обеих стран речь шла еще и о том, в какой стране будущий король будет находиться фактически. Этот вопрос волновал более всего польско-литовскую элиту; уже во время выборов Сигизмунда III последний был вынужден взять на себя определенные обязательства, причем его планы по поводу шведского престола были встречены польскими элитами исключительно сдержанно [Heyde, 2000, S. 76–81].

В последующие годы этот династический конфликт в королевском доме Ваза еще более обострился. Одновременно с этим в центре внимания оказались балтийские провинции. Карл фон Сёдерманланд обвинял Сигизмунда в намерении лишит Швецию Эстонии, предъявляя одновременно свои права на Ливонию. Сигизмунд отреагировал на это новыми статутами, аннулировавшими второстепенное положение Ливонии и предоставившими ее гражданам широкие права. Во Вторых статутах “*Ordinatio Livonica II*” 1598 г. округа (*Präsidiat*) были переименованы в воеводства, а лица, возглавляющие их, получили место и право голоса на общем сейме. Теперь все должности и чины в провинции были доступны и для граждан Ливонии. Прежний принцип ротации должностей был сохранен, но дополнен ее участием. Теперь каждая должность занималась поочередно представителями трех «наций»: польской, литовской и ливонской. Королевские комиссары, назначенные для реализации новых статуты, были обязаны следить за правильностью их исполнения. Свои наказания общему сейму и королю ливонцы могли теперь скреплять печатью провинции. Все высокопоставленные чиновники обязаны были присутствовать в местах своей службы. Новое правило было направлено против представителей польско-литовской элиты и должно было прекратить практику использования административных должностей в Ливонии лишь как доходных мест. Положения “*Ordinatio Livonica II*” были почти полностью реализованы на практике, что дало гражданам Ливонии возможность занимать почетные должности старост и другие высокие посты [Volumina Legum II, S. 377f.; Hoffmann, S. 80f., см. также ниже главу «Ливонское дворянство в польский период»].

Нападение Карла фон Сёдерманланда в 1600 г. с территории Шведской Эстонии на Ливонию стало проверкой того, насколько ливонские элиты оценили и приняли запоздалый жест короля Сигизмунда и польско-литовской знати. Быстрым броском шведские войска продвинулись до южной Ливонии, но не смогли овладеть Ригой или принудить ее перейти на сторону Швеции. Короткое время наблюдалось небольшое число перебежчиков в лагерь Карла [Bienemann; Königlich]<sup>7</sup>. Но уже вскоре после шведского вторжения польско-литовские войска совместно с ливонскими отрядами вошли в Эстонию. В битве под Кирхгольмом в 1605 г. они наголову разбили войска Карла [Wisner, 2005; Dybaś; Frost, S. 62–69].

---

<sup>7</sup> Анна Жемлевска обратила недавно внимание на то, что иные польские представители власти, например, воевода города Пярну Мачей Дембински, переходили на сторону противника [см. Ziemlewska, 2008, S. 211 mit Anm. 837].

В 1607 г. Сигизмунд III издает новый Основной закон для Ливонии [Volumina Legum II, S. 441; vgl. Tarvel, S. 76f.], еще более расширивший привилегии ливонского рыцарства: ливонцы получали право свободного доступа к высоким должностям и чинам на всей территории Речи Посполитой. Теперь ранг Ливонии ничем не уступал прочим провинциям и округам польско-литовского государства, ливонское дворянство было полностью уравнено в правах с шляхтой. И хотя Сигизмунд III проиграл борьбу за шведский трон, была сохранена территориальная целостность двойной монархии.

### Потеря Ливонии (1617–1629)

К концу эпохи события, вновь развернувшиеся вне пределов Ливонии, сыграли в ее судьбе решающую роль. Речь идет о растущем внутри- и внешнеполитическом напряжении в Речи Посполитой на ее юго-восточных рубежах в конце XVI в. С 1589 г. украинские воеводства становятся жертвой набегов татар. Казаки, принявшие на себя основной удар османов и обязанные защищать границу, все больше становятся фактором риска для дворянской республики. Эта проблема, самое позднее после восстания казаков 1596/97 г., постоянно обсуждалась на совещаниях польско-литовских общих сеймов [Volumina Legum II, S. 364 (1596), 401 (1601), 465 (1609), etc.; см. Jakowenko, особ. s. 192–197].

Карл фон Сёдерманланд, избранный в 1604 г. шведским рейхстагом королем, сосредоточил свое внимание на укреплении своей власти в центральных владениях Швеции и лишь изредка вступал в небольшие военные столкновения за их пределами [см. Ziemińska, 2008, S. 210–232]. Военное положение стабилизировалось, и в 1611 г. обе стороны заключили перемирие на пять лет. К этому времени права Сигизмунда на шведский трон стали чисто формальными, не имевшими под собой реальной основы. После смерти Карла IX власть наследовал его сын Густав Адольф в Стокгольме. Благодаря перемирию с польско-литовским государством у него было достаточно времени, чтобы закончить войны с Данией и Россией, прежде чем он вновь напал на Ливонию в 1617 г.

В 1621 г., когда Османская империя напала на Речь Посполитую вследствие постоянных вооруженных рейдов казаков, а Густав Адольф вновь начал войну за Ливонию, граждане Ливонии отказались предоставить Сигизмунду денежные средства для организации эффективной обороны на северо-востоке страны. Для дворянской республики война против османов была куда более важной, чем династический спор с домом Вазы, даже ценой потери Ливонии [см. Wisner, 1991, s. 468, 480; Wisner, 1970a; 1970b; 2001].

У короля не было возможности навязать свои условия сословиям Речи Посполитой. Литовский канцлер Лев Сапега в 1622 г. так описал положение Сигизмунда III: «Он не хочет мира, но и для ведения

войны у него нет средств» [Wisner, 1970b, s. 485; см. Ramm-Helsing, S. 124]. Ввиду военных успехов Густава Адольфа королю не оставалось ничего иного, как заключить с ним перемирие в 1629 г., по условиям которого он отказывался от большей части ливонской провинции, хотя и носил еще долгое время среди прочих ставший чисто формальным титул «короля Швеции» [Wisner, 2002]. Договор, заключенный при Альтмаркском перемирии, подтвердил права Швеции на свои владения в Ливонии. Польско-литовское государство смогло оставить за собой лишь юго-восточную часть своей прежней провинции с округами Динабург, Розиттен, Люцин и Мариенгаузен.

### Религиозная политика и религиозность

Религиозная политика польского периода является темой, наиболее часто вызывающей полемику. «Польская контрреформация» и связанные с этим конфликты на конфессиональной почве интерпретировались (не только в историографической традиции балтийских немцев, но и польскими историками) исключительно как антагонизм, имеющий своим результатом потерю провинции после 1621 г. Напротив, в более новых исследованиях большее внимание обращается на интегративный потенциал, усилия, направленные посредством католической конфессионализации к «более тесной интеграции в польско-литовской республике» [Dybaś, 2006, S. 508f.]<sup>8</sup>. Также в них подчеркивается факт гибкой конфессиональной политики Стефана Батория [Ibid., S. 510].

Во второй четверти XVI в. движение Реформации охватило всю Ливонию и стало в ней главным церковным движением. На уровне же высшей власти провинции, т. е. Ливонского ордена и епископов, не наблюдалось никаких признаков конфликта с католической церковью, не говоря уже о разрыве с ней. Положение изменилось в 1559 г., когда Дании были проданы землевладения епископств Эзель-Виик и Курланд (Пильтен). Оба капитула выбрали Магнуса, брата датского короля, своим епископом, хотя тот был протестантом. После этого принцу Магнусу было уступлено владение Ревелем: архиепископство Лунд, ранее принадлежавшее Ревелю, было уже со времен Реформации в Швеции протестантским, поэтому епископы в Ревеле сблизились еще больше с Ригой [см. Loit, S. 74–81; Wittram, S. 64–72]. В 1558 г. епископ Дерптский был депортирован в Россию. В 1561 г., во время секуляризации части тогдашней территории Ордена и создания на его территории герцогства Курляндского как первого протестантского административного образования на территории «старой» Ливонии, магистр ордена Готхард Кетлер получил подтверждение своих прав в *Privilegium Sigismundi Augusti* в том, что лютеранское вероисповедание должно было быть единственным на территории герцогства.

<sup>8</sup> См. схожую трактовку о Стефане Батории у [Tyszkowski, s. 9].

И все же архиепископство Рижское во время правления Вильгельма Бранденбургского (двоюродного брата польского короля) осталось католическим. После смерти Вильгельма в 1563 г. попытка протестантской секуляризации рижского архиепископства сорвалась из-за сопротивления местных рыцарей-вассалов.

По окончании войны старые территориальные границы исчезли, так же, как совершенно изменились религиозно-политические параметры. Ливония считалась в религиозном отношении захваченной страной, по отношению к которой не существует никаких обязательств. Польский придворный проповедник Петр Скарга цитировал в 1581 г. письмо короля Стефана Батория, согласно которому Ливония являлась чистым листом бумаги (*"tamquam tabulam rasam"*), где необходимо было выкорчевать все ереси и насадить католическую веру [цит. по: Tyszkowski, s. 7]. Несмотря на это, в том же году Рига получила Дрохичинскую привилегию, гарантировавшую свободу вероисповедания для приверженцев лютеранской конфессии. Король оставил за собой право устанавливать порядок в Риге и располагать церковным имуществом [Tyszkowski, s. 11]. В *"Constitutiones Livoniae"* 1582 г. вопросы веры были описаны в 3 части под заголовком *"de dissidentibus in religione"*. Приверженцам Аугсбургского вероисповедания как *"unica post religiam catholicam"* была гарантирована свобода совести; в отличие от 1561 г., аннулировалась возможность исключать католиков из совета или запрещать католические службы в городских общинах, что привело протестантское духовенство и протестантские семьи членов Совета в большое замешательство [Johansen, S. 707f.].

В центральном Вендене было образовано католическое епископство, но его организация шла вяло: предполагавшийся на место епископа Ян Димитр Соликовски (после 1582 г. архиепископ Лембергский) и другие кандидаты сначала вообще не приехали в провинцию. Только в 1586 г. Андрей Нидецкий прибыл в Ливонию и поселился в Вольмаре, где он в начале следующего года скончался. Лишь наследовавший ему ливонец Отто Шенкинг возглавлял архиепископство до потери Ливонии в пользу Швеции [Kuntze, 1938b; Tyszkowski]. Новый епископ попытался прежде всего прекратить протестантские богослужения среди крестьянского населения, т. к. крестьяне оставались в начале польского правления «в принципе все католиками», а значит, не было и необходимости принуждать их к принятию новых религиозных порядков (т. е. лютеранского вероисповедания) [Tazbir, S. 731; см. Helk, S. 157–175]. Его инициативы не были поддержаны администрацией на местах. Согласно источникам Ордена иезуитов, со стороны его членов часто были слышны жалобы на то, что в поветьях, непосредственно подчиненных польским властям, продолжалась постановка в должности протестантских чиновников, затруднявших их деятельность; даже такое ответственное лицо, как старостинский эконом Георг Шенкинг (брат епископа) в Дерпте, был протестантом [Helk, S. 117f.].

После начала в 1601 г. Польско-шведской войны часть отторгнутых имений была передана епископству Венденскому, что вызвало резкий протест польских и литовских сословий, критиковавших привилегированное положение иезуитов и то, что сделанный упор на конфессиональные предпочтения нарушает имущественные отношения в провинции [Tyszkowski, s. 26]. Несмотря на то, что в последующие годы в актах королевской канцелярии регулярно делается акцент на свободе вероисповедания, столкновения на религиозной почве остаются повседневным явлением. В Риге иезуиты жаловались на ограничения, в то время как в Вендене лютеранский проповедник был вынужден покинуть город, а в Дерпте проповеди в протестантских общинах на эстонском языке были запрещены [Tyszkowski, s. 27; Ziemlewska, 2008, s. 90f.]. Взаимные жалобы возникали прежде всего в городах, напротив, в сельской местности отношения были иными. Ревизия поместий 1599 г. и визитация католических церквей в 1613 г. не выявили никаких острых конфессиональных противоречий. В обоих источниках имеются указания на то, что создание сети католических общин в Ливонии почти никак не продвинулось. Лишь немногие королевские чиновники заботились о католических церквях в рамках своей ответственности [Tyszkowski, s. 29f.; см. Kleeberg, s. 98–110].

Важным источником о состоянии религиозных отношений являются доклады, посылавшиеся монахами ордена иезуитов из Риги, Дерпта и Вендена своему орденскому начальству. Сразу после окончания Ливонской войны они рисовали мрачную картину запустения в религиозных делах; королевский придворный проповедник Скарга жаловался, что в стране не осталось ни одного католического священника, а папский нунций Бологнетти констатировал полное забвение христианских обычаев: последним реликтом христианской веры он называл крещение ливонских крестьян почти совершенно ослепшим старцем, не помнившим правильной формулировки, произносимой во время важнейшего христианского таинства крещения [Kuntze, S. 445]. Поэтому в первые годы иезуиты особое внимание обращали на душепопечительную работу среди «ненемецкой» (эстонской и латышской) паствы на селе. При этом церковные обряды проводились с помощью так называемых мобильных алтарей, а также массовых крещений и свадеб [Tazbir, S. 731; Tyszkowski, s. 17; Helk, S. 78–85].

Проповедники, говорившие на эстонском и латышском языках, получали образование в открытых для этой цели иезуитских училищах Дерпта и Риги [Helk, S. 198]. Священнослужители же из Польши заботились прежде всего о душепопечении в польских гарнизонах и среди чиновников в провинции. Немецкоязычные иезуиты, особенно из Браунсберга, пытались вести проповедническую деятельность в городах, что вело к частым конфликтам с протестантскими священниками и городскими властями. Повсеместное введение католических богослужений не смогло быть достигнуто вплоть до конца польского правления. Среди немецкоязычного населения не наблюдалось

сколько-нибудь серьезных попыток миссионирования. Напротив, по причине такового среди не «немецкого» населения возникали серьезные конфликты: в 1589 г. епископ Вендена приказал арестовать священника евангелическо-лютеранской церкви старостинской экономии в Дерпте для того, чтобы добиться на деле запрещения существовавших протестантских обрядов (проповеди, крещения и венчания) во владениях Дерпта. В то же самое время в городском совете Дерпта обсуждался вопрос о приглашении польскоязычного проповедника для живущих в Ливонии польских и литовских протестантов [Helk, S. 120–122]. За конфессиональными аргументами видна борьба за политическое главенство.

В докладах иезуитов в первую очередь говорится об успехах миссионирования. Как правило, уже вначале сообщается о массовом вливании в церковь новых прозелитов. Позже становится очевидным, что миссионерам не удалось установить прочных оснований католической веры среди не немецкого населения, несмотря на то, что после окончания власти Польши в ранних шведских источниках время от времени повторяются упоминания о проявлении симпатий крестьян по отношению к иезуитам [Helk, S. 192f.; Tazbir, S. 731f.]. Вообще же, конфликт между католической и протестантской конфессиями в вопросах богослужебной практики в провинции отступал на второй план в борьбе против языческих верований. В годовом отчете 1600 г. упоминается, что миссионеры-иезуиты вынуждены были валить деревья, являвшиеся объектом поклонения. В более поздних источниках также часто встречаются упоминания о наличии синкретизма [Luven, S. 292–297], что объясняет, почему конфессионально-религиозная агитация не имела большого успеха. При этом крестьяне ясно отдавали себе отчет о существовании полемиического фронта между католиками и протестантами. В одном из докладов иезуитов-миссионеров, датируемых 1587 г., говорится: «Мы не являемся лютеранами и не едим мяса в пятницу. Совместные жертвоприношения Громовержцу, содержание змей, почитание дубов как священных деревьев, приготовление трапезы душам умерших и прочие подобные суеверия не считаются грехом, что можно отнести скорее на счет глупости, чем злой воли» [цит. по: Luven, S. 285, Anm. 1291].

Из-за нехватки священников нельзя было говорить о том, чтобы принудить деревенское население силой к конфессиональному послушанию. Поэтому тем более охотно отмечалось добровольное участие крестьян в католических богослужениях: так, в протоколе ревизии поместий 1599 г. находим заметку о церкви в Оберпалене, исполненную гордости за крестьян из шведского [= эстонского] Вейсенштейна за то, что они явились в Оберпален для принятия святого причастия [Polska XVI wieku..., s. 259]. Характерной особенностью среди широких слоев населения было наличие глубокого прагматизма, не являвшегося чем-то исключительным в конфессиональных конфликтах на рубеже XVI–XVII вв., но наблюдавшегося позже и в других регионах Балтики [см., например: Jakovļeva; Barzdeviča].

### Ливонское дворянство в польский период

На время конца XVI в., т. е. после упразднения Ливонской конфедерации с непрекращающимися тяготами Ливонской войны, длящейся четверть века, а также, в не меньшей степени, с принятием политических вызовов во время укрепления польской власти после 1582 г., приходится формирование ливонского провинциального дворянства как ведущего регионального политического слоя, сохранившегося в своих первоначальных чертах вплоть до 1918 г. До 1561 г. степень политического влияния местного дворянства в разных частях Ливонии была различной. На территории Ливонского ордена задачи административного управления и обороны брали на себя орденские рыцари. Кроме них имелось очень небольшое число ливонских дворян, политическое влияние которых было незначительно. Исключение из правила существовало в северных областях Харью и Вирланд, дворянство которых получило широкие привилегии уже во времена датского владения до 1346 г. На территориях, подвластных духовной власти, сильными позициями и большим влиянием в политической жизни провинции обладали местные феодалы [Raudkivi, 1991; 2007; Misans; Kostrzak, 1984].

После распада Ливонской конфедерации, ввиду активных военных действий России после 1558 г., прежде всего феодалы орденских областей увидели в подчинении Польше возможность унифицировать свои правовые и политические позиции, получив максимальное количество привилегий. В грамоте “Privilegium Sigismundi Augusti“, данной польским королем в 1561 г. ливонскому дворянству, это желание ясно просматривается. И хотя харью-вирландские феодалы уже прежде признали власть шведского короля и поэтому не принимали участия в переговорах, именно их правовой статус был положен в основу привилегии. Правовые ограничения средневековых вассальных отношений были упразднены, дворяне получали полные права на свои ленные владения. Право наследования было распространено и на боковые родовые линии, причем даже при продаже своих владений дворяне не обязаны были получать на это разрешение короля. В случае утраты ленных грамот, для доказательства своих прав на владение достаточно было предоставить со стороны вассала двух или трех свидетелей, дабы король приказал заменить утраченный документ на новый. Кроме того, согласно привилегии, крестьяне полностью отдавались во власть дворян. Последние получали право суда, вплоть до объявления и приведения в исполнение смертной казни. Крестьяне были полностью привязаны к земле, например, помещик обладал правом, присваивать крестьянские земли для того, чтобы выпрямить границы своих владений [Klot, S. 132–142; Hoffmann, S. 38f.]. Не стоит также недооценивать символическое значение грамоты 1561 г. – времени больших перемен: король Сигизмунд ясно выразил свою



позицию в Аренге словами, что «ничто так не ослабляет, как изменение законов и обычаев» (“...nihil Respublicae magis quassare... soleat, quam legum, consuetudinis atque morum mutatio”) [Dogiel, S. 244]. Таким образом, правовые нововведения для бывших орденских вассалов (в 1561 г. привилегированные сословия во владениях рижского архиепископства еще не присягнули на верность) выглядели ничем иным, как возобновлением прежних традиций и установлений, в ходе которого на всю провинцию распространялось право, уже действовавшее в одной из его частей (привилегии харью-вирландского рыцарства).

Двумя годами позже (1563) городской совет Риги предотвратил секуляризацию Рижского архиепископства во время правления Христофора Мекленбургского и переход его в вассальную зависимость от шведской короны. Вместе с прежними вассалами Ордена он объявил в 1566 г. о своем согласии на унию с Литвой [Staemmler, S. 36]. Ландтаг в Кокенгузене в этом году является первым свидетельством активности сословных представителей нового провинциального ливонского дворянства. В 1573 г. зафиксировано аналогичное событие. На ландтаге в Вендене собравшиеся представители дворянского сословия выступили за расширение своих привилегий (“Privilegium Sigismundi Augusti”), данных Сигизмундом III Августом, касающихся прав владения поместьями. Так называемое общее право расширило право наследования на всех мужских членов фамилии, включая персон, вошедших в него посредством договора [Livländischer, S. 208]. Этим дворянское сословие демонстрировало свое желание занять ведущее политическое положение в Ливонии.

Среди немногих сохранившихся источников, помогающих выявить положение ливонского дворянства того времени, особое место занимает информация о раздаче должностей в провинции. Правило о занятии второстепенных должностей представителями из местного дворянства, упомянутое в “Privilegium Sigismundi Augusti”, повсеместно исполнялось, хотя при назначении на более высокие должности (в воеводствах и староствах) рядом с ливонцами наблюдался значительный процент дворян из Польши и Литвы [Tarvel, S. 59; Heyde, 1998, S. 547f.].

Хотя с 1570-х гг. не велось активных военных действий, страна все еще находилась в состоянии войны. С началом нового наступления русских войск в 1577 г. положение Ливонии изменилось принципиально. Довольно многочисленное дворянство оставалось лояльным по отношению к польско-литовской унии, но все же основную роль здесь играл общий ход польско-шведского наступления с 1578 г., зона действия которого находилась вне пределов Ливонии. Проблематичным в отношениях между польским начальством и ливонским дворянством было то, что герцог Магнус Голштейнский, будучи «королем Ливонии» с 1570 г., через широкую раздачу ленных владений (тогдашних ленов Оберпален и Каркус) привлек на свою сторону

значительное число ливонцев [Busse, S. 276; о ливонском дворянстве в это время см.: Adamson].

После окончания войны польская администрация первоначально совершенно не воспринимала ливонское дворянство как монолитное сословие. При подтверждении привилегий и прав состояния решающим было поведение того или иного рыцаря во время войны. Так, права большинства дворян бывшего архиепископства Рижского, потерявших свои владения во время оккупации русских войск в 1577 г., были подтверждены, в то время как во владениях Дерпта, бывшего наиболее продолжительное время в руках русских войск и наиболее поздно попавшего под власть Польши, сначала не было ни одного подтверждения. Ливонское дворянство выступало, как и прежде, сплоченной корпорацией и дискутировало на ландтаге в Вендене в 1583 г., стоит ли в этой ситуации отказаться от клятвы на верность или, напротив, через демонстративное клятвенное обещание побудить польского короля к милости [Heyde, 1998, S. 550f.]. Некоторые ливонцы покинули после этого провинцию и поступили на шведскую службу [Hiärn, S. 340], большинство же смирилось с покровительством Польши. Сохранились документы этого времени о передаче Стефаном Баторием поместий в провинции. Большинство ливонцев получило свои поместья на основе наследственного права или, в меньшей степени, как личное владение без права наследования, в то время как польские дворяне получали свои поместья почти без исключений лишь в пожизненное владение [Heyde, 1998, S. 554f., 555–559; Tarvel, S. 41f.]. Ливонский ландтаг также продолжал номинально существовать, хотя из сохранившихся документов и видно, что он не был больше органом дворянского самоуправления, но играл в основном роль органа, который польское правительство ставило в известность о проводимой политике. Так, Стефан Баторий использовал ландтаг 1583 г. в Вендене для того, чтобы поставить местное дворянство в известность о Ливонской конституции (“*Constitutiones Livoniae*”), а от ландтага в Нойермюлене (Neuermühlen) в 1586 г. сохранилось напоминание короля помещикам об облегчении тяглогового бремени своих крестьян [Kelch, S. 420]. Несохранилась никакой информации о ландтагах в первые годы правления Сигизмунда III. Статуты провинции (“*Ordinatio Livonica I*”) 1589 г. служили прежде всего для того, чтобы ослабить борьбу за главенство между Польшей и Литвой в Ливонии; при этом ливонцы играли второстепенное значение и не учитывались как политический фактор.

Конфликт между польским королем Сигизмундом и герцогом Карлом фон Сёдерманландом за шведскую корону дал дворянам, организованным в корпорации ливонских рыцарей, возможность вновь усилить политическое влияние. В 1597 г. на общий сейм в Варшаву прибыла делегация, преподнесшая королю свои наказания. Они ходатайствовали об отмене положений 1582 и 1589 гг., т. к. ливонцы «стали союзниками

короля не по принуждению и силой оружия, а по свободному волеизъявлению» [Dyaryusze sejmowe r. 1597, s. 102]. При этом они ссылались на время между 1559 и 1561 гг., когда решающей была их поддержка в годы кризиса. Изданные в следующем году статуты провинции (“*Ordinatio Livonica II*”) уравнивали ливонцев с поляками и литовцами в правах, что видно из последующей практики в распределении служилых мест. Уже в 1597 г. король подал знак ливонскому дворянству, отдав вопреки постановлениям 1589 г. управление одним из самых больших староств ливонскому дворянину [Heyde, 1998, S. 557f.].

Когда в 1600 г. герцог Карл фон Сёдерманланд вошел в Ливонию, некоторые ливонские дворяне перешли на его сторону. После этого король Сигизмунд отнял у них их имения и передал в большинстве своем ливонским дворянам, оставшимся верными ему. В последующие годы Карл не смог закрепиться в Ливонии с помощью военной силы. После своего поражения под Кирхгольмом в 1605 г. некоторые ливонские оппозиционные дворяне вновь вернулись в стан Сигизмунда III, получив обратно свои владения. Принятые в 1607 г. новые статуты провинции (“*Ordinatio Livonica III*”), уравнивали граждан Ливонии с остальными жителями Речи Посполитой – поляками и литовцами. Десять лет спустя шведский король Густав Адольф возобновил вооруженную борьбу за Ливонию, в ходе которой большая часть провинции Речью Посполитой была утеряна. Лишь небольшая часть на юго-востоке осталась под властью польского короля, ее местное дворянство было полностью интегрировано в польско-литовскую *шляхту*.

### Ливонские сословия с середины XVI в.

В истории ливонских городов во время польского времени правления Рига и Дерпт занимают особое место не только из-за их важного экономического и политического значения. Ввиду ущерба, причиненного провинции Ливонской войной, многие ее местности и населенные пункты после 1582 г. обезлюдели (за исключением Риги), утратили свою былую роль. Польская администрация усилила эту тенденцию интеграцией городов в староства, ограничив их автономные права регулированием внутренних дел.

Дерпт и Рига могут быть рассмотрены в этот период как два городских полюса. Первый был захвачен в 1558 г. войсками Ивана IV, а его граждане еще в начале военных действий депортированы в Россию. Только после долгих лет на чужбине большинство жителей Дерпта смогли вернуться на родину, но город после долгих лет опустошительной войны, оккупации и заглохших торговых путей находился на грани банкротства. Лишь в феврале 1582 г. польские войска овладели городом, когда война в провинции была почти закончена. Рига, напротив, смогла сохранить свое экономическое и политическое значение. Аналогично шведскому Ревелю, город с 1558 по 1583 г. ни разу

не был занят неприятелем, так что, несмотря на трудности военного времени, сумел еще более упрочить свое политическое и экономическое положение. Рига была единственным городом, способным проводить самостоятельную политику в отношении к укреплению позиций Польши в провинции.

Уже в начале Ливонской войны русские войска, захватив епископство Дерптское, дошли до берегов Балтийского моря и заняли Пярну. После освобождения города-порта в 1565 г. Готхардом Кетлером с помощью польских отрядов, Иван IV приказал депортировать жителей Дерпта [Franz, S. 67; Laidre, S. 151–153]. Они смогли вернуться только в 1570 г. после провозглашения царем герцога Магнуса Голштейнского «королем Ливонским» в захваченной провинции. В том же году город был объявлен центром православной епархии [Laidre, S. 162f.; Angermann; Renner, 1988]. С захватом Дерпта польскими войсками в 1582 г. были созданы предпосылки для восстановления роли города в Ливонии, но не в полной мере. Свидетельством тому служит измененный статус города: городской совет больше не был главным органом управления городом. Теперь он стал всего лишь органом исполнительной власти; вся политическая власть находилась в руках старосты, назначаемого польским королем [Laidre, S. 191f.]. Политическую роль Дерпта можно вполне сравнить с малыми и средними городами в королевстве Польском.

Военная безопасность Дерпта, находившегося в пограничной области с шведской Эстонией, должна была быть укреплена переселенцами. Уже в 1583 г. в городе насчитывалось 190 немецких и 60 польских граждан [ibid., S. 195; Loone]. Следующей мерой по укреплению новой власти в городе стало основание иезуитского училища, что привело к возникновению конфликтного потенциала в отношениях с городским советом и гражданами города, в большинстве своем лютеранами, но эскалации не произошло: с одной стороны, совет позаботился о том, чтобы постепенно вернуться к Грегорианскому календарю, с другой стороны, попытки епископа и иезуитов урезать в правах совет и жителей-лютеран регулярно проваливались из-за противодействия королевской администрации [Helk, S. 118–127].

С нападением герцога Карла фон Зёдерманланда на Ливонию Дерпт был занят в декабре 1600 г. шведскими войсками, а иезуиты были взяты в плен и депортированы. Занятие города в 1603 г. вновь польскими войсками не поставило последней точки, т. к. до окончания войны еще было далеко. Повторная осада Дерпта в 1607 г. привела к голоду. Во время последней фазы войны, после капитуляции Риги в 1621 г., четыре последующие года город оставался во власти польских войск. В 1625 г. польский король рассчитывал на то, что шведы ударят по Пруссии, но ошибся, когда шведский король Густав Адольф направил свою армию на Дерпт, который польский гарнизон вынужден был оставить после двухнедельной осады в августе 1625 г. [Laidre, S. 247–279].

Развитие событий в тот же период в Риге имело мало схожее с событиями в Дерпте. Решающую роль здесь играли внутренние отношения и прежде всего конфликт между патрициями и гильдиями, продолжавшийся до начала правления короля Сигизмунда III. С прекращением существования Ливонской конфедерации в 1558–1561 гг. в городе возник своеобразный вакуум власти ввиду того, что к 1570 г. Немецкий орден и рижский архиепископ утратили свое бывшее значение и не могли более оказывать существенного влияния на положение дел в Риге, в то время как городской совет со всей определенностью принял польско-литовскую сторону, обладавшую сильной политической властью, способной выступить гарантом прав членов городского совета и гильдий. Граждане города видели гарантию своего политического влияния в сохранении «состояния лавирования», когда они могли выгодно разыграть торгово-политическую карту Риги в свою пользу в отношении всех сторон.

Становится понятным, почему город не пожелал присоединиться в ноябре 1561 г. к капитуляции магистра ордена и рижского архиепископа. Только на следующий год была достигнута предварительная договоренность. В ней польская сторона объявляла о своей готовности пойти на значительные уступки: Удостоверительная грамота Радзивилла (“*Cautio Radzivilana*”) гарантировала исключительные права верующих Аугсбургского вероисповедания в Риге. В ней было закреплено ограничение власти Речи Посполитой в пользу прямых патронажных отношений и зависимости непосредственно от польского короля [Ziemlewska, 2008, s. 53–88; Lenz, 1968, S. 44–83; Küttler]. В то время, как прочие области Ливонии, находившиеся под большим влиянием польской короны, заключили в 1566 г. унию с Литвой, Рига продолжала настаивать на своем участии в переговорах и не присоединилась к политическому союзу. Город продолжал поддерживать активные контакты с немецким императором для того, чтобы сохранить свои привилегии в отношении так называемого таможенного налога с фунта (*Pfundzoll*) и права чеканить монеты [Lenz, 2005, S. 257, 259f.]. Переговоры с Речью Посполитой были возобновлены только в 1579 г., когда преимущество Стефана Батория перед Иваном IV стало очевидным, а его грамота (“*Privilegium Stephaneum*”) была дана городу [Ziemlewska, 2008, s. 77–88].

Несмотря на это, внутригородские конфликты не прекращались и вспыхнули с окончанием военных действий с новой силой. Члены фамилий патрициата, занимавшие доминирующее положение в городском совете, владели основными поместьями в границах города и за редкими исключениями перестали заниматься торговлей. Среди граждан города особым влиянием обладали купцы Большой гильдии, имевшие монопольное право на осуществление торговых сделок с иностранными негодантами, купечество, занимающееся внутренней торговлей, и ремесленные мастера Малой гильдии. Они использовали оппозицию к новой политической власти как средство для проведения

своих интересов. Конфликт обострился, когда в Риге был введен Григорианский календарь. Граждане города отказались согласиться с введением нового календаря и призвали к восстанию против передачи двух церквей католикам, а также против поселения в городе иезуитов. Так называемые Календарные беспорядки продолжались с 1584 по 1589 гг., пока городскому совету в так называемом договоре Св. Северина не удалось более чем на десятилетие нейтрализовать политическое влияние рижских граждан. Только в 1604 г. ограничения в отношении членов гильдий были сняты и мир снова был восстановлен [Ziemlewska, 2006; 2008, s. 89–130, 134–145; Mühlen, S. 185f.].

Во время ливонского похода герцога Карла фон Сёдерманланда Рига сопротивлялась шведской осаде до подхода польских отрядов, что вынудило шведов отступить. В последующие кризисы Рига неизменно принимала сторону польского короля, как, например, во время осады зимой 1608/09 и в 1617 г., когда комендант крепости Дюнамюнде Вольмар Фаренсбах перешел на сторону Густава Адольфа, намереваясь сдать город шведским войскам [Ziemlewska, 2008, s. 157–160, 232–236]. Во время второго ливонского похода шведского короля в 1621 г. тот полностью сосредоточился на Риге. Литовские отряды не смогли пробить брешь шведской блокады и отступили, после чего городской совет в августе того же года приступил к переговорам о капитуляции. В последующие недели польские и литовские чиновники, а также иезуиты и все прочие католики обязаны были покинуть город. Густав Адольф подтвердил статуты города, включая признание исключительности Аугсбургского вероисповедания, потребовав при этом от жителей Риги той же верности, которую они оказывали его племяннику, польскому королю Сигизмунду [ibid., s. 240–242; Wisner, 1991, S. 54].

Потеря Риги окончательно поставила точку в борьбе за провинцию в пользу Швеции. Густав Адольф получил под свой контроль торговлю по Двине, что привело к окончательной потере интереса польской шляхты к Ливонии.

### Крестьяне в польский период

Несмотря на политическую турбулентность этого времени, местная система продолжала развиваться; это приводило к тому, что крестьяне все меньше были востребованы как самостоятельные хлебопашцы и все больше как «живой инвентарь» поместья. Все большую роль начинала играть барщина и все меньшую – оброк. С другой стороны, Ливонская война показала ливонским элитам, что крестьяне переставали быть всего лишь пассивной массой, которой можно располагать по своему усмотрению, и становились активной социальной силой. Возможности и границы политического влияния крестьян стали ясны уже в первую фазу Ливонской войны.

Они определяли рамки дискуссии о правовом положении крестьян как во время войны, так и в последующие десятилетия после ее окончания. Документов, рассказывающих о повседневной жизни крестьян, сохранилось очень немного. Источники о поместьях содержат некоторую информацию о жизненном мире крестьян, которого мы коснемся в конце этой статьи.

К началу Ливонской войны военных сил орденских и светских рыцарей было совершенно недостаточно для противодействия войскам Ивана IV; дополнительная поддержка из-за рубежа была также невелика. Поэтому некоторые ливонские военачальники, кроме призыва на военную службу дворян прибегли к рекрутскому набору среди крестьян. Так, капитан крепости Нейгаузен в епископстве Дерптском, Юрген Икскуль, защищал ее в 1558 г. от русских войск с помощью 80 эстонских крестьян [Kruus, lk. 57]. После восстания Юрьевой ночи 1343 г. политическая элита Ливонии запретила не «немецкому» населению ношение оружия [см. к термину: Lenz, 2004]. После же успеха Икскуля привлечение крестьян в виде рекрутов оказалось необходимым и возможным. На ландтаге в Риге 1559 г. было решено приступить к призыву крестьян и к введению военного налога с каждого двора в зависимости от количества работоспособных душ обоего пола [Donnert, S. 73].

В последующие месяцы русские войска несколько раз нападали на территорию Ливонии. Ее северо-восточные области были уже заняты, далее на Западе ливонские вооруженные формирования отсутствовали, поэтому силы Ивана IV могли беспрепятственно пойти на города Йервен и Виик. При этом они захватывали не только зерно и домашний скот, но и самих крестьян для транспортировки реквизированного добра [Franz, S. 63]. Осенью 1559 г. разразилось крестьянское восстание на северо-западе страны. Летописец того времени Бальтазар Руссов писал о его причинах: восставшие упрекали рыцарство в том, что, платя непосильные налоги и неся тяжелую барщину, они не получают защиты от грабежа русских войск [Rüssow, S. 62 (p. 49b)]. Т. к. легитимность власти дворян была поставлена под вопрос, крестьяне выбрали из своих рядов предводителя по «древнему эстонскому обычаю» [Renner, S. 105]. В то же время они послали делегацию в Ревель, чтобы убедить городские власти в своих мирных намерениях. Они заверили, что восстание направлено исключительно против рыцарства, притесняющего в своих правах также и город. Городской совет Ревеля, ни в коем случае не собираясь поддерживать восставших, настоятельно рекомендовал крестьянам оставить свои намерения и признать законную власть [Rüssow, S. 63 (p. 49b)]. Требование отмены поместного владения и земельного передела среди свободных крестьян сильно обеспокоило политическую элиту. Герцог Магнус в письме датскому королю (своему брату) напоминал об ужасах восстания Юрьевой ночи, а Готхард Кетлер обратился к королю Сигизмунду за военной помощью для того, чтобы подавить

восстание [Donnert, S. 78f.]. В конечном итоге, фогт Виика Кристоф Мюнхгаузен заманил крестьянское войско в засаду и после взятия в плен предводителей восставших приказал казнить их [Renner, 1953, S. 106].

После окончания войны король Стефан Баторий взялся за разрешение крестьянского вопроса. В Ливонской конституции он выразил намерение улучшить положение крестьян (“ad tolerabilem statum reducendam”), ослабив тяготы крепостного права прежних времен. При этом крестьянам должны были быть дарованы права, аналогичные тем, которыми пользовались польские крестьяне [Volumina legum II, S. 222, Nr. 24; Довнар-Запольский, с. 3]. Летописец и доверительное лицо Стефана Батория Лаврентий Мюллер описал королевский прием депутатов от ливонских крестьян в 1582 г. Король заверил их, что желает улучшить их положение, облегчив их крепостное состояние, когда повседневым явлением были непосильная барщина и наказание кнутом. При этих словах крестьяне упали на колени и умоляли его оставить всё по-старому, т. к. никогда ничего хорошего от нововведений они еще не видели [Müller, S. 32].

После первоначальных успехов в Ливонии в 1601 г. герцог Карл фон Сёдерманланд вновь поднял крестьянский вопрос во время обращения к своим ливонским сторонникам. По его убеждению, право свободного выбора профессии должно было быть закреплено хотя бы для крестьянских детей. Если они не способны вести хозяйство после смерти родителей, то должны были бы получить право свободного ухода, «так как содержать детей в рабстве противоречит христианской вере, да таковое и отменено давно в христианском мире» („das die kindern wie schlaven zu halten, ist in der christenheit nicht gebruechlich, auch in der christenheit fur vielen Jahren abgeschaffet worden“) [Zur Geschichte, S. 535f. (конец мая 1601 г.)]. Король высказывался за введение крестьянского права по шведскому образцу, т. к. часто поступали жалобы от крестьян на свое несправие и насилие по отношению к ним. Однако рыцарство не желало и слышать о подобных реформах. Инициатива герцога Карла, посредством улучшения правового положения ливонских крестьян мобилизовать их на борьбу, не получила поддержки со стороны дворян, сославшихся на восстание 1560 г. По их убеждению, право крестьян на ношение оружия неизбежно должно было привести к беспорядкам. Также они сослались на эпизод, произошедший в 1560 г. при дворе Стефана Батория, говорящий, якобы, о том, что крестьяне и сами этого не хотят: «Ливонские крестьяне отстаивали свое крепостное положение лучше, чем город Рига свою религию и свои свободы» (“die lieffländische pauren haben besser auf ihre servitut, als die Stadt Riga über die Religion und ihre freiheiten gehalten”) [Zur Geschichte, S. 540].

В проекте земельного кодекса законов Давида Хилхена «сословие крестьян» целенаправленно употреблялось им как синоним «сословия крепостных крестьян» (“Bauern-Stand”, “Erbbauernstand”). Согласно кодексу, лично свободные крестьяне составляли исключение,



которое могло быть сделано только в редких случаях: при этом Хилхен пользовался терминологией, заимствованной из римского права и употреблявшейся в отношении отпущенных на свободу рабов [Wipper, S. 234–238; Hoffmann, S. 90–92, в своей работе не касается этих особенностей]. На практике существование обширных владений польской короны прежде всего на севере Ливонии сказывалось положительно на положении крестьян, привязанных к земле. Все крестьяне могли приобретать и продавать недвижимое имущество; они владели своими дворами и могли быть их лишены только в случае неисполнения ими своих повинностей [Livländische; Uluots, S. 78f.]. Напротив, дворяне в своих владениях стремились максимально закрепить крестьян. В приходно-расходной книге Генриха фон Тизенгаузена, имевшего поместья в южной Ливонии, можно найти записи о продаже крестьян. В то же время ему не удавалось вернуть беглых крестьян. В этих случаях он должен был довольствоваться компенсациями [Des Bannerherren, S. 88, 106; см. Heyde, 2000, S. 270]. Уход крестьян из поместий к другим феодалам в поисках лучшей доли, был распространенным явлением в польский период. Во время первой шведской переписи после присоединения Ливонии к Швеции комиссары собирали информацию о происхождении крестьян. Выяснилось, что к тому времени в Дерптском уезде примерно две трети крестьян проживало с давнего времени, около 20 % происходили из соседних районов и около 10 % переселились издалека (о прочих не было сказано ничего) [Heyde, 2000, S. 272–275].

Благодаря такой мобильности крестьяне могли реагировать на ухудшение жизненных условий во время продолжительных войн. Эффективные меры по защите крестьян, о принятии которых Стефан Баторий объявил в 1582 г., так и не нашли широкого применения в польский период, т. к. старосты, управлявшие королевскими владениями, уделяли свое внимание прежде всего доходной части имений. Груз оброка и барщины около 1600 г. был намного больше по сравнению с Польшей, но и не таким высоким, как в 1638 г. во время шведского правления. Политические декларации польского периода не принесли облегчения доли ливонских крестьян, эксплуатация которых еще более возросла [см.: *Ibid.*, S. 335–342; см также: Seppel].

---

*Довнар-Запольский М. В.* К истории поземельной реформы в Ливонии в 1580–1582 гг. М., 1900.

*Дорошенко В. В.* Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке. Рига, 1960.

История балтийских стран. [Tallinn], 1999.

*Тарвел Е.* Фольварк. Пан и подданный. Аграрные отношения в польских владениях на территории южной Эстонии в конце XVI – начале XVII века. Таллин, 1964.

*Adamson A.* Liivimaa mõisamehed Liivi sa perioodil // Acta historica Tallinnensia. 10. 2006. Lk. 20–47.

*Almqvist H.* Johan III och Stefan Batori år 1582 // Historisk Tidskrift. 1909. 29. S. 69–125.

*Angermann N.* Zur Geschichte des orthodoxen Bistums Dorpat // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1966. N. F. 14. S. 232–242.

*Augustinowicz Ch.* Die Kandidaten und Interessen des Hauses Habsburg in Polen-Litauen während des zweiten Interregnums 1574–1576. Wien, 2001.

Baltische Kirchengeschichte. Beiträge zur Geschichte der Missionierung und der Reformation, der evangelisch-lutherischen Landeskirchen und des Volkskirchentums in den baltischen Landen / Hrsg. v. R. Wittram. Göttingen, 1956.

*Barzdeviča M.* Einblicke in das Alltagsleben der Einwohner des Rigaer Umlands (17. Jahrhundert – Anfang des 18. Jahrhunderts) // *Leben auf dem Lande – das Baltikum in der Frühen Neuzeit*. 11 Beiträge zum 16. Baltischen Seminar / Hg. J. Heyde. Lüneburg, 2012. S. 129–152.

*Bienemann jun. F.* Ein polnischer Index der schwedischen Anhänger in Livland vom Beginn des XVII. Jahrhunderts // *Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands* 1894. Riga, 1895. S. 86–103.

*Bues A.* Die habsburgische Kandidatur für den polnischen Thron während des Ersten Interregnums in Polen 1572/73. Wien, 1984.

*Busse K. H.* (Bearb.). Herzog Magnus von Holstein und sein livländisches Königthum. Auszüge aus gleichzeitigen Actenstücken nebst einer Einleitung // *Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Curland's*. Bd. 8. Riga, 1857. S. 240–301.

Des Bannerherren Heinrich v. Tiesenhausen d. Ä. von Berson ausgewählte Schriften und Aufzeichnungen / Hrsg. von R. Hasselblatt. Leipzig, 1890.

*Dogiel M.* [Ed.]. *Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae*. Bd. 5. Vilnae, 1759.

*Donnert E.* Der livländische Ordensritterstaat und Rußland. Der Livländische Krieg und die baltische Frage in der europäischen Politik 1558–1583. Berlin (Ost-), 1963.

*Dunsdorfs E., Spekke A.* *Latvijas vēsture 1500–1600*. Stockholm, 1964.

Dyaryusze sejmowe 1585 r. / [hrsg. von] A. Czuczynki. Kraków, 1901. (*Scriptores Rerum Polonicarum*; 18).

Dyaryusze sejmowe r. 1587. Sejm konwokacyjny i elekcyjny / Hrsg. von A. Sokołowski. Kraków 1887. (*Scriptores Rerum Polonicarum*; 11).

Dyaryusze sejmowe r. 1597 / hg. von E. Barwiński. Kraków, 1907. (*Scriptores rerum Polonicarum*; 20).

*Dybaś B.* Stift Pilten oder Kreis Pilten? Ein Beitrag zur konfessionellen Politik Polen-Litauens in Livland im 17. Jahrhundert // *Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. J. Bahlcke, K. Lambrecht, H.-Ch. Maner Hgg. Leipzig, 2006. S. 507–520.

*Eesti Ajalugu III: Roots ja Poola aeg* / hrsg. von Hans Kruus u. Otto Liiv. Tartu, 1940.

Franz Nyenstädt's weiland rigischen Bürgermeisters und königlichen Burggrafen, Livländische Chronik, nebst dessen Handbuch / Hg. G. Thielemann *Monumenta Livoniae Antiquae*. Bd. 2. [Mitau], 1835–1837 [Ndr. Osnabrück 1968].

*Frost D.* *The Northern Wars. War, State, and Society in Northeastern Europe 1558–1721*. Harlow, 2000.

*Geschichte des Baltikums*. Tallinn, 1999.

*Helk V.* Die Jesuiten in Dorpat 1583–1625. Ein Vorposten der Gegenreformation in Nordosteuropa. Odense 1977. (*Odense University Studies in History and social Sciences* 44.) Neuausgabe in estnischer Sprache: *Jesuiidid Tartus 1583–1625. Vastureformatsiooni eelpost Põhja-Euroopas*. Tartu, 2003.

*Herbst S.* Der livländische Krieg 1600–1602 // *Pirmā Baltijas Vēsturnieku Konference. Runas un Referāti. Rīgā, 1938*. Lk. 380–390.

*Heyde J.* Zwischen Kooperation und Konfrontation: Die Adelspolitik Polen Litauens und Schwedens in der Provinz Livland 1561–1650 // *Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung*. № 47. 1998. H. 4. S. 544–567.

*Heyde J.* Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 1561–1650. Köln ; Weimar ; Wien, 2000.

*Heyde J.* „Kość niezgody“. Inflanty w polityce wewnętrznej Rzeczypospolitej w XVI/XVII wieku // *Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo – Społeczeństwo – Kultura* / hrsg. von Bogusław Dybaś und Dariusz Makiła. Toruń, 2003a. S. 159–168.

*Heyde J.* Polnische Forschungen zur Geschichte der baltischen Länder – historische Entwicklung und aktuelle Tendenzen // *Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung*. № 52. 2003b. H. 1. S. 52–84.

*Heyde J.* Die Livlandpolitik der polnisch-litauischen Adelsrepublik // Nordosteuropa als Geschichtsregion. Beiträge des III. internationalen Symposiums zur deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten vom 20.-22. September 2001 in Tallinn (Estland) / hrsg. von J. Hackmann und R. Schweizer. Helsinki ; Lübeck, 2006. S. 333–342.

*Heyde J.* Inflanty w epoce nowożytniej w świetle polskich badań // Zapiski Historyczne. № 73. 2008. H. 4. S. 87–95.

*Hiärn Th.* Ehst-, Lyf und Lettländische Geschichte / hg. von C. E. Napiersky // Monumenta Livoniae Antiquae. Bd. 1. [Mitau], 1835–1837 [Ndr. Osnabrück 1968].

Historia Sejmu polskiego. T. 1 : Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej / red. J. Michalski. Warszawa, 1984.

*Hoffmann Th.* Der Landrechtentwurf David Hilchens von 1599. Ein livländisches Rechtszeugnis polnischer Herrschaft. Frankfurt/Main, 2007.

*Jakovleva M.* Deutsche und Undeutsche im Herzogtum Kurland im 17. und 18. Jahrhundert: Zwischen rechtlichen Normen und alltäglicher Kommunikation // Leben auf dem Lande – das Baltikum in der Frühen Neuzeit. 11 Beiträge zum 16. Baltischen Seminar. Hg. J. Heyde. Lüneburg, 2012. S. 21–42.

*Jakowenko N.* Historia Ukrainy: Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin, 2000.

*Johansen P.* Ein protestantisches Schreiben über den Vorstoß der Gegenreformation nach Livland 1582 // Zeitschrift für Ostforschung. 1963. 12. S. 699–708.

*Kleeberg G.* Die polnische Gegenreformation in Livland. Leipzig, 1931.

*Luven Y.* Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer. Köln ; Weimar ; Wien, 2001.

*Klot B. v.* Jost Clodt und das Privilegium Sigismundi Augusti. Hannover ; Döhren, 1980.

Königlich polnische Verleihung eingezogener Güter vom J. 1601 / Hrsg. v. K. H. Busse // Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's. Bd. 6. Riga, 1851. S. 311–315.

*Kostrzak J.* Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku. Warszawa ; Poznań ; Toruń, 1985.

*Kostrzak J.* Frühe Formen der altlivländischen Landtage // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 32. 1984. H. 2. S. 163–198.

*Kruus H.* Vene-Liivi sõda (1558–1561). Tartu, 1924.

*Kleeberg G.* Die polnische Gegenreformation in Livland. Leipzig, 1931.

*Kuntze E.* Die Gegenreformation in Livland zur polnischen Zeit // Pirmā Baltijas Vēsturnieku Konferēnce. Runas un Referāti. Rīgā, 1938a. Lk. 357–366.

*Kuntze E.* Utworzenie biskupstwa Wendeńskiego przez Stefana Batorego // Studia Historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. Bd. 2 [ohne Hrsg.-Angabe]. Kraków, 1938b. S. 443–467.

*Kuntze E.* Organizacja Inflant w czasach polskich // Polska a Inflanty. Praca zbiorowa / red. J. Borowik. Gdynia, 1939.

*Küttler W.* Das Verhältnis der Stadt Riga zu Polen-Litauen in der Zeit des Livländischen Krieges (1558–1583) // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas. 1967. 10. S. 273–295.

*Laidre M.* Dorpat 1558–1708. Linn väe ja vaenu vahel. Tartu, 2008.

*Lenz W.* Riga zwischen dem Römischen Reich und Polen-Litauen in den Jahren 1558–1582. Marburg ; Lahn, 1968.

*Lenz W.* Undeutsch. Bemerkungen zu einem besonderen Begriff der baltischen Geschichte // Aus der Geschichte Alt-Livlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag / hrsg. von B. Jähnig und K. Militzer. Münster, 2004. S. 169–184.

*Lenz W.* „Untertanentreue“ gegenüber dem Heiligen Römischen Reich? Rigas Vorbehalte gegen einen Herrscherwechsel bei der Auflösung der Livländischen Konföderation // Riga und der Ostseeraum. Von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit / hrsg. von I. Misāns und H. Wernicke. Marburg ; Lahn, 2005.

Livländische Rechtsgewohnheiten aus der Zeit der polnischen Herrschaft / hrsg. von F. G. von Bunge // Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands. 1847. № 5. S. 284–296.

Livländischer Landtagsschluss 1573 // Archiv für die Geschichte Liv-, Ehst und Curlands. Bd. V. Dorpat, 1847. S. 205–208.

*Loit A.* Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen Gebieten der baltischen Lande von ca. 1500 bis zum Ende der schwedischen Herrschaft // Die baltischen

Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen Stadt, Land und Konfession 1500–1721. Teil 1 / Hgg. M. Asche, W. Buchholz, A. Schindling. Münster, 2009. S. 49–215.

Loone N. Der Plan der Kolonisierung Livlands (1582–1584) // *Liber Saecularis Litterarum societatis Esthonica 1838–1938*. Tartu, 1938. S. 393–414.

Misans I. Organisation und Ablauf der livländischen Land- und Städtetage // *Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands*. 2005 [2006]. 51. S. 49–62.

Mühlen H. v. Das Ostbaltikum unter Herrschaft und Einfluß der Nachbarmächte (1561–1710/1795) // *Baltische Länder*, München 1994 (Deutsche Geschichte im Osten Europas) / Hg. G. von Pistohlkors. Berlin, 1994. S. 174–265.

Müller L. Septentrionalische Historien. Amberg, 1595.

Pistohlkors G. v. (Hg.). *Baltische Länder*, München 1994 (Deutsche Geschichte im Osten Europas). Berlin 1994.

Poliska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym / Hgg. J. Jakubowski, J. Kordzikowski. Teil 1. Warszawa, 1915.

Ramm-Helsing H. v. Das Livlandproblem in der politischen Korrespondenz Polens im 16. und 17. Jahrhundert // *Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga*. Vorträge zur Hundertjahrfeier am 6–9. Dezember 1934. Riga, 1936. S. 101–128.

Rauch G. v. *Deutschbaltische Geschichtsschreibung nach 1945 // Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung / (Hg.) G. v. Rauch*. Köln ; Wien, 1986. S. 399–435.

Raudkivi P. *Maapäeva kujunemine*. Peatükk Liivimaa 14.-15. sajandi ajalost. Tallinn, 1991.

Raudkivi P. *Vana-Liivimaa maapäev*. Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu. Tallinn, 2007.

Renner J. *Livländische Historien 1556–1561* / hrsg. von P. Karstedt. Lübeck, 1953.

Renner U. Herzog Magnus von Holstein als Vasall des Zaren Ivan Groznyj // *Deutschland – Livland – Rußland*. Ihre Beziehungen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert / hrsg. von N. Angermann. Lüneburg, 1988. S. 137–158.

Rüssow B. *Chronica der Prouintz Lyfflandt*, Bart 1584 [Ndr. Hannover-Döhren 1967].

Schirren K. (Bearb.). *Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit*. Dorpat, 1861–1881. Bd. VI. Nr. 926. S. 337–342; Bd. VII. Nr. 942. S. 46–50; Bd. VII. Nr. 973. S. 152–155.

Schmidt Ch. *Auf Felsen gesät*. Die Reformation in Polen und Livland. Göttingen, 2000. S. 210–221.

Seppel M. Die Entwicklung der „livländischen Leibeigenschaft“ im 16. und 17. Jahrhundert // *Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung*. 2005. № 54. S. 174–193.

Staemmler K.-D. *Preußen und Livland in ihrem Verhältnis zur Krone Polen 1561–1586*. Marburg ; Lahn, 1953.

Straube G. Die „polnische Gegenreformation“ in Livland // *Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością*. Państwo – Społeczeństwo – Kultura / hrsg. von B. Dybaś und D. Makiła. Toruń, 2003, S. 117–123.

Straube G. „Poļu pretreformacija“. *Merķi un realitate // Latvijās vesture*. 2008. H. 4. № 72. S. 18–24.

Sucheni-Grabowska A. *Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520–1562*. Warszawa, 1996.

Tiberg E. *Zur Vorgeschichte des livländischen Krieges*. Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549–1562, Uppsala, 1984.

Tarvel E. *Stosunek prawno państwowy Inflant do Rzeczypospolitej oraz ich ustrój administracyjny w l. 1561–1621 // Zapiski Historyczne*. 1969. 34. S. 49–77.

Tazbir J. *Propaganda kontreformacyjna wśród chłopów inflanckich (1582–1621) // Kwartalnik Historyczny*. 1958. 55. S. 720–739.

Tyszkowski K. *Poliska polityka kościelna w Inflantach (1581–1621)*. Gdynia, 1939.

Uluots J. *Grundzüge der Agrargeschichte Estlands*. Tartu, 1935.

Volumina Legum. *Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782* wydanego. Ohrzycki. T. 2. Petersburg, 1859.

Wipper R. *David Hilchen*. Die erste rechtliche Fixierung der Leibeigenschaft in Livland // *Filologu biedrības raksti*. 1928. № 8. S. 225–240.

Wisner H. *Kampania inflancka Krzysztofa Radziwiłła w latach 1617–1618 // Zapiski historyczne*. 1970a. 35. S. 9–34.

- Wisner H. Wojna inflancka 1625–1629 // *Studia i Materiały do Historii Wojskowości*. 1970b. 16. Teil 1. S. 27–93.
- Wisner H. Wojna polsko-szwedzka w Inflantach 1621–1622 // *Zapiski Historyczne*. 1991. 56. H. 4. S. 45–69, 467–491.
- Wisner H. Spór o rozejm litewsko-szwedzki w Baldenmojzie z 1627 roku // *Zapiski Historyczne*. 66. 2001. H. 1. S. 23–36.
- Wisner H. Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa, 2002. S. 252–266.
- Wisner H. Kirchholm 1605. Warszawa, 2005.
- Wittram R. Baltische Geschichte. Die Ostseelände Livland, Estland, Kurland 1180–1918. Grundzüge und Durchblicke. München, 1954.
- Wojny Północne w XVI–XVII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kirchholmem / hrsg. von B. Dybaś und A. Ziemlewska. Toruń, 2007.
- Ziemlewska A. „Rozruchy kalendarzowe“ w Rydze (1584–1589) // *Zapiski historyczne*. 2006. 61. S. 107–124.
- Ziemlewska A. Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621). Toruń, 2008.
- Zigmantas K., Mäesalu A., Pajur A., Straube G. Baltimaade ajalugu. Tallinn, 1999. S. 77–84.
- Zur Geschichte der livländischen Ritter- und Landschaft 1600–1602. Briefe und Actenstücke / Hrsg. von F. Bienemann (Jr.) // *Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's*. 1900. № 17. S. 534–544.

- Adamson, A. (2006). Liivimaa mõisamehed Liivi sa perioodil. *Acta historica Tallinnensia*, 10, 20–47.
- Almquist, H. (1909). Johan III och Stefan Batori år 1582. *Historisk Tidskrift*, 29, 69–125.
- Angermann, N. (1966). Zur Geschichte des orthodoxen Bistums Dorpat. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 14, 232–242.
- Augustinowicz, Ch. (2001). *Die Kandidaten und Interessen des Hauses Habsburg in Polen-Litauen während des zweiten Interregnums 1574–1576*. Wien.
- Barwiński, E. (Ed.). (1907). *Dyaryusze sejmowe r. 1597*. Kraków (Scriptores rerum Polonicarum; 20).
- Barzdeviča, M. (2012). Einblicke in das Alltagsleben der Einwohner des Rigaer Umlands (17. Jahrhundert – Anfang des 18. Jahrhunderts). In J. Heyde (Ed.). *Leben auf dem Lande – das Baltikum in der Frühen Neuzeit. 11 Beiträge zum 16. Baltischen Seminar* (p. 129–152). Lüneburg.
- Bienemann, jun. F. (1895). Ein polnischer Index der schwedischen Anhänger in Livland vom Beginn des XVII. Jahrhunderts. In *Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands 1894* (p. 86–103). Riga.
- Bienemann, jun F. (Ed.). (1900). Zur Geschichte der livländischen Ritter- und Landschaft 1600–1602. Briefe und Actenstücke. *Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's*, 17, 534–544.
- Bunge, von F. G. (Ed.). Livländische Rechtsgewohnheiten aus der Zeit der polnischen Herrschaft. (1847). *Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands*, 5, 284–296.
- Bues, A. (1984). *Die habsburgische Kandidatur für den polnischen Thron während des Ersten Interregnums in Polen 1572/73*. Wien.
- Busse, K. H. (Ed.). (1851) Königlich polnische Verleihung eingezogener Güter vom J. 1601. *Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's*, 6, 311–315.
- Busse, K. H. (Bearb.). (1857). Herzog Magnus von Holstein und sein livländisches Königthum. Auszüge aus gleichzeitigen Actenstücken nebst einer Einleitung. *Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Curland's*, 8, 240–301.
- Czuczynski, A. (Ed.). *Dyaryusze sejmowe 1585 r.* (1901). Kraków (Scriptores Rerum Polonicarum; 18).
- Dogiel, M. (Ed.). (1759). *Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae*, 5. Vilnae.
- Donnert, E. (1963). *Der livländische Ordensritterstaat und Rußland. Der Livländische Krieg und die baltische Frage in der europäischen Politik 1558–1583*. Berlin (Ost-).

- Doroshenko, V. V. (1960). *Ocherki agrarnoj istorii Latvii v XVI veke* [Essays on agrarian history in Latvia in XVI century]. Riga.
- Dovnar-Zapol'skij, M. V. (1900). *K istorii pozemel'noj reformy v Livonii v 1580–1582 gg.* [To the history of land reform in Livonia in 1580–1582 yrs.]. Moscow.
- Dunsdorfs, E., Spekke, A. (1964). *Latvijas vēsture 1500–1600*. Stockholm.
- Dybaś, B. (2006). Stift Pilten oder Kreis Pilten? Ein Beitrag zur konfessionellen Politik Polen-Litauens in Livland im 17. Jahrhundert. In J. Bahlcke, K. Lambrecht, H.-Ch. Maner (Eds.). *Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag* (p. 507–520). Leipzig.
- Dybaś, B., Ziemlewska, A. (Eds.). (2007). *Wojny Północne w XVI–XVII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kirchholmem*. Toruń.
- Frost, D. (2000). *The Northern Wars. War, State, and Society in Northeastern Europe 1558–1721*. Harlow.
- Geschichte des Baltikums*. (1999). Tallinn.
- Hasselblatt, von R. (Ed.). (1890). *Des Bannerherren Heinrich v. Tiesenhausen d. Ä. von Berson ausgewählte Schriften und Aufzeichnungen*. Leipzig.
- Helk, V. (2003). *Die Jesuiten in Dorpat 1583–1625. Ein Vorposten der Gegenreformation in Nordosteuropa. Odense 1977. (Odense University Studies in History and social Sciences 44.) Neuausgabe in estnischer Sprache: Jesuiidid Tartus 1583–1625. Vastureformatsiooni eelpost Põhja-Euroopas*. Tartu.
- Herbst, S. (1938). Der livländische Krieg 1600–1602. In *Pirmā Baltijas Vēsturnieku Konferēnce. Runas un Referāti* (p. 380–390). Rīgā.
- Heyde, J. (1998). Zwischen Kooperation und Konfrontation: Die Adelspolitik Polen Litauens und Schwedens in der Provinz Livland 1561–1650. *Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung*, 47, 4, 544–567.
- Heyde, J. (2000). *Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 1561–1650*. Köln; Weimar; Wien.
- Heyde, J. (2003a). „Kość niezgody“. Inflanty w polityce wewnętrznej Rzeczypospolitej w XVI/XVII wieku. In B. Dybaś and D. Makilla (Eds.). *Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo – Społeczeństwo – Kultura* (p. 159–168). Toruń.
- Heyde, J. (2003b). Polnische Forschungen zur Geschichte der baltischen Länder – historische Entwicklung und aktuelle Tendenzen. *Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung*, 52, 1, 52–84.
- Heyde, J. (2006). Die Livlandpolitik der polnisch-litauischen Adelsrepublik. In J. Hackmann and R. Schweizer (Eds.). *Nordosteuropa als Geschichtsregion. Beiträge des III. internationalen Symposiums zur deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten vom 20.-22. September 2001 in Tallinn (Estland)* (p. 333–342). Helsinki; Lübeck.
- Heyde, J. (2008). Inflanty w epoce nowożytnej w świetle polskich badań. *Zapiski Historyczne*, 73, 4, 87–95.
- Hiörn, Th. (1968). Ehst-, Lyf und Lettländische Geschichte. In C. E. Napiersky (Ed.). *Monumenta Livoniae Antiquae*. Bd. 1. [Mitau], 1835–1837 [Ndr. Osnabrück 1968].
- Hoffmann, Th. (2007). *Der Landrechtsentwurf David Hilchens von 1599. Ein livländisches Rechtszeugnis polnischer Herrschaft*. Frankfurt/Main.
- Istoriya baltijskij stran* [The history of the Baltic countries]. (1999). Tallin.
- Jakovljeva, M. (2012). Deutsche und Undeutsche im Herzogtum Kurland im 17. und 18. Jahrhundert: Zwischen rechtlichen Normen und alltäglicher Kommunikation. In J. Heyde (Ed.). *Leben auf dem Lande – das Baltikum in der Frühen Neuzeit. 11 Beiträge zum 16. Baltischen Seminar* (p. 21–42). Lüneburg.
- Jakowenko, N. (2000). *Historia Ukrainy: Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku*. Lublin.
- Jakubowski, J., Kordzikowski, J. (Eds.). (1915). *Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym*. Warszawa.
- Johansen, P. (1963). Ein protestantisches Schreiben über den Vorstoß der Gegenreformation nach Livland 1582. *Zeitschrift für Ostforschung*, 12, 699–708.
- Kleeberg, G. (1931). *Die polnische Gegenreformation in Livland*. Leipzig.
- Klot, B. v. (1980). *Jost Clodt und das Privilegium Sigismundi Augusti*. Hannover; Döhren.
- Kostrzak, J. (1984). Frühe Formen der altlivländischen Landtage. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 32, 2, 163–198.
- Kostrzak, J. (1985). *Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku*. Warszawa; Poznań; Toruń.
- Kruus, H. (1924). *Vene-Liivi sõda (1558–1561)*. Tartu.
- Kruus, H., Liiv, O. (Eds.). (1940). *Eesti Ajalugu III: Rootsi ja Poola aeg*. Tartu.
- Kuntze, E. (1938a). Die Gegenreformation in Livland zur polnischen Zeit. In *Pirmā Baltijas Vēsturnieku Konferēnce. Runas un Referāti* (p. 357–366). Rīgā.

- Kuntze, E. (1938b). Utworzenie biskupstwa Wendeńskiego przez Stefana Batorego. *Studia Historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby*, 2, 443–467.
- Kuntze, É. (1939). Organizacja Inflant w czasach polskich. In J. Borowik (Ed.). *Polska a Inflanty. Praca zbiorowa*. Gdynia.
- Küttler, W. (1967). Das Verhältnis der Stadt Riga zu Polen-Litauen in der Zeit des Livländischen Krieges (1558–1583). *Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas*, 10, 273–295.
- Laidre, M. (2008). *Dorpat 1558–1708. Linn väe ja vaenu vahel*. Tartu.
- Lenz, W. (1968). *Riga zwischen dem Römischen Reich und Polen-Litauen in den Jahren 1558–1582*. Marburg; Lahn.
- Lenz, W. (2004). Undeutsch. Bemerkungen zu einem besonderen Begriff der baltischen Geschichte. In B. Jähnig und K. Militzer (Eds.). *Aus der Geschichte Alt-Livlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag* (p. 169–184). Münster.
- Lenz, W. (2005). „Untertanentreue“ gegenüber dem Heiligen Römischen Reich? Rigas Vorbehalte gegen einen Herrscherwechsel bei der Auflösung der Livländischen Konföderation. In I. Misāns und H. Wernicke (Eds.). *Riga und der Ostseeraum. Von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit*. Marburg; Lahn.
- Livländischer Landtagsschluss 1573. (1847). *Archiv für die Geschichte Liv-, Ehst und Curlands*, 205–208.
- Loit, A. (2009). Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen Gebieten der baltischen Lande von ca. 1500 bis zum Ende der schwedischen Herrschaft. In M. Asche, W. Buchholz, A. Schindling (Eds.). *Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen Stadt, Land und Konfession 1500–1721*. Teil 1 (p. 49–215). Münster.
- Loone, N. (1938). Der Plan der Kolonisierung Livlands (1582–1584). In *Liber Saecularis Litterarum societatis Esthonica 1838–1938* (p. 393–414). Tartu.
- Luven, Y. (2001). *Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer*. Köln; Weimar; Wien.
- Michalski, J. (Ed.). (1984). *Historia Sejmu polskiego. T. 1: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej*. Warszawa.
- Misans, I. (2005). Organisation und Ablauf der livländischen Land- und Städtetage. *Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands*, 51, 49–62.
- Mühlen, H. v. (1994). Das Ostbaltikum unter Herrschaft und Einfluß der Nachbarmächte (1561–1710/1795). In G. von Pistohlkors (Ed.). *Baltische Länder. München: (Deutsche Geschichte im Osten Europas)* (p. 174–265). Berlin.
- Müller, L. (1595). *Septentrionalische Historien*. Amberg.
- Pistohlkors, G. v. (Ed.). (1994). *Baltische Länder, München 1994 (Deutsche Geschichte im Osten Europas)*. Berlin.
- Ramm-Helsing, H. v. (1936). Das Livlandproblem in der politischen Korrespondenz Polens im 16. und 17. Jahrhundert. In *Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. Vorträge zur Hundertjahrfeier am 6–9. Dezember 1934* (p. 101–128). Riga.
- Rauch, G. v. (1986). Deutschbaltische Geschichtsschreibung nach 1945. In G. v. Rauch. *Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung* (p. 399–435). Köln; Wien.
- Raudkivi, P. (1991). *Maapäeva kujunemine. Peatükk Liivimaa 14.-15. sajandi ajalooliselt*. Tallinn.
- Raudkivi, P. (2007). *Vana-Liivimaa maapäev. Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu*. Tallinn.
- Renner, J. (1953). *Livländische Historien 1556–1561*. Lübeck.
- Renner, U. (1988). Herzog Magnus von Holstein als Vasall des Zaren Ivan Groznyj. In N. von Angermann. (Ed.). *Deutschland–Livland–Rußland. Ihre Beziehungen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert* (p. 137–158). Lüneburg.
- Rüssow, B. (1967). *Chronica der Prouintz Lyfflandt, Bart 1584* [Ndr. Hannover-Döhren].
- Schirren, K. (Bearb.). (1861–1881). *Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit*. Bd. VI. Nr. 926. (p. 337–342); Bd. VII. Nr. 942. (p. 46–50); Bd. VII. Nr. 973 (p. 152–155). Dorpat.
- Schmidt, Ch. (2000). *Auf Felsen gesät. Die Reformation in Polen und Livland* (p. 210–221). Göttingen.
- Seppel, M. (2005). Die Entwicklung der „livländischen Leibeigenschaft“ im 16. und 17. Jahrhundert. *Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung*, 54, 174–193.
- Sokołowski, A. (Ed.). (1887). *Dyaryusze sejmowe r. 1587. Sejm konwokacyjny i elekcyjny*. Kraków (Scriptores Rerum Polonicarum; 11).
- Staemmler, K.-D. (1953). *Preußen und Livland in ihrem Verhältnis zur Krone Polen 1561–1586*. Marburg; Lahn.

Straube, G. (2003). Die „polnische Gegenreformation“ in Livland. In B. Dybaś und D. Makiła (Eds.). *Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo – Społeczeństwo – Kultura* (p. 117–123). Toruń.

Straube, G. (2008). „Poļu pretreformacija“. *Merķi un realitate. Latvijas vesture*, 72, 4, 18–24.

Sucheni-Grabowska, A. (1996). *Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520–1562*. Warszawa.

Tarvel, E. (1964). *Fol'vark. Pan i poddanny'j. Agrarny'e otnosheniya v pol'skih vladenyah na territorii yuzhnoj E'stonii v konce XVI – nachale XVII veka* [Polish landowner and vassal. Agrarian relations in Polish lands on the territory of southern Estonia in the late XVI – early XVII century]. Tallin.

Tarvel, E. (1969). Stosunek prawno państwowy Inflant do Rzeczypospolitej oraz ich ustrój administracyjny w l. 1561–1621. *Zapiski Historyczne*, 34, 49–77.

Tazbir, J. (1958). Propaganda kontreformacyjna wśród chłopów inflanckich (1582–1621). *Kwartalnik Historyczny*, 55, 720–739.

Thielemann, G. (Ed.). (1968). Franz Nyenstädt's weiland rigischen Bürgermeisters und königlichen Burggrafen, Livländische Chronik, nebst dessen Handbuch. In *Monumenta Livoniae Antiquae*, 2. [Mitau], 1835–1837 [Ndr. Osnabrück 1968].

Tiberg, E. (1984). *Zur Vorgeschichte des livländischen Krieges. Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549–1562*. Uppsala.

Tyszkowski, K. (1939). *Polska polityka kościelna w Inflantach (1581–1621)*. Gdynia.

Uluots, J. (1935). *Grundzüge der Agrargeschichte Estlands*. Tartu.

*Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego. Ohrzycki*. T. 2. (1859). Petersburg.

Wipper, R. (1928). David Hilchen. Die erste rechtliche Fixierung der Leibeigenschaft in Livland. *Filologu biedrības raksti*, 8, 225–240.

Wisner, H. (1970a). Kampania inflancka Krzysztofa Radziwiłła w latach 1617–1618. *Zapiski historyczne*, 35, 9–34.

Wisner, H. (1970b). Wojna inflancka 1625–1629. *Studia i Materiały do Historii Woj-skowości*, 16, 27–93.

Wisner, H. (1991). Wojna polsko-szwedzka w Inflantach 1621–1622. *Zapiski Historyczne*, 56, 4, 45–69, 467–491.

Wisner, H. (2001). Spór o rozejm litewsko-szwedzki w Baldenmojzie z 1627 roku. *Zapiski Historyczne*, 66, 1, 23–36.

Wisner, H. (2002). *Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV* (p. 252–266). Warszawa.

Wisner, H. (2005). *Kirchholm 1605*. Warszawa.

Wittram, R. (1954). *Baltische Geschichte. Die Ostseelände Livland, Estland, Kurland 1180–1918. Grundzüge und Durchblicke*. München.

Wittram, R. (Ed.). (1956). *Baltische Kirchengeschichte. Beiträge zur Geschichte der Missionierung und der Reformation, der evangelisch-lutherischen Landeskirchen und des Volkskirchentums in den baltischen Landen*. Göttingen.

Ziemlewska, A. (2006). „Rozruchy kalendarzowe“ w Rydze (1584–1589). *Zapiski historyczne*, 61, 107–124.

Ziemlewska, A. (2008). *Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621)*. Toruń.

Zigmantas, K., Mäesalu, A., Pajur, A., & Straube, G. (1999). *Baltimaade ajalugu* (p. 77–84). Tallinn.

Translated by PhD Andreas Keller

The article was submitted on 18.04.2014

**Юрген Хайде, Dr.**

Германия

Гуманитарный центр

по изучению истории и культуры

Восточно-Центральной Европы

при Лейпцигском университете

juergen.heyde@uni-leipzig.de

**Jürgen Heyde, Dr.**

Germany

Centre for the History and Culture

of East Central Europe

of the Leipzig University

juergen.heyde@uni-leipzig.de



## ЕЛЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1606 Г. В ИСТОРИИ СМУТЫ

### YELETS UPRISING OF 1606 IN THE HISTORY OF THE TIME OF TROUBLES

Having analyzed the few surviving documents and memoirs of the summer of 1606 in Russia and critically considered with their help of fables, manuscripts and memoirs, the author concludes that the popular movement against Tsar Vasiliy Shuyskiy started with the uprising of Yelets in 1606 and not with the uprising in Severshchina area as was previously believed in historiography. The uprising was initiated by representatives of the service class and Cossacks from Southern Uyezds, both veterans of False Dmitry who had not resigned themselves to the death of their tsar. The author considers the actions taken by the state authorities of Vasiliy Shuyskiy and the rebels' reaction to them. The author concludes that the rebels' protests had serious grounds and that the events of 1606 were of great importance since they demonstrated the rebels' capacity of self-organization under the utopian idea of protecting their tsar (False Dmitry, False Peter) as a supporter of the Cossacks.

**Key words:** Time of Troubles; nature of popular movements; source study; historiography; prosopography.

Проанализировав немногие сохранившиеся документальные и мемуарные источники о событиях лета 1606 г. в России и критически осмыслив с их помощью поздние сказания, летописцы и мемуары, автор приходит к выводу, что народное движение против царя Василия Шуйского началось с Елецкого восстания, а не с бунта на Северщине, как считалось ранее в историографии. Инициаторами восстания стали служилые люди и казаки южных уездов – ветераны Лжедмитрия I, которые не смирились с гибелью своего царя. Рассматриваются действия государственной власти Василия Шуйского и ответные выступления повстанцев. Делается вывод о глубокой подоплеке протестных настроений казаков, большом значении событий 1606 г., показавших возможность самоорганизации повстанцев, руководимых утопической идеей защиты своего царя (Лжедмитрия, Лжепетра), стоящего за интересы казачества.

**Ключевые слова:** Смутное время; народное движение; источниковедение; историография; просопография.

В ходе изучения событий Смуты 1606–1607 гг. в центре внимания советских историков неизменно находилось восстание И. И. Болотникова, которое оценивалось как Первая крестьянская война в России. Главным очагом восстания традиционно считалась Северщина, где стал собирать свои войска гетман Самборского вора. Источником информации исследователей являлись, главным образом, свидетельства иностранных мемуаристов и размышления о пережитом авторами русских литературных и летописных сочинений времени царствования Михаила Романова, в которых личность И. И. Болотникова и размах возглавляемого им движения явно затмили события начального этапа восстания против Василия Шуйского в российской провинции [Смирнов, с. 88–135; Корецкий; Скрынников, 1988, с. 74–83]. Обращение к источникам, написанным по горячим следам, позволяет нарисовать иную картину событий начала движения во имя призрака.

Ключевую роль в построениях исследователей играет свидетельство К. Буссова о том, что восстание на Северщине началось сразу после прибытия туда воеводы кн. Г. П. Шаховского с товарищами, которые подняли восстание против В. Шуйского. «Путивляне тотчас же послали в Дикое поле и спешно набрали несколько тысяч полевых казаков, вызвали также всех князей и бояр, живущих в Путивльской области... над ними был поставлен воевода по имени Истома Пашков...» [Буссов, с. 136]. Важно отметить, что К. Буссов единственный связывал начало деятельности И. Пашкова с Путивлем. Все остальные источники говорят о нем как о вожде восстания в Ельце [Акты, 1836, т. 2, с. 137; Народное движение, с. 101, 313, 327; Белокуров, с. 157]. Наемник писал свои мемуары много позже описываемых событий, и его воспоминания о начале восстания против В. Шуйского выглядят весьма путаными. Другой мемуарист – капитан Ж. Маржарет, покинувший Москву в июле 1606 г., выехавший из России в сентябре того же года и опубликовавший свои записки о России в начале 1607 г., – нарисовал совсем иную картину. В Москве, по свидетельству наемника, сначала получили известия о разбое на Волге, учиненном казаками Лжепетра, затем «некоторое время спустя после выборов Шуйского взбунтовались *пять или шесть главных городов на татарских границах* [выделено нами. – И. Т.], пленили генералов и уничтожили часть своих войск и гарнизонов, но до моего отъезда *в июле* [1606 г.; выделено нами. – И. Т.] прислали в Москву просить о прощении, которое получили, извинив себя тем, что их известили, будто император Дмитрий жив» [Маржарет, с. 105]. И только после этого в Москву пришли вести о бунте «Северского княжества» [Там же, с. 207]. Показания наемника во многих деталях совпадают с разрядной записью: «А как после Розтриги сел на государство царь Василей і в Польских, і в Украинных і в Северских городех люди смутились и заворовали, креста царю Василю не целовали, воевод почали и ратных побивать и животы их грабить, и затеели будто тот вор Рострига с Москвы ушел, а в его место бутто убит иной человек» [Белокуров,

с. 8]. Примечательно, что на первом месте вновь называются Польские, затем Украинные города и только потом Северские.

Исследователи обнаружили несколько документальных свидетельств об отправке 20–21 (30–31) мая 1606 г. гонцов из Москвы для приведения присяги на верность В. Шуйскому, в том числе в Путивль и Чернигов [Акты, 1915, вып. 2, № 1, с. 1–3; Собрание, ч. 2, № 144, с. 146, 302–304, 306–307]. Путивляне, видимо, целовали крест В. Шуйскому, о чем свидетельствует тот факт, что местные воеводы кн. А. И. Бахтеяров-Ростовский, И. Г. Ловчиков и голова П. Д. Юшков вплоть до прибытия кн. Г. П. Шаховского выполняли все распоряжения царя Василия и были убиты за отказ целовать крест Лжедмитрию во время восстания, поднятого новыми воеводами. Примечательно, что автор разрядной записи оговорился, что «оне выехать не успели», т. е. кн. Г. П. Шаховский и его единомышленники, принимая у предшественников дела, скрывали свои истинные замыслы, присматриваясь к обстановке, сложившейся в городе и уезде [Белокуров, с. 84]. Иначе обстояли дела в польских и украинских городах. Автор особой редакции «Сказания о Гришке Отрепьеве» указал, что мятеж в «Украинных городах» подняли служилые люди южных уездов, которые, будучи в Москве, отказались присягать Василию Шуйскому и организованно «всем войском» ушли в направлении Рязани и далее в свои города [Кулакова, с. 49]. Именно поэтому в польских и украинских городах царю Василию креста не целовали, а его гонцов, таких, как присланный в Зарайск Д. Лосенков, убили [Народное движение, с. 327].

Действия служилых людей из южных уездов позволяют объяснить, почему Василий Шуйский не смог использовать собранные самозванцем для Азовского похода войска Украинного (три полка) и Берегового (пять полков) разрядов и подавить мятеж в зародыше. Назначенные самозванцем в Азовский поход первые воеводы бояре кн. Ф. И. Мстиславский, кн. В. И. Шуйский, кн. Д. И. Шуйский, кн. В. В. и А. В. Голицыны, кн. И. И. Шуйский принимали участие в свадебных торжествах в Москве. В войсках находились лишь вторые воеводы. Новые воеводы, поставленные Василием Шуйским бояре кн. М. Ф. Кашин (вместо умершего кн. С. А. Куракина), кн. И. М. Воротынский, окольный кн. Г. П. Ромодановский, стольник кн. Ю. Н. Трубецкой и др. прибыли в войска с опозданием [Белокуров, с. 155]. Служилые люди, уклонившиеся от присяги новому царю в Москве легко «смутили» местных дворян, детей боярских и служилых людей по прибору, т. к. стало ясно, что многообещающий поход на Азов не состоится. В войсках начались волнения. Бывшие воины повстанческого войска самозванца подняли мятеж, дезорганизовав правительственные войска. Время начала восстания позволяет установить запись дневника А. Рожнятовского. Находясь в Москве 21 июня (1 июля) 1608 г., он зафиксировал появление из провинции новых после московских волнений слухов о Дмитрии, что «он смог уйти от той опасности». Месяц спустя, 22 июля (1 августа) 1606 г.,

находившийся в Ростове Великом слуга Мнишков зафиксировал новые слухи: «Вести были то о Петрушке, сыне государевом, то о Дмитрие, то о обоих вместе, что войско к ним *пограничное* [выделено нами. – И. Т.] собиралось, присягая и повинуюсь ему». Во главе восставших городов информаторы иноземца назвали уже Путивль [Рожнятовский, с. 71]. Учитывая расстояния между районом восстания и местонахождением информатора, можно предположить, что восстание в польских и украинских городах вспыхнуло в конце июня – в июле 1606 г.

Повстанцы, которых возглавил веневский сотник Истома Пашков, захватили крепость Елец, где самозванец сосредоточил запасы продовольствия и снаряжения для Азовского похода. Город, как видно из разрядных записей и грамот того времени, стал центром повстанческого движения. Отсюда, видимо, были направлены гонцы к казакам Лжепетра с просьбой прийти на помощь воинам «царя Дмитрия». Терские и волжские казаки, как видно из свидетельства Б. Болтина, пройдя переволокой из Волги в Дон, поднялись вверх по реке в район вспыхнувшего восстания [Болтин, с. 331]. Именно поэтому А. Рожнятовский собирал в конце июля слухи то о Лжедмитрии, то о Лжепетре, то об обоих сразу [Рожнятовский, с. 71].

Появление среди повстанцев лжецаревича объясняет кровавые расправы над воеводами польских городов, о которых свидетельствуют процитированные выше источники. Выдававший себя за принца крови Лжепетр санкционировал казни местных воевод. Возглавлявший администрацию в Ельце кн. Г. Т. Долгорукий, по данным разрядов, выбыл со службы, а в родословцах отмечено, что он «погиб в смутные времена» [Белокуров, с. 7]. Этот воевода с большой степенью вероятности может быть отнесен к первым жертвам нового витка гражданской войны, хотя его имя по каким-то причинам не попало в перечень казненных воевод. В Белгороде был казнен кн. П. И. Буйносов-Ростовский [ПСРЛ, т. 14, с. 74]. В Осколе были убиты повстанцами М. В. Бутурлин и И. И. Безобразов [Там же], в Курске – П. С. Воейков [Народное движение, с. 149; ПСРЛ, т. 14, с. 74]. В Ливнах погиб городской воевода окольник А. Р. Плещеев, а воевода Большого полка – окольник М. Б. Шеин бежал душой и телом [Белокуров, с. 8, 83; ПСРЛ, т. 14, с. 74; Смирнов, с. 98]. Воронежский воевода кн. Д. И. Долгорукий на несколько месяцев исчез из поля зрения московских властей, чтобы осенью 1608 г. появиться в Тушине в чине окольника [Народное движение, с. 138]. Оскольские воеводы М. Ф. Аксаков, А. Ржевский и дьяк С. Линев [Там же] стали сотрудничать с повстанцами. Воевод Царева-Борисова М. Б. Сабурова, кн. Ю. Д. Приимкова-Ростовского и голову С. Мальцева обычно называют в числе первых жертв Лжепетра [ПСРЛ, т. 14, с. 74]. Однако необходимо учитывать, что они подверглись казни осенью 1606 г., когда крепостью овладел идущий на Северщину отряд самозванца. Причем в то время воеводы исполняли свои обязанности, а отнюдь не сидели в тюрьме! Вероятно, они так же, как оскольские воеводы,

целовали крест Лжедмитрию, а когда их поставили перед необходимостью присягнуть еще и Лжепетру, они, в отличие от своих оскольских коллег, отказались, и были казнены. Примечательно, что на Северщине вплоть до появления здесь Лжепетра пленных не казнили, а сажали в тюрьму.

Василий Шуйский, не имея надежных войск для подавления повстанческого движения в польских городах, прибегнул к дипломатии. В июне 1606 г. по городам были разосланы компрометирующие самозванца документы [Собрание, ч. 2, № 147, с. 308–315]. Затем сам царь Василий и патриарх Гермоген писали в Елец, умоляя повстанцев не верить злему умыслу поляков, которые с помощью «расстриги» хотят уничтожить православную веру и насадить католичество. Наконец в августе 1606 г. к ельчанам обратилась с письмом царица-инокиня Марфа – мать царевича Дмитрия. Письмо должен был доставить дядя царевича Дмитрия боярин Г. Ф. Нагой [Там же, с. 316–318]. Но ничего не помогало. В конце концов властям пришлось приводить в порядок войска и начинать военные действия. 1 (11) июля 1606 г. власти Архангельского монастыря в Устюге получили распоряжение дать казну В. Шуйскому на «польский поход» [выделено нами. – И. Т.] [Акты, 1836, № 58]. В августе 1606 г. стольники кн. Ю. Д. Хворостинин, кн. В. П. Щербатый и кн. Ф. В. Волынский «дозирали» полки правительственного войска [Белокуров, с. 141].

Анализируя боевые действия у Ельца, Р. Г. Скрынников заметил, что сюда, в отличие от Северщины, было направлено войско во главе со старшим воеводой кн. И. М. Воротынским [Скрынников, с. 85]. Данные разрядов свидетельствуют, что сюда были направлены весьма значительные силы. Василий Шуйский приказал выступить к Ельцу из Мценска воеводам большого полка Украинного разряда кн. И. М. Воротынскому и окольникему М. М. Салтыкову, а к ним «в сход» направиться из Переяславля Рязанского воеводам боярину В. К. Черкасскому и Г. Ф. Сумбулову. Из Новосили под Елец был направлен передовой полк Украинного разряда во главе с окольничим М. Б. Шеиным и боярином Г. Ф. Нагим. Наконец, из Серпухова к Ельцу было приказано выступить большому полку Берегового разряда во главе с боярином кн. М. Ф. Кашиным. Находившийся в Серпухове кн. С. И. Шаховский в своем сочинении о Смуте указал, что полк выступил в поход на Преображенев день, т. е. 6 (16) августа 1606 г. Правительственное войско нанесло поражение повстанцам и осадило Елец. Казаки и Лжепетр покинули территорию восстания, отправившись вниз по Дону. Царь отправил к воеводам с похвальным словом и золотыми стольника кн. Б. А. Хилкова [Белокуров, с. 85]. Данные разрядов подтвердил, находившийся в Архангельске Ж. Маржарет [Маржарет, с. 208], тогда как А. Рожнятовский 10 (20) августа 1606 г. записал весьма противоречивые слухи, что «дали знать из войска Шуйского, что битву проиграли»; «Дмитрий спасся и якобы ушел из этой битвы, разбив войско» [Рожнятовский, с. 72].

Первая победа правительственных войск не имела решающего значения. Осажденные в Ельце имели все необходимое для длительной обороны города. Осаждающие, наоборот, остро нуждались в самом необходимом, т. к. служилые люди находились в полках с весны 1606 г. Служивший в правительственной войске автор Бельского летописца отметил, что «ратные люди запасы столовыми вельми оскудели... и от тое скудости многие размышления стали» [ПСРЛ, т. 34, с. 244]. В войске стали происходить те же процессы, которые наблюдались при осаде Кром в 1605 г. Сложилось своеобразное равновесие. Осаждающие не могли взять крепость, а обороняющиеся не были в состоянии разгромить правительственное войско.

Анализ источников, отразивших начальный этап повстанческого движения против царя Василия Шуйского, позволяют прийти к выводу, что восстание против В. Шуйского началось в июне-июле 1606 г. в польских городах раньше, чем на Северщине. Инициаторами восстания стали служилые люди и казаки южных уездов – ветераны Лжедмитрия I, которые не смирились с гибелью своего царя и первое время смогли дезориентировать воинов Украинного и Берегового войск. Повстанцы смогли захватить главную базу русской армии на юге крепость Елец, получить помощь от казаков Лжепетра и начать военные действия против правительственных войск. Василию Шуйскому и его воеводам с трудом удалось овладеть ситуацией в войсках и начать военные действия против повстанцев.

---

Акты времени правления царя Василия Шуйского 1606–1610 гг. / сост. А. М. Гневушев. М., 1915. (Сер. Смутное время Московского государства 1604–1613 : в 9 вып. Вып. 2). № 1.

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией : в 4 т. СПб., 1836. Т. 2.

*Белокуров С. А.* Разрядные записи за смутное время (7113–7121 гг.). М., 1907.

*Болтин Б.* [Записки] // Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869.

*Буссов К. М.* Московская хроника 1584–1613 гг. Л., 1961.

*Корецкий В. И.* О формировании И. И. Болотникова как вождя крестьянского восстания // Крестьянские войны в России XVII–XVIII вв. М., 1974. С. 123–126.

*Кулакова И. П.* Восстание 1606 г. в Москве и воцарение В. Шуйского // Социально-экономические и политические проблемы истории народов СССР. М., 1985.

*Маржарет Ж.* Россия начала XVII в.: Записки капитана Маржарета. М., 1982.

Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII в. 1601–1608 : сб. докл. под ред. Н. М. Рогожина и др. М. : Наука, 2003.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб., 1910. Т. 14. Новый летописец.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М., 1978. Т. 34. Пискаревский летописец.

*Рожнятовский А.* Дневник Марины Мнишек / отв. ред. Д. М. Буланин ; пер. с пол., предисл. и коммент. В. Н. Козлякова. СПб. : Д. Буланин, 1996 (Studiorum slavico-gum monumenta. Т. 9).

*Скрынников Р. Г.* Смута в России в начале XVII в.: Иван Болотников. Л., 1988.

*Смирнов И. И.* Восстание И. И. Болотникова, 1606–1607 гг. М. ; Л., 1951.

Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел : в 4 ч. СПб., 1819. Ч. 2.

---

*Akty', sobranny'e v bibliotekah i arhivah Rossijskoj imperii Arheograficheskoj e'kspedicii* [Acts gathered in the libraries and archives of the Russian Empire by the archaeological expedition: in 4 vols.]. (1863). (Vol. 2). St. Petersburg.

Belokurov, S. A. (1907). *Razryadny'e zapisi za smutnoe vremya (7113–7121 gg.)* [Rank records for the Time of Trouble (7113–7121s.)]. Moscow: izdanie Imp. o-va istorii i drevnostej rossijskikh pri Moskovskom un-te.

Bussov, K. M. (1961). *Moskovskaya hronika 1584–1613 gg.* [Moscow chronicle 1584–1613]. Leningrad.

Gnevushev, A. M. (Comp.). (1915). *Akty' vremeni pravleniya czarya Vasiliya Shujского 1606–1610 gg.* [Acts under the rule of tsar Vasily Shuiski in 1606–1610s.]. Moscow.

Koreczkij, V. I. (1974). O formirovanii I. I. Bolotnikova kak vozhdya krest'yanskogo vosstaniya [About formation of I. I. Bolotnikov as a leader of peasant revolt]. In *Krest'yanskije vojny' v Rossii XVII–XVIII vv.* [Peasant wars in Russia in 17<sup>th</sup>–18<sup>th</sup> cc.]. (p. 123–126). Moscow.

Kulakova, I. P. (1985). Vosstanie 1606 g. v Moskve i vozczarenie V. Shujского [Revolt of 1606 in Moscow and V. Shuisky's accession]. In *Social'no-e'konomicheskie i politicheskie problemy' istorii narodov SSSR* [Socio-economic and political problems of the history of the peoples of the USSR]. Moscow.

Marzharet, Zh. (1982). *Rossiya nachala XVII v.: Zapiski kapitana Marzhareta* [Russia in the early 17<sup>th</sup> c.: Sketch-book of captain Marzharet]. Moscow.

*Polnoe sobranie russkikh letopisej* [Complete edition of Russian chronicles]. (Vol. 14). Novy'j letopisecz [New chronicler]. (1910). St. Petersburg.

*Polnoe sobranie russkikh letopisej* [Complete edition of Russian chronicles]. (Vol. 34). Piskarevskij letopisecz [Piskarevsky chronicler]. (1978). Moscow.

Popov, A. (1869). Boltin B. [Zapiski] [Commentaries]. In *Izbornik slavyanskikh i russkikh sochinenij i statej, vnesenny'h v hronografy' russkoj redakcii* [Miscellany of Slavic and Russian essays and articles recorded in chronicles of Russian edition]. Moscow.

Rogozhin, N. M. (Ed.). (2003). *Narodnoe dvizhenie v Rossii v e'pohu Smuty' nachala XVII v. 1601–1608: sb. dokl.* [Popular movement in Russia in the Time of Trouble of the early 17<sup>th</sup> c. 1601–1608: book of reports]. Moscow: Nauka.

Rozhnyatovskij, A. (1996). *Dnevnik Mariny' Mnishek* [Marina Mnishek's diary]. D. M. Bulanin (ed.), V. N. Kozlyakov (transl., comm.). St. Petersburg: D. Bulanin.

Skry'nnikov, R. G. (1988). *Smuta v Rossii v nachale XVII v.: Ivan Bolotnikov* [The Times of Trouble in Russia of the early 17<sup>th</sup> c.: Ivan Bolotnikov]. Leningrad.

Smirnov, I. I. (1951). *Vosstanie I. I. Bolotnikova, 1606–1607 gg.* [Bolotnikov's revolt, 1606–1607 yrs.]. Moscow; Leningrad.

*Sobranie gosudarstvenny'h gramot i dogovorov, hranyashhihsya v Gosudarstvennoj kollegii inostranny'h del: v 4 ch.* [Collection of state diplomas and contracts stored in the State board of foreign affairs: in 4 parts]. (1819). Part 2. St. Petersburg.

*The article was submitted on 15.05.2014*

**Игорь Олегович Тюменцев**

профессор

Россия, Ростов-на-Дону

Южный научный центр

Российской академии наук

(ИОНЦ РАН)

tijumencev@mail.ru

**Igor Tyumentsev**

Professor

Russia, Rostov-on-Don

Southern Scientific Center

of Russian Academy of Sciences

(SSC RAS)

tijumencev@mail.ru

---

УДК 030(470.5) + 908 +  
+ 930.25(470.5) + 351/354

Елена Ефремова

**ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ: НЕСОСТОЯВШИЕСЯ  
ИЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТСКИХ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 1920–1930-х гг.**

**AN INTERRUPTED FLIGHT: UNPUBLISHED SOVIET  
REGIONAL ENCYCLOPEDIAS OF THE 1920s–1930s**

A study of the attempt to publish regional Soviet encyclopedias of the 1920s–1930s has revealed that a majority remained unfinished, in part because of the suppression of the local history movement all over the country. Referencing archival documents, the author studies the history of preparation and publication for the *Ural Soviet Encyclopedia*, which was cancelled after publication of the first volume. The author scrutinizes the destructive role of censorship in regional publishing, demonstrating how local history proved incompatible with the ideology of the ruling party. Finally, the article provides information on the authors of the *Encyclopedia*.

**Key words:** Ural Soviet Encyclopedia; censorship; regional publishing; Soviet encyclopedias; regional archives; local history.

Исследование проекта издания региональных советских энциклопедий 1920–1930-х гг. выявило их общую незавершенную судьбу, ставшую результатом разгрома краеведческого движения по всей стране в это время. На основе архивных документов рассматривается история подготовки и издания Уральской советской энциклопедии, публикация которой была остановлена после выхода в печать первого тома. Особое внимание уделяется деструктивной роли цензуры в региональном книгоиздании, наиболее отчетливо проявившей несовместимость советской партийной идеологии и изучения конкретной локальной истории. Восстанавливаются биографические сведения об участниках создания энциклопедий.

**Ключевые слова:** Уральская советская энциклопедия; цензура; региональное книгоиздание; советские энциклопедии; региональные архивы; краеведение.



Изучение истории издания региональных советских энциклопедий 1920–1930 гг. вскрывает очень сложные процессы взаимодействия и противостояния государственной идеологии и представителей научного и краеведческого сообщества. Выявить эти издания, практически повсеместно планировавшиеся на территории бывшего Советского Союза, достаточно сложно, т. к. многие из них так и остались на уровне проектов и не были завершены. В 1929–1932 гг. в Новосибирске вышло три тома «Сибирской советской энциклопедии» (далее – ССЭ), четвертый том был опубликован по сохранившимся в архиве материалам только в 1992 г. В 1933 г. в Свердловске появился первый том «Уральской советской энциклопедии» (далее – УСЭ), в 1934 г. в Воронеже – первый том «Энциклопедического словаря Центрально-Черноземной области». Часть издательских проектов остановилась после издания проспектов-словников. К таковым относятся «Энциклопедия Дальневосточного края», «Северокавказская энциклопедия», «Коми советская энциклопедия». О подготовке к изданию Крымской и Карельской советской энциклопедии можно узнать только по косвенным источникам [упоминания о планировавшемся подготовке этих изданий см.: Козлов, с. 35; Савватеев].

Краеведческая информация, составляющая основу этих изданий, не утратила свою актуальность и научную ценность и сегодня. В связи с этим в 2001 г. Российским гуманитарным научным фондом был одобрен проект новосибирских историков, книговедов и архивистов «Возрожденное издание: Реконструкция невышедших томов Сибирской советской энциклопедии (1930-е гг.)» [см. подробнее: Посадсков]. В предисловии к современной «Уральской исторической энциклопедии» отмечено, что ее «авторы опирались на многочисленные исследования по истории, экономике и культуре региона, в том числе на материалы “Уральской советской энциклопедии”» [Уральская историческая энциклопедия, с. 5]. Среди исследователей распространено мнение, что современные авторы и редакторы энциклопедических изданий обязательно должны изучить историю издания региональных энциклопедий 1920–1930-х гг.: «из методики организации подготовки энциклопедий тех лет можно почерпнуть много полезного» [Козлов, с. 37]; для повышения качественного уровня современных изданий необходимо «изучение дореволюционного и советского опыта энциклопедического книгоиздания, признанного специалистами одним из лучших в мире» [Ряховская, с. 3]. Состоялось четыре научных конференции<sup>1</sup>, посвященных проблемам создания региональных изданий.

---

<sup>1</sup> Международный научно-практический семинар «Проблемы создания региональных энциклопедий» (Санкт-Петербург, 14–16 октября 2003 г.); научно-практическая конференция «Региональные энциклопедии: проблемы общего и особенного в истории и культуре народов Среднего Поволжья и Приуралья» (Казань, 20–22 сентября 2006 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные энциклопедии в культурном пространстве в России» (Чебоксары, 17–18 августа 2007 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт, актуальные проблемы развития российской региональной энциклопедистики» (Уфа, 27–28 сентября 2012 г.).

При изучении истории советской региональной энциклопедистики необходимо учитывать специфику исторических источников, сохранившихся, как правило, в государственных и бывших партийных архивах. Как отмечают американские исследователи Ф. Блоуин и У. Розенберг, «доступ к источникам открывает возможность извлечь из них смысл только в том случае, если историк отдает себе отчет, для чего существуют архивисты с их архивами, и представляет исторические контексты, в которых формировались эти архивы и хранящиеся там источники» [Блоуин, Розенберг, с. 129]. Развивая эту мысль, они утверждают, что если «историк не будет понимать, как эти источники собирались, оценивались и каталогизировались», то он «сможет прийти только к тем выводам, ради которых, возможно, данные документы и были подобраны» [Там же, с. 130].

Анализируя архивные источники по истории создания и прекращения региональных энциклопедий в советское время, нужно учитывать, что в фондах издательств сохранились официальные документы: постановления, протоколы заседаний, деловая переписка, в которых истинный смысл происходящих событий всегда прочитывается «между строк», а на поверхности легко обнаруживаются риторические фигуры, перетекающие из одного текста в другой и озвучивающие позицию власти. В документах партийных организаций, полностью регламентирующих и контролирующих издательский процесс, отражена прежде всего принятая на тот момент идеология, через которую «просвечивают» исторические нарративы, не всегда заметные и понятные самим создателям документов, действующим по уже сложившимся канонам советской риторики.

Причины появления, а затем ликвидации издательских проектов по созданию региональных энциклопедий не могут заключаться только в изменении административно-территориальных границ, или, как тогда было принято говорить, «районировании». Точнее, это внешний и достаточно формальный повод для обоснования актуальности – а через несколько лет неактуальности – проекта, скрывающий целый ряд факторов, которые на тот момент не афишировались.

Во-первых, нужно было систематизировать накопленный к этому времени массив краеведческой информации и придать ему научные параметры, что успешно решалось в формате энциклопедического издания. Как отмечает В. С. Соболев, исследовавший взаимодействие Академии наук и краеведческого движения в первой трети XX столетия, с 1917 по 1927 г. «укрепились связи Академии наук с краеведами, возросло ее влияние на деятельность краеведческих организаций, четко обозначилась координирующая роль академии в этом общественном движении» [Соболев, 2000, с. 535]. Это способствовало «внесению в краеведческую работу научно-методических принципов и приданию ей подлинно научного характера» [Соболев, 2012, с. 301]. В то же время и краеведы стремились к творческому союзу с учеными. Так, редколлегия «Энциклопедии Дальневосточного

края» 25 января 1929 г. утвердила текст обращения к научным работникам о сотрудничестве [Данилова, с. 56]. Замысел первой советской региональной энциклопедии «возник в среде краеведческой интеллигенции Сибири летом 1926 г., когда в Новосибирске сосредоточились значительные силы ученых-сибиреведов» [Посадсков, с. 4]. Среди авторов и редакторов Сибирской и других энциклопедий было много известных ученых того времени: академики Л. С. Берг, Н. Я. Марр, В. А. Обручев, М. А. Павлов, А. Е. Ферсман и др. О многих сюжетах и явлениях, намеченных к описанию в региональных энциклопедиях, на тот момент не было никакой информации, и авторам и редакторам приходилось проводить специальные научно-исследовательские изыскания и публиковать полученные результаты впервые. Как удалось выяснить участникам проекта по реконструкции ССЭ, В. А. Обручев предложил статью «Санникова Земля» после того, как он с помощью научных расчетов установил существование архипелага, названного им Земля Санникова, и лишь спустя некоторое время эта территория была открыта полярными экспедициями [Там же, с. 14].

Во-вторых, начиная с середины 1920-х гг. советская власть стремится максимально использовать краеведение в своих целях: «На 2-ой Всесоюзной Конференции достаточно ярко обрисовались современное положение краеведческого дела и тот интерес, с которым смотрит на него Советское Правительство» [От редакции, с. 1]. В передовой статье первого номера редакцией «Известий ЦБК» подчеркивалось, что «задача современного момента... состоит в том, чтобы это [т. е. краеведческое. – Е. Е.] движение было наиболее продуктивно использовано в государственных целях и поэтому-то тесный контакт местных правительственных, партийных, хозяйственных и профессиональных органов с краеведческими организациями только и может принести в этом отношении плодотворные результаты» [Там же, с. 2]. В 1930 г. в передовой статье «Советского краеведения», начавшего выходить вместо «Известий ЦБК» и журнала «Краеведение», идеологическая роль краеведения провозглашена еще более жестко и однозначно: «Обращение краеведения лицом к социалистическому строительству, перестройка рядов краеведения для активного участия в социалистическом строительстве, замена старых задач академического краеведения новыми, отвечающими эпохе диктатуры пролетариата» [Новый этап..., с. 1].

Решения об издании региональных энциклопедий и утверждение состава главной редакции всегда принимались краевыми или областными комитетами ВКП(б). Так, решение об издании «Сибирской советской энциклопедии» было принято 29 ноября 1926 г. высшей партийной инстанцией Сибири – Сибкрайкомом ВКП(б). 23 марта 1927 г. президиум Сибкрайисполкома, а 8 апреля – бюро Сибкрайкома ВКП(б) утвердили состав главной редакции ССЭ [Посадсков, с. 5]. В сентябре 1928 г. Далькрайком ВКП(б) подтвердил решение об издании «Энциклопедии ДВК» и назначил ответственным редактором энциклопедии

В. Я. Волынского [Данилова, с. 51]. Решением Далькрайкома ВКП(б) от 17 января и решением Президиума Далькрайисполкома от 25 января 1929 г. были утверждены постоянная редакционная коллегия и Совет «Энциклопедии ДВК» [Там же, с. 53]. В фонде Свердловского обкома ВКП(б) сохранилась заверенная печатью выписка из протокола № 54 § 53 заседания Уральского областного исполнительного комитета от 3 августа 1930 г., на котором постановили, что «для того, чтобы осветить в научно-популярной форме, доступной для широких слоев партийно-советского актива, основные задачи строительства Большого Урала, привлечь внимание актива к этим задачам и помочь ему в их разрешении, – признать необходимым приступить к изданию Уральской Советской энциклопедии» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 8, д. 673, л. 25]. Во втором пункте этого постановления определялись сроки издания, в последующих – утвержден состав редакционного совета и его председатель, назначены редакторы разделов, ответственный редактор – Я. Р. Елькович<sup>2</sup>, его заместитель – М. М. Басов.

Первый том Сибирской энциклопедии «был отпечатан в сентябре 1929 г., когда государство нанесло краеведческому движению сокрушительные удары» [Козлов, с. 27], но отказываться от издания энциклопедий никто не спешил. В предисловии к первому тому ССЭ говорилось о том, что составителям «прежде всего пришлось столкнуться с неудовлетворительным состоянием наших современных краеведческих знаний – многие прежние работы явно устарели или не могли быть использованы в силу чуждой классовой установки» [ССЭ, ст. XI]. Тем не менее, редакция выражала надежду, что «понесенный труд и напряжение издательских средств на издание принесет значительную пользу в деле хозяйственного и культурного строительства обширного края, призванного сыграть... видную роль в деле социалистического строительства СССР» [Там же, ст. XII]. Таким образом, это была последняя попытка власти использовать краеведческие ресурсы в своих целях<sup>3</sup>, направляя их в нужное идеологическое русло.

В наибольшей степени идеологическое руководство над процессом создания региональных энциклопедий проявлялось в формировании и функционировании партийной цензуры. На заседании секретариата Уралобкома ВКП(б) от 28 августа 1932 г. Я. Р. Елькович

<sup>2</sup> Яков Рафаилович Елькович, 1896 г. р. Образование – коммерческое училище, психоневрологический институт (3,5 года, не окончил), научно-исследовательский институт при комвузе [ЦДООСО, ф. 11, оп. 8, д. 9173, л. 1]. До утверждения на должность ответственного редактора УСЭ работал старшим инспектором Уральского отдела народного образования [ЦДООСО, ф. 4, оп. 6, д. 53, л. 5; оп. 8, д. 34, л. 342].

<sup>3</sup> Интересные размышления о силе любви к родному краю, которую можно использовать в любых целях, оставил в своих дневниковых записях М. М. Пришвин: «И каждый местный человек привязывается к месту и бессознательно любит свой край и здесь уравнивается, и это спокойствие равновесия, в сущности, и питает чувство родины. Получается нечто вроде того, что делается в стойле: скопляется удобрительная сила предков, слеживание пластов, тяготение родных элементов друг к другу такое сильное, что этой силой стремления человека на родину можно пользоваться как силой падающей воды: десять и больше лет с усердием будет работать земляк, лишь бы попасть обратно к своим землякам» [Пришвин, с. 64].

и В. Н. Андроников были утверждены политредакторами УСЭ (протокол № 53) [ЦДООСО, ф. 4, оп. 10, д. 115, л. 9]. По сохранившемуся в этом же деле приложению к протоколу заседания главной редакции УСЭ можно увидеть механизм назначения на эту должность: «Поставить через Секретариат Уралобкома ВКП(б) перед Главлитом вопрос об утверждении политредакторами УСЭ т. т. Ельковича и Андроникова» [Там же, л. 117–118]. Ни читатели, ни рядовые сотрудники редакции не информировались о существовании такой должности: в вышедшем первом томе энциклопедии Елькович указан только как ответственный редактор, а Андроников – как один из членов редакционного совета. В штатном расписании редакции должность политредактора также никогда не упоминалась.

О должностных обязанностях политредактора (по сути – цензора издания) можно узнать из письма заведующего Государственным словарно-энциклопедическим изданием и уполномоченного Главлита Н. Н. Накорякова ответственному редактору УСЭ Я. Р. Ельковичу: «Присланный Вами словник я просмотрел с цензурной стороны и подписал как Уполномоченный Главлита по издательству “Советская Энциклопедия”. Но Вы должны иметь в виду, что, по установленному положению об уполномоченных Главлита, Вы, как главный редактор, одновременно являетесь и *политредактором* [курсив мой. – Е. Е.], поэтому всякие изменения, дополнения в словнике могут идти только с Вашего согласия и визы» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 317, л. 44]. Далее Накоряков предлагал Ельковичу «для упрощения дела» зарегистрировать его «как Политредактора и Уполномоченного Главлита по Уральской Энциклопедии и тогда – не нужно будет вести сложной процедуры пересылки материала и чтения его мной, что, конечно, будет задерживать дело» [Там же]. Назначение уполномоченным Главлита по УСЭ ответственного редактора усиливало цензуру, поскольку он мог контролировать не только содержание подготовленной к печати энциклопедии, но и весь издательский процесс, начиная с инструкций авторам и заканчивая редактированием рукописей. Непосредственное участие Секретариата Обкома при назначении на должность политредактора подчеркивает направленный партийный характер осуществляемой им цензуры.

По протоколам редакционных совещаний можно проследить, как менялась стратегия подчинения краеведческой мысли партийной идеологии. Если на первом пленуме редакционного совета УСЭ, состоявшемся 25 декабря 1930 г., в основном обсуждались программа издания энциклопедии и методы составления словника, то уже 21 января 1932 г. главный редактор Я. Р. Елькович говорит о том, что «вся система заказов должна обеспечить осуществление политических установок редакции, стоящих перед энциклопедией в свете письма т. Сталина и решений Уралобкома ВКП(б) по вопросу об УСЭ» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 5, л. 29]. Он предлагает отказаться от индивидуальных заказов авторам на статьи и использовать «бригадный метод работы

как единственный, обеспечивающий правильность материала со всех сторон» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 5, л. 29].

Созданию бригад, полностью лишаящих статью какого бы то ни было авторского начала, было посвящено отдельное производственное совещание помощников редакторов УСЭ 15 января 1932 г., обусловленное, по словам главного редактора, «попытками некоторых авторов оторваться от боевых задач социалистического наступления» [Там же, д. 6, л. 7]. На этом совещании были определены принципы, которыми должна руководствоваться бригада: «партийность, современность, борьба с реакционными буржуазными теориями, борьба с оппортунистическими извращениями, отражение проблемы “догнать и перегнать”, сопровождение статьи выдержанным библиографическим материалом» [Там же, л. 6]. К работе в бригаде планировалось привлекать студентов Комвуза, аспирантов или студентов-партийцев ВТУЗа, рабочих-ударников. В отчете о работе бригад на заседании 16 марта 1932 г. зав. отделом комплектования А. С. Куклина сообщила, что на данный момент сформировано 20 бригад, в которых участвует «137 человек, из них 82 – члены ВКП(б), 61 – научные работники, аспиранты и студенты Комвуза, 7 – ударники» [Там же, д. 5, л. 35 об.]. В создании бригад редакция видела не только узко практический смысл – отредактировать статьи в соответствии с партийной идеологией, – но и решение перспективных задач по созданию нового типа автора: «Просмотр полученных статей показал, что нам нужен новый, свой автор. Бригада будет школой этого автора» [Там же, д. 6, л. 6 об.].

«Бригадный» способ написания статей не был открытием редакции УСЭ: после известного письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» во многих статьях центральной и местной печати указывались не фамилии авторов, а одно слово – «бригада». В конце ноября 1931 г. Институт истории в письме на имя президиума Комакадемии сообщал: «Во исполнение указаний письма т. Сталина в журнал “Пролетарская революция” Институтом истории <...> ликвидированы секции... и созданы бригады по разработке актуальных исторических проблем» [цит. по: Дунаевский, с. 287]. Как показывает история, опыт по созданию бригад в 1930-е гг. оказался удачным: в советскую науку не на одно десятилетие прочно вошло использование формы множественного числа для выражения авторской позиции, достигающее своего апогея в риторической фигуре: «Мы, советский народ, заявляем / считаем / утверждаем...» Утверждение научной точки зрения от имени некоего «мы» до настоящего времени относится к научному стилю<sup>4</sup>. Оно оказалось канонизированным и получило теоретическое обоснование как проявление научного стиля, в отличие от нескромного «я».

<sup>4</sup> В современном учебнике по стилистике русского языка характеристика грамматических категорий лица и числа глагола в научном стиле не изменилась: «В соответствии с функциональной спецификой в научном стиле широко используется 1-е лицо множественного числа, означая так называемое “авторское мы”: Ниже мы приводим диаграммы; Напомним, что...; Заметим...» [Голуб, с. 309].

Обезличивание проявлялось не только в исчезновении индивидуальной авторской позиции, но и в буквальном исчезновении многих авторов. На заседании редакции УСЭ 21 января 1932 г. Я. Р. Елькович поставил вопрос о тщательном подборе авторов «в смысле полного обеспечения партийности марксистско-ленинской методологии в освещении всех вопросов» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 5, л. 29 об.], в связи с чем сообщил об исключении из редакционного совета профессора П. С. Богословского<sup>5</sup>, П. Т. Зубарева<sup>6</sup>, Н. Н. Эльвова<sup>7</sup>, К. В. Гребнева<sup>8</sup>, А. С. Соколова<sup>9</sup>. Протокол этого заседания с речью Ельковича – единственный из сохранившихся документов, где объясняются причины изменения состава редакционного совета: «Тов. Зубарев, как все вы знаете из газет, выведен из состава Бюро Обкома ВКП(б) и снят с работы секретаря обкома за то, что за спиной последнего и вопреки его директивам он поддерживал буржуазные, антизаготовительные оппортунистические тенденции в отдельных совхозах и в отдельных звеньях некоторых хозяйственных организаций. Тов. Зубарев выведен из состава редсовета УСЭ. Эльвов, Гребнев и Соколов исключены из партии, как троцкистские контрабандисты и выведены из состава Редсовета. Проф. Богословский подвизался на страницах Пермских научных изданий с явно антисоветскими, поповско-мракобесническими статьями. Все вышеуказанные изменения в составе редсовета получили уже соответствующее утверждение» [Там же].

<sup>5</sup> Богословский Павел Степанович (1890–1966). Работал в Пермском пединституте зав. кафедрой русской литературы до 1932 г. Затем замещал должность зав. сектором фольклора Московского центрального научно-исследовательского института методов краеведческой работы до ареста в 1935 г. Отбывал наказание в Карагандинском исправительно-трудовом лагере. Освобожден в 1940 г. [Богословские].

<sup>6</sup> Зубарев Прокопий Тимофеевич, 1886 г. р. В 1929–1930 гг. – председатель Исполкома Уральского областного Совета, также 2-й секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 1931 по 1934 г. – в Народном комиссариате земледелия СССР. До марта 1937 г. – заместитель народного комиссара РСФСР, М. А. Чернова. Обвиняемый на Третьем Московском процессе. Расстрелян 15 марта 1938 г. [Справочник по истории...].

<sup>7</sup> Эльвов Николай Наумович, 1901 г. р. Один из авторов четырехтомной истории ВКП(б) под ред. Е. М. Ярославского. В 1931–1932 обвинялся в «контрабанде троцкизма», исключен из ВКП(б). В начале 1931 г. отправлен в ссылку в Свердловск, в 1932 г. по «путевке ЦК ВКП(б)» – в Казань. Возглавлял коллектив ученых, готовивших к изданию «Материалы и документы по истории Татарской АССР с древнейших времен до реформы 1861 г.», вышедшие в 1937 г. без фамилий редактора и составителя. Арестован 10 февраля 1935 г. 15 сентября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания и в ту же ночь расстрелян. Реабилитирован в 1957 г. [подробнее о научной биографии Н. Н. Эльвова см.: Эльвов; Литвин, с. 167–187].

<sup>8</sup> Гребнев (Гребнев) Константин Всеволодович, 1902 г. р. Работал научным сотрудником в научно-методическом институте облоно. Арестован 27 августа 1935 г., осужден 1 апреля 1937 г. [Книга памяти..., с. 268].

<sup>9</sup> Соколов Анатолий Сергеевич, 1895 г. р. В 1930–1932 гг. – зав. научно-методическим сектором Уральского отдела народного образования, зав. кафедрой социально-экономических наук Уральского индустриально-педагогического института, 14 ноября 1931 – 3 января 1932 г. – первый директор Свердловского университета (сейчас – УрФУ). В январе 1932 г. исключен из партии, через полгода восстановлен со строгим выговором. В 1933 г. при чистке исключен из партии. Арестован 22 февраля 1936 г. Осужден 2 октября 1936 г. к высшей мере наказания. Реабилитирован 6 июня 1956 г. [подробнее о научной и профессиональной биографии А. С. Соколова см.: Соколов; Мазур].

Исключение из состава редакции Эльвова и Соколова, руководивших работой над историческим разделом, повлекло за собой распоряжение главного редактора «обеспечить исключительную тщательность пересмотра и коренной переработки всего исторического материала УСЭ» [ГАСО, ф. 242, оп. 1, д. 321, л. 1], а также согласовать персональный состав редакционно-авторской бригады по историческому разделу с Обкомом ВКП(б).

Сам Елькович был отстранен от редактирования УСЭ постановлением Президиума Свердловского облисполкома от 26 декабря 1934 г. Это коренным образом повлияло на дальнейшую судьбу второго тома. Как сообщал в Обком ВКП(б) новый редактор энциклопедии, Николай Александрович Веницкий [о его назначении см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 13, д. 34, л. 8], «в связи с тем, что Елькович<sup>10</sup> был исключен из партии как участник контрреволюционной группы Зиновьева, набор был ликвидирован и начиная с марта месяца весь том подвергся вторичной авторской редакции» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 4, л. 1].

Подобная ситуация складывалась и в редакции ССЭ, где с февраля по апрель 1933 г. были арестованы почти все ведущие редакторы энциклопедии, объявленные «участниками мифической повстанческой организации “Белогвардейский заговор”, которая якобы “свила гнездо” в Обществе изучения Сибири и ее производительных сил, в редакции ССЭ, в других краеведческих и руководящих краевых структурах» [Посадков, с. 7]. 5 августа 1933 г. по сфальсифицированному делу получили длительные сроки заключения П. К. Казаринов, Г. И. Черемных, В. А. Пупышев, а В. Г. Болдырев и Г. А. Краснов «растрельный» приговор [Там же].

В связи с начавшимися массовыми репрессиями редакции региональных энциклопедий просто не успевали убирать из готовящихся к печати материалов информацию об авторах, ставших *persona non grata*. Так, после ареста в июне 1936 г. В. Д. Вегмана редакция ССЭ пересмотрела текст 4 тома и вычеркнула из него «18 упоминаний фамилии В. Д. Вегмана и 5 – других репрессированных» [Там же, с. 8]. В течение 1936–1937 гг. шел непрерывный просмотр готовых статей: «из текстов изымались фамилии арестованных, вымарывались подписи репрессированных авторов» [Там же]. Весной 1937 г. в числе репрессированных оказались редакторы отраслевых разделов М. Г. Тракман, Г. В. Круссер, И. И. Осипов, В. П. Теряев, Ф. А. Хоробрых [Там же]. Вскоре после прекращения издания и ликвидации

---

<sup>10</sup> Исключен из партии 23 декабря 1934 г. [ЦДООСО, ф. 11, оп. 8, д. 9170, л. 1]. По данным А. Л. Литвина, «приговорен к 15 годам лагерей. Во время реабилитационной проверки 1956–1957 гг. выяснилось, что хотя Елькович “троцкистом” не был, но была доказана его виновность “в провокаторской деятельности, как секретного агента органов НКВД, в фальсификации протоколов допросов арестованных, в даче ложных показаний на целый ряд партийно-советских работников, неосновательно репрессированных органами НКВД”». <...> В 1936 г., будучи арестованным, Елькович стал камерным агентом НКВД и совместно с сотрудником органов Строминным составлял фальсифицированные протоколы допросов и давал вымышленные показания на 140 человек» [Литвин, с. 186–187].



редакции были репрессированы оставшиеся члены редколлегии: А. А. Ансон, Г. А. Вяткин, Б. З. Шумяцкий, М. М. Басов и Б. А. Шляев [Посадсков, с. 9]. Таким образом, уничтожались не только ставшие неудобными региональные энциклопедические издания, но и авторы, способные их создавать.

Не меньшей «чистке» подвергался список лиц, о деятельности которых должны были появиться статьи в энциклопедиях: люди, с их уникальными биографиями и жизненным опытом, живые свидетели революций и войн, становятся лишними в новой истории, создаваемой советским государством<sup>11</sup>. На заседании главной редакции УСЭ 16 марта 1932 г. Елькович напомнил всем присутствующим, что еще в процессе обсуждения словника было принято решение отдел «personalia» сократить до минимума: «По этому отделу центр тяжести должен быть сосредоточен на героях гражданской войны, участниках большевистского подполья, героях труда, награжденных орденом Ленина» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 5, л. 35]. Основа любой региональной энциклопедии – история края в биографиях его жителей – была исключена из издания уже на стадии его обсуждения, что вновь подтвердило доминанту партийной идеологии над задачами краеведения.

При обсуждении словника предъявлялись идеологические претензии даже к таким точным областям знания, как медицина: «В словнике по здравоохранению недостаточно отражена марксистско-ленинская теория», – было замечено в протоколе [Там же, д. 2, л. 3]. Идеологическая работа редакции была отмечена московской бригадой, работавшей над рецензированием первого тома: «Надо прямо сказать, что успех первого тома объясняется той исключительно благодарной тематикой, которую и отражает УСЭ, и той исключительной помощью Обкома во главе с товарищем И. Д. Кабаковым, которая помогла редакции нащупать правильные пути в создании нового типа Краевой Энциклопедии» [Там же, д. 5, л. 87 об.].

Отдельное производственное совещание редакции, состоявшееся 20 декабря 1931 г., было посвящено библиографической работе. С одной стороны, сотрудники редакции стремились увеличить количество статей, сопровождаемых библиографическим материалом, поскольку это «способствует расширению кругозора читателей» [Там же, д. 6, л. 4]. В качестве примера для обязательной библиографии использовалась статья по истории какого-либо завода: «При небольшом тексте по описанию завода важно указать материал, более подробно освещающий прошлое завода». С другой стороны, на совещании обсуждался вопрос о том, что библиография должна быть выверенной «с точки зрения политических установок» и «носить рекомендательный характер»: «при отборе библиографического материала надо проявлять

<sup>11</sup> Это далеко не единственный пример обезличивания истории, написанной советской властью. Как отмечают организаторы научных чтений «Право на имя», учрежденных в 2002 г. и посвященных теоретико-методологическим и научно-практическим исследованиям биографики, «главное, что доказала история XX века, – полное пренебрежение к человеку как личности» [От составителей, с. 9].

высокую чуткость, заверстывая лишь литературу, бесспорно нужную, не вызывающую никаких сомнений». Кроме того, рекомендовалось «избегать приводить иностранную литературу» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 6, л. 4]. В результате и на библиографическом уровне «партийность» стала превалировать над «энциклопедичностью» готовящегося к печати издания, при этом утрачивалась научность и негласно поощрялся плагиат, цитирование без ссылок на «буржуазных исследователей».

Несмотря на жесткую партийную цензуру и постоянное редактирование текстов статей в соответствии с меняющейся политической обстановкой, ни один из проектов по изданию региональных энциклопедий не был завершен. Наибольший объем изданных томов Сибирской энциклопедии обусловлен тем, что работа над ее созданием началась намного раньше, чем над другими энциклопедиями, в 1926 г. Решение о прекращении издания и ликвидации редакции было принято 17 мая 1937 г. [Посадсков, с. 9]. Издательство Уральской энциклопедии было ликвидировано постановлением Президиума Свердловского облисполкома № 3446 в феврале 1936 г.

Вряд ли изменение административно-территориальных границ (разделение Уральской области на Свердловскую и Челябинскую, ликвидация Обь-Иртышской области) и сложности с финансированием, как это долгое время официально считалось, были истинными причинами прекращения издания. В документах редакции сохранилась выписка из протокола № 20 заседания челябинского Бюро Обкома ВКП(б) от 19 июля 1934 г., в которой говорилось о том, что «Обком и Облисполком считают целесообразным продолжение издания Уральской Советской Энциклопедии как энциклопедии трех областей» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 7, л. 2], и назначался состав редакции от Челябинской области. Изменения в работе редакции, связанные с изменением областных границ, обсуждались на заседаниях и были закреплены в одном из постановлений редакционного совета УСЭ [Там же, д. 5, л. 138].

За время подготовки II тома было получено 60 % статей для III тома. На совещании редакции УСЭ 4 сентября 1935 г. уже обсуждался словник IV и V томов и было принято решение закончить размещение заказов на статьи в этих томах к 20 сентября 1935 г. Что касается финансирования, то к октябрю 1935 г. на подготовку II тома уже было потрачено 300 тысяч рублей, на подготовку III тома – 7 575 рублей. По подсчетам главного редактора Веницкого, «для того чтобы выпустить 2-й том, необходимо получить 50 тысяч рублей к имеющимся до конца года 20 тысячам рублей», после выхода второго тома «энциклопедия получит 140 тысяч рублей, которые дадут почти полную возможность осуществить выход 3-го тома» [Там же, д. 4, л. 3]. Ликвидация издания, по мнению главного редактора, была «ни в коем случае неприемлема», поскольку в этом случае «к произведенным уже расходам так или иначе потребуется произвести оплату авторского гонорара по 3-му тому и последующим около 40 тыс. рублей» [Там же].

Таким образом, ни изменение границ, ни финансирование не могли стать существенным препятствием для продолжения издания. Тем не менее, в том же документе Веницкий пишет, что «работа над третьим томом и над последующими задерживалась исключительно потому, что все последние 5 месяцев издание Уральской Энциклопедии поставлено под вопрос» [ГАСО, ф. 292, оп. 1, д. 4, л. 2]. Очевидно, что в это время решались принципиальные вопросы: насколько совместима с партийной идеологией информация краеведческого характера; можно ли отредактировать ее так, чтобы она соответствовала требованиям времени; нужно ли вообще издавать региональные энциклопедии, в которых так или иначе все равно сфокусируется не административно-партийная, а уникальная историческая информация о крае? Возможно, дело было в том, что любое обобщающее издание не могло успеть за изменением оценок исторических героев и событий: герои в один момент становились врагами народа, а выдающиеся события – ошибками, происками, провалами.

Еще в 1930 г. участники первого пленума редакционного совета УСЭ обсуждали вопрос, который уже тогда казался им «щекотливым» и «болезненным» [Там же, д. 2, л. 54]: будет ли редакция энциклопедии успевать за теми изменениями, которые происходят в стране? Один из участников пленума сформулировал эту проблему образно: «в течение двух лет мы далеко шагнем, и первые буквы будут написаны в условиях средневековья, что ли, а последние буквы в условиях вхождения в социализм» [Там же, л. 49]. Он ошибся только в сроках: в течение двух лет был издан первый том, который за это время подвергался многократному редактированию. Партийные требования к изданию менялись настолько стремительно и кардинально, что типография не успевала отпечатать уже подписанный в печать текст (второй том редактировался вторично уже после того, как был сделан типографский набор, и набирался вновь). Издавать в таких условиях многотомную энциклопедию было просто невозможно, а учитывая ее краеведческую направленность, и опасно, поскольку к 1937 г. краеведение как научное направление и общественное движение было окончательно уничтожено, многие краеведы репрессированы [см.: Тагильцева; Боже и др.].

История издания региональных энциклопедий на рубеже 1930-х гг., закончившаяся ликвидацией этого направления в советском книгоиздании, как нельзя более остро демонстрирует противостояние национальной памяти, обретающей физическое воплощение в печатном слове, и государственной власти, трансформирующей знания о прошлом в нужное идеологическое русло. Если в глобальных масштабах процесс создания новой, т. е. советской истории оказался вполне осуществимым (издание Большой и Малой Советской энциклопедии), то на региональном уровне попытка направить исторические знания в жестко заданное идеологическое русло повсеместно потерпела неудачу. Конкретные факты и события локального характера, еще хранившиеся в памяти их очевидцев, оказались

несовместимы с абстрактными идеологическими построениями советской истории.

*Блоун Ф., Розенберг У.* Споры вокруг архивов, споры вокруг источников // Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? М. : НЛЮ, 2013. С. 125–153.

Богословские: Павел Степанович – профессор, филолог, краевед; Иван Степанович – профессор, доктор медицинских наук, краевед. Ф. № р-937. ГКБУ «Государственный архив Пермского края [Электронный ресурс]. URL: <http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=fund&fund=1551> (дата обращения: 14.07.2014).

*Боже В. С.* Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.) : справ. пособие. Челябинск, 1995. 192 с.

ГАСО. Ф. 292. Оп. 1. Д. 2, 4–7, 317, 321.

*Голуб И. Б.* Стилистика русского языка. 7-е изд. М. : Айрис-пресс, 2006. 448 с.

*Данилова Л. Ю.* Из истории издания энциклопедии Дальневосточного края // Вестник ДВГНБ. 2000. № 4. С. 48–65.

*Дунаевский В. А.* О письме Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» и его воздействии на науку и судьбы людей // История и сталинизм / сост. А. Н. Мерцалов. М. : Политиздат, 1991. С. 284–297.

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. Т. 2. Екатеринбург : Уральский рабочий, 2000. 426 с.

*Козлов В. Ф.* Из опыта создания региональных энциклопедий в СССР в 1920–1930-е гг. // Проблемы создания региональных энциклопедий : материалы междунар. науч.-практ. семинара (СПб., 14–16 окт. 2003 г.). СПб., 2004. С. 25–39.

Коми советская энциклопедия : словник-проспект. Сыктывкар, 1935. 69 с.

*Литвин А. Л.* Без права на мысль. Историки в эпоху Большого террора. Очерки судеб. Казань : Татар. кн. изд-во, 1994. 191 с.

*Мазур В. А.* «Троцкист Соколов». К 110-летию со дня рождения ректора Уральского университета А. С. Соколова // Известия УрГУ. 2005. № 37. С. 16–27.

Новый этап в краеведении // Советское краеведение. 1930. № 1–2. С. 1–2.

От редакции // Известия Центрального Бюро Краеведения. 1925. № 1. С. 1–3.

От составителей // Право на имя: Биографика XX века. Чтения памяти Вениамина Иоффе : избранные. 2003–2012. СПб. : Норма, 2013. 640 с.

*Посадков А. Л.* Сибирская советская энциклопедия: краткая история (1926–1937 гг.) // Сибирская советская энциклопедия: проблемы реконструкции издания. Новосибирск, 2003. С. 4–15.

*Пришвин М. М.* Дневники. 1938–1939. СПб. : Росток, 2010. 608 с.

*Ряховская М. А.* Региональные энциклопедии России: история и современные тенденции развития : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2013. 24 с.

*Саватеев Ю. А.* Н. Н. Виноградов. Человек дела (Кострома – С.-Петербург – Соловки – Петрозаводск) [Электронный ресурс] // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2009. № 3. URL: <http://www.hcpncr.com/journ709/journ-709savvateev.html> (дата обращения: 14.07.2014).

ССЭ – Сибирская советская энциклопедия : [в 4 т. Новосибирск] : Зап.-Сиб. Отд-ние Огиз, [1929]. Т. 1 : А – Ж / под общ. ред. М. К. Азадовского, А. А. Ансона, М. М. Басова [и др. 1929]. XXX с., 988 стб. Т. 2 : З – К / под общ. ред. М. К. Азадовского, С. А. Альпова, А. А. Ансона [и др. 1931]. 1152 стб. Т. 3 : Л – Н / гл. ред. Б. З. Шумяцкий (Москва), пом. ред. А. А. Ансон (Новосибирск), М. М. Басов (Иркутск). [1932]. [12 с.], 804 стб. Т. 4 : Обдорск – съезды / гл. ред. Б. З. Шумяцкий (Москва), пом. ред. А. А. Ансон (Новосибирск), М. М. Басов (Иркутск) ; Introduction by E. Kasinec, R. H. Davis ; предисл. на англ. яз. с автор. E. Kasinec. [Факс. изд.]. New York : Ross, 1992. XVIII с., 1106 стб. Прил. (стб. с. 1084–1106): словник т. 5 : Т – Я.

Северокавказская энциклопедия : проспект. Ростов н/Д, 1931. 46 с.

*Соболев В. С.* Академия Наук и краеведческое движение // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 6. С. 535–541.

*Соболев В. С.* Нести священное бремя прошедшего: Российская академия наук: Национальное культурное и научное наследие. 1880–1930 гг. СПб. : Нестор-История, 2012. 380 с.

Соколов Анатолий Сергеевич [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/history/historiografy/historians/ros/nn/?id=784> (дата обращения: 14.07.2014).

Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.knowbysight.info/ZZZ/12209.asp> (дата обращения: 14.07.2014).

Тазильцева Н. Н. История краеведческого движения на Урале в 1920–1930-е годы : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1993. 24 с.

Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург : Академкнига ; УрО РАН, 2000.

Уральская советская энциклопедия / отв. ред. Я. Р. Елькович ; редсовет: В. Н. Андроников [и др.]. Свердловск : Уралоблисполком «Урал. сов. энцикл.» ; М., 1933–. 854 с.

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 34, 673; Оп. 6. Д. 53; Оп. 13. Д. 34; Ф. 11. Оп. 8. Д. 9173, 9170.

Эльвов Н. Н. [Электронный ресурс] // Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991) / Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб. : Петербургское Востоковедение, 2003. URL: <http://www.memory.pvost.org/pages/elvov.html> (дата обращения: 14.07.2014).

Энциклопедический словарь Центрально-черноземной области / гл. ред. В. Н. Алексеев. Воронеж : Коммуна, 1934–.

Энциклопедия Дальневосточного края : проспект. Словник. Хабаровск, [1930]. 72 с.

Alekseev V. N. (Ed.). (1934). *E'nciklopedicheskij slovar' Central'no-chernozemnoj oblasti* [Encyclopedic dictionary of Central-Black Earth region]. Voronezh: Kommuna.

Blouin, F., Rozenberg, U. (2013). Spory' vokrug arhivov, spory' vokrug istochnikov [Disputes over archives, disputes over sources]. *Status dokumenta ili otechuzhdennoe svidetel'stvo?* [Status of a document or alienated certificate?] (p. 125–153). Moscow: NLO.

Bogoslovskij, P. S., Bogoslovskij, I. S. (n. d.). *GKBU "Gosudarstvennyj arhiv Permskogo kraja" F. № r-937* [The state archive of the Perm region. Stock № r-937]. Retrieved from: <http://agrar.permkrai.ru/af/index.php?act=fund&fund=1551> (last accessed on 14.07.2014).

Bozhe, V. S. (1995). *Kraevedy' i kraevedcheskie organizacii Chelyabinska (do 1941 g.): sprav. posobie* [Regional specialists and Chelyabinsk regional organizations (till 1941): reference manual]. Chelyabinsk.

Danilova, L. Yu. (2000). Iz istorii izdaniya e'nciklopedii Dal'nevostochnogo kraja [From the history of the edition of the encyclopedia of the Far Eastern region]. *Vestnik DVGNB* [Bulletin of the Far Eastern State Scientific Library], 4, 48–65.

Dunaevskij, V. A. (1991). O pis'me Stalina v redakciju zhurnala "Proletarskaya revoliuciya" i ego vozdejstvii na nauku i sud'by' lyudej [About Stalin's letter to the editor of "Proletarian revolution" magazine and its impact on science and destiny of people]. In A. N. Merczalov (Comp.). *Istoriya i stalinizm* [History and Stalinism] (p. 248–297). Moscow: Politizdat.

El'kovich, Ya .R., Andronnikov, V. N. (Eds.). (1933). *Ural'skaya sovetskaya e'nciklopediya* [Ural soviet encyclopedia]. Sverdlovsk: Uraloblispolkom "Ural. sov. e'ncikl."; Moscow.

*E'nciklopediya Dal'nevostochnogo kraja: prospekt*. Slovník. [Encyclopedia of the Far Eastern region: booklet]. (1930). Habarovsk.

Golub, I. B. (2006). *Sitlistika russkogo yazyka* [Stylistics of the Russian language]. (7<sup>th</sup> ed.). Moscow: Ajris-press.

*Kniga pamyati zhertv politicheskikh repressij. Sverdlovskaya oblast'* [The book of memory of the victims of the political repressions. Sverdlovsk region]. (Vol. 2). (2000). Ekaterinburg: Ural'skij rabochij.

*Komi sovetskaya e'nciklopedija: slovník-prospekt* [The Komi soviet encyclopedia: glossary-booklet]. (1935). Syktyvkar.

Kozlov, V. F. (2004). Iz opy'ta sozdaniya regional'ny'h e'nciklopedij v SSSR v 1920–1930-e gg. [Basing on the experience of making regional encyclopedias in the USSR in 1920–1930s.]. In *Problemy' sozdaniya regional'ny'h e'nciklopedij: materialy'*

*mezhdunar. nauch.-prakt. seminara* [The problems of making regional encyclopedias: the materials of international seminar] (St. Petersburg, 14–16 October 2003) (p. 25–39). St. Petersburg.

Litvin, A. L. (1994). *Bez prava na my'sl'. Istoriki v e'pohu Bol'shogo terrora. Ocherki sudeb* [Without the right to think. Historians in the Great Terror epoch. Essays on destinies]. Kazan: Tatar. kn. izd-vo.

Mazur, V. A. (2005). "Troczkist Sokolov". K 110-letiyu so dnya rozhdeniya rektora Ural'skogo universiteta A. S. Sokolova ["Trotskyist Sokolov". To the 110<sup>th</sup> anniversary of the birth of A. S. Sokolov – the rector of the University of Ural]. *Izvestia UrGU* [Proceedings of the Ural State University], 37, 16–27.

Novyj' e'tap v kraevedenii [New stage in regional study]. (1930). *Sovetskoe kraevedenie* [Soviet regional study], 1–2, 1–2.

Ot redakcii [From editor]. (1925). *Izvestia Central'nogo Byuro Kraevedeniya* [Proceedings of the central bureau of regional study], 1, 1–3.

Ot sostavitelej [From compilers]. (2013). In *Pravo na imya: Biografika XX veka. Chteniya pamyati Veniamina Ioffe: izbrannoe. 2003–2012* [The right for name: biography of the 20<sup>th</sup> century. Readings in memory of V. Ioffe: selected]. St. Petersburg: Norma.

Posadskov, A. L. (2003). *Sibirskaya sovetskaya e'nciklopediya: kratkaya istoriya (1926–1937)* [Siberian soviet encyclopedia: brief history (1926–1937)]. In *Sibirskaya sovetskaya e'nciklopediya: problemy' rekonstrukcii izdaniya* [Siberian soviet encyclopedia: the problems of renovation] (p. 4–15). Novosibirsk.

Prishvin, M. M. (2010). *Dnevniki. 1938–1939* [Diaries. 1938–1939]. St. Petersburg: Rostok.

Ryahovskaya, M. A. (2013). *Regional'ny'e e'nciklopedii Rossii: istoriya i sovremennyy'e tendencii razvitiya: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk* [Regional encyclopedias of Russia: history and modern development trends. Dissertation abstract: Historical Sciences]. Chelyabinsk.

Savvateev, Yu. A. (2009). N. N. Vinogradov. Chelovek dela (Kostroma – St. Petersburg – Solovki – Petrozavodsk) [N. N. Vinogradov. A man of action (Kostroma – St. Petersburg – Solovki – Petrozavodsk)]. *Vopr. istorii i kul'tury' severny'h stran i territorij* [Questions on history and culture of the Northern countries and territories], 3. Retrieved from: [www.hcpncr.com/journ709/journ709savvateev.html](http://www.hcpncr.com/journ709/journ709savvateev.html) (last accessed on 14.07.2014).

*Sibirskaya sovetskaya e'nciklopediya* [Siberian soviet encyclopedia] (4 Vols.). (1929–1992). Vol. 1: A–Zh / M. K. Azadovskij, A. A. Anson, M. M. Basov (Eds.) XXX p., 988 columns. Vol. 2: Z–K / M. K. Azadovskij, S. A. Aly'pov, A. A. Anson (Eds.) 1152 columns. Vol. 3: L–N / B. Z. Shumyaczkiy (Ch. ed.) (Moscow), A. A. Anson (Novosibirsk), M. M. Basov (Irkutsk) (Eds.) 804 columns. Vol. 4: Obdorsk – s"ezdy' / B. Z. Shumyaczkiy (Moscow) (Ch. ed.), A. A. Anson (Novosibirsk), M. M. Basov (Irkutsk) (Eds.); Introduction by E. Kasinec, R. H. Davis. XVIII p., 1106 columns. App. (1084–1106 columns): glossary. Vol. 5: T–Ya. [Novosibirsk]: Zap.-Sib. Otd-nie Ogiz; New York: Ross.

*Severokavkazskaya e'nciklopediya: prospekt* [North-Caucasian encyclopedia: booklet]. (1931). Rostov na Donu.

Sobolev, V. S. (2000). Akademiya Nauk i kraevedcheskoe dvizhenie [Academy of Sciences and regional studies movement]. *Vestnik RAN* [The news of the Russian Academy of Sciences]. (Vol. 70), 6, 535–541.

Sobolev, V. S. (2012). *Nesti svyashhennoe bremya proshedshego: Rossijskaya akademiya nauk: Nacional'noe kul'turnoe i nauchnoe nasledie. 1880–1930gg.* [To bear the burden of the sacred past: Russian Academy of Sciences: National cultural and scientific heritage. 1880–1930 yrs.]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya.

Sokolov Anatolij Sergeevich. (n. d.). Retrieved from: <http://www.opentextnn.ru/history/historiografy/historians/ros/nn/?id=784> (last accessed on 14.07.2014).

*Spravochnik po istorii Kommunisticheskoy partii i Sovetskogo Soyuza 1898–1991* [The reference-book on the history of Communist Party and the Soviet Union]. (n.d.). Retrieved from: <http://www.knowbysight.info/ZZZ/12209.asp> (last accessed on 14.07.2014).

Tagil'ceva, N. N. (1993). *Istorija kraevedcheskogo dvizheniya na Urale v 1920–1930-e gody': avtoref. dis. ... kand. ist. nauk* [The history of regional studies movement in the Urals in 1920–1930s. Dissertation abstract: Historical Sciences]. Moscow.

*Ural'skaya istoricheskaya e'nciklopediya* [Ural historical encyclopedia]. (2000). (2<sup>nd</sup> ed.). Ekaterinburg: Akademkniga; UrO RAN.

Vasil'kov, Ya. V., Sorokina, M. Yu. (2003). E'l'vov N. N. [Elvov N. N.]. In *Lyudi i sud'by'. Bibliograficheskij slovar' vostokovedov-zhertv politicheskogo terrora v sovetskij period (1917–1991)* [People and destinies. Bibliographical dictionary of orientalist-victims of political terror in the soviet period (1917–1991)]. St. Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie. Retrieved from: <http://www.memory.pvost.org/pages/elvov.html> (last accessed on 14.07.2014).

*The article was submitted on 03.06.2014*

**Елена Николаевна Ефремова,**  
к. ф. н.  
Россия, Екатеринбург  
Свердловская областная  
универсальная научная  
библиотека им. В. Г. Белинского  
[Efremova.eln@gmail.com](mailto:Efremova.eln@gmail.com)

**Elena Efremova, Dr.**  
Russia, Yekaterinburg  
Sverdlovsk Regional Universal  
Library named after V. G. Belinsky  
[Efremova.eln@gmail.com](mailto:Efremova.eln@gmail.com)

---

# СТРАННОСТИ РУССКОГО МИРА В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1Достоевский + 808.1 + 159.942

Наталья Купина

## СТРАННОЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ДОСТОЕВСКОГО: РОМАН «БЕСЫ»

### STRANGENESS IN DOSTOEVSKY'S POETICS: "DEMONS"

The author explores the boundaries of the "strange" in Dostoyevsky's artistic world, analyzing the adjective *strannyi* (strange) and its grammatical, semantic and derivational potential, thereby revealing such characteristic features of the writer's artistic world as anomaly, dynamic ambiguity, indefiniteness, mysteriousness, and irrationality. The author focuses on the role of *strannyi* as reflexive in the creation of a psychological portrait of characters, as well as for the depiction of attitudes and *demonian* techniques of ideological influence.

**К е у о р д с:** norm; anomaly; dynamic ambiguity; emotional and psychological tension; creative manner.

В статье с учетом грамматического, семантического, деривационного потенциала прилагательного *странный* выявляются грани странного в художественном мире Достоевского: аномальность, динамическая антитетичность, неопределенность, загадочность, иррациональность. Особо рассматривается роль рефлексива *странный* в создании психологического портрета персонажа, в изображении умонастроений и «бесовских» техник идеологического влияния.

**Ключевые слова:** норма; аномалия; динамическая антитетичность; эмоционально-психологическое напряжение; творческая манера.

В русском языке лексема *странный* имеет значение 'вызывающий недоумение, удивление своей необычностью' [СРЯ, т. 4, с. 281], 'необычный, непонятный' [ТСРЯ, с. 948]. Как следует из словарных толкований, *странное* – это воспринимаемый со стороны маркер аномалии, сдвига. Странное имеет внешнее (внешние) проявление. В словаре В. И. Даля [т. 4, с. 336] отмечено прилагательное *страннообразный* в значении 'видный, необычный по наружности, по образу'. Странное – это также 'нечто аномальное в поступках, во взглядах' [ТСУ, т. 4, с. 546]. При первичном восприятии странное фиксируется как нечто удивляющее, но не безусловно отрицательное или безусловно положительное. Оценка конкретизируется в процессе наблюдения, дешифровки того или иного сдвига, вызывающего недоумение.



Сочетаемость с существительными [УСС, с. 565–566] позволяет уточнить, какой именно объект характеризуется со стороны как *странный* (с.): лицо вообще (с. *человек*); лицо по половой принадлежности (с. *женщина*, с. *мужчина*); лицо по половой принадлежности и возрасту (с. *девушка*, с. *юноша*, с. *девочка*, с. *мальчик*); психические свойства человека (с. *характер*); внешний вид (с. *лицо*, с. *вид*); мимика (с. *улыбка*, с. *взгляд*); речевое и неречевое поведение (с. *речь*, с. *манеры*, с. *поступки*, с. *действия*); речевые жанры в их реализации (с. *ответ*, с. *вопрос*, с. *предложение*, с. *спор*); эмоциональные реакции (с. *чувство*, с. *впечатление*); процесс и/или результат интеллектуальной деятельности (с. *мысль*, с. *идея*); результат творчества (с. *рисунок*, с. *картина*, с. *книга*); межличностные контакты (с. *отношения*, с. *встреча*); предметы, которые покрывают тело (с. *одежда*, с. *наряд*); участки воспринимаемого органами чувств внешнего мира (с. *обстановка*, с. *шум*, с. *вкус*, с. *запах*).

Странное включается в упорядоченную человекозначащую сферу устойчивых представлений, маркирует внешнее и связанное с ним эмоционально-психологическое впечатление, которое вызвано отступлениями от привычного, должного.

«Произведения Достоевского, – отмечает М. М. Бахтин, – прежде всего поражают необычным разнообразием типов и разновидностей слова, причем эти типы и разновидности даны в своем наиболее резком выражении» [Бахтин, с. 236]. Резкость – примета творческой манеры Достоевского – проявляется на уровне креативного отбора и контекстной реализации общеязыковой лексики.

В тексте романа «Бесы» обращает на себя внимание слово-рефлексив *странный*. «Рефлексивно-пристрастная помеченность» [Вепрева, с. 117] объекта восприятия возникает в ситуации эмоционально-психологического напряжения, вызванного сдвигом по отношению к норме. Активизируются свойственные идиостилю Достоевского оппозиции «норма – аномалия», «определенность – неопределенность» [Караулов, с. 239, 240].

Рефлексив *странное* сопровождает размышление персонажа о собственных поступках в их проекции на «другого» («других»). Антитетичность, рождающая недоумение, выражена прямо в зоне внутренней речи героя (1) или в речи рассказчика (2). Например: «Одним словом, – думает Степан Трофимович, – *странно*, что я точно виноват перед ними, а я ничего не виноват перед ними» (1); «Мысль о ней (хромоножке) лежала на ее сердце камнем, кошмаром, мучила ее (Варвару Петровну) *странными* привидениями и гаданиями, и всё это совместно и одновременно с мечтаниями о дочерях графа» (2).

Вербализованное противопоставление объясняет странное как сложившуюся, регулярно наблюдаемую антинорму, выходящую за пределы рационального: «Есть дружбы *странные*: оба друга один другого съест хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут». Частные противопоставления конкретизируют общую

оппозицию «норма – аномалия» и демонстрируют ее неожиданную трансформацию: аномалия стала нормой.

Отмеченная трансформация, сама по себе странная, охватывает межличностные отношения, в которых один из коммуникантов самовольно присваивает себе коммуникативные права, не сочетающиеся с его социально-ролевым статусом, и при этом не осознает себя нарушителем установленного порядка. Коммуникативное верховенство используется в целях манипуляции: «Но тут подвернулся Петр Степанович, и стало происходить нечто *странное*. Дело в том, что молодой Верховенский с первого шагу обнаружил решительную непочтительность к Андрею Антоновичу (о губернаторе) и взял над ним какие-то *странные* права...».

В оппозиции «норма – аномалия» странное – это и вышедшая из современного употребления социально унаследованная норма, определяющая специфику групповой идентичности. Приверженность этой норме со стороны воспринимается как трудно объяснимое чрезмерное ортологическое упрямство: «Он (Арсений Павлович Таганов) принадлежал к тем *странным*, еще уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностию и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются».

Резкое выражение странного проявляется в самооценках героя, осознающего аномальность собственного характера, поступков, поведения. Так, Ставрогин, обращаясь к Маврикию Николаевичу, не без иронии замечает: «Вообще о чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу <...> Извините, такова уж *странность* организма. Но взамен этого я скажу вам всю остальную правду: я женат». «Странность организма» – очевидная «инаковость», которую можно использовать в целях создания эффекта неожиданности, которой можно играть, заведомо планируя реакцию окружающих. Странность, таким образом, используется как эффектная имиджевая маска.

Общее впечатление странного с позиции персонажа мотивируется выведением из автоматизма восприятия внешнего облика человека, его действий. За внешней аномалией скрывается тайна, вызывающая гамму эмоций: «Варвара Петровна приостановилась, и вдруг *странное*, необыкновенное существо (женщина с бумажной розой на голове) опустилось перед нею на колени».

Поскольку автоматизм восприятия нарушается неожиданно, в микротекстах со словами группы «странный» активно употребляется наречие *вдруг*: «Петр Степанович поднялся с земли, всмотрелся в физиономии присутствующих, тогда *вдруг* случилась одна *странность*, совершенно неожиданная и всех удивившая». Неопределенность не подавляется, а, напротив, усиливается внезапностью.

Сигналами эмоционально-психологического напряжения служат очевидные сдвиги в мимике (а в речевой ткани текста – сдвиги в лексической и грамматической сочетаемости). Неопределенные

местоимения указывают на «несчитываемость» интенсивной эмоции: «Николай Всеволодович <...> привстал *как-то* вдруг, с *каким-то* *странным* движением в лице» (синтагма *движение в лице* является аномальной).

Фатическое взаимодействие сопровождается пристальным изучением выражения лица коммуникативного партнера. Странное, в частности, обнаруживается в момент кажущегося противоречия между эмоциональным мимическим знаком капсуляции и вербальной инициативой: «Лицо у него (Шатова) было сердитое, и *странно* мне было, что он сам заговорил...».

Штрихи к психологическому портрету персонажа – вызывающие удивление взгляд и улыбка. Атрибутивные конкретизаторы позволяют уточнить, что именно кажется *странным*: «Петр Степанович поглядел на него (Ставрогина) *странно*, *длинною* улыбкой»; «Он (Петр Степанович) посмотрел на меня *странным* взглядом – испуганным и в то же время как бы желающим испугать»; «Лицо ее (Лебядкиной) перекосилось какою-то *странною* улыбкою, подозрительной, неприятной»; «Только она (Юлия Михайловна) вошла, все обратились к ней со *странными* взглядами, преисполненными ожидания». Аномальные синтагмы (*длинная улыбка, взгляд, желающий испугать, лицо перекосилось улыбкой*) поддерживают семантическую долю «вызывающее недоумение, удивление своей необычностью (омимике)». Во всех случаях мимика, неукладывающаяся в сложившиеся стереотипы фактического взаимодействия, способствует созданию эмоционально-психологического напряжения.

Впечатление о *странном* формируется на основе слухов, приписывающих определенному лицу сверхвозможности. Осознает *странность* коллективного мифотворчества, связанного с собственным предназначением, Ставрогин: «Я замечу как *странность*... почему это все навязывают мне какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы “поднять у них знамя” <...> мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина “по необыкновенной способности к преступлению...”»

Слухам верят. Они становятся не подлежащей сомнению расхожей истиной и присваиваются как личное мнение. В этом *странность* самих слухов: «*Странно* одно: Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала, что Nicolas действительно «выбрал» у графа К., но, и что *страннее* всего, уверовала *по слухам*, пришедшим к ней, как и ко всем, как по ветру...».

Странные слухи нередко расплывчаты, они наполняются коннотацией тайны и прямо характеризуются как *неопределенные*: «Причины начинающегося разрыва (с Прасковьей Ивановной) были еще для Варвары Петровны *таинственны* <...> между тем и до нее уже стали доходить некоторые *странные слухи*, тоже чрезмерно ее раздражавшие именно своей *неопределенностью* <...> Прежде всего она не могла выносить *тайных обвинений*».

Неопределенность в личных суждениях о «другом» сопровождается гиперболизацией, наведенной слухами, а личное суждение является лишь эхом распространяемых слухов. Например, Лиза говорит о Шатове: «Я сама слышала, что он какой-то *странный*, удивительно *странный* человек».

Странность слухов, загадочных расхожих утверждений акцентируют неопределенно-личные высказывания: «Были... разговоры... чрезвычайно *странные* <...> *говорили*, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело <...> снабжен от кого-то какими-то поручениями». Странность слухов – в подмене главного второстепенным. Последнее усиливает их неопределенность: «К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича и, *странно*, о нем менее всего *говорили*».

Рефлексив *странное* маркирует отклонение от сложившихся индивидуальных правил поведения, привычек, норм. Подобное отклонение кажется необъяснимым и поэтому опасным: «Всего более поражало Юлию Михайловну, что он (Андрей Антонович) с каждым днем становился молчаливее и, *странное дело*, скрытнее». Очевидно, что Андрею Антоновичу были свойственны словоохотливость и эмоциональная раскрепощенность, открытость. Произшедшая резкая перемена, свидетельствующая о трансформации нормального в аномальное, воспринимается женой как нечто чрезвычайно странное и необъяснимое (она не просто удивлена, но поражена). Ср.: «Юлия Михайловна... стала замечать в своем супруге то *странное* уныние, которое не прекращалось у него...» Резкое выражение странного проявляется в бесовских кознях: смертный грех уныния лишает Лямбке духовных сил.

Догадка о причинах, объясняющих изменения в характере персонажа и его мировоззрении, связывается с испытаниями, которые, возможно, выпали в прошлом на долю героя. Неопределенность усиливает загадочность как грань странного при характеристике сдвига в настроении ума: «Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастья и перевороты. Вот это могло повлиять на настроенные ума его <...> могло быть нечто *странное*, особенное, некоторый оборот мыслей, склонность к некоторому особому воззрению». Неопределенность (*некоторые* несчастья и перевороты, *нечто* странное, *некоторый* оборот мыслей, *некоторые* особые воззрения) мотивирует неослабевающее эмоционально-психологическое напряжение, удерживающее положение героя в ядре поля субъектов: в центре общественного внимания оказывается человек-загадка, на долю которого якобы выпали тяжкие испытания. Тайна окутывает также необъяснимое со стороны сиюминутное эмоциональное переживание, которое обнаруживает себя в невербальном поведении героя: «Но, должно быть, что-то *странное* произошло с гостем (о Ставрогине): он продолжал стоять на том же месте у дверей, неподвижно и упорно всматривался в ее (Лебядкиной) лицо».

Странное в образе мыслей мотивируется, в частности, идеологическим влиянием литературного произведения, ставшего, к несчастью, для думающих людей учебником жизни: «На столе лежала открытая книга. Это был роман “Что делать?” Увы, я должен признаться в одном *странном* малодушии нашего друга: мечта о том, чтобы выйти из уединения и задать последнюю битву, всё более и более одерживала верх в его соблазненном воображении».

Высшую степень экспрессии передают высказывания, включающие рефлексив *странный*, с помощью которого маркируется впечатление психической невменяемости. В этих случаях особенно ярко ощущается резкость слова Достоевского: «Несколько *странно* и болезненно у него (Степана Трофимовича) всё выходило, да ведь и был же он болен. Это было внезапное напряжение умственных сил, которое, конечно... должно было отозваться... чрезвычайным упадком сил в его уже расстроенном организме...». Сильные контекстные партнеры объединены семантическим стержнем ‘болезнь’: *болезненно, болен, расстроенный организм*. Обостряют оппозицию «норма – аномалия» гиперболические сочетания *внезапное напряжение, чрезвычайный упадок сил*.

Психическая невменяемость конкретизируется утверждениями о невероятном: о не поддающихся описанию поступках, действиях, мыслях. Невероятное, в свою очередь, гиперболизируется: «Сомнения не было, что он (Лямбке) сошел с ума, по крайней мере, обнаружилось, что в последнее время он замечен был в самых невозможных *странностях*».

Представления о странных аномалиях складываются и в сознании лиц с бесспорно сдвинутой психикой. Так, несчастная Лебядкина, обращаясь к Ставрогину, недоуменно произносит: «*Странно мне всё это... вы-то зачем в этом самом виде приснились?*»

Таким образом, странное – следствие внезапной или врожденной душевной болезни – «помечается» со стороны, фиксируется людьми, не сомневающимися в собственном душевном здоровье; в то же время странное «помечается» со стороны слабоумным и в целом является относительно достоверным впечатлением. Безусловно объективные показатели нормального и аномального во внешнем облике, «настроениях ума», поступках человека отсутствуют, поэтому странное мыслится Достоевским как субъективное эмоциональное впечатление.

В силу эффекта эмоционального заражения странное, не утрачивая расплывчатости и неопределенности, приобретает самостоятельную способность к всеохватности, проникает во все уголки России, утоляет жажду новизны, поддерживает возбужденное состояние духа, стремление освободиться от навязанных норм, от раз и навсегда заведенного порядка. Странное хаотически овладевает умами, вселяя уверенность в возможности невозможного, допустимости вседозволенного: «Тогда было *время особенное*, наступило что-то новое,

очень уж непохожее на прежнюю тишину и что-то *очень уж странное*, но везде ощущаемое, даже в Скворечниках»; «*Странное* было тогда *настроение умов* <...> Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайных развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое <...> В моде был некоторый *беспорядок умов*».

В ситуации социального напряжения, которое нагнетается странным настроением умов, происходят разрушительные события, не находящие рационального объяснения ни в текущем настоящем, ни в ближайшем реальном будущем. Странные события нарушают размеренный порядок жизни и влекут за собой роковые последствия. В коллективном и личном воображении разрушительное происходящее соотносится с конкретным загадочным лицом (1) или же не соотносится с определенными субъектами-действителями; само странное предстает как неуправляемая стихия (2): «Совершенно неожиданной приезд *Николая Всеволодовича* <...> был *странен* не одною своею неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с *настоящею минутой*» (1); «но что же это за *странный* был там *пожар*... и какие убитые?» (2)

Странный пожар символизирует грядущее бессмысленное уничтожение того, что создавалось веками, прогнозирует предназначенный судьбой поворот к всеобщему хаосу (как показало время, – к революции, повлекшей за собой невиданные человеческие жертвы). Вытеснение рационального иррациональным, нормального аномальным приводит к фаталистическому обобщению: «В нашей *странной России* можно делать всё, что угодно».

В романе «Бесы» слово-рефлексив *странный* служит для создания «неуловимого образа» [Померанц, с. 157], изображения импульсивного психотипа. Герои «Бесов» – странные люди, действующие под влиянием интенсивных эмоциональных толчков. По мере развертывания повествования образ странного укрупняется: странный внешний облик, странные поступки, странное настроение умов, странное время, странные события, странная Россия, стоящая на пороге не подлежащих рациональному объяснению роковых перемен. Авторская установка на «эстетически значимое творчество» не ограничивается «рамками одного только слова» [Григорьев, с. 77–78] – креатемы *странный*. Достоевский широко использует общезыковые дериваты и их синтаксический потенциал, а также потенциальную форму степени сравнения (*страннее*). Креативная игра странным проявляется в изображении манипулятивных («бесовских») индивидуально-речевых, поведенческих, идеологических техник адресного влияния.

Грани странного (аномальность, неопределенность, загадочность, непонятность, динамическая антитетичность, иррациональность) открывают возможность свободного столкновения, соединения понятий и соответствующих номинаций. Эмоционально-эстетическая функция креатемы *странный* в составе художественного целого

реализуется как «внутреннее расширение естественного языка» [Золян, с. 432], обеспечивающее неограниченную свободу художественного мышления, точность социально-психологической диагностики и философских обобщений.

- 
- Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М. : Сов. Россия, 1979. 318 с.  
 Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. 380 с.  
 Григорьев В. П. Поэтика слова. М. : Наука, 1979. 343 с.  
 Даль – Даль В. И. Словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Прогресс, 1973. Т. IV. 852 с.  
 Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. : в 10 т. Т. 7. М. : Гос. изд-во худ. лит., 1957. 758 с.  
 Золян С. Т. О стиле лингвистической теории: Роман Якобсон и Виктор Виноградов о поэтической функции языка // Поэтика и эстетика слова : сб. науч. ст. памяти Виктора Павловича Григорьева. М. : ЛЕНАНД, 2010. С. 424–432.  
 Караулов Ю. Н. Русская речь, русская идея и идиостиль Достоевского // Язык как творчество : сб. ст. к 70-летию В. П. Григорьева. М. : ИРЯ РАН, 1996. С. 237–249.  
 Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М. : Сов. писатель, 1990. 384 с.  
 СРЯ – Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М. : Русский язык, 1981–1984. Т. 4. 794 с.  
 ТСРЯ – Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М. : Азбуковник, 2008. 1175 с.  
 ТСУ – Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М. : Изд-во иностр. и нац. словарей, 1940. Т. 4. 1499 с.  
 УСС – Учебный словарь сочетаемости русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. М. : Рус. яз., 1978. 688 с.

- 
- Bahtin, M. (1979). *Problemy' poe'tiki Dostoevskogo* [The problems of Dostoevsky's poetics]. Moscow: Sov. Rossiya.  
 Dal', V. I. (1973). *Slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka* [Dictionary of Russian Language] (in 4 vols.). (Vol. 4). Moscow: Progress.  
 Denisov, P. N. & Morkovkin, V. V. (Eds.). (1978). *Uchebny'j slovar' sochetaemosti russkogo yazy'ka* [Learner's dictionary of collocations of Russian language]. Moscow: Russkij yazy'k.  
 Dostoevskij, F. M. (1957). *Besy'* [The Possessed]. Complete works by Dostoevsky: in 10 vols. (Vol. 7). Moscow: Gos. izd-vo hud. lit.  
 Evgenjeva, A. P. (Ed.). (1981–1984). *Slovar' russkogo yazy'ka* [Dictionary of Russian Language] (in 4 vols.). (Vol. 4). Moscow: Russkij yazy'k.  
 Grigor'ev, V. P. (1979). *Poe'tika slova* [Poetics of a word]. Moscow: Nauka.  
 Karaulov, Yu. N. (1996). *Russkaya rech', russkaya ideya i idiosstil' Dostoevskogo* [Russian style of speaking, Russian idea and idiostyle of Dostoevsky]. In *Yazy'k i tvorcestvo: sb. st. k 70-letiyu V. P. Grigor'eva* [Language and works: collection of articles to the 70<sup>th</sup> anniversary of the birth of V. P. Grigorjev] (p. 237–249). Moscow: IRYa RAN.  
 Pomerancz, G. (1990). *Otkry'tost' bezdne. Vstrechi s Dostoevskim* [Openness to an abyss. Meetings with Dostoevsky]. Moscow: Sov. pisatel'.  
 Shvedova, N. Yu. (Ch. Ed.). (2008). *Tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka s vklucheniem svedenij o proishozhdenii slov* [Explanatory dictionary of Russian language with inclusion of data on the language origin]. Moscow: Azbukovnik.  
 Ushakov, D. N. (Ed.). (1940). *Tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka* [Explanatory dictionary of Russian language] (in 4 vols.). (Vol. 4). Moscow: Izd-vo inostr. i nacz. slovar'ej.  
 Vepрева, I. T. (2002). *Yazy'kovaya refleksiya v postsovet'skuyu e'pohu* [Linguistic reflexion in the post-Soviet epoch]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Zolyan, S. T. (2010). O stile lingvisticheskoj teorii: Roman Jakobson i Viktor Vinogradov o poe'ticheskoj funkcii yazy'ka [About linguistic theory: Roman Jakobson and Viktor Vinogradov on poetic function of a language]. In *Poe'tika i e'stetyka slova: sb. nauchn. st. pamyati Viktora Pavlovicha Grigor'eva* [Poetics and aesthetics of a word: collection of scientific articles in memory of Viktor Pavlovich Grigorjev] (p. 424–432). Moscow: LENAND.

*The article was submitted on 03.04.2014*

**Наталья Александровна Купина**  
профессор  
Россия, Екатеринбург  
Уральский федеральный  
университет  
natalia\_kupina@mail.ru

**Natalia Kupina**  
Professor  
Russia, Yekaterinburg  
Ural Federal University  
natalia\_kupina@mail.ru



**ПЛАТОНОВ И РЕШЕТНИКОВ\***

**PLATONOV AND RESHETNIKOV**

Considering wide socio-cultural and literary contexts and referring to biographical data, the article studies the literary life of Fyodor Reshetnikov (1841–1874). The author maintains that the interpretation of Reshetnikov's prose is to a considerable extent stereotypical, especially in relation to his work as a narodnik (a populist) and naturalist of the 1860s–1880s, demonstrating that he was a sharp social critic but a second-rate writer. Referencing Reshetnikov's artistic world, his way of thinking, and the speech patterns in his texts, the author draws a connection between his prose and the prose of Andrey Platonov, concluding that a similarity exists between the two writers' literary styles. Additionally, the author argues that it is possible to analyze the creative work of the two writers through the prism of modernist aesthetics.

**Key words:** Fyodor Reshetnikov; Andrey Platonov; style; Russian literature; modernist aesthetics.

В широком социокультурном и литературном контексте, с привлечением биографических данных, рассматривается литературная судьба Федора Решетникова (1841–1874). Доказывается ограниченность стереотипной трактовки прозы Решетникова как одного из народников и натуралистов 1860–1880-х гг., острого социального критика, но «второстепенного» писателя. На основе анализа особенности художественного мира, типа мышления, речевого строя текстов Решетникова устанавливается «родственное сходство» с прозой Андрея Платонова, схожесть литературных типов обоих писателей. Доказывается возможность интерпретации их творчества с позиций эстетики модернизма.

**Ключевые слова:** Федор Решетников; Андрей Платонов; стиль; русская литература; эстетика модернизма.

Федор Михайлович Решетников (1841–1871) так же, как Николай Помяловский, Василий Слепцов и Николай Успенский (двоюродный брат более известного автора натуралистических очерков), принадлежал к кругу второстепенных авторов журнала «Современник».

---

\* Английский вариант статьи впервые опубликован в "Ulbandus Review" [Gasparov].

Присутствие этих писателей на русской литературной сцене 1860-х гг. не затмили такие значительные фигуры, как Некрасов, Толстой и Тургенев, также связанные с деятельностью этого издания. Однажды Тургенев провокационно заметил, что Толстой, «когда не философствует», и Решетников были единственными современными авторами, которых «можно было читать» [см.: Тургенев, 19646, с. 285].

Ранние годы жизни Решетникова были трудными, хотя и не настолько, как представляется после чтения некоторых его дневниковых записей. Он учился и воровал письма с почты, пользуясь служебным положением дяди. Давал их читать учителям. Ему было 14 лет, когда он утащил письмо с царским манифестом и выбросил его, испугавшись, в выгребную яму. После чрезвычайно долгого и унижительного разбирательства местом наказания Решетникову был назначен монастырь. Последствия полученного жизненного опыта оказались неоднозначны. С одной стороны, религиозность Решетникова, внезапные вспышки которой находили отражение в его дневниках в кризисные моменты, по-видимому, корнями уходит в этот период; во время своего пребывания в монастыре он даже подумывал стать монахом. С другой – для него неожиданными оказались цинизм и разврат, свидетелем которых он стал и в которые, проходя послушание, оказался вовлеченным. Именно с месяцев, проведенных в монастыре, у будущего писателя начались проблемы с алкоголем, с которыми он так и не сумел справиться до конца своих дней. Решетников в своих произведениях описывает трудности, с которыми сталкивается человек, с потрясающей духовной интенсивностью, и это отличало его от других сторонников народнической литературы, чьи социальная критика и сочувствие угнетенным были более светски и граждански приземленными. В то же время его тексты передают ощутимую антипатию (недоброжелательство) между церковью как институтом и бытовой религиозностью.

Свои ранние годы Решетников провел на Урале: сначала в Перми, затем в Екатеринбурге – многие темы своих произведений он получил оттуда. Его типичные персонажи – люди со смешанным «региональным» статусом, неуместные, плывущие по течению, зажатые между распадающейся сельской жизнью и враждебной городской средой: крестьяне, ставшие сезонными рабочими, работниками фабрик, мелкими ремесленниками, служащими, единственная цель которых, часто недостижимая, – выжить и дальше влачить свое существование. Большинство народников того времени беспокоились о судьбах крестьянства; тот факт, что Решетников сфокусировался на изображении именно городских обитателей, принципиально отличает его от них и в то же время сближает с Андреем Платоновым. Многие платоновские персонажи проживают на «ветхих опушках русских городов»<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Роман «Чевенгур» начинается словами: «Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы» [см.: Платонов, 2009, с. 11].

они затеряны между ячейками, предусмотренными социальным устройством, изо всех сил борются за выживание, обременены духовными страданиями, которые усугубляются их тяжелым материальным положением. Они выглядят в точности, как герои Решетникова, только живут на полвека позже.

Когда ему исполнилось двадцать лет, Решетников поднялся до служащего низшего ранга: он преподавал в начальной школе, затем стал мелким чиновником. В 1863 г. Решетников перебрался в Петербург, где нашел низкооплачиваемую канцелярскую работу. В это время он написал огромное количество произведений разных жанров: преимущественно это была поэзия, но он пробовал себя и в драматических, и в прозаических формах. Реакция тех, кто соглашался взглянуть на его тексты, была безоговорочно отрицательной; позже практически все эти ранние труды были потеряны или уничтожены. В дневнике накануне своего двадцатилетия Решетников оставляет характерную печальную запись о том, что он входит в «третью декаду жизни» без того, что можно было бы считать достижением [цит. по: Успенский, с. 4].

Первый литературный успех, оказавшийся самым крупным, случился через год после переезда в столицу, когда в журнале Н. А. Некрасова «Современник» опубликовали повесть «Поддиповцы», изначально оформленную в виде связанных друг с другом очерков. Позже Решетников стал постоянным сотрудником редакции «Современника», а также еще одного передового журнала того времени – «Русское слово», что позволило ему оставить службу и начать обеспечивать себя с помощью литературного творчества. Выживать в столице ему было очень сложно, особенно после того, как оба журнала были запрещены в 1866 г. после первого покушения на императора Александра Второго. Закрытие «Современника» прервало публикацию первого романа Решетникова «Горнорабочие», первая часть которого вышла в том же году. Еще одна неудача постигла его роман «Глумовы»: после того, как первая часть была опубликована в журнале «Дело» (1866), потребовалось десять лет, чтобы вторая часть увидела свет (уже после смерти автора); неопубликованная часть рукописи была безвозвратно утеряна.

Лишенные средств к существованию, Решетников с женой переехали в Брест, где писатель чувствовал себя оторванным от петербургской литературной среды, чья поддержка, даже условная, имела решающее значение для его интеллектуального и физического выживания. Его дневники, чрезвычайно длинные и никогда полностью не публиковавшиеся<sup>2</sup>, отчетливо показывают уязвленное самолюбие человека, страдающего от снисходительности, с которой к нему относятся важные персоны литературного мира Петербурга. Несмотря на все разочарования, усиленные чрезвычайной чувствительностью

---

<sup>2</sup> Часть автобиографических записей Решетникова была опубликована под названием «Воспоминания детства» в журнале «Русское слово» в 1864 г. Отдельные выдержки из его дневников также появлялись в шестом томе собрания сочинений [см.: Решетников, 1932].

Решетникова к темной стороне жизни, его поздние годы нельзя назвать непродуктивными и безуспешными. Его роман «Где лучше?» в 1868 г. опубликовали «Отечественные записки» – главный вестник либеральной социальной критики после закрытия «Современника»; роман «Свой хлеб» вышел отдельной книгой в 1870 г.; в 1869 г. в Петербурге издают двухтомное собрание сочинений Решетникова, не говоря уже о небольших произведениях, которые он публиковал в периодических изданиях в течение этого времени.

В конце концов, Решетников вернулся в Петербург, где широко распространилось представление, что жизненные обстоятельства писателя были почти столь же отчаянные, как у его героев. Хотя такое мнение сложилось во многом благодаря художественной силе рассказов Решетникова, его жизнь была действительно неупорядоченной из-за глубокого алкоголизма, усугубленного быстро прогрессирующей болезнью легких. Умер он в 1871 г., в возрасте 29 лет.

После смерти Решетникова его литературное наследие продолжало привлекать внимание, значительное по крайней мере в количественном выражении. В 1874 г. крупный издательский дом выпустил двухтомное собрание сочинений автора, предваренное эмоциональным описанием жизни писателя самым видным практиком жанра натуралистического очерка Глебом Успенским [см.: Сочинения Ф. М. Решетникова]. Затем, в 1890 г. (переиздано в 1896 г.) и в 1904 г. вышли, несколько отличаясь друг от друга по содержанию, еще два собрания сочинений<sup>3</sup>. Самое известное произведение Решетникова, «Подлиповцы», неоднократно публиковалось отдельными изданиями. Внимание к его творчеству не спадало и в советское время, когда писателя представляли одним из первых борцов за интересы «рабочего класса». Решетников не был лишен внимания критики ни во времена народничества (1870–1880-е гг.), ни в раннюю советскую эпоху.

Однако все это мало изменило положение Решетникова, оказавшегося на периферии литературного канона и культурной памяти. По большому счету, Решетников обязан своей литературной судьбой, какой бы она ни была, репутацией чрезвычайно острого социального критика, чьи ламентации и протест основывались на собственном жизненном опыте. Особенности письма и личности / биографии обеспечили ему место среди народников и натуралистов 1860–1880-х гг. – группы литераторов, уважаемой за ее приверженность «истине» социальной критики, но второстепенной, если говорить о собственно литературной ценности. В результате, восприятие произведений Решетникова неотделимо от принципа, который Николай Шелгунов (ведущий критик «Русского слова» и «Дела») называл «народным реализмом». Отличительными чертами данного течения являлись прозаический квазидокументальный дискурс, лишенный какого-либо «фикционального» приукрашивания, и нарратив, фрагментарный

<sup>3</sup> Первое было опубликовано Ф. Павленковым, второе – П. Луковниковым – оба в Петербурге.

и избыточный одновременно, неопределенность сюжета и причинно-следственных связей в котором была призвана имитировать течение повседневного существования. Именно определение произведений Решетникова через эстетику натурализма и политического радикализма середины XIX в. оставило литературное наследие автора на задворках культурной памяти и до сих пор препятствует его переоценке, несмотря на то, что конвенции «хорошей» литературы претерпели существенные изменения.

Даже на пике успеха Решетникова часто критиковали за «шероховатость» текста и включение в повествование избыточных элементов – за качества, которые через 50–60 лет могли бы получить более благосклонные отклики. В крайне сочувственном очерке, написанном на смерть Решетникова, Глеб Успенский неоднократно приносит извинения за все недостатки, которые читатель может найти в произведениях Решетникова, указывая на тяжелые жизненные обстоятельства и скромное / низкое происхождение усопшего. Часто произведения Решетникова публиковались только после того, как литературные «мастера», вроде Некрасова или Салтыкова-Щедрина, вносили в них существенные коррективы. Объясняясь с редакторами, Решетников в характерной для него манере смещения покорности и неповиновения объяснял свои промахи тем, что некоторые пассажи были написаны в состоянии алкогольного опьянения. Однако, в целом, сложно говорить, что правка текстов Решетникова, которую проводили его благонамеренные литературные надзиратели, была так уж необходима, а не обуславливалась стойкой убежденностью в том, что все авторы-самоучки «из народа» не обладают идеальным чувством стиля и нуждаются в обязательной редакции.

В отличие от стиля другого Федора Михайловича, чьи заведомо «шероховатый» язык и порой импульсивное и хаотичное повествование проистекали от страстного потока авторского голоса, стиль Решетникова был одновременно резким и рассеянным, как бы стремившимся соответствовать мрачной бедности этого мира, старавшимся передать ее. Время высокой оценки потенциала подобного литературного аскетизма, вероятно, слишком сильно напоминающего об аскетизме чудовищной нищеты, тогда еще не пришло. Низкий уровень «литературности» произведений Решетникова вкупе с образом писателя-самоучки обеспечили ему место среди стереотипных, если использовать анахронический термин, «пролетарских писателей».

Самоуничижительный отзыв Решетникова о своей работе в одном из дневников – «я пишу плохо, мысль моя необработана» – неоднократно цитировался критиками, которые понимали его буквально как признание недостатков, нехватки умений, хотя изначально автор писал это о своих первых опытах, а не обо всем творчестве в целом<sup>4</sup>. Сейчас кажется очевидным, что такая оценка может быть воспринята и как выражение неповиновения регламентированной литературе –

<sup>4</sup> Успенский дважды приводит эту цитату [см.: Успенский, с. 33].

это не беспрецедентный случай в истории литературы, особенно характерный для более поздней модернистской традиции<sup>5</sup>. Прочное соотнесение Решетникова с определенной литературной группой могло служить препятствием для позднейшей переоценки его творчества.

Наиболее проблематичным находение Решетникова в группе уважаемых, но второстепенных членов литературного пространства, делает особенность его манеры письма, которую, опираясь на определение М. Риффатера, можно назвать «аграмматизмом», применив данный термин, первоначально означающий особый тип афазии, к литературному дискурсу [Riffatere, p. 4]. Этот феномен может быть описан как, казалось бы, немотивированный разрыв в речи, какая-то «необязательность» (то, что есть, но это сложно объяснить), неуклюжесть. Спотыкаясь на таких моментах, читатель может интерпретировать их или как признаки эстетической недостаточности, или как знаки чего-то трансцендентального, намекающие на его существование через разрушение привычной внешней оболочки. То, как автор воспринимается читателем, может играть решающую роль в выборе той или иной интерпретации. То, что Шкловскому в стихотворениях Мандельштама казалось прослойкой «заумной» неуместности «на грани смешного»<sup>6</sup>, современный читатель воспримет как интертекстуальные отголоски «мировой культуры».

В произведениях Решетникова изображения человеческих страданий и отчаяния – любимый предмет прогрессивного литературного лагеря и отзывчивой публики – принимали совершенно катастрофические, даже апокалипсические масштабы. Они переходили границы эмпирического правдоподобия, проверяя готовность читателя принять их за «чистую правду» даже при условии допущения некоторой намеренной гиперболизации. Правда, некоторые особо проницательные читатели (особенно Тургенев) не преминули заметить своеобразную напряженность реализма Решетникова, но даже для них она было показателем того, что он дошел до последнего рубежа в погоне за натуралистической достоверностью. Оценка Тургеновым Решетникова колеблется от осуждения его и других натуралистов за отсутствие художественного воображения<sup>7</sup> до признания того, что отличает его от современников: «Правда дальше идти не может. Черт

<sup>5</sup> Схожую, хотя более масштабную, ситуацию можно обнаружить в том, как Римский-Корсаков тщательно откорректировал «неточности» в сочинениях Мусоргского: некоторые из них были техническими промахами, но другие, как это видно последующим поколениям, формировали язык модернизма в музыке. Это помогло в последующем переоценить уникальность значения Мусоргского для современного состояния музыки.

<sup>6</sup> Шкловский писал: «...кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного: «Возьми на радость из моих ладоней / Немного солнца и немного меда, / Как нам велели пчелы Персефоны» [Шкловский, с. 240].

<sup>7</sup> «Способности нельзя отрицать во всех этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских и т. д. – но где же вымысел, сила, воображение, выдумка где? Они ничего выдумать не могут – и, пожалуй, даже радуются тому: эдак мы [далее зачеркнуто: думают], полагают они, ближе к правде» [Тургенев, 1964а, с. 26]

знает, что такое! Без шуток – очень замечательный талант»<sup>8</sup>. Амбивалентную оценку Тургенева подхватили и современные писатели; один из наиболее благосклонных читателей Решетникова, Сергей Залыгин, заметил: «Прочесть этот (так и не оконченный) роман [*Свой хлеб*] в силу чисто литературных его недостатков – дело довольно трудное, однако же, прочитав, вы не забудете его уже никогда» [Залыгин, с. 6].

Краткий момент сближения Решетникова с литературным авангардом случился в 1920-е гг., когда его чествовали как первого «пролетарского писателя» («пролетарским писателем начального часа» витиевато назвали его в журнале «Красная Новь» [см.: Дивильковский]) и провозвестника «литературы факта», продвигаемой группировкой ЛЕФ. Николай Чужак, один из основателей данного направления, в своей программной статье «Тургенев или Решетников» восхищался «жутко-бесхитростными записями Решетникова», чья «бесформенность» подрывала каноны «тургеновского реализма» с его выстроенным сюжетом и стилистическим изяществом [Чужак, с. 37]<sup>9</sup>. Для Чужака Решетников и его «выдающиеся» «Подлиповцы» заняли особое положение «самого характерного образца разночинской линии в литературе»; под таким углом зрения Решетников представляется точным двойником Тургенева, являвшегося образцовым представителем «литературы дворянской»<sup>10</sup>. Чужак возносит Решетникова до уровня нового (послереволюционного) эстетического канона, утверждая принадлежность Решетникова к общности литераторов-«семинаристов»: характерная для них «литература правды» с ее лишенной украшательства приземленной литературной формой и невыраженной авторской индивидуальностью интерпретируется как противопоставленная (вымышленной) литературе «правдоподобия». Чужак с похвалой отметил то, что в более широкой перспективе воспринималось как доказательство второстепенности автора в литературном пространстве: Решетников для него – своего рода ранний образец рабочего-корреспондента, и характерное для такого типа авторов отсутствие литературности в традиционном понимании делает его предвестником революционного авангардного народничества.

После того, как устремления ЛЕФа рухнули под возвращением к традиционным литературным формам (согласно канонической установке соцреализма), Решетникова вернули на исходное место среди прочих авторов очерковой «прикладной литературы», находящихся в тени великих писателей-романистов. Обычно именно так его воспринимают и сейчас, хотя, разумеется, встречаются и другие мнения.

---

<sup>8</sup> Это суждение появляется в ранее упоминавшемся письме к А. А. Фету [см.: Тургенев, 1964б, с. 285].

<sup>9</sup> Я благодарен Девину Фору за указание на высказывания Чужака о Решетникова в его эстетике фактографии.

<sup>10</sup> «Самым характерным представителем разночинской линии был Решетников, написавший замечательную вещь “Подлиповцы”, и до сих пор еще как следует критически не вскрытую» [Чужак, с. 34].

Если взглянуть на прозу Решетникова вне стереотипных рамок, в которые ее часто помещают, можно заметить, что типичная «репортерская» сухость изложения подчеркивает всеобъемлющее чувство экзистенциального ужаса и скорби, интенсивность которых выходит далеко за пределы журналистской социальной критики. Именно подчеркнутая духовная напряженность превращает эти рассказы в настоящую фантазмагорию. Более того, это происходит почти незаметно, без выраженного повествовательного тона, даже в моменты отказа от прозаической и фактографической простоты. Такое сочетание, с одной стороны, полного отсутствия нарочитости авторского голоса (словно его носитель чувствовал себя слишком изможденным или измученным для созидания какого бы то ни было драматического эффекта), и транслируемого (в бесстрастной монотонной форме) эсхатологического ужаса – с другой, делает «аграмматизм» письма Решетникова впечатляющим. Оно кажется очень простым и полностью лишенным художественности, даже отчасти странным, словно несфокусированным и смещенным.

Очерк Успенского представляет собой любопытный пример слепоты критика в отношении сущности нарративного присутствия Решетникова. Представление Успенского о жизни Решетникова преимущественно основывается на поздних дневниках писателя, которые автор очерка, сам являвшийся мастером документально-художественной прозы, активно цитирует в качестве документальных свидетельств жизни покойного. Успенский старается игнорировать или, наоборот, объясняет те дневниковые записи, которые противоречат его собственным представлениям. В записях Решетникова описания бытовых мелочей юношеской жизни плавно перетекают в жалобы на мировую скорбь и греховность. Упреки героя относятся к его настоятелям в монастыре, их жестокой внутренней вражде, бранящимся товарищам и др. – все это превращается в повествование, подобное приведенному ниже, и вызывающее в памяти Страсти Христовы:

Опять тетка ругает меня, и Бог знает, за что она меня ненавидит, насаживает дяде то и се, и тот ей верит, ругает и проклиняет... Боже спаси меня ныне и даждь терпение мне во дни скорби моя, да не погибнет душа моя до конца; спаси мя и тетку, и обидящих мя спаси и помилуй... якоже помиловал праотец наших Адама и Евву [Успенский, с. 17].

Успенский не усмотрел в этих душевных излияниях ничего, кроме следов трехмесячного пребывания в монастыре, оказавших «дурное влияние» на сознание юного Решетникова и его развитие [Там же, с. 15]. А в поздних дневниковых записях писателя Успенский, напротив, видит полный отказ от наивного выражения религиозности и переход к «реализму»: «...В записках его нет уже рассуждений о непостижимом, а напротив, идут живые очерки лиц, с которыми ему



теперь пришлось жить одному» [Успенский, с. 19]. Но в этом утверждении упускается из виду, что «непостижимость» никогда полностью не исчезала из текстов Решетникова. Ранняя наивная высокопарность уступила место более сложному сочетанию дескриптивного и трансцендентного, а «живые зарисовки» могли в любой момент перейти границу эмпирического правдоподобия.

Приведем только один пример: в брестских записях Решетников рассказывает о возлиянии, в котором принимали участие он и несколько его знакомых. Повествование, начавшееся с натуралистического описания бессмысленной перебранки, усугубляемой неуместным поведением участников, в конечном счете превращается в описание вакханалии, которая по степени варварского ужаса имеет больше общего с полотнами Иеронима Босха (или некоторыми ситуациями в произведениях А. Платонова), чем с дотошными народническими зарисовками. Неуместное и странное поведение участников, обусловленное их опьянением, развивается параллельно все более и более неуместному поведению самого рассказчика:

Явился Маслов в комнатах; зарезал Машу, и я, чтобы защититься, пошел в кухню за ножом. Там вся прислуга надо мной смеялась, и я заподозрил и ее в соучастии – и лежал на печке с сковородой в руках <...> Пришел Сытин с лекарством. Мне показалось, что он хочет вырезать у меня печень, и я приготовился с твердостью. Тут я слышал, что в комнату собралось много людей, коые выдумывали мне смерть различную, но пьянствовали и в выборе ее никак не могли притти к соглашению. Начали они резаться, резался и я, но остался жив. Из всех гостей в живых осталось немного: Сытин, Масловы, из них Сытин остался цел; он убил 23 человека. Маслов до того живуч, что его изрезали на куски и затыкали кольями в землю, но он все-таки бегал за женой. Когда пришла очередь до меня, никто не решился меня убить; все заплакали, а Маслова призналась в любви и изрезала самое себя. Вдруг является жена моя, обвиняет меня в разврате, краже у Федора Семеновича 6700 руб., убивает детей, но они каким-то чудом живут, – и требует от окружающих меня поляков за стеной, где были сделаны спальни, как в вагонах, изрубить меня и изжарить [Решетников, 1948, с. 323–324].

Особенности стиля и образности Решетникова, как мы полагаем, свидетельствуют о «родственном сходстве» с Андреем Платоновым, другим «пролетарским писателем» (вероятно, единственным истинным из всех пролетарских писателей). Рассматривать жуткие сцены у Решетникова как социальную критику – то же самое, что воспринимать «Котлован» или «Чевенгур» Платонова как сатиру на революцию и советский режим.

Каки в случае с Решетниковым, то, что Платонов был человеком, обязанным всем, что имел, лишь самому себе, вкупе с «неотделанностью» его стиля (в сравнении с более конвенциональной «орнаментальной

прозой»), провоцировало неоднозначное восприятие его современниками. Тем не менее, со временем уникальность Платонова была осознана: помог общий контекст модернистской прозы, т. к. писатель имел много общего с наиболее признанными представителями направления, хотя и старался дистанцироваться от института советской литературы. В этом смысле судьба Платонова противопоставлена судьбе Решетникова, чей неизменный образ второсортного реалиста и обеспеченное этим удачное положение в официальной советской критике помешали ему получить шанс на переосмысление.

Возможно, поэтому мало внимания уделялось порой поразительному сходству двух авторов. Единственное упоминание, которое удалось найти в критике, принадлежит Сергею Залыгину, однажды кратко заметившему существование некоторого сходства персонажей Решетникова и «очарованных» героев Платонова<sup>11</sup>. (Вероятно, он подразумевал «одухотворенных» героев.) На наш взгляд, если творчество Решетникова не рассматривать в парадигме заданных категорий натурализма конца XIX в., он оказывается главным предшественником Платонова. Даже при условии, что разрыв отношений Решетникова с современными ему законами повествования был обусловлен, по крайней мере, частично, недостатком общего образования и опыта, его стиль и образность, если рассматривать их самостоятельную ценность, порой подбираются очень близко к наиболее смелым образцам модернистской прозы.

Повесть «Поддиповцы» имеет явные следы жанра «физиологического очерка», пользовавшегося большой популярностью в России после выхода в 1845 г. некрасовского сборника «Физиология Петербурга». Отличительной особенностью этого жанра являлась двойственность повествования: с одной стороны, объективный исследовательский отчет рассказчика, с другой – живые сцены, к которым возвращается наблюдатель, героям которых дана свобода говорить, мыслить и поступать, как им вздумается. Решетников использует эту нарративную двойственность, однако, применяя обе модели так, что разрушает весь предполагаемый квазидокументальный характер текста. Объективное воспроизведение, свойственное стилю Решетникова, достигает особых высот в обнажении мрачного, уродливого и странного; возможно, никто из его современников не заходил так далеко, как он, в этом деле, по крайней мере, до появления драмы Г. Гауптмана «Ткачи», пользовавшейся особым успехом в кругах постнародников на рубеже XX в. Тем не менее, чрезвычайная натуралистичность произведений Решетникова переступала границы исследовательской объективности. Описания Решетникова скорее «неосвоенные», чем освоенные, что является очевидным предвосхищением авангардной образности. Картина мира, которую предлагает

---

<sup>11</sup> «А такой образ, как Никола Знаменский (из очерка под одноименным названием), как бы даже предшествует “очарованным” персонажам Андрея Платонова» [Залыгин, с. 6].

Решетников, дает читателю встряску, усугубляющуюся тем, что герои его произведений воспринимают мир, в котором живут, как должное. Их действия и мысли в крайней степени нелепы и прерывисты, в странном мире полной незащищенности они не замечают и, кажется, не способны заметить это. Возникает эффект одновременно фарсовый и трагедийный. Нам не известен ни один другой литературный феномен, который был бы настолько близок к повествовательной ткани прозы Платонова.

«Странность» описываемого мира сталкивается с тихим, невыразительным голосом рассказчика, который воздерживается от эмоциональных или апеллятивных действий по отношению к читателю. Отсутствие эмоционального напора – черта, унаследованная от натуралистических очерков, – это то, что отличает сочинения как Платонова, так и Решетникова, от более традиционной модернистской прозы, в целом характеризующейся наличием подчеркнутой авторской позиции наблюдателя и рассказчика по отношению к «неосвоенному» миру. Повествователь у Решетникова (так же, как у Платонова) делит пространство повествования с другими субъектами. Это выводит его позицию за рамки не только социальной критики, но и сострадания.

Такая позиция рассказчика открыто проявляется в повести «Между людьми», главный герой которой живет в комнате, отделенной тонкой перегородкой от пивной. Его наблюдения за тем, что там происходит: странные разговоры, постоянная суматоха, сцены бешенства и тоски, – подаются с точки зрения вынужденного свидетеля, чья непровольная вовлеченность придает насыщенность повествованию. Такая позиция перекликается с позицией некоторых застенчивых персонажей Платонова, вроде Назара Чагатаева из «Джана» или Дванова из «Чевенгура».

В «Подлиповцах» рассказывается история небольшого поселения в пустынной части Чердынского района на Северном Урале (позже в этих местах пройдет первая ссылка Мандельштама), чье идиллическое название Подлипная (под липами), абсолютно не соответствующее действительности, было дано ему властями. (К слову, сами жители никогда не проявляли инициативу в вопросе выбора названия для своей деревни.) По происхождению они пермяки, их русский язык кажется «недоразвитым» и обладает большим количеством типичных для северного диалекта черт. Подлиповцы номинально являются православными, т. к. всех их массово крестили, но религия означает для них лишь дополнительное бремя (из-за постоянно собирающего с них деньги священника).

Мир, который создает Решетников в своих рассказах, отличается поразительной незащищенностью, а его экзистенциальный ужас в совокупности превосходит конкретные социально-экономические условия. Мы видим людей, для которых жизнь на грани вымирания является привычным делом. Положение лишает их сил и необходимости бороться за выживание во враждебном непреклонном

окружающем пространстве, что делает их безрадостное состояние постоянным:

...но самое главное – пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие месяцы в год, остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них появляется лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут... Подлиповцам не растолкуешь того, они и сами не знают, откуда взялись [Решетников, 1986, с. 19]<sup>12</sup>.

Такое описание селения Подлипная, словно замороженного апатией и депрессией, перекликается с началом нескольких платоновских произведений. В этом месте язык Решетникова становится «остраненным», словно он сам подавлен тем, что описывает его рассказчик (Платонов тоже использовал подобный прием, создавая парадоксальное сочетание гнетущего шума с общим состоянием расслабленности).

На что дети – и те резвятся как-то слово нехотя: побежит, упадет, заплачет и побежит домой; даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно; одни только девять куриц и два петуха бегают скоро, и воздух оглашается криком крестьян на животных, лаем одной собаки, уцелевшей каким-то чудом от бойни хозяина, желавшего употребить ее шкуру на шапку, криком кур, маленьких ребят, да чириканьем коростелей в болоте [с. 18].

Смерть представляется продолжением такого рода жизни. Пила, главный персонаж повести Решетникова, который старается быть энергичным, каждый день проверяет, живы ли еще его соседи:

– Эй вы, цуцелы! Померли али нет?.. С полатей раздался стон.

– Ошшо живы! – сказал он весело <...>

На печке лежала старуха.

– Скоро помрешь? – спросил он ее с участием [с. 23].

Это напоминает фаталистический ответ Гюльчатай из повести Платонова «Джан», который она дает Назару Чагатаеву в схожей ситуации: «Были еще люди, десять людей, теперь они живут по камышам до самого моря, – раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит» [Платонов, 2010, с. 146–147].

Сексуальная жизнь обитателей Подлипной отмечена знаком апатии, как и прочие аспекты их существования; в этом опять же проявляется сходство с асексуальностью изможденных персонажей Платонова. Все девушки в Подлипной истощены и некрасивы, общаются с ними лишь с помощью брани, щипков и насмешек, – как объясняет

---

<sup>12</sup> Далее цитаты из этого произведения приводятся в тексте с номерами страниц по данному изданию.

автор, «это была их любовь» [с. 23]. Чтобы способствовать началу отношений своего старшего сына с девушками, Пила подталкивает его хоть к каким-то действиям:

- Дубина ты, как я погляжу, не знаешь, что баско. Пора тебе с бабой жить.
- А пошто?
- Дурень ты! Говорят, будет баско. – Ивану казалось смешно, он чего-то пугался, однако скоро уже постоянно ходил к Агашке [с. 26].

Жизнь в Подлипной усугубляется периодическим вмешательством людей из «города» (т. е. Чердыни), вроде православного священника и представителей местной власти. Как и платоновские «активисты», авторитетные персонажи у Решетникова действуют с жестокой решительностью, от которой не могут защититься их кроткие и пассивные жертвы. В жизни обитателей Подлипной ничего не может произойти без занесения в некую «книгу», ведение которой подлиповцы же и оплачивают.

Одно из таких вмешательств и стало завязкой действия повести. Пила жил по соседству с человеком, которого звали Сысойко, у него были маленькие брат и сестра, чьи шансы на выживание казались настолько ничтожными, что никто даже не утруждал себя тем, чтобы покормить их. Худо-бедно, однако, они оставались живы до прервавшего их жизни несчастного случая: дети в поисках тепла залезли в давно погасшую печь, где и были убиты во сне случайно упавшим на них камнем. После этого происшествия стало невозможно избежать городских чиновников, которых заинтересовали бы подозрительные обстоятельства смерти. Чтобы избежать проблем, которые могли быть и у него самого, и у соседей, Пила отдает свою корову в качестве взятки; в результате его хозяйство (единственное в округе, которое хотя бы напоминает действующее) становится абсолютно нежизнеспособным. Не имея возможности содержать себя, Пила и некоторые его односельчане уезжают из деревни в надежде на какую-нибудь помощь. (Такое же повествовательное развитие получают и завязки некоторых платоновских текстов.) Пространство, по которому они скитаются, сначала выглядит пустынным. В конце концов, героям Решетникова удается найти других людей и немного изменить свою жизнь. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но они присоединяются к группе бурлаков.

Повесть Решетникова имеет подзаголовок: «этнографический очерк из жизни бурлаков». «Подлиповцы» должны стать неожиданностью для читателей, ожидавших еще одну историю о страданиях бурлаков, вызывающую в памяти ряд наиболее известных примеров раскрытия данной темы (например, поэму Н. Некрасова или полотно И. Репина). Несмотря на всю тяжесть жизни и работы бурлака, для жителей Подлипной она становится путем к спасению. Как и в некоторых произведениях Платонова, улучшения в жизни персонажей, хоть и незначительные, начинаются с присоединения к большому миру, суровому, но дающему героям возможность разорвать порочный

круг нужды и беспомощности. Характерно, что по мере того, как подлиповцы продвигаются в своей Одиссее, главный герой повести Пила отходит на второй план, точно так же, как Вощев из «Котлована» и Чагатаев из «Джана» Платонова. В финале мы полностью теряем Пилу из виду и наблюдаем уже за двумя его сыновьями, которым удалось влиться в городскую жизнь.

«Непривычность» мира решетниковского повествования никогда не проявляется так сильно, как в моменты, когда говорят главные персонажи. Снова проводя параллель с Платоновым, отметим, что «странность» их речи не обусловлена только нестандартностью характеров. Изображение речи крестьян и городских низов часто отмечается диалектным произношением, нестандартной лексикой и спорадическим синтаксисом. Отличие речи героев Решетникова обусловлено более глубокими причинами. Она отражает мрачную скудость их мира, где поддерживать мысль так же тяжело, как и оставаться живым. Рудиментарные высказывания героев дают выражение мысли, блуждающей в ужасающей пустоте в поисках любого знака поддержки. Враждебный мир чиновничества вторгается в речь персонажей так же, как и в их жизнь. Атакованные официальной риторикой и идеологией, люди подхватывают отдельные их фрагменты, перенимая их в гротескно искаженном виде.

После возвращения со своей губительной миссии в городе Пила обнаружил, что, пока его не было, умерли два человека из его ближайшего окружения: пожилая соседка, мать двоих ранее умерших детей и Сысойко, и Апроська, дочь Пилы и возлюбленная Сысойко. Сначала Пила не был ни удивлен, ни огорчен случившимся: он слишком устал от необходимости постоянно заботиться о выживании остальных, а обе женщины до его отъезда подавали признаки жизни. Позже читатель может увидеть горе Пилы и Сысойко, хотя видимое его воплощение кажется странным: Сысойко пытается разбить Апроське нос до того, как ее предадут земле. Потом он предлагает выкопать тело Апроськи, т. к. боится, что «старая женщина» (его мать) будет есть Апроську под землей, как только их закопают. Однако у Пилы свои убеждения. По его мнению, бесполезно выкапывать Апроську. Он ссылается на священника, говорившего о жизни после смерти, но понимает это так, что Апроська улетит из земли и никогда больше не найдется.

– Как бы ее старуха не съела. Пошто же это в землю-то зарыли? – говорил Сысойко.

– Пошто! Что с ней, мертвой-то?

– А мы возьмем, уволокем!

– Ну-ко возьми! Уж теперь их нет тут.

– Вре?

– Поп бает, улетели!

– Ах, ватаракша! Да мы зарыли-то, не поп.

– Ну, бает, как зароем – и тю-тю... [с. 43–44].

Религиозные понятия преломляются в сознании Пилы и Сысойко так же искаженно и смутно, как советская идеология в мыслях и речи героев Платонова. Весь этот эпизод заканчивается трагически: как оказалось, Апроська была жива, но Пила и Сысойко, услышав из-под земли ее голос, слишком испугались и оставили ее умирать.

Другой пример стиля речи, разрушенного окружающей средой, включает двух сыновей Пилы. Как некоторые наиболее подвижные платоновские герои (к примеру, Козлов в «Котловане»), они стараются выделиться среди своего окружения за счет адаптации языка начальства. Они слышали, как те проклинали «свиней» – рабочих, и теперь стремятся приспособить этот чужой голос к своему положению в мире и своему мировосприятию.

– Пашка! Они все свиньи, – говорил Иван.

– Все. Они робить не умеют.

– И тятка свинья?

– И Сысойко свинья... А мы свиньи?

– Мы-то? А пошто?

Немного помолчав, они опять спрашивают друг друга, свиньи они или нет; кажется, свиньи, а ровно и нет. «Свиньи-то эво какие! А мы воно какие» [с. 90].

И речь героев Решетникова, и его собственный голос как повествователя насыщены фразами одновременно неуклюжими и затейливыми – это очень похоже на зрелого Платонова. Приведем несколько примеров из «Глумовых»:

[В]ся его любезность к женскому полу заключалась в том, что он рассказывал разные анекдоты, а не увлекал его пустыми вещами, идущими к любовной цели, так как он и не думал жениться.

Прасковья Игнатьевна и рада была, что братья не будут с нею жить, и неловко ей было прогнать их, как братьев.

В следующем диалоге из повести «Между людьми» политические реалии середины 1860-х гг. передаются как реальные (в то же самое время вырванные из контекста), точно как реалии советских 1920–1930-х предстают в разговорах героев Платонова:

– А вот в Америке теперь тоже беда! Тысячами так и валят люди...

– Там народ-то еще хитрее англичан...

– Дураки этот народ!.. ишь ты: из пушек палить. Поди-ко: человек не скот, да и тот нужен.

Мы не хотим сказать, подчеркивая схожесть литературных типов Решетникова и Платонова, что такая связь может быть объяснена только в пределах прямого «наследования». По нашему мнению, литературная родословная Платонова уходит далеко в физиологический

очерк XIX в.: признав этот факт, возможно будет увидеть переосмысление этой традиции в его литературном творчестве. Стремление Решетникова, находившегося в жанровых рамках, все же преодолеть их конвенциональность, предвещало, по меньшей мере, сходную двойственность и в прозе Платонова.

В творчестве обоих писателей приземленный жанр физиологического очерка изменялся двумя основными способами. Во-первых, социальная критика перерастала в экзистенциальную. Во-вторых, открытая стилизация высказываний «другого» превращалась в речь, главными особенностями которой становятся опустошенная дискретность и особый способ мышления, сформированный благодаря пережитым жизненным трудностям. Эти черты отделяют Решетникова от натурализма XIX в., даже если предположить, что он спокойно занимает свое место среди писателей-народников. Такая же ситуация была и с Платоновым: то, как он следовал традициям натуралистического очерка, в рамках модернистской эстетики отличало его способы письма от более традиционных (например, сказового или орнаментального); он стоял отдельно от ведущих писателей направления, таких как Пильняк, Замятин или Бабель. Проза Решетникова и Платонова, как и их персонажи, блуждает в неясном открытом пространстве, вдоль схожих литературных ландшафтов «народного реализма», «пролетарской литературы», «экспрессионизма» и «соцреализма», и не может найти свое законное место.

---

*Дивильковский А.* Пролетписатель начального часа // Красная Новь. 1928. № 12. С. 245–263.

*Залыгин С.* Федор Михайлович Решетников // Ф. М. Решетников. Между людьми. Повести, рассказы и очерки. М. : Современник, 1985.

*Платонов А.* Джан // Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4 : Счастливая Москва. М. : Время, 2010.

*Платонов А.* Чевенгур // Платонов А. Собрание сочинений. Т. 3 : Чевенгур. Котлован. М. : Время, 2009.

*Решетников Ф. М.* Собрание сочинений / под ред. И. И. Векслера. Т. 6. Л. : Акад. наук, 1932.

*Решетников Ф. М.* Отрывки из дневника, 1868 // Решетников Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 6. Свердловск : ОГИЗ, 1948.

*Решетников Ф. М.* Подлиповцы // Решетников Ф. М. Повести и рассказы. М. : Сов. Россия, 1986.

Сочинения Ф. М. Решетникова : в 2 т. М. : Изд-во К. Т. Солдатенкова, 1874.

*Тургенев И. С.* Письмо к П. Полонскому // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений : в 28 т. Т. 7 : Письма. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1964а.

*Тургенев И. С.* Письмо к Фету, 13 (29) января 1869 г. // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений : в 28 т. Т. 7 : Письма. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1964б.

*Успенский Г.* Федор Михайлович Решетников (биографический очерк) // Сочинения Ф. М. Решетникова. М. : Изд-во К. Т. Солдатенкова, 1874. Т. 1.

*Чужак Н.* Под знаком жизнестроения: 1. Тургенев или Решетников. 2. Два Реализма // Литература факта : первый сборник материалов работников ЛЕФа / под ред. Н. Чужака. М. : Захаров, 2000.

*Шкловский В.* Сентиментальное путешествие. М. : Новости, 1990. 368 с.

*Gasparov B.* Platonov and Reshetnikov // *Ulbandus Review*. 2012. Vol. 14. P. 111–129.

*Riffaterre M.* Text Production. New York : Columbia UP, 1983.

---



Chuzhak, N. (Ed.). (2000). Pod znakom zhiznestroeniya: 1. Turgenev ili Reshetnikov. 2. Dva Realizma [Under the sign of life-building: 1. Turgenev or Reshetnikov. 2. Two realisms]. In *Literatura fakta: pervyj sbornik materialov rabotnikov LEFA* [The literature of fact: the first collection of materials of the LFA workers]. Moscow: Zaharov.

Divil'kovskij, A. (1928). Proletpisatel' nachal'nogo klassa [Proletarian writer of the initial class]. *Krasnaya Nov'* [Red Novelty], 12, 245–263.

Gasparov, B. (2012). Platonov and Reshetnikov. In *Ulbandus Review*. (Vol. 14). (p. 111–129).

Platonov, A. (2009). Chevengur [Chevengur]. In *Platonov A. Sobranie sochinenij. T. 3: Chevengur. Kotlovan* [Platonov A. Complete edition. Vol. 3: Chevengur. Ditch]. Moscow: Vremya.

Platonov, A. (2010). Dzhan [Jan]. In *Platonov A. Sobranie sochinenij. T. 4: Schastli-vaya Moskva* [Platonov A. Complete edition. Vol. 4: Happy Moscow]. Moscow: Vremya.

Reshetnikov, F. M. (1932). *Sobranie sochinenij* [Complete edition]. I. I. Veksler (Ed.). (Vol. 6). Leningrad: Akad. nauk.

Reshetnikov, F. M. (1948). Otryvki iz dnevnika, 1868 [Excerpts from the diary, 1868]. In F. M. Reshetnikov. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete edition]. (Vol. 6). Sverdlovsk: OGIZ.

Reshetnikov, F. M. (1986). Podlipovcy' [Podlipovtsy (Podlipnaya inhabitants)]. In F. M. Reshetnikov *Povesti i rasskazy'* [Narratives and stories]. Moscow: Sov. Rossiya.

Riffaterre, M. (1983). *Text Production*. New York: Columbia UP.

Shklovskij, V. (1990). *Sentimental'noe putesthestvie* [Sentimental trip]. Moscow: Novosti.

*Sochineniya F. M. Reshetnikova* [Works by F. M. Reshetnikov] (in 2 vols.). (1874). Moscow: Izd-vo K. T. Soldatenkova.

Turgenev, I. S. (1964a). Pis'mo k Fetu, 13 (29) yanvarya 1869 g. [Letter to Fet, 13 (29) January 1869 yr.]. In I. S. Turgenev. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete works] (in 28 vols.). T. 7: *Pis'ma* [Vol. 7: Letters]. Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Turgenev, I. S. (1964b). Pis'mo k P. Polonskomu [Letter to P. Polonsky]. In I. S. Turgenev. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete works] (in 28 vols.). T. 7: *Pis'ma* [Vol. 7: Letters]. Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Uspenskij, G. (1874). Fedor Mihajlovich Reshetnikov (biograficheskiy ocherk) [Feodor Mikhailovich Reshetnikov (biographic sketch)]. In *Sochineniya F. M. Reshetnikova* [Works by F. M. Reshetnikov]. (Vol. 1). Moscow: Izd-vo K. T. Soldatenkova.

Zalygin, S. (1985). Fedor Mihajlovich Reshetnikov [Feodor Mikhailovich Reshetnikov]. In F. M. Reshetnikov. *Mezhdru lyud'mi. Povesti, rasskazy' i ocherki* [Among people. Narratives, stories and essays]. Moscow: Sovremennik.

*The article was submitted on 30.04.2014*

**Борис Михайлович Гаспаров**  
профессор  
США, Нью-Йорк,  
Колумбийский университет  
bg28@columbia.edu

**Boris Gasparov**  
Professor  
USA, New York,  
Columbia University  
bg28@columbia.edu

**«ЦЕЛЫЙ НОВЫЙ ДЛЯ МЕНЯ МИР»:  
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА  
К. Д. НОСИЛОВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
РУБЕЖА XIX–XX ВВ.**

**“A WHOLE NEW WORLD FOR ME”: K. D. NOSILOV’S  
ETHNOGRAPHIC FICTION IN THE RUSSIAN LITERATURE  
OF THE LATE 19<sup>TH</sup> – EARLY 20<sup>TH</sup> CENTURIES**

The author considers the notion of ethnographic fiction, which flourished in Russian literature in the second half of the 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries. The key feature of this kind of literature is the interconnection of fact (its being based on the facts of life) and fiction, or its literary character. The author studies the correlation of fiction with ethnography, which was a distinctive feature of Russian literature in the second half of the century. Thus, the author sees some characteristics of the new ethnography of the 20<sup>th</sup> century in the works of K. D. Nosilov, a popular writer at the turn of the century: e. g. an attempt to understand *the Other* (one of the Voguls) through his penetration into their life and spiritual world, and his consideration of the personal experience of the explorer and the recipient. In Nosilov’s book, *At the Voguls* (1904), the author studies the meta-plot of initiation, which the narrator is to pass but fails to finish.

**Key words:** ethnographic fiction; travelog; essay genres; symbolic initiation; evolutionary and colonial discourse.

Рассматривается феномен этнографической беллетристики, получившей особенное развитие в русской литературе во второй половине XIX – начале XX в. Ключевой особенностью этого вида литературы выступает взаимодействие документальности (ориентации на «правду жизни») и вымысла или литературности. Рассматриваются взаимоотношения беллетристики и этнографии, под знаменем которой выступала отечественная литература второй половины века. В творчестве популярного писателя рубежа столетий К. Д. Носилова усматриваются черты новой этнографии XX в.: попытка понять «другого» (представителей северного племени вогулов) на основании своего погружения в их жизнь и их духовный мир, опора на личный опыт исследователя и реципиента. В книге Носилова «У вогулов» (1904) исследуется метасюжет инициации, через которую проходит ее герой-рассказчик, но завершить которую ему не удается.

Ключевые слова: этнографическая беллетристика; травелог; очерковые жанры; символическая инициация; эволюционистский и колониальный дискурсы.

Относительно реалистический взгляд на фигуру и жизнь так называемого «инородца», т. е. представителя коренных народов, населяющих Российскую империю, начал складываться в отечественной литературе в середине XIX в., хотя сам по себе интерес к проблеме «чужого», «своего» как «чужого» и вообще «другого» (этноса, народа, края) возник значительно раньше. В это же время в периодической печати России все больший удельный вес начинают приобретать симбиотические тексты, именуемые авторами очерками, но с очевидным внедрением в их структуру беллетристического, глубоко литературного начала, несущего в себе вымысел (неотъемлемая примета «литературности»). Важно, что, в отличие от эпохи романтизма, в литературе второй половины века художественно-беллетристическое начало обычно накладывалось на нарративы, выполняющие в первую очередь познавательные функции, т. е. знакомящие читателя с новой землей и новыми народами. В. А. Лимерова удачно обозначила этот род словесности «учено-художественной» [Лимерова, с. 165]. Одновременно середина и вторая половина XIX в. – это расцвет в отечественной литературе, шире – культуре – так называемого этнографизма, который в повествовании как раз и выражался в доминанте очеркового начала с примесью публицистики с одной стороны и популярно-научного («познавательного») дискурса – с другой.

Об интересе современного литературоведения к явлениям этнографической беллетристики, этнографической прозы XIX столетия говорит целый ряд исследований последних лет. Так, А. Л. Фокеев дает отличительные качества этнографической прозы, как то: введение в произведения этнографии и фольклора как элементов народной культуры, отражение народного мирозерцания, бытовая живопись и др.; говорит он и об «этнографической беллетристике» 1860-х гг., более всего имея в виду малые жанры прозы [Фокеев]. Народническая беллетристика на пересечении с этнографической прозой стала предметом исследования Е. Г. Чеботаревой, но без значительного уточнения понятия [Чеботарева]. Упомянем также, что в советском литературоведении, кроме «этнографического направления», использовались понятия «этнографический реализм» и «этнографический роман» [История русского романа].

Но что отличает этнографическую *беллетристику* от иных, смежных явлений? Попробуем хотя бы кратко разобраться с содержанием понятия<sup>1</sup>. «Проза» – явление внутрилитературное, исходящее из свойств самой художественной речи. Беллетристика, как и литература, – образование системное, подразумевающее и продукт творческой

<sup>1</sup> Понятие «этнографическая беллетристика» использует автор статьи [Костюхина], однако никакого определения интересующего нас понятия здесь нет.

деятельности, и саму деятельность, а также институты, ее творящие и организующие. Здесь более применимы социологический и коммуникативный подходы. В соответствии с общепринятым сегодня, хотя и более чем условным, делением литературы на «высокую», «массовую» и «беллетристику» последняя помещается между классикой и массовой литературой: «Беллетристика занимает промежуточное место между “высокой” и “бульварной” (массовой) литературами» [Грачева, с. 545]. «Классика и беллетристика – это и расходящиеся, и не разошедшиеся, не разделившиеся до конца литературно-художественные формации, что объясняется столько же обогащением состава литературы, сколько подвижностью оценивающего, критического отношения к писателям и книгам», – еще ранее писал И. А. Гурвич [Гурвич, с. 20]. Иначе говоря, в основе подобного рода разделения лежат социологические и аксиологические критерии (популярность классики среди образованных слоев населения и беллетристики, а также массовой литературы – среди «массы» как таковой, отсюда их оценочность), чрезвычайно подвижные во все времена. «Понятие массовой литературы – понятие социологическое», – отмечал еще Ю. М. Лотман [Лотман, с. 381]. В 1840-е гг. В. Г. Белинский призывал к созданию литературы «обыкновенных талантов», обращенной к широкой общественности, – и задача эта на протяжении XIX в. была замечательно решена. Отсюда понятно, что у каждой страны литературы свой читатель, свои креативные, коммуникативные, рецептивные задачи, и, согласимся с А. М. Грачевой, беллетристика – это «художественная проза, ориентированная на достаточно обширную, так называемую “демократическую” аудиторию, что обуславливает специфику ее идеологических и эстетических функций» [Грачева, с. 545].

Однако существуют и внутренние, собственно эстетические основания разделения литературы. По словам И. А. Гурвича, «Литератор тиражирующий – первая разновидность писателя-беллетриста (как и второстепенного поэта)» [Гурвич, с. 22], хотя он же замечает, что тиражировать – не значит давать полную копию, но – подчас варьировать и преобразовывать оригинал. Пожалуй, для этнографической беллетристики рассматриваемого нами периода второй половины XIX в., особенно его последней трети, более важно иное свойство, роднящее ее с истоками – натуральной школой 1840-х гг. и прежде всего с русской «физиологией». Это так называемая фактографичность, установка на не просто правдоподобие, но «дословное» правдоподобие, почти фотографичность или, на языке той эпохи, «даггеротипичность» рисуемой картины жизни – «прямое» слово о действительности. В несколько иной парадигме эту установку этнографической беллетристики можно обозначить как натуралистичность, в этой связи еще раз процитируем И. А. Гурвича: «Натурализм – это фактически беллетристика эпохи высокоразвитого реализма, беллетристика, раскрывшая свои коренные возможности. Это литература полноправного второго ряда, соотношенного с тем первым рядом, какой представлен

именами Достоевского, Толстого, Чехова» [Гурвич, с. 24]. С его трактовкой натурализма, конечно, можно спорить, но суть интересующего нас явления – беллетристики последней трети века – указана верно. Натуралистически точное воспроизведение жизни и быта описываемого народа, природы и социума определяло первейшие задачи этнографической беллетристики.



Портрет вогула<sup>2</sup>

Но тогда при характеристике этого вида литературы возникает некое противоречие: ориентация на «правду факта» (имея в виду под фактом «действительность» как таковую) – и «тиражирование» образцов (каких? да очевидно, что литературных, заданных классикой), вторичность и неизбежная массовость. Как совместить эти моменты – достоверность (и отсюда – тягу к документализму) и литературность (и связанную с ней установку на вымысел)? Если к беллетристике относимы произведения

подчас вполне солидных писателей-романистов, таких как Д. Мамин-Сибиряк, А. Эртель, А. Шеллер-Михайлов, А. Амфитеатов, П. Боборыкин и мн. др., то этнографическая беллетристика помещается на пол-этажа ниже и очень близко контактирует с массовой литературой, но для нее, в отличие от «просто» беллетристики, требование достоверности и правдивости (даже не правдоподобия, отличающего литературу реализма в целом) имеет принципиальное значение. Согласно исследованию Е. К. Ромодановской, напряженное отношение между вымыслом и документальностью характеризует состояние русской литературы, в том числе беллетристики, на протяжении переходного XVII в., оно и толкало ее к развитию [Ромодановская, с. 27–35, 83–96 и др.]. По-видимому, в отношении нашего феномена (этнографической беллетристики) следует различать задачи, которые идут от научно-познавательного (собственно этнографического) дискурса и преемственно связаны с установками натуральной школы, поскольку писатели натуральной школы активно использовали «физиологический» метод, перенесенный в литературу из естественной науки того времени, – и задачи сугубо литературные, связанные с тем, как перенести «действительность» в литературный текст, каким должно быть слово о ней, чтобы читатель мог ему не просто поверить, но еще и заинтересоваться реальностью, стоящей за словом. Эту двойную задачу и решала литература нарождающегося в 1840-е гг. реализма, как бы мы его не именовали сегодня – реализмом «критическим», «классическим» и др. И поскольку этнографическую беллетристику создавали «обыкновенные таланты», «второстепенные», а то и «третьестепенные» по уровню дарования (о причинах

<sup>2</sup> Все иллюстрации к статье взяты из книги «У вогулов: Очерки и наброски» [Носилов, 1904].

чего надо говорить особо), то посредническую роль при оформлении в текст их личных впечатлений чаще всего начинали играть обкатанные литературой схемы, модели, мотивы, типы героев и сюжетов. Идя, говоря условно, от событийной стороны (т. е. от «жизни»), этнографическая беллетристика пропускала ее через литературу, ориентируясь одновременно на определенный тип читателя и в первую очередь учитывая необходимость быть услышанной, прочтенной.



Вогулы-рыболовы

Хотя, оговоримся, так было не всегда, и довольно часто уже созданные кем-то из собратьев по перу «случаи из жизни» становились образцом даже не для подражания, а именно для варьирования, ссылки и повторения, и в этом случае литература начинала играть роль своеобразного источника, по которому можно достаточно адекватно понять и оценить картину жизни. Как «большая» литература пользуется примерно одним набором сюжетов и мотивов, так и этнографическая беллетристика нарабатывала свой репертуар литературных приемов в изображении жизни и быта других народов и регионов, и в него нередко входили определенные картины, сцены, характерные для той или иной местности или этноса: свои – для зырян, вогулов, вотяков и т. д.

Остановимся еще на одном моменте, определяемом нашим предметом и немаловажном для понимания задач этнографической беллетристики и причин ее широкого распространения в России. Этнография как самостоятельная научная дисциплина формируется в западноевропейской науке примерно тогда же – в середине и второй половине XIX в., на Западе она складывается в русле эволюционистского подхода и чуть позже именуется антропологией, у нас – «народознанием» [см. об этом: Соколова]. Этнографический элемент для общественного и художественного сознания середины XIX в. играл самую прогрессивную, животворящую роль, ибо он нес с собой реальное знание о жизни масс и фактически отвечал запросам нового (реалистического) метода искусства. Взаимосвязь литературы и этнографии и пользу беллетристики для науки о народе отмечал в конце века А. Н. Пыпин: «...И вместе с тем как художественная литература овладевает реально-правдивым изображением народной жизни, этнография впервые выступает на правильную научную дорогу» [Пыпин, с. 424].

Развитие знаний такого рода естественным образом совпадало с утверждением в философии позитивизма, который, собственно, и был своего рода методологической, концептуальной основой реалистического метода в литературе и искусстве, обуславливая



Старик-вогул (шаман)

обращение людей науки к «позитивному», в том числе этнографическому, знанию. Позитивизм, реализм, антропологизм – это звенья одной цепи, по крайней мере в отношении демократической литературы и критики. Ведущей же идеей антропологической, тогда эволюционистской, школы в этнографии, как писал об этом ее основоположник Э. Тайлор в книге, вышедшей в свет в 1871 г., была идея единства человеческого рода, которая активно пропагандировалась в европейской мысли с эпохи Просвещения и была двигателем многих систем утопического социализма – от А. де Сен-Симона до Р. Оуэна, но которая благодаря этнографическим исследованиям лишь в XIX в. получила практическое подкрепление и начала обрывать доказательствами. «...Нам представляется возможным и желательным устранить соображения о наследственных изменениях человеческих рас и считать человечество однородным по природе, хотя и находящимся на различных ступенях цивилизации. Отдельные моменты нашего исследования покажут, как я надеюсь, что фазисы культуры мы вправе сравнивать, не принимая в расчет, насколько племена, пользующиеся одинаковыми орудиями, следующие одинаковым обычаям или верующие в одинаковые мифы, различаются между собой физическим строением и цветом кожи и волос» [Тайлор, с. 22].

Мысль о единстве рода человеческого (глубоко христианская по сути) составляла общегуманистическую подоплеку всех процессов демократизации общества и его литературы, происходивших в XIX в. Этнографический «привой» на древе просветительско-позитивистских идей – определяющая модальность литературы, озабоченной раскрытием перед читателем картин жизни и быта самых разнообразных народов и регионов страны. В массовом порядке она начинает складываться к концу века, когда Россия бесповоротно, хотя и не очень решительно вступает на путь капитализации страны, меняется социальный состав населения, и число если не «образованной общественности», то, по крайней мере, полуобразованной массы, нуждающейся в доступной ее уровню культуре, ощутимо растет. Можно сказать, что именно в лоне беллетристики складывается новая художественность рецептивного типа, которую обычно наблюдают у Чехова, – да, собственно, чеховское творчество и развивалось параллельно интересующему нас явлению.

Вместе с тем, отечественная этнографическая беллетристика не может быть однозначно сведена к массовой литературе, несмотря

на всю зыбкость пролегающей между ними границы, а также и к «просто» беллетристике. Для беллетристов-этнографов первостепенную роль играли все-таки задачи внелитературные, которые отнюдь не сводились к развлекательным; выше мы обозначили их как «познавательные». В творчестве писателей-этнографов последних десятилетий XIX и начала XX в. – Вас. И. Немировича-Данченко, П. П. Инфантьева, А. В. Круглова, К. Д. Носилова и др. – выделяются разные стилевые течения и разные повествовательные стратегии. Исходным для большинства из них был личный опыт знакомства с жизнью и бытом иных народов (как то и положено этнографу), но различной оказывалась степень применения этого опыта – его встраивание в существующую систему литературных координат и, так сказать, объем проявления личного участия в изображаемых картинах (т. е. модальность повествования).



Поездка вогульского священника по приходу

На протяжении XIX – первых десятилетий XX в. этнография прошла большой путь – за это время она превратилась в науку, а в ней самой сформировалось несколько основополагающих подходов или школ, различие между которыми подчас имеет принципиальный характер. В целом этот путь этнографии отражает развитие научных знаний и представлений человека о себе самом и о «других», что бы ни понималось в данном случае под «другим» – природа, себе подобные, культура и т. д. Новое этно-антропологическое воззрение мы наблюдаем в трудах ученых XX в. Это отказ от приоритетного положения европейской культуры и цивилизации и, соответственно, собственного «я», а равно – от примата разума, идеи просвещения, которую нужно нести первобытным народам, и признание равновеликости и равноценности иных цивилизаций, культур, индивидов, иначе говоря – открытие другого как другого, а не как отражения или части себя. К. Леви-Стросс сформулировал принципы своей новой антропологии на основе осмысления опыта Руссо. «Для того, чтобы человек снова увидел свой собственный образ, отраженный в других людях – это и составляет единственную задачу антропологии при изучении человека, – ему необходимо сначала отрешиться от своего собственного представления о самом себе» [Леви-Стросс, с. 22]. «Абсолютная объективность» антропологии – это признание, что «другой есть я» [Там же, с. 23]. «Принцип “исповеди”, сознательно или бессознательно выраженной, лежит в основе всякого антропологического исследования» [Там же, с. 22].





Вогул с луком

Таким образом, «абсолютная объективность» «новой» антропологии и этнографии, ставшей знаменем XX в., требует не отключения своего «я», но постижения в его глубинах «другого», для чего нужен отказ от «я», узаконенного привычкой и постоянством образа жизни и мысли, свойственного твоей культуре, воспитанного всем строем предшествующей (а также и будущей) жизни. Совершить этот «феноменологический» прорыв этнографическая беллетристика конца века была еще не в силах. Но движение к нему в работах отдельных авторов есть, именно на него хотелось бы указать. В этом отношении наиболее показательно творчество

К. Д. Носилова (1858–1923), отражающее личный опыт неоднократных путешествий автора в описываемые им регионы.

Письмо Носилова отличало очень личное, пристрастное отношение к изображаемому миру, не случайно в нем всегда присутствует рассказчик, он же герой, рассказывающий о своем личном опыте общения с «аборигенами» той или иной земли. За его обликом стоит образ автора – человека чрезвычайно любознательного, расположенного к миру и людям, щедрого и чуткого. По-видимому, человеку иного склада было бы трудно подолгу жить с совершенно чужими ему людьми, привыкать к инородной культуре, иному строю жизни. Отзывчивость и открытость, свойственные автору-рассказчику Носилова, выражаются в повествовательном дискурсе его текстов – открыто эмоциональном, экспрессивном: рассказчик всегда дает прямые оценки людям и событиям, он не мастер слова «косвенного», опосредованно передающего авторское отношение (как, скажем, в прозе Чехова), да надо сказать, что мало кому из беллетристов-этнографов давалось это мастерство. С этим же связаны многочисленные рецептивные «приступы» и «отступы» рассказчика – его прямые обращения к читателю, приглашения последовать за ним в те или иные места и т. д. Дискурсные вкрапления рецептивного типа можно считать характерной чертой, с одной стороны, очерковых, документальных жанров, с другой – именно этнографической беллетристики, поскольку они обнаруживаются у довольно многих современных Носилу писателей.

Однако наряду с указанными замечательными человеческими и нарративными качествами в письме Носилова обнаруживаются и иные черты, которые мы обозначаем как колониально-европейский,

цивилизаторский дискурс [подробнее см.: Созина]. Вот характерный пример: «Это было на северном Урале, *среди диких вогулов* [здесь и далее в цитатах курсив наш. – Е. С.], среди сплошных лесов лесного и дикого царства. Есть такие уголки у нас в России, где вы на сотни верст не встретите ничего, кроме лесов, и ни души человеческой, кроме *кочующего дикаря* с его берестяным чумом» [Носилов, 1910, с. 3]. Причем, это вовсе не означает, что сам Носилов или его «заместитель» – рассказчик – плохо относится к вогулам (народу манси) и ставит их ниже себя. Подобного рода маркеры колониалистской позиции автора можно отнести к числу неких стереотипов сознания и речи, как раз и выдающих его ориентацию на массового читателя – носителя



Шайтан

обыденного сознания, привыкшего к определенной манере разговора об «инородцах». И в этой, и в других книгах именование дикарями народов, живущих в диких лесах, для Носилова, а равно многих других русских писателей, не несло уничижительной оценки (ср., например: «Я давно знаю *этих дикарей*, и они всегда меня поражали своей замкнутой, оригинальной жизнью» [Носилов, 1912, с. 114]), к тому же это словоупотребление было типично не только для нашего писателя<sup>3</sup>. Колониально-цивилизаторские маркеры соседствуют у Носилова с литературными штампами, употреблявшимися обычно в отношении «дикой» природы (а там, где он путешествовал, природа обычно и была, в буквальном смысле слова, дикой, т. е. не тронутой вторжением человека), например: «Я попал в этот Печорский край с *высокого, седого, угрюмого* Урала...» [Носилов, 1910, с. 41]. Горы у Носилова рисуются не иначе как «чистые», «просторные вершины», что вполне соответствует романтической традиции, лес же – «черный», густой, давящий и страшный. Эта оппозиция определяет его нарратив и в книге «О вогулах» (1904): северный сибирский лес – как бы он ни назывался, тайгой или пармой, – страшен для европейца как для чужого, и все ужасы, которые переживает там рассказчик, объединяются для него в определении «кровожадные люди», применимом к вогулам в ситуации, когда они приносят в жертву своим идолам оленей.

Однако все это искупается свежестью и непредвзятостью взгляда Носилова, он всегда – первооткрыватель мира, поэтому и пафос его книг – это пафос открытия и бесконечного удивления перед красотой и новизной мира, будь то лес, горы, чумы или юрты «дикарей»

<sup>3</sup> «Дикари» – концепт, популярный не только в русской словесности. В книге К. Леви-Стросса «Печальные тропики» есть глава «Добрые дикари».



Лесная хижина вогулов

и пр. В силу неяркости и суровости северной природы и ее обитателей автор-рассказчик далеко не сразу проникается любовью и симпатией к ним, ему бывает нужно совершить некое усилие, движение, шаг навстречу – и тогда он сам поражается своей прежней слепоте и невосприимчивости. Так, в частности, происходит и с мрачным вогульским лесом («пармой») после того,

как герой-рассказчик, пройдя через лес, познакомился с охотниками, отдохнул в их «керке» (хижине), послушал охотничьи рассказы: «Целый новый для меня мир животного первобытного царства, захватывающий обстановкою своею, неизвестностью, таинственностью, от которой у человека сладко сжимается сердце и хочется остаться тут, погрузиться на время в этот мир, насладиться его картинами... сделаться на время счастливым, хотя первобытным человеком. И я, лежа теперь на нарах вместе с охотниками, словно в первый раз вглядывался в этот темный, еще недавно казавшийся мне мертвым лес, удивлялся, какой я был слепой, не замечал раньше этой жизни...» [Носилов, 1910, с. 62–63]. Собственно, вот оно – познание себя через другой мир, раскрывающийся перед рассказчиком. Отметим простоту и естественность обращения Носилова к своим чувствам, он «присваивает» себе инородный мир, делая его частью себя, благодаря общению с людьми, живущими в этой чуждой ему среде. В произведениях других авторов раскрытие нового мира осуществляется обычно иным путем – построением самого нарратива, передачей пространственных передвижений рассказчика, например, из одной части деревни в другую, из деревни в лес и т. д., от одного жителя и его занятий – к следующему и пр. Нецельность сюжета можно объяснить формой передачи писателями своих путевых этнографических впечатлений – обычно это книги (циклы) очерков. Но и книги Носилова собираются из очерков и/или рассказов. Значит, дело все-таки в ином – в отношении автора, в характере и степени его дарования.

Свои открытия Носилов совершает не один. В его произведениях (как, по всей видимости, и в реальных путешествиях) обязательно присутствует тот, кто сопровождает его в странствиях по неизвестному миру, становится его проводником, порой другом и одновременно – предметом его внимания и изображения. Наличие «доверенного лица» из постигаемого, нередко опасного мира – очень частый признак этнографического повествования, отражающий реальный путь погружения этнографа или просто путешественника в неведомое пространство природы и жизни. У Носилова, в силу его

дружелюбия и склонности к общению, встречи с местными жителями не только вынужденны, но и приносят герою-рассказчику радость. В разных произведениях Носилова о вогулах в таком качестве выступают Лобсинья, Налимий хвост, старик Савва, в другом рассказе становящийся стариком Сокра, и др. На примере спутника-сталкера рассказчик учится жить по-новому, перенимает нужный стиль поведения, необходимые умения, – хотя ему так и не удается овладеть ими в совершенстве. Вся эта учеба имеет прямое отношение к сохранению жизни и здоровья героя. В большинстве книг Носилова речь идет об овладении им простыми умениями и способами поведения, относимыми к внешней стороне жизни, но в книгах «О вогулах», «На Новой Земле» – об особых способах мыслить и чувствовать, основанных на возможности внутреннего соучастия пришельца в жизни чужого племени. Судя по этим книгам Носилова, он стоял на исповедально-аналитическом пути этнографа XX в., поскольку сама концепция естественной жизни, естественного человека была ему достаточно близка. Но смог ли он до конца пройти по этому пути? Своеобразным документом этого служит его книга «У вогулов». Ее композиция может быть рассмотрена как следование по этапам инициации, через которую, опять-таки доверяя мысли Леви-Стросса, только и можно по-настоящему узнать «другое»<sup>4</sup>.

Первая глава, открывающая книгу «У вогулов», называется «Таинственное из жизни вогулов». Здесь автор задает центральную тему своего дискурса, составляющую для него, рационально мыслящего европейца, настоящую загадку: «неведомый мир духов», «сфера верований» народа, окруженная «миром таинственности» [Носилов, 1904, с. 2]. Экспозицией к постепенному раскрытию этого мира является исторический экскурс рассказчика – его предположения о том, что родина вогулов не здесь, что «они только втиснуты сюда необходимостью, историческими событиями, передвижениями по великой Азии народов» [Там же]. Загадочность происхождения народа продолжается в таинственности его внутренней, духовной жизни сегодня, тогда как внешняя жизнь вогулов предельно ясна и прозрачна. Проводником рассказчика в «мир таинственности» становится вогул Лобсинья, который рисуется им как «настоящий поэт», живущий, «весь углубившись в тайники своей детской души», к тому же обладающий «замечательным предчувствием» [Там же, с. 3]. Традиция изображения проводника из народной среды – поэта, мечтателя, инстинктивно чувствующего жизнь природы, в русской литературе не нова, достаточно вспомнить И. С. Тургенева с образами крестьян в «Записках охотника» («Хорь и Калиныч», «Касьян с Красивой Мечи»), в повести «Поездка в Полесье». Вероятнее всего, Носилов

---

<sup>4</sup> В данном случае имеется в виду символическая «инициация», в прохождении которой сам автор-рассказчик книги не вполне отдавал себе отчет, но ее общий смысл и отдельные этапы (о чем у нас см. далее) вполне соответствуют этапам реального посвящения пришельца в жизнь северного племени «лесных людей».

не ориентируется на этот образец – роль направляющего выполняет сама жизнь, поскольку бродить по диким лесам «белый человек», «барин» не станет один (хотя у Носилова, как и у Тургенева, есть рассказы о его одиноких лесных путешествиях). Как и в повести Тургенева, рассказчик Носилова восхищается уникальными способностями своего спутника и в конце концов проникается его чувствами, причем это происходит как бы помимо его воли. Наблюдая за Лобсиньей, носиловский рассказчик приходит к выводу, что «он постоянно и живет под их (языческих богов) страхом, куда бы он ни пошел, что бы он ни стал делать. Под тем же страхом жили и другие вогулы» [Носилов, 1904, с. 5]. Далее в этой же главе рассказывается о встрече рассказчика со стариком по имени Налимий хвост, общение с которым раскрывает двойную жизнь вогулов: днем они вместе рыбачат, и старик кажется совершенно безобидным, а ночью наступает его преобразование: «... только что, бывало, я займусь, как в тишине ночи со стороны его запрятанной в лесу юрочки раздадутся дикие, глухие звуки барабана, и я, дрожа от страха, проклинал это место, где, действительно, казалось, что-то творится неладное и где этот таинственный старик сносится с духами...» [Там же, с. 10]. Так постепенно и неумолимо рассказчик погружается в страх, который является обязательным спутником таинственного мира духов и богов вогулов, и, как можем мы предположить, свой страх он проецирует на своих спутников-вогулов, в частности на Лобсинью. Он пытается найти разумный выход из состояния ночных кошмаров, из мира непонятого и необъяснимого, говоря себе, что и в обычной жизни просвещенных людей «нельзя не найти чего-то такого, что уже знакомо тем детям природы, которых мы называем дикарями» [Там же, с. 17], т. е., в духе этнографии своего времени (в частности, почти по Тайлору), относит веру «дикарей» в своих духов и прочие загадочные вещи к «предрассудкам», сохранившимся даже в цивилизованном мире<sup>5</sup>. Но, как мы увидим из дальнейшего нарратива, эта отсылка носиловского рассказчика не «спасает».

Вторая глава (или раздел) книги носит название «Из жизни вогулов» и включает в свой состав пять (под)глав. В них последовательно разворачивается история несостоявшейся инициации героя-рассказчика, растянувшейся на несколько его посещений края манси.

Первая – «Шома-Пауль»: дается точная дата его пребывания в крае – 1883 г., рассказчик живет в этом пауле недолго, привыкая к новой жизни, причем его сознание пытается освоиться с незнакомыми условиями существования через механизм ассоциации с уже известным,

---

<sup>5</sup> Как пишет современный исследователь, «...эволюционистский и колониальный дискурсы рассматривали веру в колдовство как суеверие, которое должно быть уничтожено движением прогресса, а постколониальный расценивает ее как символ самобытности и подчеркивает позитивные стороны и адекватность этого феномена традиционным обществам» [Христофорова, с. 291]. Подход Носилова к «миру таинственного» у вогулов изначально лежит в рамках традиционного, эволюционистского и колониального, дискурса.

пусть по книгам: «...смотря на эти оригинальные костюмы, казалось, что мы где-то в Америке, в неизвестной стране, у дикарей, в лесах, далеко от света...» [Носилов, 1904, с. 23]. Рассказчик посещает разные юрты, беседует с вогулами, наперебой приглашающими его к себе «есть сырую рыбу» и обещающими научить «стрелять из их луков, показать ловушки на зверя» и т. д. Адаптация завершается успешно, и по установившемуся зимнему пути рассказчик добирается до следующего пауля, где он и должен был зазимовать.

Вторая подглавка – «Вогульский праздник»: герой становится участником коллективного праздника и успешно проходит испытание: вместе с остальными поедает сырую оленину с кровью, слушает пение и смотрит на танцы вогулов. Весь ход празднества вызывает у него живой интерес, но он не теряет присутствия духа и, соответственно, своего рационального «я»: не понимая слов песен, он «только любовался чужим впечатлением», именуется все происходящее «музыкальным вечером дикарей» [Там же, с. 34]. К концу вечера усталость и обилие впечатлений сминают барьер трезвого сознания, так что меняется даже письмо Носилова – в самом нарративе посредством длинных периодов с нарастающей эмоцией некоей обреченности и почти отчаяния передается охватившая героя истома и потеря координации, а завершается все обращением к образу Николая Чудотворца, «который как-то строго, спокойно, освещенный догоравшей свечкой, смотрел с полочки на все это дикое общество с замаранными кровью устами, словно сожалея их, словно говоря словами Спасителя: “Боже, прости их, они не ведают, что творят”...» [Там же, с. 35].

Третья главка – «На Северном Урале» – рассказывает о путешествии героя в горы, к богатому вогулу Пакину. «Скрытный, боязливый народ» [Там же, с. 36] принял рассказчика и начинает раскрывать перед ним свои тайны. Здесь герой проникается суровой красотой горного края, но опять сознание его движется по линии эффекта узнавания: «...смотря на окружающее, казалось, что это Альпы, а не север Урала...» [Там же, с. 55]. Этнографически-природоведческий нарратив сменяется публицистически-колониальным: «И мне кажется, помоги им правительство, поддержи падающее с года на год оленеводство, эти дикари стали бы опять живым племенем...» [Там же, с. 3].

Четвертая главка – вновь хронологическое возвращение в 1883 г., а в мифологическом дискурсе – дальнейшее путешествие рассказчика по стране вогулов, теперь на лодке в село Щекурья «под самым Уралом», где его проводником становится старик Савва. Старик служит сторожем села и храма и рассказывает герою, что батюшка их совсем «покорился» шаманству и барабанам. «Как уживалось шаманство рядом с православием в душе Саввы, – говорит рассказчик, – понять мне было трудно» [Там же, с. 62]. Описывая старика, он подчеркивает его бескорыстие, привязанность к родной природе и прекрасное знание ее: повторяется феномен Лобсиньи (Калиныча / Касьяна / Егора и др. у Тургенева). Савва наделен «детской душой» и «духовными

глазами», и через Савву герой-рассказчик стремится понять мироощущение вогулов. Местами его нарратив начинает напоминать действительный дневник этнографа-антрополога, в котором повествователь оказывается способен перейти на точку зрения наблюдаемого лица: «Но удовлетворить их (духов) нужно, потому что они постоянно следят за ним [за стариком Саввой. – Е. С.], и т. к. он теперь один, то только им, кажется, и заняты... Он страшно боится их, особенно медведя, который и послан на землю создателем мира Тормом...» [Носилов, 1904, с. 67]. Достоверность передаваемой через рассказ о Савве информации о вогулах подчеркивается документальной отсылкой к некоему французскому путешественнику, который поехал в край вогулов, и наш повествователь, теперь уже от лица автора, рекомендовал ему в качестве проводника Савву, тот его нашел и «запечатлел на желатине». Наконец, очерк завершается исполненным гуманизма обобщением повествователя о судьбе «наших инородцев в Сибири», «пробуждать» которых можно только при условии, что «мы сами, в виде его ближайших соседей, учителей, начальников, не изменим на него взгляд и не станем на него смотреть не как на дикаря, а как на человека» [Там же, с. 71].

Знакомство рассказчика с лесным народом становится все более близким и тесным, и, наконец, в главе пятой «У шайтана» – кульминации рассказа о жизни вогулов – осуществляется последний акт его затянувшейся инициации: героя-рассказчика приглашают в юрту вогула Сопра, главного шамана и сторожа местного шайтана, «на лосиную губу». Шайтан Чохрын-ойка «живет» неподалеку в священной горе<sup>6</sup>. Рассказчик, стремясь закрепить доверие вогулов, старательно поедает сырую лосятину – и те берут его с собой на жертвоприношение. Сама эта церемония, как известно, – центральный момент любой, а тем более языческой религии. Рассказчик участвует в церемонии переодевания идола, который называется «простым обрубок дерева», которого никто не боится. Казалось бы, травестирование состоялось, границы сакрального преодолены и страх тоже. Но когда рассказчик уходит прочь, у него возникает явственное ощущение: «словно кто-то за моей спиной был живой и смотрит в мою сторону. Я обернулся. Но там никого не было, и только в амбарчике сидел один Чохрын-ойка, глядя как-то уж слишком ухарски с заломленной красной шапкой нам вслед своими свинцовыми, круглыми без бровей глазами, как какой-нибудь наряженный дед на масленицу» [Там же, с. 92]. Взгляд идола играет предупреждающую роль. Но рассказчик подавляет неприятное впечатление и спешит на процедуру жертвоприношения – на площадку, где «был настоящий бивуак дикарей». Теперь те, кто только что были детьми, становятся дикарями, причем «кровожадными».

<sup>6</sup> Чохрын-ойка считался у вогулов покровителем охоты и промысла зверя. Составители сайта об обских уграх при описании святилища этого идола используют рассказ К. Носилова [см.: <http://www.sati.archaeology.nsc.ru/ugry/> (дата обращения: 11.05.2014)].

Место «детей» занимают несчастные олени, обреченные на смерть. Передается ужасная сцена гибели животных, показательна, что рассказчик не может уйти, хотя его никто не держит: «меня что-то приковало к месту, и я смотрел, смотрел до конца, дрожа от жалости и страха, видя, как падали один за другим животные головой к кострам...» [Носилов, 1904, с. 94]. Очевидно, инициация должна быть пройдена до конца. Пораженному сознанию повествователя вся эта сцена напоминает бойню, сакральный смысл которой побеждается торжеством крови и смерти. «...Острый нож в безжалостной руке дикаря» – такова эмпирически возникшая эмблема этой сцены. Сакральное опять травестируется, хотя теперь – не фамильярным отношением к идолу, но утратой самой ценности жертвы, однако это не препятствует ужасу охватить сознание героя-рассказчика. Перемазанный кровью идол во мраке ночи производит жуткое впечатление, и сознание почти покидает рассказчика, дальнейшее он передает обрывками: «...я, как во сне видел... я, как во сне, помню, как старик читал заклинания... <...> Наконец я не выдержал этой картины и бежал к огню, прочь отсюда, где, казалось, действительно, витало какое-то невиданное страшное существо... Но и у огня, куда я бежал, было еще ужаснее» [Там же, с. 95].

Итог приобщения рассказчика к религии вогулов плачевен для него как этнографа-исследователя: на другой день жизнь течет по-прежнему мирно, прошедшая ночь кажется сном, но, говорит рассказчик, «я почему-то не мог дольше оставаться в их обществе. Мне хотелось уйти, уехать... <...> На другой день я еще не мог записывать виденного в дневнике и только уже после, гораздо позднее, с отвращением покончил эту запись, которая еще будила во мне уже полузабытые чувства» [Там же, с. 97]. Герой переживает напряженный внутренний конфликт между любознательностью, терпимостью к иной вере и иным обычаям – и глубинными ощущениями ужаса и неприятия языческой архаики, для которой пролитие крови естественно и даже необходимо. В итоге этика «белого человека» побеждает – и носиловский рассказчик покидает гостеприимный пауль с благоволящим к нему стариком-шаманом Сопра, т. е. фактически спасается бегством. Итог его инициации оказывается амбивалентным: вогулы приняли его как своего, но он сам не смог принять их «другое», входящее в него самого, – не смог переступить порог<sup>7</sup>. На время он попытался идентифицироваться с чужим народом, и ему это даже удалось: акт идентификации как раз и выражен в сцене ночного жертвоприношения, когда герой пережил самый ужасный приступ страха, о чем долго не мог вспомнить «без отвращения» – его наблюдения за собой как за «другим»

<sup>7</sup> «Практически любой ритуал состоит из трех фаз – prelimинарной (отделение), лиминарной (промежуток) и постлиминарной (включение). <...> три стадии ритуала буквально – это стадия нахождения перед дверью (предпороговая стадия), вход в дверной проем, переступание порога (пороговая стадия) и выход / вход через дверь (постпороговая стадия)» [Берснев, с. 104–105].



переданы краткими, обрывочными фразами, путаницей сна и яви. Но принять это другое «я» в полной мере и жить с ним носилковский рассказчик не в силах.

Следующая часть книги – «Рождество в снегу»: рассказ о путешествии героя на Печору, чтобы там, в русско-зырянском селе, встретить рождественский праздник. Переваливая через хребет, он переезжает «из ужасной Азии в Европу» – и отрешается от страшных впечатлений вогульской жизни. По пути, во время ночевки в снегах, жена его проводника-вогула рождает ребенка. «И вдруг я чувствую, что что-то отрадное, священное, теплое вливается в душу, словно ангел, пролетая мимо в эту ночь, осенил нас крылом, словно какое чудо совершилось над нами...» [Носилов, 1904, с. 106]. Тайна рождения человека сопрягается для рассказчика с тайной великого Рождества, постичь ни ту, ни другую невозможно. Но, в отличие от «таинственного» в религии вогулов, здесь носилковский герой не испытывает страха, а только восторг и радость. Затем, уже в деревне на Печоре, наблюдая, как дети оттаивают замерзших птиц, он обобщает пережитое: «любовался на этот опыт пробуждения к жизни маленьких воробьев, думая о той тайне, в которой заключается жизнь» [Там же, с. 108]. Религия смерти – язычество – противопоставляется религии жизни – христианству. И если сознание рассказчика настойчиво стремилось к травестированию священных ценностей вогулов, снимающему охватывающие его страх и ужас, то здесь происходит сакрализация мирского: рождение младенца в снежной норе, воскресение птиц – все это возводится к великой тайне рождения Бога, знаменующего собой жизнь вечную. Тем самым рассказчик возвращается к себе, своей культуре и своей, т. е., по сути, европейской, этике.

Последующие главы книги рисуют нам героя-рассказчика, ведущего нарратив о вогулах уже без каких-либо попыток встать на их точку зрения, понять их мир изнутри и попасть внутрь сакрального. Правда, глава «Серебряная баба» знакомит нас с еще одним проводником и информантом Носилова – им вновь оказывается старик Савва, на этот раз слепой. Несмотря на разное время работы писателя над очерками, на разных персонажей-вогулов, он упорно избирает это имя, и его пристрастие к нему говорит о том, что литература в книге Носилова порой побеждает этнографию, или же, что допустимо, старик был один и тот же, но свое знакомство с ним писатель разделил на ряд фрагментов. Савва раскрывает перед заинтересованным русским историю жизни племени, пересказывает предания, поет песни и, наконец, говорит о самом главном – о центральном идоле вогулов – Серебряной бабе, которую они хранят как зеницу ока, пряча не только от чужих, но и от своих. Здесь меняется характер нарратива Носилова: он выстраивается в форме диалога рассказчика и Саввы, русский путешественник пытается выведать у вогула место нахождения Серебряной бабы, ему это, конечно же, не удастся. Очерк завершается рассуждением рассказчика о том, как было бы хорошо найти реликвию вогулов и передать ее

для сохранности в музей. Происходит окончательное обмирщение сакрального, так что очерк вполне закономерно завершается рассказом о некоем русском путешественнике, который искал в вогульских лесах Серебряную бабу, но так и не нашел ее.

Следующий очерк – «Батя» – вводит уже соотечественника носиловского рассказчика, русского священника, имеющего приход в вогульском селе. Батюшка промышляет рыбой, зверем, ибо иначе ему не прожить, но не забывает и о своем коренном деле – миссионерстве и просвещении вогулов. И хотя приобщение их к православию продвигается чрезвычайно трудно и батюшке приходится выдерживать конкуренцию с шаманом, но он не теряет оптимизма и искренне жалеет своих прихожан, нищета которых оказывается несопоставима даже с бедностью русского крестьянина. Таким образом, в масштабе всей книги позиция «белого человека», сопряженная как с миссионерством и просвещением, так и с колониальной политикой в отношении инородцев, побеждает. Рассказчик излагает прогрессивно-эволюционистскую точку зрения на происходящие события: через 10–15 лет здесь все будет по-другому, и батюшке не придется ловить самому рыбу на пропитание семейству. Пройдя, так сказать, через искус жизни в родстве с природой, партиципационное вживание в образ жизни ее истинных детей – вогулов, – носиловский автор-рассказчик возвращается к самому себе и к позиции стороннего наблюдения над жизнью и бытом «дикарей». Другое дело, что его ожидания решительно не оправдываются, и весь этот цикл очерков завершает рассказ о том, как через 10 лет герой вновь оказался в тех же местах и увидел ужасающие последствия русификации вогулов и приобщения их к «цивилизации»: пьянство, болезни, разврат, нищета рядом с бездельем и попрошайничеством и т. д. «Что же теперь делать? – вопрошает рассказчик. – Опять бороться? Опять выступать на защиту дикаря? Кажется, что да; только теперь надо его защищать от цивилизации, как это ни грустно и горько» [Носилов, 1904, с. 155].

Таким образом, инициация носиловского рассказчика (за которым с очевидностью стоит автор) оказалась возможна, но – только ценой утраты собственного «я» или с его существенной коррекцией, на что наш путешественник пойти не смог. Вероятно, описанные в литературе случаи сумасшествия путешествующих этнографов, трагических событий, происходящих с ними, – вплоть до смерти (или убийства их «аборигенами») – объясняются именно этим – не пройденной до конца инициацией в инородный мир, что либо губительно отражается на личности «белого человека», либо вредит «дикому» сообществу, нарушая его целостность. Однако показательна сама поэтика книги Носилова, его откровенный, хотя и не лишенный литературности, нарратив о путешествии вглубь «лесного царства», оказавшийся, как стремились мы показать, незавершенным странствием вглубь самого себя – все это выводит нас к новому, неклассическому, типу сознания и художественности XX в., к новой позиции антрополога и этнографа.

*Берснев П. В.* Священный Космос Шаманов. Архаическое сознание, мировоззрение шаманизма, традиционное врачевание и растения-учителя. СПб. : Академия исследования культуры, 2013. 368 с.

*Грачева А. М.* Русская беллетристика 1900–1910-х гг.: Идеи и жанровые формы // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М. : ИМЛИ РАН, 2009. С. 543–587.

*Гурвич И. А.* Беллетристика в русской литературе XIX века : учеб. пособие. М. : Изд-во Рос. открытого ун-та, 1991. 90 с.

История русского романа : в 2 т. Т. 2. М. ; Л. : Наука, 1964. С. 390–415 (гл. 9: Роман из народной жизни. Этнографический роман).

*Костохина М. С.* Север в этнографической беллетристике для детей XIX века // Северный и сибирский тексты русской литературы как сверткостексты: Типологическое и уникальное / сост., отв. ред. Е. Ш. Галимова, А. Г. Лошаков. Архангельск : Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2014. С. 160–168.

*Леви-Стросс К.* Первобытное мышление. М. : Республика, 1994. 384 с.

*Лимерова В. А.* Жанровые разновидности путешествия в коми-зырянской словесности середины XIX века // Эволюция жанров в литературе Урала XVII–XX вв. в контексте общероссийских процессов / О. В. Зырянов, Т. А. Смигирева, Е. К. Созина и др. Екатеринбург : УрО РАН, 2010. С. 165–182.

*Лотман Ю. М.* Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3 т. Т. 3. Таллин : Александра, 1993. С. 380–388.

*Носилов К. Д.* У воголов: Очерки и наброски. СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1904. 258 с.

*Носилов К. Д.* В лесах: Рассказы и очерки. М. : Изд. ред. «Юная Россия» и «Педагогический листок», 1910. 72 с.

*Носилов К. Д.* У рыбаков и звероловов Севера. М. : Изд. ред. ж. «Юная Россия», 1912. 136 с.

*Пытин А. Н.* История русской этнографии : в 4 т. Т. 1. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1890. 424 с.

*Ромодановская Е. К.* Русская литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск : Наука, 1994. 232 с.

*Созина Е. К.* Этнографически-колониальный субтекст в составе сибирского текста: по произведениям К. Носилова и П. Инфантьева // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве / отв. ред. К. В. Анисимов. Красноярск : СФУ, 2010. С. 108–132.

*Соколова В. Ф.* Народнознание и русская литература XIX века. М. : ЛИБРОКОМ, 2009. 336 с.

*Тайлор Э. Б.* Первобытная культура. М. : ПОЛИТИЗДАТ, 1989. 573 с.

*Фокеев А. Л.* Этнографическое направление в русском литературном процессе XIX века: истоки, тенденции, типология. М. : Народный учитель, 2002. 216 с.

*Христофорова О. Б.* Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России. М. : ОГИ, 2011. 432 с.

*Чеботарева Е. Г.* Народническая беллетристика в литературном процессе 70–80-х гг. XIX века: Генезис, типология : автореф. ... канд. филол. наук / Вят. гос. гуманитар. ун-т. Киров, 2009. 25 с.

Bersnev, P. V. (2013). Svyashhennyj kosmos shamanov. Arhaicheskoe coznanie, mirovozzrenie shamahizma, tradicionnoe vrachevanie i rasteniya-uchitelya [Sacred space of shamans. Archaic consciousness, shamanism ideology, traditional healing and plants-teachers]. St. Petersburg: Akademiya issledovaniya kul'tury'.

Chebotaeva, E. G. (2009). *Narodnicheskaya belletristika v literaturnom processe 70-80-h gg. XIX veka: Genezis, tipologiya: avtoref. ... kand. filol. nauk.* [Populist fiction in literature process of 70-80s yrs. of the 19<sup>th</sup> century: Genesis, typology. Dissertation abstract: Philological Sciences]. Kirov.

Fokeev, A. L. (2002). *E'tnograficheskoe napravlenie v russkom literaturnom processe XIX veka: istoki, tendencii, tipologiya* [Ethnographic line in Russian literature process of the 19<sup>th</sup> century: backgrounds, tendencies, typology]. Moscow: Narodnyj uchitel'.

Gracheva, A. M. (2009). Russkaya belletristika 1900–1910-h gg.: Idei i zhanrovye formy' [Russian fiction of 1900–1910s yrs.: Ideas and genre forms]. In *Poe'tika russkoj literatury' konca XIX – nachala XX veka. Dinamika zhanra. Obshhie problemy'. Proza*. [Poetics of Russian literature of the late 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> century. Dynamics of genre. General problems. Prose] (p. 543–587). Moscow: IMLI RAN.

Gurvich, I. A. (1991). Belletristika v russkoj literature XIX veka: ucheb. posobie [Fiction in Russian literature of the 19<sup>th</sup> century: study guide]. Moscow: Izd-vo Ros. otkry'togo un-ta.

Hristoforova, O. B. (2011). *Kolduny' i zhertyv': antropologiya koldovstva v sovremennoj Rossii* [Wizards and victims: anthropology of magic in modern Russia]. Moscow: OGI.

*Istoriya russkogo romana* [The history of Russian novel] (in 2 vols.). Vol. 2. Ch. 9: Novel from peoples' life. Ethnographic novel]. (1964) (p. 390–415). Moscow; Leningrad: Nauka.

Kostyuhina, M. S. (2014). Sever v e'tnograficheskoj belletristike dlya detej XIX veka [The North in ethnographic fiction for children of the 19<sup>th</sup> century]. In E. Sh. Galimova, A. G. Loshakov (Comp., Eds.). *Severnyj i sibirskij teksty' russkoj literatury' kak sverhteksty': Tipologicheskoe i unikal'noe* [Northern and Siberian texts of Russian literature as supertexts. Typological and unique] (p. 160–168). Arkhangelsk: Sev. (Arktich.) feder. un-t im. M. V. Lomonosova.

Lévi-Strauss, K. (1994). *Pervoby'tnoe my'shlenie* [Primitive thinking]. Moscow: Respublika.

Limerova, V. A. (2010). Zhanrovye raznovidnosti puteshestviya v komi-zy'ryanskoj slovesnosti serediny' XIX veka [Genre variety of the journey in Komi-Zyryan literature in the middle of the 19<sup>th</sup> century]. In O. V. Zy'ryanov, T. A. Snigireva, E. K. Sozina and al. *E'voluciya zhanrov v literature Urala XVII–XX vv. v kontekste obshherossijskih processov* [Evolution of genres in the literature of the Ural in 17<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> cc. within the framework of Russian national processes] (p. 165–182). Yekaterinburg: UrO RAN.

Lotman, Yu. M. (1993). Massovaya literatura kak istoriko-kul'turnaya problema [Mass literature as a historical-cultural problem]. In Yu. M. Lotman *Izbranny'e stat'i*. [Selected articles] (in 3 vols.). (Vol. 3) (p. 380–388). Tallin: Aleksandra.

Nosilov, K. D. (1904). *U vogolov: ocherki i nabroski* [At voguls: essays and sketches]. St. Petersburg: Izd. A. S. Suvorina.

Nosilov, K. D. (1910). *V lesah: rasskazy' i ocherki* [In forests: stories and essays]. Moscow: Izd. red. “Yunaya Rossiya” i “Pedagogicheskij listok”.

Nosilov, K. D. (1912). *U ry'bakov i zverolovov Severa* [At fishermen and trappers of the North]. Moscow: Izd. red. zh. “Yunaya Rossiya”.

Py'pin, A. N. (1890). *Istoriya russkoj e'tnografii* [The history of Russian ethnography] (in 4 vols.). (Vol. 1). St. Petersburg: Tip. M. M. Stasyulevicha.

Romodanovskaya, E. K. (1994). *Russkaya literatura na poroge novogo vremeni: Puti formirovaniya russkoj belletristiki perehodnogo perioda* [Russian literature on the threshold of new time: the ways of formation of Russian fiction in period of transition]. Novosibirsk: Nauka.

Sokolova, V. F. (2009). *Narodoznanie i russkaya literatura XIX veka* [Folkloristic, ethnographic and historical science of the people and Russian literature of the 19<sup>th</sup> century]. Moscow: LIBROKOM.

Sozina, E. K. (2010). E'tnograficheski-kolonial'nyj subtekst v sostave sibirskogo teksta: po proizvedeniyam K. Nosilova i P. Infant'eva [Ethnographically-colonial subtext within the Siberian text: on the works of K. Nosilov and P. Infantiev]. In K. V. Anisimov (Ed.). *Sibirskij tekst v nacional'nom syuzhetnom prostranstve* [Siberian text in national narrative space] (p. 108–132). Krasnoyarsk: SFU.

Tailor, E'. B. (1989). *Pervoby'tnaya kul'tura* [Primitive culture]. Moscow: POLITIZDAT.

*The article was submitted on 12.05.2014*

**Елена Константиновна Созина**  
профессор  
Россия, Екатеринбург  
Институт истории и археологии  
УрО РАН, Уральский федеральный  
университет  
elenasozina1@rambler.ru

**Elena Sozina**  
Professor  
Russia, Yekaterinburg  
History and Archaeology Institute,  
Ural Branch of RAS,  
Ural Federal University  
elenasozina1@rambler.ru

## ЗЛОВЕЩЕЕ В СКАЗАХ БАЖОВА

## THE UNCANNY IN BAZHOV'S TALES

P. P. Bazhov's tales are considered through the prism of S. Freud's theory of the uncanny (*Unheimlich*). The analysis focuses on the previously unstudied motifs of death and sexuality in the tales and connects the inner atmosphere of *Malachite Casket* with the atmosphere of fear and terror, which accompanied the creation of tales, as well as substantiates the new interpretation of *The Mistress of the Copper Mountain* as an alternative to the nationalism of Stalin's epoch. The phantasm of escape, clearly present in the tales, corresponds to the situation of escape from Soviet history. The elimination of historical traumas by means of sinister images connects Bazhov's creative work to magical historicism (A. Etkind). Bazhov's tales were at once frightening for the Soviet reader, as they told of death, fatal temptation and paralyzing impotence in one's hometown, but also soothing, since they made it possible to articulate the trauma resulting from the historical loss of local culture and the fear of grand motherland. Thus, Bazhov's tales resonated within the Soviet individual and the collective unconscious. This can explain the success of *Malachite Casket* with generations of Soviet people and the tale's cultural untranslatability.

Key words: 20<sup>th</sup> century Russian literature; Soviet society; S. Freud; P. P. Bazhov; *Malachite Casket*; motif analysis.

Сказы П. П. Бажова рассматриваются в контексте теории З. Фрейда о зловещем (*Unheimlich*). Предлагаемый анализ позволяет выделить такие, ранее не становившиеся предметом специального рассмотрения мотивы сказов, как смерть и сексуальность, связать внутреннюю атмосферу «Малахитовой шкатулки» с атмосферой страха и террора, сопутствовавшей рождению сказов, а также обосновать новую интерпретацию Хозяйки Медной Горы как своеобразной альтернативы национализму сталинской эпохи. Фантазм бегства, отчетливо проявившийся в сказах, соотносится с ситуацией бегства от советской истории. Вытеснение исторической травмы через зловещие образы помещает сказовое творчество Бажова в контекст тенденции «магического историзма» (А. Эткинд). Сказы пугали советского читателя зрелищем смерти, губительного соблазна и парализующего бессилия в родном месте и одновременно успокаивали тем, что позволяли артикулировать травму исторической утраты локальной культуры и страха перед «большой»

Родиной. Таким образом, сказы Бажова вступали в контакт с советским индивидуальным и коллективным бессознательным. Этим можно объяснить популярность «Малахитовой шкатулки» среди советских поколений и практическую культурную непереваемость сказов.

Ключевые слова: русская литература XX в.; советское общество; З. Фрейд; П. П. Бажов; «Малахитовая шкатулка»; мотивный анализ.

Жанр бажовских сказов изначально противоречив, поскольку в его основании лежат трудносовместимые установки сказочной и несказочной прозы [подробнее об этом см.: Михнюкевич]. По определению В. Терраса, сказ «предполагает нейтральную территорию между сказкой с ее открыто фантастическим содержанием, и былью, маркирующей содержание как “правду”... Сказ, однако, содержит дополнительную информацию, помещая повествование... на границу между повседневным речевым событием... и произведением устного искусства, способным пережить свое время и передаваемым из поколения в поколение» [Terras, p. 420]. В то же время, несмотря на утверждения Бажова о том, что сказы основаны на дореволюционном рабочем фольклоре, современные фольклористы полагают, что, скорее, опираясь на достаточно разрозненные и фрагментарные фольклорные предания, автор «Малахитовой шкатулки» сплотил их в целостную мифологию прежде всего своей собственной творческой фантазией [см. об этом: Блажес, 2003, с. 3].

Промежуточное положение сказов Бажова между сказкой и былью предопределило ту специфическую роль, которую они приобрели в советской и особенно в детской литературе. Бажову удалось одновременно отозваться на несколько, на первый взгляд, противоречащих друг другу задач, поставленных перед советским писателем для детей. С одной стороны, его сказы «от первого лица» формировали исторические представления о тяжелой жизни уральских рабочих в дореволюционной России. В этом качестве сказы служили псевдодокументальным подтверждением того дискурса о русской истории, который отвердел до состояния идеологической догмы в культуре 1930-х гг. Вместе с тем, они в полной мере соответствовали той модели социалистического реализма, которая была выдвинута в докладе Горького на Первом съезде советских писателей и предполагала фактическое обращение к классово понятому фольклору в качестве литературного образца. Нельзя не увидеть в сказах Бажова и наилучшее воплощение тех, большей частью комических, попыток создания «нового фольклора» (или фейклора), символами которого стали «новины» Марфы Крюковой и песни Джамбула Джабаева<sup>1</sup>. Сказы Бажова оказались особенно востребованы в связи с острым дефицитом «рабочего фольклора», долженствующего воплощать классовое сознание пролетариата, в то время как огромное большинство

<sup>1</sup> Об отношении Бажова к соцреализму см.: [Круглова]. О роли фольклора в сталинской культуре см.: [Миллер; Богданов; Юстус; Джамбул Джабаев...].

(псевдо)фольклорных текстов в литературе 1930-х гг. принадлежали к крестьянскому фольклору, вступая в противоречие с насаждаемой культурной гегемонией пролетариата.

Вместе с тем, широкая популярность сказов Бажова вряд ли объяснялась резонансом с требованиями соцреализма. Дело даже не в том, что сказы создавали оригинальный и яркий мир фантазии – то же самое можно сказать и о сказках А. Толстого, Л. Лагина, Н. Носова или повестях Л. Кассиля. Рискну утверждать, что именно в силу промежуточного положения между сказочной и несказочной прозой сказы Бажова обладали более выраженным терапевтическим эффектом – они не только, подобно сказке, уводили читателя в мир фантазии, но и предлагали квазиреалистическое (на самом деле, фантастическое, или, точнее, символическое) разрешение психологических – и, как я постараюсь доказать, социальных кризисов, не угадываемых детьми, но отчетливо осязаемых взрослыми читателями Бажова. «Двойное кодирование», позволяющее читать текст на разных уровнях – буквальном и метафорическом – ни в коей мере не уникально для советской детской литературы, однако, бажовские сказы довольно плохо поддаются метафорической или аллегорической интерпретации. Их воздействие на взрослого читателя, скорее, кроется на уровне бессознательного.

### Советская готика

Историю создания «Малахитовой шкатулки», хорошо известную специалистам, сам Бажов по понятным причинам не выпускал за пределы семейного круга. Она, однако, проливает свет на то психологическое состояние, которое запечатлелось, помимо воли автора, в сказах. Основная часть сборника была написана с января 1937 до начала 1938 г., т. е. в разгар Большого террора, когда он был уволен со службы в Свердловском книжном издательстве и исключен из партии за «прославление врагов народа» в написанной им книге «Формирование на ходу: К истории Камышловского 254-го 29-й дивизии полка» (Свердловск : Свердл. обл. кн. изд-во, 1936). Не следует забывать и о том, что Бажов в прошлом был активным эсером (проходил по списку эсеров в Думу) и за это уже однажды его исключали из партии в 1933 г. (позднее восстановлен). Кроме того, у него за плечами была многолетняя служба преподавателем в Пермской духовной семинарии, а также пребывание на территории Томского урмана, находившегося под контролем Колчака. Куда меньшего «послужного списка» было более чем достаточно для длительной командировки в ГУЛАГ. Внук Бажова, Егор Гайдар, так описывал дальнейшее:

В 1938-м его исключили из партии, сняли с работы. Потом получил повестку из НКВД: явиться в такой-то кабинет. Понятно, что ничего хорошего от вызова не ждали. Бабушка сложила Павлу Петровичу

«арестный чемоданчик». Обнялись, попрощались – и он пошел. Сидит у кабинета. Проходит час, другой, день к концу – не вызывают. Кто-то другой начал бы метаться, сунулся бы в соседний кабинет. Но дед был человеком мудрым. Взял тихонько свой чемоданчик, вышел, вернулся к себе на Чапаева, 11, запер калитку – и год с лишним на улицу не выходил. Копался в огороде, вечерами разбирал бумаги: с двадцатых годов записывал уральский фольклор. Бабушка тоже из дому не выходила. С ними жила бабушкина сестра, Наталья Александровна, учительница – она стала «связью с миром». Затаились. Жили с огорода плюс крошечная зарплата Натальи Александровны. Потом оказалось, что это было правильное решение. В Свердловском НКВД как раз начались перекрестные репрессии: сажали следователей 1937 г. В чехарде и бардаке про Бажова забыли. А он про себя не напоминал. Бумаги, которые дед разбирал, оформились в знаменитую «Малахитовую шкатулку». По сути, Бажов написал ее за эти полтора года, ожидая ареста [цит. по: Нахамкин].

Обстоятельства создания «Малахитовой шкатулки» объясняют уникальное место этой книги – ведь это чуть ли не единственное зловещее по своей эмоциональной тональности произведение среди ликующего оптимизма советской детской литературы. Готический колорит сказов, на первый взгляд, оправдан изображением «мрачного дореволюционного прошлого». Однако не изображение рабочих как жертв классовой эксплуатации играет главную роль в создании этого колорита. Как и многие другие тексты, авторы которых пытались отвлечься с помощью творчества от переживаемого травматического опыта, «сказы старого Урала» несут на себе отпечаток террора и страха, проступающий, по преимуществу, не в реалистических, а в фантастических мотивах и образах. Можно даже предположить, что та популярность, которую сказы Бажова приобрели во время войны, особенно во взрослой аудитории, объясняется как раз скрытой в них травмой. Позволю себе предположить, что в фантастических образах сказов происходит *возвращение вытесненного* – вытесненной травмы террора, вытесненного ожидания ареста – и именно благодаря этому возвращению «Малахитовая шкатулка» наполняется такой беспрецедентной для советской (а особенно детской) литературы *жутью*. Жуткое или зловещее (*Unheimlich*) определялось Фрейдом именно как возвращение психологически вытесненного и репрессированного в неузнаваемом, часто фантастическом виде [Фрейд]. Эта эстетическая категория не чужда мировой детской литературе (достаточно вспомнить Гарри Поттера) [см.: Trites; Coats; Zipes], но практически никогда не обсуждалась в контексте советской детской словесности. Трудно найти материал, более подходящий для такого обсуждения, чем сказы Бажова.

В интерпретации Фрейда, «зловещее – это тот род жуткого, который восходит к давно известному, издавна знакомому»; «... страшное есть нечто когда-то вытесненное, а ныне возвращающееся. Этот род



страшного и оказался бы зловещим, причем совершенно независимо от того, было ли само оно изначально страшным или же сопровождалось каким-то иным аффектом... если тайная природа зловещего действительно такова, то нам становится понятно, почему в языковом употреблении *das Heimliche* может переходить в свою противоположность, *das Unheimliche*, ибо зловещее это в действительности не является чем-то новым или чуждым: это, напротив, нечто издавна известное душевной жизни, отчужденное от нее лишь под действием процесса вытеснения». Уточняя, что имеется в виду под «вытесненным, а ныне возвращающимся», Фрейд называет такие разнородные культурные и психологические элементы, как следы анимизма и магии, «чрезмерное акцентирование психической реальности в ущерб материальной» (или «всемогущество мысли»), страх смерти, различные формы удвоения личности (маски, куклы, двойники) и кастрационный комплекс (часто выражающийся в мотивах отрезанных конечностей и головы). Особую роль приобретает в этом контексте амбивалентное отношение к женской сексуальности, сочетающее в себе страх и влечение.

Любопытно, что Фрейд использовал сказочные идиомы при описании сексуальных аспектов зловещего. По его уточняющей характеристике, «зловещее впечатление часто и легко производится тогда, когда размываются границы между фантазией и действительностью, когда перед нами предстает вдруг наяву нечто такое, что до сих пор мы считали принадлежащим царству фантазии». Поэтому Фрейд не считает волшебные сказки с их четкой установкой на «нарочитую и поэтическую фикцию» [Пропп, с. 81] формой зловещего: «Сказка вообще часто ставит себя на анимистическую точку зрения всемогущества мысли и желания, и однако я не сумел бы назвать ни одной настоящей сказки, в которой имелось бы нечто зловещее». С этой точки зрения, именно бажовский сказ с его неопределенно-размытой границей между былью и вымыслом куда ближе к зловещему. Недаром Бажов так методично усиливает эффект достоверности фантастического точными географическими указаниями, названиями уральских поселков, рудников, гор и лесов. Он так же щепетильно называет или описывает владельцев и управляющих заводов во время действия сказа, чем задает (квази)историческую рамку, в сущности, противоречащую внеисторическому хронотопу волшебной сказки.

Вместе с тем, несмотря на иллюзию историчности и реалистичности, бажовские сказы сохраняют важные аспекты сюжетной структуры волшебных сказок. В частности, большинство сказов основано на сюжетной модели испытания (с последующей наградой или наказанием), осуществляемого над молодыми героями, как юношами, так и девушками, волшебным помощником. Как правило, в качестве волшебного помощника выступает Хозяйка Медной Горы, аналогичную функцию выполняют Синюшка, Огневушка-поскакушка, Голубая Змейка или Великий Полоз (притом, что последние три также

выступают в роли хранителей золота). В то же время именно эти персонажи и становятся у Бажова главными воплощениями зловещего.

Медной Горы Хозяйка, хранительница и царица всех подземных богатств, нередко появляющаяся в виде такого хтонического существа, как ящерица, – это, безусловно, самый зловещий из бажовских персонажей. В одних сказах она изображается как зрелая женщина, в других – как молодая девушка, при том что ее коса никогда не скрыта платком – что явно указывает на то, что она не замужем: «Спиной к парню, а по косе видать – девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине» («Медной Горы Хозяйка»).

«Ссиза-черный» цвет в сочетании с черными глазами намекает на неславянское происхождение Хозяйки, что подтверждает и такая фраза из того же сказа: «Слыхать – лопочет что-то, а по-каковски – неизвестно, и с кем говорит – не видно». Этот мотив восходит к памяти о коренном населении Урала, вытесненном на север в процессе колонизации XVI–XVII вв. Эта легенда отражается в самых ранних сказах Бажова, таких как «Дорогое имячко» (1936) – с историей о «девке Азовке» из племени «старых людей» (оборот, устойчиво используемый Бажовым для описания коренного населения), закрывшейся в Азов-горе, чтобы оплакивать своего умершего жениха и хранить его несметные сокровища. В автокомментарии «У старого рудника» (1940) Хозяйка Медной Горы прямо соотносится с «девкой-Азовкой».

«Инородство» сочетается с другим важным аспектом в изображении Хозяйки – ее ассоциацией с «нечистыми», дьявольскими силами. Как отмечал В. В. Блажес, в образе Хозяйки угадываются черты «полудницы, буканушки, кикиморы и пр. неведомой и нечистой силы из народной демонологии <...>». Во внешнем облике Хозяйки отражена ее двуединая сущность: Степан видит перед собой и прекрасную девушку, и создание демоническое, опасное. Чуть позже он поймет, что Малахитница – настоящий оборотень («вместо рук-ног у нее лапы зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья») и скажет: «Тьфу ты, погань какая!» [Блажес, 2007, с. 252]. Недаром о Степане, которому Малахитница помогает, говорят, что он «душу нечистой силе продал» («Медной Горы Хозяйка»); подаренные Хозяйкой бусы ощущаются «как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько», причем именно в тот момент, когда надевающая их Настасья, жена Степана, «пойдет в церкву или в гости куда» («Малахитовая шкатулка»); и ни крест, ни молитва не смогут уберечь злодеев от Хозяйкиных зверей (или ее звериных инкарнаций) – волшебных кошек, глаза у которых украли золотоискатели («Сочневы камушки»).

Однако наиболее точно Хозяйку характеризуют три важнейших мотива, связываемые Фрейдом со зловещим: сексуальная власть, ассоциация со смертью и исходящая от нее угроза кастрации / лишения власти.

## Сексуальность

Разумеется, отсылки к сексуальности в сказах Бажова могут быть только косвенными – и в силу советского цензурного пуританизма, и в силу оформившейся уже после первой публикации ориентации сказов на детскую аудиторию. Однако, и непрямые мотивы достаточно красноречивы, чтобы не упустить их из виду.

Не только сама Малахитница, но и весь мир подземных дворцов, лесов и лугов, сделанных из драгоценных камней, неизменно изображается как мир небывалой красоты: «Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьянная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют» («Каменный цветок»); или: «Отворил он – что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал» («Две ящерицы»). Однако, те, кто познал красоту, вскоре ощущают ее смертоносный эффект – что, конечно, наиболее осязаемо представлено образом Каменного цветка: те, кто «цветок каменный видали, красоту поняли». Однако в «Каменном цветке» звучит и предупреждение: «Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет» («Каменный цветок»).

Таинственный каменный цветок своей формой напоминает дурман (ядовитый цветок из семейства белладонных), который, как не раз упоминают персонажи Бажова, расцветает в Змеиный праздник. Этот праздник приходится на 25 (12) сентября и, по видимому, является северной версией традиционных в языческих культурах осенних ритуалов, посвященных женской силе<sup>2</sup>, что естественно связывает и цветок, и Хозяйку с символами сексуальности. Даже не вдаваясь в сугубо фрейдистские интерпретации символизма цветка<sup>3</sup>, очевидно, что Хозяйка излучает сексуальные чары и то,

<sup>2</sup> Выразительной параллелью к Змеиному празднику может послужить празднование Параскевы Пятницы (28 октября), который считается примером двоеверия, подменившего культом христианской святой куда более древние славянские ритуалы, посвященные Мокоши. Во время Змеиного праздника, как и на Параскеву Пятницу, запрещена всякая женская работа [см.: Hubbs, p. 116–123]. Та же исследовательница указывает на связь мотива змеи с сексуальностью: «Луна – дождь – плодородие – женщина – змея [эта цепочка мотивов] служит означаемым смерти и возрождения в фольклоре, окружающем как Бабу Ягу, так и европейские гадания по фазам Луны» [Ibid., p. 45].

<sup>3</sup> «Цветение и цветы символизируют женские гениталии, в особенности девственность» [Freud, p. 158].

что эти чары откровенно опасны. Так, например, в сказе «Жабреев ходок» возникает описание каменных губ, заманивающих центрального героя в глубину горы – сексуальный подтекст этого мотива вполне очевиден.

Считается, что Хозяйка помогает исключительно неженатым мужчинам («Женатым я не пособляю», говорит Хозяйка в «Травяной западенке»), однако в «Медной Горы Хозяйке» она предлагает Степану жениться на «каменной девке», несмотря на то, что он уже женат, вступая в соперничество с его женой и первой оплакивая смерть возлюбленного.



В «Горном мастере» сходная ситуация повторяется уже с новым героем – Данилой. Когда его молодая жена, Катя, которую он оставляет сразу после свадьбы ради Хозяйки, приходит за ним в подземное царство, Данила должен сделать выбор между двумя мирами и двумя женщинами: «Ну, Данило-мастер, выбирай – как быть? С ней пойдешь – все мое забудешь, здесь останешься – ее и людей забыть надо» («Горный мастер»).

Каким бы ни был исход соперничества Хозяйки с земными женщинами (и Степан, и Данила возвращаются к своим женам), в обоих случаях неизменной остается эмоциональная привязанность Малахитницы к мастерам, не проходящая и после их смерти. Не случайно Хозяйка фактически становится приемной матерью дочери Степана, Танюшки, появляясь в доме Степана после его смерти в облике «странницы», обучающей девочку вышивать бисером и называющей ее «доченькой». Более того, Танюшка наследует сексуальную магию Хозяйки, в буквальном смысле ослепляя мужчин, от «хитника» до петербургского аристократа, когда она появляется перед ними в украшениях, подаренных Хозяйкой ее матери (и от которых та так страдала).

Отчетливые сексуальные мотивы окружают и других духов гор – таких, как Синюшка, появляющаяся в облике то дряхлой старухи, то прекрасной девушки; Огневушка-поскакушка, танцующая в пламени; Змеевка, рыжеволосая дочь Великого Полоза; Голубая Змейка, появляющаяся в облике женщины, плывущей над землей в облаке золота, сопровождающем ее с одной стороны, и облаке черной пыли и золы – с другой. Как правило, все эти волшебные существа, несмотря на связь с миром камня, маркированы мотивами света, тепла и огня, что опять-таки оправдывает сексуальные обертоны. В случаях Змеевки и Огневушки все эти мотивы также оправданы метафорической ассоциацией с золотом. Но Хозяйка обладает властью над всеми рудами и минералами, кроме золота, так что ассоциация между золотом и пламенем к ней явно не относится. Но даже эта «каменная девка»,

часто являющаяся в облике холоднокровной ящерицы или змеи, так же часто сравнивается с подземным солнцем и изображается с огненным цветком в руке:

– А она сердитая? – спрашивает опять Таятка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охалка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится («Таяткино зеркальце»)

Даже Хозяйкин подарок семье Степана – малахитовая шкатулка – как огонь, сияет из подпола; но этот огонь освобожден от всяких связей с золотом, оставаясь исключительно в сфере сексуального.

Все эти символы зримо воплощают женскую силу Хозяйки Медной Горы. Коротко говоря, Хозяйка и другие магические героини сказов воплощают Эрос Урала. Поскольку «старый Урал» предстает у Бажова территорией, исполненной неисчерпаемых природных богатств и ставшей первым почти исключительно индустриальным краем, в художественной географии сказов нетрудно усмотреть мифологическую параллель к СССР 1930-х гг. с доминирующей идеологией индустриализации и покорения природы. Характерно при этом и то, что заводы – в отличие от индивидуальных мастеров – практически во всех сказах вступают в конфликт с Хозяйкой. Иначе говоря, индустриализация и Эрос земли оказываются несовместимы.

Отсюда – следующий важный мотив в освещении Малахитницы: смерть.

## Смерть

И Хозяйка, и Синюшка, и отчасти Змеевка воплощают неотделимость Эроса от Танатоса с явным превалированием последнего. Хозяйкин цветок недаром сделан из холодного камня, что указывает на смерть наряду с сексуальностью. Важна и прямая связь Хозяйки с малахитом: она одета в малахитовое платье, из малахита сделан каменный цветок, да и саму Хозяйку нередко называют Малахитницей. И сам малахит, и особенно его пыль многократно определяются Бажовыми как ядовитые: «И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая» («Каменный цветок») – что, естественно, переносится и на Хозяйку Медной (т. е. малахитовой) Горы: «Медну хозяйку хоть видеть не довелось, а духу ее сладкого нанюхался, наглотался. В Гумешках-то дух такой был – поначалу будто сладит, а глотнешь – продыхнуть не можешь. Ну, как от серянки. Там, вишь, серы-то много в руде было. От этого духу

да от игрушек у меня нездоровье сделалось» («Тяжелая витушка»). Аналогичным образом, как поясняет сам Бажов, Синюшка ассоциируется в фольклоре с обманчиво-смертельным болотным газом.

В соответствии с этой логикой, царство Хозяйки, несмотря (а может, и благодаря) на его красоту, предстает миром мертвых –



своего рода уральским языческим Элизиумом. Это царство изображается как подземный зеркальный двойник земного мира, знакомый и незнакомый одновременно – не случайно переход из одного мира в другой часто незаметен для героев сказов: «Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает: «Видно, я в гору попала»». Примечательно, что Катя попадает в царство Хозяйки, только оплакав Данилу как мертвого: «Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают: – На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, – и протча тако...» Аналогичным образом Данила, замороженный красотой каменного цветка, чувствует себя на вечеринке перед свадьбой, как на похоронах: «Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал – песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась: – Что с тобой? Ровно на похоронах ты! А он и говорит: – Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу» («Каменный цветок»). А после того, как Данила уходит к Хозяйке, Катю зовут «мертвякова невеста».

Эта образная логика сохраняется и в других сказах. Спасенный Хозяйкой от одиночного заключения в забое, Андрей из «Двух ящериц» поначалу думает: «Видно... мертвяком меня выволокли...» – а затем, когда появляется на белый свет, его принимают за привидение. И в целом, ни Хозяйка, ни Синюшка, ни Змеевка, ни Голубая Змейка, не колеблясь, убивают или заманивают в смертельные ловушки тех, кто не проходит их испытаний. Но и те, кто награжден этими женскими духами, тоже «не жильцы». Степан, вернувшись от Хозяйки к Насте, «невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял» («Медной Горы Хозяйка»). Но умирает он, придя к Хозяйке и с улыбкой на губах. Илья из «Синюшкина колодца», которого волшебная бабка/девица награждает богатством за то, что нежадным оказался, влюбляется в духа и страдает от этой любви, пока не находит двойника Синюшки (в ее привлекательном облике, конечно). Тем не менее, Бажов считает необходимым добавить в финале сказа:

С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел. Только ненадолго. Она, вишь, из мраморских была. То ее Илюха и не видал раньше-то. Ну, а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой – овдоеешь. С малых лет около камню бьются – чахотка у них.

Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то.

Учитывая фрейдовскую интерпретацию мотива двойника как символической манифестации смерти и выражения зловещего, нельзя не заметить и того, как постоянно двоится образ Хозяйки: ее многочисленными двойниками становятся снующие повсюду ящерки (аналогичным образом и у Синюшки обнаруживается множество личин – есть у нее и двойники среди земных женщин). Волшебным образом исчезая из Зимнего дворца, Танюшка из «Малахитовой шкатулки» оборачивается двойником Хозяйки: «Сказывали, будто Хозяйка Медной Горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали».

Сама Хозяйка постоянно окружена зеркалами, чья негативная – по ассоциации со смертью – роль подчеркивается во многих сказах. Например, в «Тяуткином зеркальце» рабочие, нашедшие огромное каменное зеркальце, единодушно считают его дурной приметой: «Всяк от стариков слышал, что это примета вовсе худая. Пойдет такое – берегись! Это Хозяйка Горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет». Но четырехлетняя сирота Тая Заря, найдя точную уменьшенную копию горного зеркала, считает находку подарком от Хозяйки (Бажов и тут непременно уточнит: «Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила»). А в «Малахитовой шкатулке» похожее зеркало-пуговка прямо подарено дочери Степана, Танюшке, Хозяйкой, переодетой «странницей». Именно благодаря этому подарку и связи, установленной с Хозяйкой «через пуговку» («Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит... Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит – пущай продают»), героиня сказа и становится двойником Малахитницы. Вся эта череда зеркал и зеркальных персонажей соотносима с «навязчивым желанием повторять», которое, по Фрейду, характеризует как зловещее, так и влечение к смерти, представляющее собой инверсию эротического влечения (см. «По ту сторону принципа удовольствия»).

### **Угроза властям / символическая кастрация**

Хозяйка Медной Горы настойчиво, а подчас и злобно подначивает горное начальство, заставляя героев нескольких сказов («Медной Горы Хозяйка», «Две ящерки») передавать оскорбительные послания

урядникам, владельцам рудников и т. п. Более того, вдохновленная ею Танюшка бросает вызов самой императрице:

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит – никого нет. Царицыны наушницы и доводят – турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, – что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит – не шевельнется.

Царица и кричит:

– Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу – турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

– Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнулась. Засуетились, поднимать стали.

Очевидно, что Танюшкино требование показать царицу ей, по крайней мере, безрассудно. Однако очевидно и то, что именно она одерживает победу над Екатериной Великой. Ведь это императрица дожидается Турчанинова с невестой в другом зале, и это она, в конечном счете, приходит в Малахитовый зал на аудиенцию к дерзкой красавице. Это Екатерина оказывается на полу, в то время как Танюшкина непочтительность (не кланяется, говорит о Екатерине в третьем лице, не представляется) символически демонстрирует превосходство девушки – ее красоты или Хозяйки, за ней стоящей.

В сказах встречаются еще более яркие примеры того, как Хозяйка или ее двойники вызывают эффект символической кастрации. Так, в «Приказчиковых подошвах» Хозяйка бросает вызов жестокому Северьяну Кондратьичу, вооруженному до зубов и окруженному бандой головорезов, терроризирующих рабочих. За неподчинение ее приказу Хозяйка превращает приказчика в камень – сначала от земли до пояса: «– До этого места нет его. – Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс». В другом сказе Хозяйкино огромное зеркало плюется рудой в хозяина завода и его жену; в результате у надзирателя отнимаются ноги, «заграничному баринку... самый наконешничок носу сшибло.



Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали – не задавайся, не мыкай до времени!», а его жена «с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ничему не научишь». Обрезанный нос, паралич нижней части тела, урон половым органам – налицо полный набор метафор кастрации.

Как правило, жертвами Хозяйки становятся «отрицательные» персонажи – именно благодаря этим жестам Бажов демонстрирует верность советскому нарративу классовой борьбы. Однако встречаются в сказах и ситуации, не поддающиеся классовой интерпретации. Например, в «Малахитовой шкатулке» огненное сияние, исходящее от подарка Хозяйки, ослепляет «хитника», вора, забравшегося в избу с топором:

Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

– Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! – а сам глаза трет.

Танюшка видит – неладно с человеком, стала спрашивать:

– Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот знай стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела – зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

– Ой, не подходи! – Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход – выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет – проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

– Как солнцем ударило. Думал – вовсе ослепну. От жары, что ли.

Изображение взрослого мужчины, к тому же с топором, испугавшегося девочки, наводит на мысль о тождестве ослепления с символической кастрацией (Фрейд разрабатывает эту параллель, анализируя «Песочного человека» Гофмана). Впрочем, напрашивающаяся интерпретация носит отнюдь не классовый, а, скорее, моралистический или гендерный характер.

Сходным образом и в «Синюшкином колодце» старуха (которой еще только предстоит обернуться прекрасной девицей) бросает герою вызов, предлагая ему напиться из ее колодца, что Илюхе удастся сделать с большим трудом. Сексуальный подтекст этого испытания вполне очевиден, он, к тому же, подчеркнут тем, что герой насаживает ковш на длинный шест, который дает слабину и обламывается посередине к Синюшкиному удовольствию. Хотя после унижения Илюхи Синюшка все-таки награждает его, сам этот сюжетный ход нарушает сугубо сказочную логику, на которой основан этот сказ и никоим образом не объясняется категориями классовой борьбы.

## Дом vs Родина

Но если Хозяйка Медной Горы и другие женские духи в сказах Бажова воплощают зловещее, оформляемое сплетением мотивов опасной сексуальности, смерти и символической кастрации, то как это зловещее связано с теми историческими обстоятельствами, которые Бажов *вытеснял*, когда писал «Малахитовую шкатулку», и как выразившееся в его сказах зловещее повлияло на роль этих произведений в советской культуре?

Как упоминалось выше, в концепции Фрейда зловещее тесно связано с понятием дома и родины, представляя их в знакомо-незнакомом, отчужденно-узнаваемом виде:

Зловещее это, однако, есть ход, ведущий на древнюю родину (*Heimat*) человечества, в такую местность, где пребывал каждый из нас некогда и прежде всего. *Liebe ist Heimweh*, «любовь – это тоска по родине», утверждается в одном шутовском высказывании, и когда видящий сон человек еще во сне своем думает о какой-то местности или ландшафте: «Это мне знакомо, тут я уже был однажды», – то местность эту правомерно истолковать как гениталии или чрево матери. Таким образом, и в этом случае зловещее оказывается чем-то некогда родным (*Heimische*), давно известным. Приставка же «un» в этом слове (*das Unheimliche*) есть метка вытеснения.

Если приложить эти категории к сказам Бажова, то их интерпретация окажется достаточно парадоксальной, особенно в применении к текстам, будто бы написанным для детей. Как мы могли убедиться, в сказах Бажова зловещее крайне редко ведет к буквальному возвращению героя домой. Если герой и возвращается к себе домой, то ненадолго; если дом создается заново, то оказывается непрочным и пронизанным деструктивной энергией зловещего – отсюда смерть главного героя, следующая за, казалось бы, счастливым концом в таких сказах, как «Медной Горы Хозяйка» или «Синюшкин колодец»; отсюда иллюзорность семейной гармонии в таких циклах сказов, как «Каменный цветок» – «Горный мастер» – «Хрупкая веточка» или «Про Великого Полоза» – «Змеиный след». Не возвращение в родной дом, а *бегство* представляется куда более счастливым финалом бажовских сюжетов – либо буквальное исчезновение главного героя или героини, либо уход в царство Хозяйки. Из четырнадцати сказов, вошедших в первоначальную редакцию «Малахитовой шкатулки», семь заканчиваются именно так. Кроме очевидных Танюшки из «Малахитовой шкатулки» и Данилы-мастера, в этом контексте вспоминаются сын Данилы и Катерины Митюха из «Хрупкой веточки», бунтарь Андрюха из «Двух ящерок», Дуня из «Кошачьих ушей», Марко из «Маркова камня», таинственная Змеевка из «Змеиного следа»,

Денис из «Жабреева ходака». Особенно примечательно бегство Айлыпа из «Золотого волоса»: после трех попыток украсть свою возлюбленную у ее отца, Золотого Полоза, герой прячется вместе с суженой под озером – что может быть понято как метафора царства смерти, – где находится все нужное для жизни, но главным образом для любви и свободы.

Фантазм бегства, так отчетливо проявившийся в сказах, по-видимому, прямо соотносится с ситуацией письма. В ожидании ареста Бажов пытался отвлечься погружением в мир фантазии, который окружал его детство и вписывал его личность в более давнюю, сугубо уральскую историю. Не имеет большого значения, действительно ли Бажов слышал что-то подобное сказам в детстве или, настроившись на «волну памяти», свободно импровизировал в «уральском стиле» (который тут же и создавал) – ведь дело не в том, куда бежал писатель, а откуда. Созданный им мир – это побег из советской истории, а в дореволюционную этнографию Урала или в мир фантазии на темы уральской этнографии – не важно. Важно то, что этот мир давно погребен и забыт, что все реальные связи с ним утрачены. Вернее, то, что связывает советский мир и «уральскую древность» только одно – фантастическая жуть. «Малахитовая шкатулка» с этой точки зрения представляется картой побега из ненадежного дома на погребенную, тайную родину; родину не в абстрактном, а в конкретном, культурном и биографическом смысле.

В этом контексте понятно, что Хозяйка Медной Горы становится зловещим двойником и антагонистом патриархальной Родины-Матери, мифологема, создаваемой имперской культурой 1930–1950-х гг. Эта гипотеза позволяет понять и то, почему все духи гор у Баждова – женщины, т. е. фигуры, подрывающие патриархальную власть, и почему, как упоминалось, Хозяйка акцентированно наделена неславянскими чертами, которые, к тому же, сплетены с чертами хтонического животного – змеи или ящерицы. Этническая «инакость» усугублена чертами монстра – но именно этот страшный и в то же время влекущий образ становится воплощением утраченного дома, вернуться в который можно, только пройдя через временную или постоянную смерть. Даже сексуальная свобода, предполагаемая образом Хозяйки, звучала антитезой насаждаемой в 1930-е гг. патриархальной морали<sup>4</sup>.

Как показывает анализ, даже в своих побегах герои Баждова находят не прочный дом, а зловещее – пугающие и разрушительные силы, скрытые в родном и знакомом мире. Дом (*Heim*), в котором можно было бы спрятаться от террора «большой» Родины (*Heimat*), – не забудем, что именно этим Баждов и занимался в доме на улице Чапаева, – оборачивается в сказах *не-местом*, т. е. утопией, одновременно привлекательной и пугающей. Он, этот воображаемый дом, завораживает эротизмом, но этот Эрос неотделим от Танатоса; и красота этого мира

<sup>4</sup> Показательно, что в фильме А. Птушко «Каменный цветок» (1946) на роль Хозяйки была выбрана Тамара Макарова, представляющая именно славянскую красавицу, Мать-Россию, а не «этнического другого». К тому же, Малахитница подчеркнута не замужем, а Макарова появлялась в традиционном наряде замужней женщины – т. е. материнской фигуры, а не опасной соблазнительницы.

неотделима от влечения к смерти как наиболее радикальному побегу. Дом в царстве Хозяйки Медной Горы обещает защиту от жестоких властей и социальных несправедливостей; зловещее надежно обороняет беглеца от их посягательств. Но дом этот защищен не только от вторжений социума и истории; он расположен подозрительно близко к границам смерти, под землей или под водой, что одновременно наполняет его вечной и неизменной красотой.

Почему же зловещее окрашивает образ дома, а шире – Урала – в сказах Бажова? Иными словами, почему зловещее поглощает образ локальной, домашней родины? Возможны несколько объяснений, но на первом плане, конечно, страх «большой», государственной родины. Другой причиной является сознание гибели того традиционного уклада, который был жив еще в годы бажовского детства, но исчез без следа в советские 1930-е, вытесненный громадами индустриализации. Именно страх перед государством в сочетании с памятью об исторической утрате староуральского дома спроецировался и на бажовский образ Урала, символом которого стала Хозяйка Медной Горы.

Можно заключить, что важнейшей темой бажовских сказов стала необратимая трансформация дома, локальной родины – даже в варианте, альтернативном официальному, государственническому дискурсу, – в нечто зловещее: одновременно родное и неузнаваемое, влекущее и пугающее, утопичное и смертельное. Эта трансформация обнажает глубокую травму 1930-х гг., выходящую за пределы советской социополитики, но имеющую самое непосредственное отношение к глобальным проблемам модерности. Эта травма, по-видимому, вызвана свойственным модерности вытеснением локальных культур индустриализированными и анонимными формами жизни; а местной памяти – государственными нарративами. Вместе с тем, сама попытка Бажова преодолеть эту травму с помощью фантазма побега на «древнюю родину» – в царство Хозяйки Медной Горы – оказывается крайне двусмысленной: бегство из современной истории приводит в утопический мир застывшей, вечной красоты (мир, граничащий, как не раз говорилось, со смертью), который подозрительно, а вернее *зловеще*, в отражениях горного зеркала, разыгрывает советский выход из истории во вневременную утопию.

Впрочем, возможны и другие интерпретации зловещего в сказах, среди которых заслуживает особого обсуждения тема имперского бессознательного, хранящего память о колонизации коренных народов, которые якобы ушли в гору, сохранив там, в глубине недр, свою культуру, свою древнюю родину. В этом контексте особенно примечательны мотивы, сближающие Хозяйку с языческими культурами Великой Богини, нередко изображаемой как хтоническое существо<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> О неславянских, в первую очередь, мансийских (вогульских) источниках образности сказов см.: [Иванов].

Вытеснение исторической травмы через фантастические и, в особенности, монструозные и зловещие образы помещает Бажова в контекст тенденции, которую А. Эткинд выделил на материале постсоветской литературы и назвал *магическим историзмом*: «История и магия – странные компаньоны. Привидения и ведьмы внеисторичны, но охота на ведьм и ghost tours воплощают соответствующие исторические ситуации. Привидения, вампиры, оборотни и другие монстры помогают писателям и читателям говорить об истории, непостижимой иным образом. Таким был советский период с его “неоправданными репрессиями.” Зловещий пейзаж постсоветской литературы сигнализирует о провале иных, более традиционных способов понимания социальной реальности. Вызовом для читателей становится не ясность социальной и культурной критики, но неисчерпаемая фантазия создателей альтернативных версий прошлого» [Etkind, p. 234]. Эти слова кажутся написанными о Бажове, что свидетельствует о том, что прототипы магического историзма присутствуют в советской культуре, а постсоветские феномены лишь *выявляют* то, что было скрыто в 1930–1950-е гг. (тоже в своем роде возвращение подавленного).

Известный американский исследователь литературных сказок Джек Зайпс писал: «сам акт чтения сказки представляет собой зловещий опыт поскольку он отделяет читателя от ограничений, накладываемых реальным миром, чем позволяет распознать в подавленном нечто хорошо знакомое <...> Как только мы начинаем читать или слушать сказку, тут как тут эффект остранения или отделения от знакомого мира, проецирующий зловещее, которое одновременно пугает и успокаивает» [Zipes, p. 309]. Эта характеристика в полной мере подходит сказам Бажова, хотя эффект зловещего здесь явно превосходит, а вернее, радикально расширяет границы этой категории, оформившиеся в сказочном жанре. Обещанием побега из истории и открытие зловещего там, куда этот побег устремлен, эти эффекты и впрямь одновременно «пугали и успокаивали» советского читателя. Сказы пугали зрелищем смерти, гибельного соблазна и парализующего бессилия на месте родного дома. Они также успокаивали тем, что позволяли артикулировать травму исторической утраты локальной культуры и страха перед «большой» Родиной. Таким образом, сказы Бажова вступали в контакт с советским бессознательным, как индивидуальным, так и коллективным. Этим, вероятно и объясняется *фантастическая* популярность «Малахитовой шкатулки» среди многих поколений советских и, возможно, постсоветских людей. Этим же, по-видимому, объясняется и практическая непереводаемость сказов – не только лингвистическая, но и, в первую очередь, культурная<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Так, на английском с момента публикации книги вышло всего два перевода (совершенно забытых и не оставивших следа): *The Malachite Casket: Tales from the Urals* / trans. A. M. Williams (London ; New York : Hutchinson, 1944) и *The Mistress of the Copper Mountain: Tales from the Urals* / trans. J. Riordan (London : F. Muller, 1974).

Блажес В. В. К истории создания бажовских сказов // Известия УрГУ. 2003. № 28. С. 5–11.

Блажес В. В. «Медной Горы Хозяйка» // Бажовская энциклопедия / под ред. В. В. Блажеса и М. А. Литовской. Екатеринбург : Сократ : Изд-во УрГУ, 2007.

Богданов К. А. Vox populi: Фольклорные жанры в советской культуре. М. : НЛЮ, 2009. 368 с.

Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в Советской стране : ст. и материалы / под ред. К. Богданова, Р. Николози, Ю. Мурашова. М. : Нов. лит. обозрение, 2013.

Иванов А. Угорский архетип в демонологии сказов П. П. Бажова // Творчество Бажова в меняющемся мире / под ред. В. В. Блажеса. Екатеринбург : [б. и.], 2004. С. 142–155.

Круглова Т. А. П. П. Бажов и социалистический реализм // Творчество Бажова в меняющемся мире / под ред. В. В. Блажеса. Екатеринбург : [б. и.], 2004. С. 18–27.

Миллер Ф. Сталинский фольклор. СПб. : Академический проект, 2006. 190 с.

Михнюкевич В. Фольклорные истоки сказов П. П. Бажова // Бажовская энциклопедия / под ред. В. В. Блажеса и М. А. Литовской. Екатеринбург : Сократ : Изд-во УрГУ, 2007. С. 449–454.

Нахамкин С. Егор Гайдар: «У меня корни, которыми можно гордиться» [Электронный ресурс] // Известия-Наука. 2004. 21 января. URL: <http://izvestia.ru/news/286028#ixzz2viSHDnio>

Протт В. Я. Фольклор и действительность. М. : Наука, 1979. 327 с.

Фрейд З. Зловещее [Электронный ресурс] / пер. А. В. Гараджа. URL: [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/Psihol/Freid/Zlov.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/Zlov.php)

Юстус У. Возвращение в рай: соцреализм и фольклор // Соцреалистический канон / под ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб. : Академический проект, 2000. С. 70–86.

Coats K. Underwriting the Uncanny: The Role of Children's Literature in the Economy of the Subject // Paradoxa: Studies in World Literary Genres. 3 (1997). P. 489–497.

Etkind A. Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford : Stanford Univ. Press, 2013. 328 p.

Freud S. Symbolism in Dreams // Freud S. Standard Edition / trans. from German and under General Editorship of J. Stracheu, in collaboration with A. Freud. London : The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1955. Vol. XV.

Hubbs J. Mother Russia: The Feminine Myth in Russian Culture. Bloomington : Indiana UP, 1988.

Terras – Handbook of Russian Literature / ed. V. Terras. New Haven ; London : Yale UP, 1985.

The Malachite Casket: Tales from the Urals / trans. A. M. Williams. London ; New York : Hutchinson, 1944.

The Mistress of the Copper Mountain: Tales from the Urals / trans. J. Riordan. London : F. Muller, 1974.

Trites R. S. The Uncanny in Children's Literature // Children's Literature Association Quarterly. 26: 4 (2001–2002). P. 162–211.

Zipes J. The Potential of Liberating Fairy Tales for Children // New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation. 13: 2. 1982. P. 309–321.

Blazhes, V. V. (2003). K istorii sozdaniya bazhovskih skazov [To the history of creating Bazhov's tales]. *Izvestia UrGU* [Proceedings of the Ural State University], 28, 5–11.

Blazhes, V. V. (2007). "Mednoj Gory' Hozyajka" [The mistress of the copper mountain]. In V. V. Blazhes, M. A. Litovskaya (Eds.). *Bazhovskaya e'nciklopediya* [Bazhov encyclopedia]. Yekaterinburg: Sokrat; Izd-vo UrGU.

Bogdanov, K. A. (2009). *Vox populi: Fol'klorny'e zhanry' v sovetskoj kul'ture* [Vox populi: Folklore genres in Soviet culture]. Moscow: NLO.

Bogdanov, K., Nikolozi, R. & Murashov, Yu. (Eds.). (2013). *Dzhambul Dzhabaev: Prikl'yucheniya kazahskogo ak'y'na v Sovetskoj strane: st. i materialy'* [Dzhambul Dzhabaev: the adventures of Kazak akin in the Soviet country: articles and materials]. Moscow: Nov. lit. obozrenie.

Coats, K. (1997). Underwriting the Uncanny: The Role of Children's Literature in the Economy of the Subject. *Paradoxa: Studies in World Literary Genres*, 3, 489–497.

Etkind, A. (2013). *Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied*. Stanford: Stanford University Press.

Freud, S. (1955). Symbolism in Dreams. In S. Freud. *Standard Edition*. J. Stracheu, A. Freud (Transl.). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. (Vol. 15).

Freud, Z. *Zloveshhee* [Omnious]. A. V. Garadzha (Transl.). Retrieved from: [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Books/Psihol/Freid/Zlov.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Books/Psihol/Freid/Zlov.php)

Hubbs, J. (1988). *Mother Russia: The Feminine Myth in Russian Culture*. Bloomington: Indiana UP.

Ivanov, A. (2004). Ugorskij arhetip v demonologii skazov P. P. Bazhova [Ugrian archetype in demonology of P. P. Bazhov's tales]. In V. V. Blazhes (Ed.). *Tvorchestvo Bazhova v menyayushhemsya mire* [The works by Bazhov in changing world] (p. 142–155). Yekaterinburg.

Kruglova, T. A. (2004). P. P. Bazhov i socialisticheskij realism [P. P. Bazhov and socialist realism]. In V. V. Blazhes (Ed.). *Tvorchestvo Bazhova v menyayushhemsya mire* [The works by Bazhov in changing world] (p. 18–27). Yekaterinburg.

Mihnyukevich, V. (2007). Fol'klorny'e istoki skazov P. P. Bazhova [Folklore origins of P. P. Bazhov's tales]. In V. V. Blazhes, M. A. Litovskaya (Eds.). *Bazhovskaya e'nciklopediya* [Bazhov encyclopedia] (p. 449–454). Yekaterinburg: Sokrat; Izd-vo UrGU.

Miller, F. (2006). *Stalinskij fol'klor* [Stalin folklore]. St. Petersburg: Akademicheskij proekt.

Nahamkin, S. (2004). Egor Gajdar: "U menya korni, kotory'mi mozhno gordit'sya" [Egor Gaidar: "I have the origins, that can be proud of"]. *Izvestiya-Nauka*. 21 yanvarya [News-Science]. 21 January. Retrieved from: <http://izvestia.ru/news/286028#ixzz2viSHDnio>

Propp, V. Ya. (1979). *Fol'klor i dejstvitel'nost'* [Folklore and reality]. Moscow: Nauka.

Riordan, J. (Transl.). (1974). *The Mistress of the Copper Mountain: Tales from the Urals*. London: F. Muller.

Terras, V. (Ed.). (1985). *Handbook of Russian Literature*. New Haven; London: Yale UP.

Trites, R. S. (2001–2002). The Uncanny in Children's Literature. In *Children's Literature Association Quarterly* 26, 4, 162–211.

Williams, A. M. (1944). *The Malachite Casket: Tales from the Urals*. London; New York: Hutchinson.

Yustus, U. (2000). Vozvrashhenie v raj: socrealizm i fol'klor [Return to paradise: socialist realism and folklore]. In H. Gunter, E. Dobrenko (Eds.). *Soczrealisticheskij kanon* [Social legalistic canon] (p. 70–86). St. Petersburg: Akademicheskij proekt.

Zipes, J. (1982). The Potential of Liberating Fairy Tales for Children. *New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation* 13, 2, 309–321.

*The article was submitted on 16.05.2014*

**Марк Наумович Липовецкий**  
 профессор  
 США, Боулдер  
 Университет штата Колорадо  
 leiderma@colorado.edu

**Mark Lipovetsky**  
 Professor  
 USA, Boulder  
 University of Colorado at Boulder  
 leiderma@colorado.edu



Disputatio





Disputatio

**CULTURAL TRANSFER AS A FIELD  
FOR THE OBSERVATION OF HISTORICAL CULTURAL STUDIES.  
THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN EMPIRE\***

The article focuses on the concept of cultural transfer not as a historical method per se, but as a field of historical observation. Referring to the examples of individuals, networks and urban milieus, the author discusses the possibilities to highlight the practices of transfer between the Russian Empire and Western Europe, but also within the Russian Empire. It is argued that studies on cultural transfer may firstly fill an important gap between micro-leveled and macro-leveled approaches. The observation of transfer processes is also a prerequisite for historical comparison. Thus, studying processes and practices of transfers leads to a broader understanding of how culture and society of the Russian Empire functioned.

**Key words:** Cultural history; cultural transfer; historical cultural studies; Russian history.

Статья рассматривает явление культурного трансфера не как собственно исторический метод, но как поле исторического наблюдения. На примере отдельных людей и их групп, а также разных типов городской среды изучаются возможности трансфера между Российской империей и Западной Европой, а также внутри Российской империи. Утверждается, во-первых, что изучение культурного трансфера может стать важным звеном между микро- и макроподходами в историческом исследовании. Кроме того, наблюдение над процессами трансфера является необходимым условием для исторического сравнения. Таким образом, изучение процессов и практики трансфера ведет к более глубокому пониманию того, как функционировали культура и общество в Российской империи.

**Ключевые слова:** история культуры; культурный трансфер; историко-культурные исследования; российская история.

---

\* This essay was first given as a talk at the Higher School of Economics, Moscow, in March 2012 and was slightly revised as a result of the instructive discussions with my colleagues there. Translated from German by John Deasy, Mainz.

### I. Cultural history, cultural transfer and Russia

The “cultural turn” has moved into East European History with a vengeance already for some time. “Culture”, understood here as the whole of human motivations and actions, was certainly already a subject of interest beforehand, but cultural history has created a theoretical concept and methods of proceeding which make it possible to come closer to the reconstruction of historical lifeworlds by disclosing one’s own prior assumptions. In this connection, the finding has become generally accepted that historical lifeworlds of individuals, smaller groups and larger groups are not static, but exposed to influences, changes and translations [Vierhaus; Daniel].

As also in other fields of cultural scientific historiography, research with regard to Eastern Europe is interested in “symbols”, “rituals” and “communication”. Symbols, as reflexive signs, form the communication situations; symbols, which include artefacts as well as actions, shape communication [Lindner; Bonnell, Hunt]. The interpreting and reading of symbols and the establishment of communication, whether in the sense of the actors’ intention or not, lead to the exchange of information and to transfer. Here in the following paper it is not intended to direct our look at processes which have recently been examined in very detailed structured, in part micro historical case studies [Sperling; Pietrow-Ennker].

It is intended rather to be an outline of the problem of the question of what relevance is attached to access to cultural transfer in the light of the cultural turn: Long before the “discovery” of transnational history and its “siblings”, interwoven history and *histoire croisée*, it was very clear to many historians of Eastern Europe that one cannot describe the history of this area in any other way, admittedly without this finding as such then being classified in concepts which had a paradigmatic quality [Osterhammel; Patel; Conrad; Renner; Werner, Zimmermann, 2002; 2006].

Such a discussion for Russia does not only lead into the early 18<sup>th</sup> century, when Peter the Great made a comparison with the western and northern neighbours and, under the conditions of the Great Northern War, prescribed a phase of modernisation for his country, the consequences of which proved to be extremely ambivalent for the state and the subjects. Russia was simply not a “white sheet of paper”, as Leibniz wrote to Peter [Groh, S. 41–53]. It was not a construct lacking tradition without outside links, whose character and people let themselves be formed ad hoc with the faith in progress of a rational-technicised enlightenment.

Peter the Great tried by practical policy and a new form of presentation of power, in which the assumption of the title of *Imperator* in 1722 was just one piece of a jigsaw, to control a discourse which had basically been conducted already since the days of the rising Muscovite realm with varying intensity and different concepts, and which had experienced a first climax in the days of Ivan Grozny in the 16<sup>th</sup> century. Ivan, who left his country wrecked by terror and war, did not shrink from emphasising the value, indeed the superiority of his own denomination, his own system

of rule, and social and societal state, the shape of which in the tsardom was marked to a particularly high extent by the ruler's plenitude of power, worn outwardly perhaps more than actually existing, against papal legates and Bohemian Brethren, against the English queen or the Polish king [Nitsche]. The discourse, which began there, was one about differentiation and opening, exclusion and inclusion – especially then in the 17<sup>th</sup> century, in which xenophobia and increased contacts with “foreigners” became two sides of a medal [Scheidegger; Poe].

But the process of a mutual cultural transfer is always also to be observed in the communicative actions, that became tangible already before the 18<sup>th</sup> century, but with the 18<sup>th</sup> century it can be described as a constantly expanding cultural transfer between the elites [Доронин]. The interconnections coming into being in the transfer were a permanent reciprocal discovery that in turn led to a change in the respective cultural sphere, to an Internalising of certain practices, institutions, knowledge and views of the world. This was not a one-way street, as is suggested from time to time by trends in research, insisting for all too long on “the Germans in the East” and contributing deliberately or unintentionally to the disastrous consequences in the 20<sup>th</sup> century. These trends are experiencing, it is true, a certain, not unproblematic renaissance in Russia itself recently at conferences with general topics, such as “The Germans' contribution in Russia”, but as research strategy stopgap solutions they merely examine the difficult change of paradigms in Russian historical science which is taking place closely dovetailed with the patriotically shaped history policies [Bohn; Simon]. Such one-way street perspectives have, though, been on the retreat for a long time in Germany. The look at all the historical actors involved is sought in a much more differentiated manner. Further research works suggest themselves here. They could be subsumed under the term “cultural transfer” that has been adopted, but has to be explained in more detail, which one should perhaps better put more precisely as “intercultural transfer” or using the English term “cultural exchange”, because it implies the look at reciprocity and is more open for the hybridisation occurring in the process [Kaelble, Schriewer]. To observe this transfer, which results in an open-ended, albeit in the medium term recognisable change in certain individuals and groups in their environment, is a field of observation which can be located, on the one hand, between the results of historical social science – represented by Dietrich Geyer and Manfred Hildermeier for a while for East European history in Germany – which was first and foremost concerned with the shaping strength of structures, in particular those of a socio-economic kind, and, on the other hand, the trends in new cultural historiography, mentioned at the beginning, which are moving the individual in his life world, his cultural environment, back into the focus of attention again and thus, as Jörg Baberowski puts it, “seek to understand the life of historical man in his cultural constraint” [Baberowski, 2001, S. 17].

In order to be able to extract, understand and classify structures, historical social science lived under the more or less openly revealed application

of modified modernisation theories of comparison. Manfred Hildermeier named the limited possibilities of this concept when he examined the history of Alexander Gerschenkron's backwardness model, according to which Russian history had the opportunity to quickly catch up on the "West" that served as a point of comparison, however it might be understood, for its heuristic value. Not a few representatives of the Russian elite regarded a backwardness they already felt in their time as an opportunity, because it would give a future Russian development the opportunity to avoid mistakes [Hildermeier, 1987; Kusber, 2013].

In the review by historians in the 20<sup>th</sup> century, the history of prerevolutionary Russia could only be shown negatively in the balance sheet through comparison, especially since, viewed from its result, it ended in a dictatorship which elevated economic modernisation to be the programme at the expense of the individual and thus failed terribly. Hildermeier therefore spoke in favour of a social history taking account of the structures in the cultural expansion which was intended to remedy the coarsening and apodictic assessment. Jörg Baberowski, on the other hand, rejected a prior analysis of structures as outdated, and demands a small scale and chronologically restricted study, whereby in his own works he attempts, it is true, in his interpretation of Michel Foucault, "to make [the individual] speak", but at the same time he starts from the persistency of the cultural environment and implicitly, as the modernisation theoreticians also did, makes a comparison again and again [Baberowski, 2003, S. 17–53; Hildermeier, 2004].

Now a human being is constantly comparing in his activity – that may be considered to be a basic continuous anthropological factor – and in the scientific sector, too, the pronounced and unadmitted comparison shapes his perception to a large extent, perhaps even his interest in knowledge. However, it always has to be examined how perception, assessment and analysis are linked together and for what ultimate purpose this is done. To come back to Ivan Grozny and Peter I as historic examples: The famous correspondence between Ivan Grozny and his former commander and adviser, Prince Andrej Kurbski, who had fled into exile in Poland-Lithuania for fear of an impending fall from favour, is, whether one regards it as a forgery of the 17<sup>th</sup> century or not, an argumentative clash over the forms and exercise of rule, as well as a religious conception of oneself, that lives from comparisons and contrasts [Переписка Ивана Грозного...; Филюшкин]. And Peter I soberly compared the urban life, army and fleet, as he had observed them on his 'Great Embassy' to Holland and England in 1697/89, and noted the backwardness at home. Put in exaggerated terms, he compared Moscow with Amsterdam and London and tried to give his towns a new form, or even to found new ones, without adopting the content of West European urbanity. It did not play any role in his comparative operation which was directed towards the state's benefit. But what Peter I ordered on the basis of this, what he wanted to push forward through the recruitment of foreign experts and scholars, the dispatch of young sons of noble rank, was a cultural transfer, to return to this term again

with the aim of modernisation which was initiated by the comparison of what he had inspected [Hughes, 1998, p. 22–26].

The historian, who tries his hand at comparisons, must, of course, select his objects of comparison in such a way that a certain validity will be attributed to the comparison operation, because, unlike the politician acting, he does not want to change the objects of comparison, but to describe them. But if he at the same time tends, as modernisation theoreticians for instance did, to take the objects of comparison all too stiffly or to construct them, as it were, anew again and again through the comparison, he thus robs them of their meaningfulness. The modernisation theoreticians all too often set out to search for what was in common or what differentiated, and selected the basis for their analysis, that is to say their sources, accordingly. The real interconnections, dependences and reciprocities thus remained out of consideration. A look at processes of cultural transfer can help to examine the objects of comparison again and again, because it is able to describe the way between both.

The somewhat blurred *tertium comparationis* of “the West” or “Europe”, which has itself changed again and again in the course of Russia’s modern history, and the Russian *Imperium* are not sufficient as objects of comparison, although this comparison has been sought again and again in the historical discourse, without stating whether one has political entities, religious or denominational common bonds, the so-called “civil society”, or other attributions in mind. One may think of Feodor Tyutčev’s declaration in 1848 that at that time he only saw two political principles “Russia and the Revolution”, by which he meant the contrast between stability and order in Russia and chaos and decline in Europe. But an exact definition of what one wants to understand by “Europe” each time is just as necessary as a reflection about what one wants to understand by “Russia”, or as has been happening ever more often recently, by “Imperium” [Lieven; Миллер; Miller, Rieber; Герасимов и др.; Hosking; Burbank, Hagen, Remnev; Gerasimov, Semyonov; Kusber; Ауст, Вульпиус, Миллер]. In both cases it is the reconstruction of how the contemporaries in different social and societal contexts, the interested groups of actors in each case, understood their *tertium comparationis* in order to adjust it to the definition accepted heuristically for the scientific analysis. The questions stated here at the beginning of a transfer between Russia and the West belong now to the quite great topics of European history. Their relation to the present for the research context of the time is evident, which is why further differentiation is necessary.

If one now follows Johannes Paulmann, who has dealt with cultural transfer for Anglo-French history of the 19<sup>th</sup> century, it is first necessary to define which two unities of action are intended to be examined with regard to the transfer. These do not have to be, Paulmann says, states or nations, they can also be religious communities or economic units. If this has been done, it is possible to delimit in the transfer process which cultural term it is worthwhile applying [Paulmann]. With a look at modern Russian

history, I would further expand these proposals and consider an analysis of the cultural transfer between the various functional elites of different countries and societies to be just as fruitful as the study of the transfer within the tsarist realm, for instance from functional elites to the broad mass of the population, the urban, but above all the peasant sections.

Here firstly the ways of transfer should be studied, thus who or which group of persons made use of a certain way of transfer and why. Because not always can one quote prevailing political conditions, as in the case of Peter the Great, as a model for explaining why he sent a first delegation of students to Königsberg and not to the area under Polish-Lithuanian rule. It is necessary to pay attention why, at certain times, some things are not accepted, because they were considered to be uninteresting or unsuitable. Such occurrences can, of course, be observed at the highest level of state and within certain groups of the functional elite very much better than in the case of a transfer process between a functional elite and various groups of the population.

It is obvious why Catharine II in her “Great instruction” of 1767, in which she was formulating the goal rather than making an observation, said “Russia is a European power” [Schlözer] proceeded selectively in her rendering of the gleanings of her readings of enlightened authors, in order to impart her interpretation of enlightened thought to a few hundred deputies to the law code commission from the nobility, merchants, state peasants and the civil service and nationalities whom she summoned to Moscow in the same year [Чечулин].

On account of the lack of source material we can no longer reconstruct what impression of this law code commission small merchants, state peasants and single homestead servitors (“*odnodvorci*”), as well as the nationalities took with them to their often far distant homes. It constituted a new form of representation of power and was intended to announce the intention that the monarch was, it is true, determined to rule absolutely, however, she would be prepared to feel bound to a legal basis. We know too little about whether the form of the debates, in which many a noble estate owner would be called harshly to order by the presiding General Bibikov for interrupting a small craftsman from his *gouvernement*, left an impression lasting beyond that day [Kusber, 2008b, S. 364–369].

The position is generally very much better concerning the source material with regard to a cultural transfer between the functional elite and the “common people” from the mid-19<sup>th</sup> century on. Let us here take the example of soldiers with the introduction of general compulsory military service which, according to the will of the enlightened-bureaucratic reformers, was intended to transform the army into a kind of school of the nation. Werner Benecke recently reviewed what ideas one wanted to give the peasant soldiers of a (state) communal life within the course of several years of service to take home with them [Benecke, 2002; 2006]. After returning to their village, they were then intended to act as multipliers and propagandists of education. So a so-called “copeck literature” was

specially prepared for the soldiers which was intended to present in an entertaining, to exaggerate one might say *Readers Digest* form, humanity, hygiene, observation of religious holidays, respect of ethnic minorities and religious communities among themselves, who for the most part would do their duty together. This genre made allowances for the fact that the soldiers' ability to read was poor and at the same time it was intended to help impart basic skills. It took into account that the soldier, perhaps torn out of the surroundings of his village for the first time, had to cope with a whole host of new impressions and to incorporate them into his lifeworld. All too often and sometimes hastily it has been stated that such endeavours for transfer remained unsuccessful precisely between the functional elites and common people. Jörg Baberowski spoke in a just as catchy as problematic metaphor from a "Dialogue between two doves".

First of all, he disregards the time factor in his verdict for prerevolutionary Russia, for transfer processes are always to be considered in a *longue durée*. Already in 1706, thus at the beginning of the reforms in the field of education, Professor Stieff in Breslau wrote perceptively about Peter the Great's first civil technical schools: "The cultivation of a whole nation is not the work of one year, but it probably often lasts a whole century before the arts are really established and got going" [Stieff, S. 167]. This observation should also be taken into account for the transfer processes in the second half of the 19<sup>th</sup> century when what had been achieved in transfer processes in the functional elite formed by the nobility and civil servants was to be passed on to further circles of the population as a consequence of the great reform impetus under Alexander II [Kyc6ep].

Secondly, if one starts out from a "Dialogue between doves", the fact is overlooked that in the primary acquisition process a reshaping takes place of what is acquired. A selection takes place of what is worth knowing, communication channels and problems of understanding, previous knowledge and prejudices determine the result, which does not, however, mean that no exchange takes place. What the peasant soldiers learned only developed its effectiveness in the medium term and by no means in the way which the military reformers of the 1870s had intended. The first Russian Revolution saw an extremely violent peasant protest in the summers of 1905 and 1906. In central Russia and elsewhere, the peasants utilised the decline in power of the state in order to take possession of what, according to traditional legal opinion, they were entitled to anyway. They drove cattle off estate meadows, did not perform the contractually agreed work and in many governments they set estate owners' houses on fire extensively. Leo Trotsky, in his history of the 1905 Revolution, came to the conclusion that the peasants were hopelessly backward and, above all, by no means capable of learning, stuck to tradition and prevented any progress [Trotsky, S. 48; Engel]. This opinion is shared by many historians and was certainly also correct for many of the peasants in predominantly agrarian Russia. But, here too, the transfer of knowledge and education showed the way to change [Burbank]. Already Trotsky kept quiet



in the interest of his way into the revolution about the fact that the peasants did not only refuse in many cases to let themselves be agitated by revolutionary activists in the countryside, but were already formulating their aims and ideas themselves in the first peasant union. In 1906 and 1907, the “Free Economic Society”, a learned society, which had set itself the goal of the improvement of agriculture in the spirit of the Enlightenment since the age of Catharine the Great, sent correspondents out into the countryside to look into the reasons and the moving forces for the peasant protests. These correspondents, all of them members of the left-wing liberal *intelligentsia*, found that a large percentage were former soldiers, who with their increased knowledge of reading and writing, but in particular also with their experience of the wider world, going beyond the peasant world in miniature, the “*mir*”, as the village community was called, put the peasants’ wishes into appropriate language and set them down in writing [Kusber, 1997, S. 260–268].

Rural society, this is not a Russian peculiarity, was certainly marked by greater obstinacy than the urban centres, of which there were not admittedly all too many in the tsarist realm. With the Janus-faced educational process, which the peasant soldiers went through in their military service, the moving forces and the social subsystems bearing the cultural transfer have already been identified, in the course of which multiple encoding of personal and collective identities was able to take place.

These are (1) individual persons, (2) networks and (3) the urban areas in which these networks move.

## II. Fields of observation

(1) About the persons: It is certainly a just as popular as wrong idea that a transfer of ideas and cultural techniques began suddenly under Peter the Great. Since the time of Ivan III towards the end of the 15<sup>th</sup> century, foreign specialists – Greek diplomats, Italian architects, German physicians and others – had come into the country whose importance for the expansion of the Muscovite realm and for representation of rule turned into stone is clearly to be seen in the still recognisable shape of the Moscow Kremlin today, the further influence of which on the life worlds of the elite has admittedly remained limited [Ostrowski, p. 232 f.]

In the long term and in the struggle with increasing involvement of the Muscovite realm in the political relations of the Central and West European world of states, this transfer began, leading to an intensive self-reflection and accompanied by the acceptance of certain views, ideas and techniques. The reception of humanist cultural heritage via Kiev in the Polish-Lithuanian variant, but on the basis of Latinity, the dispute about the right belief, which led to the schism through the return to its “Greek roots”, promoted this reflection [Okenfuss; Michels]. Cultivated statesmen, such as Afanasij Ordin-Naščokin, read cameralistic and constitutional literature of the 17<sup>th</sup> century and tried to give it effect in administration and trade. Reflecting on the consequences led the open-minded Naščokin to an ambivalent conclusion. Towards the end of his life he had himself

tonsured as a monk in 1672, observing: "...what concern are other nations' clothes to us. Their clothes will suit us just as little as ours do them."

Peter the Great tried to accelerate the process that had begun virtually violently when he sent the nobles' sons to Germany, France, England and other countries for still mainly military training. However, around the mid-18<sup>th</sup> century, members of the elite began to travel of their own accord, once again with a medium-term effect, precisely not just on a diplomatic mission, but in order to go on a grand tour, and/or to educate themselves – at the beginning of the 19<sup>th</sup> century even as regular students at German reform universities. Not for nothing at the beginning of the 19th century did one speak of the "Göttingen soul" of the University of Moscow [Андреев, 2000; 2005]. The later polymath Michail Lomonosov in Marburg, the patron Ivan Betskoy in Paris, the later historiographer of the realm Nikolay Karamzin on a journey in Germany or the later minister of education Sergey Uvarov in Vienna – they all, who have been named here *pars pro toto*, were involved in quite different segments of the cultural transfer as multipliers.

Michail Lomonosov, since 1745 the first Russian member of the Academy of Sciences, worked as a versatile scholar [Heller; Schierle, 2005/2006] as a non-aristocratic *homo novus* in his disputes with other, mainly German members of the Academy about scientific questions, but also in the power struggles within the Academy, he sought the distinction with a national trait which prepared the ground the formation of a nation of Russians started later at the beginning of the 19th century which Nikolay Karamzin, who had been appointed imperial historiographer in 1803, sought to push forward with his glorification of autocracy and a state-centred consideration of Russian history [Karamzin; Black], while Sergey Uvarov intended to make this formation of a nation permanent in 1833 with the famed triad "Autocracy, Orthodoxy, *Narodnost*" referring to the ruler [Whittaker; Шевченко; Зорин].

Their journeys through life, which were initially marked by an enthusiastic reception for what they had absorbed in new ideas, lifeworlds and techniques abroad, but then, in confrontation with the lifeworld of their country of origin, they only adopted what seemed "useful" to them for the progress of their work, in Karamzin's and Uvarov's case therefore as "harmless" for the Russians, were able to show fundamental features of cultural transfer.

In this process, there is always a "preserving", forgetting and cutting out of information. A later use becomes possible under changed conditions, the change in use and lending of a new importance is also of significance for the openness and "success" of cultural transfer. Lomonosov, Karamzin and Uvarov were clearly shaped by these mechanisms in their biographies.

If the conscious or unconscious check of compatibility did not take place in the transfer process, this can mean the failure of the cultural transfer. The aforementioned Ivan Betskoy, who was the "ideal" representative of European Enlightenment of the French type in Catharine II's epoch, may serve as an example of this. He knew the encyclopedists personally through

his long stays abroad and in the first decade of Catherine's reign he was her "Chief adviser" in educational policy. He was indeed convinced that it could be possible forthwith to create the type of new human being, who was no longer noble by birth, but just noble by education and training. He tried to put his avant-garde, reform educational concepts borrowed from Rousseau and others to the test in Russian reality, utilised orphanages and homes for foundlings founded by him in Moscow and Saint Petersburg as experimental fields and failed in this at the expense of the lives of many of the children in his care in a terrible manner, although guided by the best ideals [Kusber, 2008a, p. 134–146; Ерошкина].

(2) All the persons presented as moving forces in the transfer process passed on their information in networks, thus experiencing supraindividual efficacy. Therefore network analyses are to be examined to observe the cultural transfer. A special significance was attached to networks of a formal and informal kind in early modern Russia, leading at first through the ruler, with an increasing widening of the transfer within the elites, but also beyond them.

Other networks, which were spun in salons and literary societies, were more important for a multiplication of "transfer material" and which, despite their often cursory composition, are hardly to be underestimated in their significance as a catalyst for impetus. Little work has been done on examining Ivan Betskoy's household that may already be described as an early salon in which Lomonosov, the poet Gavriil Derzhavin and others met. The Freemason circles, which were established as products of the reception of the Enlightenment in the second half of the 18<sup>th</sup> century and which even the heir to the throne and later short-reigning Tsar Paul sympathised with for a time, have been examined better, recently, for instance by Douglas Smith [Smith, 1999]. Rationality, philanthropic action and the effect on society were the propagated values. In the salons and literary associations, which were formed in the first quarter of the 19<sup>th</sup> century, in a combination of early Romanticism and the Enlightenment and, in view of the political challenge by Napoleon, it was already very directly a matter of "Russia's place in Europe" [Sach]. In this connection, the committed writers and publicists from the milieu of the capital, and in most cases aristocrats, only rarely took a look at a target group going beyond the narrower reference frame. The "Lovers of the Russian word" on the one hand and the Arzamas circle on the other, for instance, were only aware of the peasants in the tsarist empire as a projection surface for their concepts [Martin]. Something similar applies for the loose groups in which the later Decembrists met in the period around 1825 and which were striving to proceed from determining positions to political action against the autocracy, and as a consequence were to fail in December 1825 at Senate Square in the capital Saint Petersburg.

Saint Petersburg with its assumed forms of social understanding – here too the state stood at the beginning with the assemblies decreed by Peter I [Hughes, 2002, p. 131–133] – showed already earlier and more

comprehensively than Moscow forms of an “encounter” or assembly public which Martin Schulze-Wessel has also determined in the countryside for the mid-19<sup>th</sup> century [Schulze-Wessel]. In the process of cultural transfer, the different forms of expression of a public that had emerged through “Europeanisation”, associations and competing periodicals, such as “*Vestnik Evropy*” and “*Russki Vestnik*” refer to the progressive replacement of the state’s initiative at the beginning of the 19<sup>th</sup> century, indeed in many cases a “counter-public” can already be determined here that has occasionally been used synonymously with the term *obščestvo* (= society) [Schierle, 2007]. The more the state regarded this counter-public with suspicion, the more it strove to select the cultural transfer, the more it could branch out and even be pushed into illegality in the reception. One example is the small but powerfully effective revolutionary movement in the 19<sup>th</sup> century which found its way in its reception of German idealistic philosophy as well as of early French socialists through specific modifications to the path of individual terror that is probably particularly marked in Russia.

(3) In order to follow these networks from a micro and macro perspective, urban areas in particular seem to me to be interesting for cultural area research which already from their genesis were designed as transitional areas in which the productive exchange between dynamic and hybrid cultures could take place. St. Petersburg, but also Odessa, founded by the Black Sea in 1794, the capital of what was called New Russia, would provide suitable fields for examination.

Both cities as new foundations of the absolutist state should represent a new form of culture for themselves. To stay with Petersburg: Astonishingly enough the city has been little studied with regard to the question how far did civil society come in Russia which came into being where it formed itself in the urban area as the result of such transfer processes, in contrast to many provincial towns. This may be due to the superior strength of central state institutions and the court, the closeness of the state or the fact that the city was considered to be an “alien” *solitaire* in the Russian Empire, thus quite satisfying contemporary as well as later auto and hetero stereotypes [Custine; Zitiert nach: Stürickow]. However, Saint Petersburg, founded in 1703, is especially suitable for cultural transfer research. The city was after all, in the words of the Italian traveller Francesco Algarotti from the year 1739, intended to be the “Window to Europe”, thus, to clothe it in our language, to be committed to a state-initiated cultural transfer. Indeed, Peter the Great’s creation must be imagined with regard to such a function in both directions at the same time: Certainly one looked out from Saint Petersburg in many different respects towards Europe, but it fulfilled a further, at least just as important task. It was intended to be at the same time a shop-window for Europe within the Russian Empire [my argument in: Kusber, 2009]. It thus always has to be asked how forms of cultural transfer came into the capital and out of the capital into the empire. Already soon a Europeanising elite came into being in prerevolutionary Saint Petersburg, which at the beginning was drawn into the city on the northern periphery

of the empire by Peter by force, by his successors in the 18<sup>th</sup> century by the necessary service, but also the attraction of the court. Even when the official duty of the nobility was abolished, the court remained important in Saint Petersburg, not only on account of the closeness of the ruler, but also because the city's central administrative authorities and military institutions promised possibilities of promotion and the intercession of influential protectors who had already made their way. This led to a concentration of elites in the city on the Neva which had nothing like it in the Russian Empire.

In addition, there was a "non-Russian" elite, whose representatives occupied outstanding social positions in the administration, military, but also trade and commerce. These members of non-Russian elites had come under the rule of the Tsars through the expansion of the empire. Baltic Germans should be mentioned here, for the Baltic Provinces gained under Peter were regarded among contemporaries as a "Reservoir of competent human beings", and these territories lay, so to speak, before the gates of the capital [Scharf, S. 167–180]. But also Poles, Armenians, Georgians, Fins, finally also Jews streamed into the capital, with quite different possibilities of participation in the elites. Finally there were also immigrants from abroad who were trying to make their fortune in the capital and port city and who in the 18<sup>th</sup> and also 19<sup>th</sup> centuries put their hope in the need for specialised workers as well as on the aura of their West European origin which could often not keep up with their actual capabilities. Saint Petersburg's elites represented, to the extent which the city on the Neva grew, a "melting pot" in which the traditional elites did, it is true, take the leading position and membership of the elites remained reserved for the nobility, with exceptions, until far into the 19<sup>th</sup> century [Шангина]. But the intercultural overlapping areas in the urban area – this can apply just as much for instance for Odessa – despite all the delimitation carried out, offered the possibility of learning reciprocally from each other. Cultural transfer then led in the best sense to cultural transformation [from the perspective of cultural history: Sylvester; Hausmann]. This process from transfer to cultural transformation can be regarded as concluded, if the acquired, originally foreign knowledge or information is included in argumentation or action contexts of one's own life, the foreign origin is in part no longer recognisable, or even deliberately concealed. The reflection on own and outside perception does not necessarily take place in this connection, however stereotypes are always involved in steering what is perceived and transferred in networks or in greater contexts. In this connection, it turns out for the example Saint Petersburg that the process only led to a partial transformation of the elites. In this sense, in certain fields the city was the fascinating "Laboratory of the modern age", as it was described by Karl Schlögel, and at the same time the scene of contested transfer processes [Schlögel]. Particularly in the urban area, parts of the elite of the tsarist empire tried to break up the framework which the state gave for transfer, only all too often reduced to technical and economic knowledge and which was now felt to be a fetter. Nowhere does this become more

perceptible than in Saint Petersburg. While processing constitutional concepts in 1825, the Decembrists attempted a rebellion at Senate Square, while processing revolutionary concepts in 1881, the assassination of Tsar Alexander II by the Catharine Canal succeeded [Brower; Ковальчук, с. 245–262]. The fact that in many respects the state proved incapable of reacting to the further development of the successfully Europeanised and now really European elite, and that it should have amended the social constitution in an accelerated and steered manner for a comprehensive cultural transfer in the whole empire, proved to be a burden. This can not only be seen from the peasant and nationalities disturbances in 1905, but above all from the disintegration of the regime in February 1917 which neither peasants, workers nor urban elites were prepared to follow any further.

### III. Conclusion

Research into processes of cultural transfer are certainly not capable of serving to provide earth-shattering explanation approaches for world wars and the rise of totalitarian regimes, but precisely for East European history they can provide explanation approaches and throw a differentiated light on certain historical phenomena, which cannot be explained with a look at the great socio-economic structures but also with the description of very small and individual life-worlds, which can lead to the ascertainment of an incomparable own time of each phenomenon and each state entity. Cultural transfer research may supply some connecting links for this. In this connection, cultural transfer is not, this should be emphasised in conclusion, a method, just as an entwined history is also not really a method. But the processes under discussion at the different levels of varying range presented here can be revealed with the help of cultural historical procedures, are able to illuminate the lifeworld dimension in an additional way, and from there a comparative perspective also becomes possible. This is true certainly not just for Russia and Eastern Europe.

---

*Андреев А. Ю.* Московский университет в общественной жизни России начала XIX века. М., 2000.

*Андреев А. Ю.* Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX века. М., 2005.

Ауст, Вульпиус, Миллер – *Imperium inter Pares*, Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917) : сб. ст. / ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М. : Нов. лит. обозрение, 2010.

Герасимов и др. – Новая имперская история постсоветского пространства / ред. И. В. Герасимов, С. В. Глебов, А. П. Каплуновский и др. Казань, 2004.

Доронин – Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи / ред. А. В. Доронин. М., 2008.

*Ерошкина А. Н.* Администратор от культуры (И. И. Бецкой) // Русская культура последней трети XVIII века – времени Екатерины второй / под ред. Л. Н. Пушкиревой. 1997. С. 71–90.

*Зорин А. Л.* Сергей Семенович Уваров. Идеология «Православие – самодержавие – народность» и ее немецкие источники // В раздумьях о России (XIX в.) / ред. Е. Л. Радынская. М., 1996. С. 105–128.

Ковальчук – Санкт-Петербург. 300 лет истории / ред. В. М. Ковальчук и др. СПб., 2003.

*Кусбер Я.* Трансфер и сравнение: Университетские сообщества России и Германии // Сословие русских профессоров: Создатели статистов и смыслов / ред. Е. А. Вишленкова, И. М. Савельева. М., 2013. С. 191–211.

Миллер – Российская империя в сравнительной перспективе : сб. ст. / ред. А. И. Миллер. М., 2004.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993.

*Филлюшкин А. И.* Андрей Курбский. Молодая гвардия. М., 2008.

Чечулин – Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии по сочинению проекта нового уложения / ред. Н. Д. Чечулин. М., 1907. С. LI, LXXVII–LXX, CI, CV, CXX f.

Шангина – Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы / ред. И. И. Шангина и др. СПб., 2002.

*Шевченко М. М.* Сергей Семенович Уваров // Русские консерваторы / ред. М. М. Шевченко. М., 1997. С. 97–135.

*Baberowski J.* Die Entdeckung des Unbekannten. Russland und das Ende Osteuropas // Geschichte ist immer Gegenwart. Vier Thesen zur Zeitgeschichte / ed. J. Baberowski. Stuttgart ; München, 2001. S. 9–42.

*Baberowski J.* Der Rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus. München, 2003.

*Benecke W.* Копекенлитератур für Russlands Wehrpflichtige. Die „Soldatskaja biblioteka 1896–1917“ // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2002. 50. S. 246–275.

*Benecke W.* Militär, Reform und Gesellschaft im Zarenreich. Die Wehrpflicht in Russland 1874–1914. Paderborn, 2006.

*Black J. L.* Nicholas Karamzin and the Russian Society in the Nineteenth Century. A Study in Russian Political Thought. Toronto, 1975.

*Bohn T.* Paradigmawechsel in der russischen Historiographie? Sechs Thesen und drei Prognosen // Österreichische Osthefte. 2002. 44. S. 93–105.

Bonnell, Hunt – Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture / ed. V. E. Bonnell, L. Hunt. Berkeley, 1999.

*Brower D.* Training the Nihilists. Education and Radicalism in Russia. Ithaca, 1975.

*Burbank J.* Russian Peasants got to court. Legal culture in the country side, 1905–1917. Bloomington ; Indianapolis, 2004.

Burbank, Hagen, Remnev – Russian Empire. Space, People, Power, 1700–1930 / ed. J. Burbank, M. V. Hagen, A. Remnev. Bloomington ; Indianapolis, 2007.

Conrad, Osterhammel – Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914 / ed. S. Conrad, J. Osterhammel. Göttingen, 2004.

*Custine A. de.* Russische Schatten. Prophetische Briefe aus dem Jahre 1839. Nördlingen, 1985.

*Daniel U.* Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Frankfurt a. M., 2001. S. 220f.

Empire Speaks out? Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / ed. J. Kusber, I. Gerasimov, A. Semyonov. Leiden, 2009.

*Engel B.* Russian Peasant Views of City Life, 1861–1914 // Russian Review. 1993. 52. P. 445–459.

*Groh D.* Russland im Blick Europas. 300 Jahre historische Perspektiven. 2. Aufl. Frankfurt, 1988.

*Hausmann G.* Universität und städtische Gesellschaft in Odessa: 1865–1917. Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. Stuttgart, 1998.

*Heller W.* Kooperation oder Konfrontation. M. V. Lomonosov und die russische Wissenschaft im 18. Jahrhundert // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF. 1990. 39. S. 1–24.

*Hildermeier M.* Das Privileg der Rückständigkeit. Anmerkungen zum Wandel einer Interpretationsfigur der neueren russischen Geschichte // Historische Zeitschrift. 1987. 244. S. 557–603.

*Hildermeier M.* Traditionen der Aufklärung in der russischen Geschichte // Interdisziplinarität und Internationalität. Wege und Formen der Rezeption der französischen und der britischen Aufklärung in Deutschland und Russland im 18. Jahrhundert / Hrsg. H. Duchhardt, C. Scharf. Mainz, 2004. S. 1–16.

*Hosking G.* Russland, 1552–1917. Nation oder Imperium? 1552–1917. Berlin, 2000.

*Hughes L.* Russia in the Age of Peter the Great. New Haven, 1998.

- Hughes L. Peter the Great. A Biography. New Haven ; London, 2002.
- Karamzin N. M. Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia / ed by R. Pipes. Cambridge, Mass., 1959.
- Kusber J. Krieg und Revolution in Rußland 1904–1906. Das Militär im Verhältnis zu Wirtschaft, Autokratie und Gesellschaft. Stuttgart, 1997.
- Kusber J. Individual, Subject and Empire: Toward a Discourse on Upbringing, Education and Schooling in the Time of Catherine II // *Ab Imperio*. 2008a. 2. S. 125–156.
- Kusber J. Katharina II., das Russländische Imperium und die Bildung seiner Untertanen // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2008b. 56. S. 358–378.
- Kusber J. Kleine Geschichte St. Petersburgs. Regensburg, 2009.
- Kusber J. Die Kontinuität der Fremdheit. Russland als das andere in historischer Perspektive // *Osteuropa*. 2013. 63 (2–3). S. 257–268.
- Lieven D. Empire. The Russian Empire and Its Rivals. London, 2000.
- Lindner R. Im Reich der Zeichen // *Osteuropäische Geschichte als Kulturgeschichte*, Osteuropa. 2003. 12. S. 1757–1771.
- Martin A., *Romantics M.* Reformers, Reactionaries. Russian Conservative Thought in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997.
- Michels G. B. At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia. Stanford: Stanford Univ. Press, 1999.
- Miller, Rieber – Imperial Rule / Hrsg. A. I. Miller, A. J. Rieber. Budapest ; New York, 2004.
- Nitsche P. „Nicht an die Griechen glaube ich, sondern an Christus“. Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Düsseldorf, 1991.
- Okenfuss M. J. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early Modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy. Leiden usw., 1995.
- Osterhammel J. Transnationale Gesellschaftsgeschichte: Erweiterung oder Alternative? // *Geschichte und Gesellschaft*. 2001. 27. S. 464–479.
- Ostrowski D. The Growth of Muscovy // *The Cambridge History of Russia*. Vol. I. From Early Rus to 1689 / ed. P. Maureen. Cambridge, 2006. P. 213–239.
- Patel K. K. Überlegungen zu einer transnationalen Geschichte. Berlin, 2004.
- Paulmann J. Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer. Zwei Forschungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhundert // *Historische Zeitschrift*. 1998. 267. S. 649–685.
- Pietrow-Ennker – Kultur in der Geschichte Russlands. Räume, Medien, Identitäten, Lebenswelten / ed. B. Pietrow-Ennker. Göttingen, 2007.
- Poe M. T. A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca etc., 2000.
- Renner A. Die Erforschung der Langsamkeit. Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts aus transnationaler Sicht // *Archiv für Sozialgeschichte*. 2002. 42. S. 297–314.
- Sach M. „...setzen Sie sich und erzählen Sie!“ Russische Salonkultur und russische Salonnières seit der Zeit Katharinas II. bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts // *Historische Geschlechterforschung* / hg. B. Lundt. Stuttgart, 2006. (= *Historische Mitteilungen der Ranke Gesellschaft*, 19). S. 83–104.
- Scharf C. Katharina II., Deutschland und die Deutschen. Mainz, 1995.
- Scheidegger G. Perverse Abendland, barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse. Zürich, 1993.
- Schierle I. “For the Benefit and Glory of the Fatherland”: The Concept of Otechestvo // *Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia* (Wittenberg 2004) / Hg. R. Bartlett, L.-C. Gabriela. Berlin, 2007. S. 283–295.
- Schierle I. „Vom Nationalstolz“: Zur russischen Rezeption und Übersetzung der Nationalgeistdebatte im 18. Jahrhundert // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 2005/2006. 64 (1). S. 63–85.
- Schlögel K. Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium der Moderne, Petersburg 1909–1921. Berlin, 1988.
- [Schlözer A. L., Übers.]. Katharina der Zweiten Kaiserin und Gesetzgeberin von Rußland. Instruction für die zu Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuche verordnete Commission. Riga und Mitau, 1769 (Reprint Frankfurt a. M., 1970).
- Schulze-Wessel M. Städtische und ländliche Öffentlichkeit in Rußland 1848 // *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*. 2000. 48 (4). S. 293–308.



Simon G. Russland. Historische Selbstvergewisserung und historische Mythen. Geschichtsdeutungen im internationalen Vergleich. München, 2003. (= Zur Diskussion gestellt, 63). S. 61–74.

Smith D. Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth Century Russia. DeKalb, 1999.

Sperling – Jenseits der Zarenmacht. Dimensionen des Politischen im Russischen Reich, 1800–1917 / ed. W. Sperling. Frankfurt a. M. ; New York, 2008.

Stiess C. [Stieff]. Relationen von dem gegenwärtigen Zustand des moskowitischen Reichs. Frankfurt usw., 1706.

Stürickow R. Reisen nach St. Petersburg. Die Darstellung St. Petersburgs in Reisebeschreibungen (1815–1861). Frankfurt a. M., 1990.

Sylvester R. P. Tales of old Odessa: crime and civility in a city of thieves. DeKalb, Ill., 2005.

Trotzki L. Die russische Revolution 1905. Berlin, 1923.

Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften / Hrsg. H. Kaelble, J. Schriewer. Frankfurt a. M. ; New York, 2003. S. 9–52.

Vierhaus R. Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kulturgeschichtsschreibung // Wege zu einer neuen Kulturgeschichte / ed. L. Hartmut. Göttingen, 1995. S. 7–25.

Werner M., Zimmermann B. Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen // Geschichte und Gesellschaft. 2002. 28. S. 607–636.

Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison. Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History and Theory. 2006. 45. S. 30–50.

Whittaker C. H. The Ideology of Sergei Uvarov: An Interpretive Essay // Russian Review. 1978. 37. P. 158–176.

Andreev, A. Yu. (2000). *Moskovskij universitet v obshhestvennoj zhizni Rossii nachala XIX veka* [Moscow university in social life of Russia in the early 19<sup>th</sup> century]. Moscow.

Andreev, A. Yu. (2005). *Russkie studenty' v nemeckih universitetah XVII – pervoj poloviny' XIX veka* [Russian students in German universities in 17<sup>th</sup> – first half of the 19<sup>th</sup> century]. Moscow.

Aust, M., Vulpius, R. & Miller, A. (Eds.). (2010). *Imperium inter Pares, Rol' transferov v istorii Rossijskoj imperii (1700–1917): sb. st.* [Imperium inter Pares, the role of transfer services in the history of the Russian Empire (1700–1917): collection of articles]. Moscow: Nov. lit. obozrenie.

Baberowski, J. (2001). Die Entdeckung des Unbekannten. Russland und das Ende Osteuropas. In *Geschichte ist immer Gegenwart. Vier Thesen zur Zeitgeschichte* (p. 9–42). Stuttgart, München.

Baberowski, J. (2003). *Der Rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus*. München.

Benecke, W. (2002). Kopekenliteratur für Russlands Wehrpflichtige. Die „Soldatskaja biblioteka 1896–1917“. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 50, 246–275.

Benecke, W. (2006). *Militär, Reform und Gesellschaft im Zarenreich. Die Wehrpflicht in Russland 1874–1914*. Paderborn.

Black, J. L. (1975). *Nicholas Karamzin and the Russian Society in the Nineteenth Century. A Study in Russian Political Thought*. Toronto.

Bohn, T. (2002). Paradigmawechsel in der russischen Historiographie? Sechs Thesen und drei Prognosen. *Österreichische Osthefte*, 44, 93–105.

Bonnell, V. E. & Hunt, L. (1999). *Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture*. Berkeley.

Brower, D. (1975). *Training the Nihilists. Education and Radicalism in Russia*. Ithaca.

Burbank, J. (2004). *Russian Peasants got to court. Legal culture in the country side, 1905–1917*. Bloomington; Indianapolis.

Burbank, J., Hagen, M. V. & Remnev, A. (2007). *Russian Empire. Space, People, Power, 1700–1930*. Bloomington; Indianapolis.

Chechulin, N. D. (Ed.). (1907). *Nakaz imperatricy' Ekateriny' II, dannyj komissii po sochineniju proekta novogo ulozheniya* [Order of the empress Ekaterina II, given to the committee for making the project of the new code] (p. LII, LXXVII–LXX, CI, CV, CXX f). Moscow.

- Conrad, S. & Osterhammel, J. (Eds.). (2004). *Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914*. Göttingen.
- Custine, A. de. (1985). *Russische Schatten. Prophetische Briefe aus dem Jahre 1839*. Nördlingen.
- Daniel, U. (2001). *Kompodium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter*. Frankfurt a. M.
- Doronin, A. V. (Ed.). (2008). *Vvodya nray' i oby'chai Evropejskie v Evropejskom narode: k probleme adaptacii zapadny'h idej i praktik v Rossijskoj imperii* [Introducing European manners and customs to Europe people: studying the problem of adaptation of western ideas and practices in the Russian Empire]. Moscow.
- Engel, B. (1993). Russian Peasant Views of City Life, 1861–1914. *Russian Review*, 52, 445–459.
- Eroshkina, A. N. (1997). Administrator ot kul'tury' (I. I. Beczkoi) [Administrator from culture (I. I. Betskoi)]. In L. N. Pushkareva (Ed.). *Russkaya kul'tura poslednej treti XVIII veka – vremeni Ekateriny' vtoroj* [Russian culture of the last third of the 18<sup>th</sup> century – the time of Ekaterina the second] (p. 71–90).
- Filiushkin, A. I. (2008). *Andrej Kurbskij* [Andrei Kurbsky]. Moscow: Molodaya gvardiya.
- Gerasimov, I. V., Glebov, S. V., Kaplunovskij, A. P., Mogil'ner, M. V. & Semenov, A. M. (Eds.). (2004). *Novaya imperskaya istoriya postsovet'skogo prostranstva* [New imperial history of the former Soviet Union]. Kazan.
- Groh, D. (1988). *Russland im Blick Europas. 300 Jahre historische Perspektiven. 2. Aufl.* Frankfurt.
- Hausmann, G. (1998). *Universität und städtische Gesellschaft in Odessa: 1865–1917. Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches*. Stuttgart.
- Heller, W. (1990). Kooperation oder Konfrontation. M. V. Lomonosov und die russische Wissenschaft im 18. Jahrhundert. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF*, 39, 1–24.
- Hildermeier, M. (1987). Das Privileg der Rückständigkeit. Anmerkungen zum Wandel einer Interpretationsfigur der neueren russischen Geschichte. *Historische Zeitschrift*, 244, 557–603.
- Hildermeier, M. (2004). Traditionen der Aufklärung in der russischen Geschichte. In H. Duchhardt, C. Scharf (Eds.). *Interdisziplinarität und Internationalität. Wege und Formen der Rezeption der französischen und der britischen Aufklärung in Deutschland und Russland im 18. Jahrhundert* (p. 1–16). Mainz.
- Hosking, G. (2000). *Russland, 1552–1917. Nation oder Imperium? 1552–1917*. Berlin.
- Hughes, L. (1998). *Russia in the Age of Peter the Great*. New Haven.
- Hughes, L. (2002). *Peter the Great. A Biography*. New Haven; London.
- Kaelble, H. & Schriewer, J. (Eds.). (2003). *Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften*. (p. 9–52). Frankfurt a. M.; New York.
- Koval'chuk, V. M. (Ed.) (2003). *Sankt Peterburg. 300 let istorii* [St. Petersburg. 300 years of history]. St. Petersburg.
- Kusber, J. (1997). *Krieg und Revolution in Rußland 1904–1906. Das Militär im Verhältnis zu Wirtschaft, Autokratie und Gesellschaft*. Stuttgart.
- Kusber, J. (2008a). Individual, Subject and Empire: Toward a Discourse on Upbringing, Education and Schooling in the Time of Catherine II. *Ab Imperio*, 2, 125–156.
- Kusber, J. (2008b). Katharina II., das Russländische Imperium und die Bildung seiner Untertanen. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 56, 358–378.
- Kusber, J. (2009). *Kleine Geschichte St. Petersburgs*. Regensburg.
- Kusber, J. (2013). Die Kontinuität der Fremdheit. Russland als das andere in historischer Perspektive. *Osteuropa*, 63 (2–3), 257–268.
- Kusber, J. (2013). Transfer i sravnenie: universitetskie soobshhestva Rossii i Germanii [Transfer and comparison: university communities of Russia and Germany]. In E. A. Vishlenkov, I. M. Savel'ev (Eds.). *Soslovie russkikh professorov: sozdateli statistov i smy'slov* [Class of Russian professors: creators of crowd and meanings] (p. 191–211). Moscow.
- Kusber, J., Gerasimov, I. & Semyonov, A. (Eds.). (2009). *Empire Speaks out? Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire*. Leiden.
- Lieven, D. Empire. (2000). *The Russian Empire and Its Rivals*. London.
- Lindner, R. (2003). Im Reich der Zeichen. *Osteuropäische Geschichte als Kulturgeschichte, Osteuropa*, 12, 1757–1771.
- Martin, A. (1997). *Romantics M. Reformers, Reactionaries. Russian Conservative Thought in the Reign of Alexander I*. DeKalb.

- Michels, G. B. (1999). *At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia*. Stanford: Stanford Univ. Press.
- Miller, A. I. (Ed.). (2004). *Rossijskaya imperiya v sravnitel'noj perspective: sb. st.* [The Russian Empire in comparative perspective: collection of articles]. Moscow.
- Miller, A. I. & Rieber, A. J. (Eds.). (2004). *Imperial Rule*. Budapest; New York.
- Nitsche, P. (1991). „Nicht an die Griechen glaube ich, sondern an Christus“. *Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit*. Düsseldorf.
- Okenfuss, M. J. (1995). *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early Modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy*. Leiden usw.
- Osterhammel, J. (2001). Transnationale Gesellschaftsgeschichte: Erweiterung oder Alternative? *Geschichte und Gesellschaft*, 27, 464–479.
- Ostrowski, D. (2006). The Growth of Muscovy. In P. Maureen (Ed.). *The Cambridge History of Russia. From Early Rus to 1689*. (Vol. 1) (p. 213–239). Cambridge.
- Patel, K. K. (2004). *Überlegungen zu einer transnationalen Geschichte*. Berlin.
- Paulmann, J. (1998). Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer. Zwei Forschungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhundert. *Historische Zeitschrift*, 267, 649–685.
- Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim* [Correspondence of Ivan the Great with Andrei Kurbsky]. (1993). Moscow.
- Pietrow-Ennker, B. (Ed.). (2007). *Kultur in der Geschichte Russlands. Räume, Medien, Identitäten, Lebenswelten*. Göttingen.
- Pipes, R. (Ed.). (1959). *Karamzin N. M. Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia*. Cambridge, Mass.
- Poe, M. T. (2000). *A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748*. Ithaca etc.
- Renner, A. (2002). Die Erforschung der Langsamkeit. *Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts aus transnationaler Sicht. Archiv für Sozialgeschichte*, 42, 297–314.
- Sach, M. (2006). „...setzen Sie sich und erzählen Sie!“ Russische Salonkultur und russische Salonnières seit der Zeit Katharinas II. bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. In B. Lundt (Ed.). *Historische Geschlechterforschung (Historische Mitteilungen der Ranke Gesellschaft, 19)* (p. 83–104). Stuttgart.
- Scharf, C. (1995). *Katharina II., Deutschland und die Deutschen*. Mainz.
- Scheidegger, G. (1993). *Perverses Abendland, barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse*. Zürich.
- Schierle, I. (2007). “For the Benefit and Glory of the Fatherland”: The Concept of Otechestvo. In R. Bartlett, L.-C. Gabriela (Eds.). *Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia* (Wittenberg 2004) (p. 283–295). Berlin.
- Schierle, I. (2005/2006). „Vom Nationalstolze“: Zur russischen Rezeption und Übersetzung der Nationalgeistdebatte im 18. Jahrhundert. *Zeitschrift für slavische Philologie*, 64 (1), 63–85.
- Schlögel, K. (1988). *Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium der Moderne, Petersburg 1909–1921*. Berlin.
- Schlözer, A. L. (Transl.). (1769; 1970). *Katharinä der Zweiten Kaiserin und Gesetzgeberin von Rußland. Instruction für die zu Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuche verordnete Commission*. (Reprint). Riga und Mitau; Frankfurt a. M.
- Schulze-Wessel, M. (2000). Städtische und ländliche Öffentlichkeit in Rußland 1848. *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, 48 (4), 293–308.
- Shangina, I. I. et al. (Ed.). (2002). *Mnogonacional'nyj Peterburg. Istoriya. Religiya. Narody* [Multinational Petersburg. History. Religion. Peoples]. (2002). St. Petersburg.
- Shevchenko, M. M. (Ed.). (1997). Sergej Semenovich Uvarov. *Russkie konservatory* [Sergey Semenovich Uvarov. Russian conservatives] (p. 97–135). Moscow.
- Simon, G. (2003). *Russland. Historische Selbstvergewisserung und historische Mythen. Geschichtsdeutungen im internationalen Vergleich* (p. 61–74). München (= Zur Diskussion gestellt, 63).
- Smith, D. (1999). *Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth Century Russia*. DeKalb.
- Sperling, W. (Ed.). (2008). *Jenseits der Zarenmacht. Dimensionen des Politischen im Russischen Reich, 1800–1917*. Frankfurt a M.; New York.
- Stiess, C. [Stieff]. (1706). *Relationen von dem gegenwärtigen Zustand des moskowitischen Reichs*. Frankfurt usw.

- Stürickow, R. (1990). *Reisen nach St. Petersburg. Die Darstellung St. Petersburgs in Reisebeschreibungen (1815–1861)*. Frankfurt a. m.
- Sylvester, R. P. (2005). *Tales of old Odessa: crime and civility in a city of thieves*. DeKalb, Ill.
- Trotzki, L. (1923). *Die russische Revolution 1905*. Berlin.
- Vierhaus, R. (1995). Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kulturgeschichtsschreibung. In L. Hartmut (Ed.). *Wege zu einer neuen Kulturgeschichte* (p. 7–25). Göttingen.
- Werner, M. & Zimmermann, B. (2002). Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen. *Geschichte und Gesellschaft*, 28, 607–636.
- Werner, M. & Zimmermann, B. (2006). Beyond Comparison. Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity. *History and Theory*, 45, 30–50.
- Whittaker, C. H. (1978). The Ideology of Sergei Uvarov: An Interpretive Essay. *Russian Review*, 37, 158–176.
- Zorin, A. L. (1996). Sergej Semenovich Uvarov. Ideologiya “Pravoslavie – samodержavie – narodnost” i ee nemeckie istochniki [Sergey Semenovich Uvarov. Ideology “Orthodoxy – autocracy – nationality” and its German origin]. In E. L. Rady’nskaya (Ed.). *V razdum’yah o Rossii (XIX v.)* [Thinking of Russia (19<sup>th</sup> c.)] (p. 105–128). Moscow.

*The article was submitted on 30.04.2014*

**Ян Кусбер**

профессор истории Восточной  
Европы, Германия  
Майнцкий университет Иоганна  
Гутенберга  
kusber@uni-mainz.de

**Jan Kusber**

Professor of East European  
History, Germany  
Johannes Gutenberg University  
of Mainz  
kusber@uni-mainz.de

**ВОЛЬНЫЙ ГОРОД В РОССИИ XVII В.:  
МАНГАЗЕЯ НА РЕКЕ ТАЗ (1601–1672)\***

**A FREE TOWN IN 17<sup>TH</sup>-CENTURY RUSSIA:  
MANGAZEYA ON THE TAZ RIVER (1601–1672)**

The article studies the history of Mangazeya, a unique merchant town that was established in the 17<sup>th</sup> century. The author focuses on a variety of issues: i. e. the relationship of Russian migrants with the local peoples, the attitudes of merchants, the division of power between local and central authorities, as well as the state policy on trade relations with foreign states. The author demonstrates that measures existed that protected the national interests of private merchants and prohibited measures for foreign merchants. The article reveals the reasons for the rise and fall of the town and the role of Mangazeya in the economy of the Moscow State, which used furs as an important form of international currency. The analysis is supported through a variety of Russian and non-Russian sources. The author draws a typology of a similar town development in accordance with internationally used approaches.

**Key words:** 16<sup>th</sup> century Russian history; Mangazeya; Siberian expansion; North sea route; English diplomacy of the 16<sup>th</sup> century.

Рассматривается история возникновения уникального купеческого города XVII в. Мангазеи. В сфере внимания автора различные проблемы: взаимоотношения русских переселенцев с местными народами, нравы купцов, распределение полномочий между местной и центральной властями, а также государственная политика в торговых отношениях с иностранными государствами. Приводятся факты защиты национальных интересов частных торговцев, запретительные меры для иностранных купцов. Выявляются причины расцвета и заката города и роль Мангазеи в экономике Московского государства,

---

\* Редколлегия журнала искренне благодарит проф. Серджи Бертолисси за предоставленный материал для публикации на русском языке отрывка из его новой монографии “*Il territorio nella storia della Russia: dall’oprichnina di Ivan IV alla conquista dell’Asia centrale*”, издание которой планируется в 2015 г.

для которого меха играли роль международной валюты. Привлекается обширная литература русскоязычных и иностранных авторов. Проводится типология подобного развития города в соответствии с мировой практикой.

Ключевые слова: русская история XVI в.; Мангазея; экспансия в Сибирь; Северный морской путь; английская дипломатия XVI в.

«...В Сибирском Багдаде крупные коммерческие сделки отмечались сказочными банкетами, которые продолжались дни напролет и включали лучшие европейские вина и местные деликатесы, такие как осетр, икра, грибы, ягоды, дичь» [см.: George, p. 263–266]. Живописное описание Мангазеи на реке Таз, города-сибарита, находящегося за Полярным кругом, дает представление о городе XVII в., сопоставимом в российской истории по своему богатству и независимости с Великим Новгородом, но, в сущности, радикально отличающимся от него условиями существования и событиями. Его следует считать жемчужиной среди сибирских городов, своеобразной крепостью, защищающей местных жителей и природу.

В самом деле, в 1600 г. сотня казаков во главе с В. М. Масальским из Тобольска на четырех лодках спустилась по Оби и отправилась к северо-востоку, в сторону залива реки Таз. Несмотря на кораблекрушение и несколько столкновений с самоедами, они достигли внутренней площади, которую посчитали подходящей для постройки крепости (*острога*), подходящей для формирования нового звена в цепи укреплений, постепенно образующихся по мере продвижения русских в Сибирь.

*Мангазея* (возможно, она была названа в честь коренного населения, *мангазеев*) была основана в 1601 г. в 200 км от устья реки Таз на Карском море, недалеко от Полярного круга, в бассейне рек Обь и Енисей, в то самое время, когда великий голод, разразившийся в Москве, собрал более 100 тысяч жертв в одной только столице, а царь Борис Годунов (1598–1605) был впервые обвинен в узурпаторстве.

Период Смутного времени в городе, находившемся за тысячи километров от Москвы, был кратким. Мангазея занимала особое место среди множества городов, построенных в процессе русской колонизации на Восток, в том числе по причине своего непредвиденного запустения.

Область, в которой возникла Мангазея, была известна русским задолго до 1582 г., *официальной* даты завоевания Сибири, связанной с именем казацкого атамана Василия Тимофеевича *Ермака* (от турецкого слова, обозначающего '*жернова*'<sup>1</sup>), а также с рейдами в поисках мехов жителей Новгорода за два столетия до этого (древние новгородские легенды рассказывают о «...диких жителях, “уграх” и “само-

<sup>1</sup> Происхождение имени является дискуссионным [см.: Суперанская, с. 183; Петровский] (прим. ред.).

едах», которые бродили по тундре и жили, обмениваясь товарами с русскими») и военными нападениями, которые уже при Иване III были совершены на проживавших там туземцев (остяки и самоеды) [Платонов, с. 95]. После полного приключений завоевания столицы ханства Сибири, Кашлыка, осуществленного Ермаком, случайные набеги, характеризовавшие в прошлом контакты между русскими и огромной Сибирью, уступили место более органичному продвижению по территории и постепенной консолидации военных укрепленных поселений, которые позже превратились в самые настоящие города, такие как основанные к концу XVI века в районе Тюмени – сама Тюмень, Тобольск, Верхотурье, Сургут, Березов [см.: Скрынников, 1982; 1986; *Yermak's Campaign in Siberia*; Миллер].

Разница между *острогом* и *городом* была идентифицирована наличием в *городе* трех решающих факторов: 1) оборонительные стены и крепость внутри; 2) пребывание большинства жителей внутри городских стен; 3) наличие там административного центра [Резун, с. 178]. В 20-е гг. XVII в., на основании *Указа*, разделившего Сибирь на две части (западную и восточную), под *городами* подразумевали Тобольск, Тюмень, Пелым, Тару, Березов, Мангазею, Сургут и Томск, за которыми следовали, конечно, и другие. Линии проникновения в Сибирь соответствовали бассейнам крупных рек, Оби – Иртыша, а затем Енисея, Лены и, наконец, Амура и далее на восток: к 1619 г. русские заняли все внутренние водные и прибрежные пути. Едва завоевав земли, там сразу же строили казематы и крепости и, встретив туземцев, заставляли их платить дань «высокой руке царя» (см. табл. 1 и 2). В низовьях Енисея русские встретили тунгусов, а в самой высокой части – бурятов, совершенно им неизвестных. Тунгусские племена к востоку от Енисея и буряты вокруг озера Байкал оказывали ожесточенное сопротивление при завоевании их территорий, особенно при строительстве постоянных поселений, которые, тем не менее, были созданы в течение короткого времени. В верховье Енисея завоеватели встретили также сопротивление степных кочевников, киргизов и калмыков, чьи земли граничили на юге с Сибирью и чье сопротивление было подавлено лишь два столетия спустя, когда была создана надежно охраняемая южная пограничная линия.

Подсчитано, что в первой четверти XVII в. 3 750 местных жителей были обложены данью в шести областях – Тюмени, Тобольске, Таре, Туринске, Пелыме и Березове и что, согласно оценкам, в среднем она составляла 10–12 соболей с человека. Но с расширением экспансии на восток, с присоединением Сургута, Нарыма, Мангазеи, Кетска и Томска, доход для государства от торговли мехом увеличился с 44 772 руб. в 1595 г. до 45 000 руб. в 1605 г., в то время как вне контроля еще оставались многие незаконные сделки, состоявшиеся в недавно завоеванных землях [Бучинский, с. 14, 324]. В дополнение к *ясаку*, государство также собирало 10 %-й налог (десятину) с того, что зарабатывали охотники и частные торговцы.

Десятина была представлена одной меховой шкуркой из десяти, «лучшей из лучших, средней из средних без всякого выбора...»; и дань должна была быть оплачена до того, как охотник мог сбить товар, и система документов с описанием мехов должна была предотвратить уклонение от уплаты налогов. В дополнение к *ясаку* русские завоеватели требовали с туземцев *поминки*, «добровольные» приношения мехов, предложенные в честь царя. Поражает число шкур, а следовательно, и количество убитых животных в этой первой фазе завоевания Сибири: от 20 000 шкур в 1582 г. их количество к 1605 г. увеличилось в общей сложности до 62 400 шкур в год, чтобы достичь в начале 1640-х гг. более полумиллиона шкурок в год, после чего наступил неизбежный спад, хотя охота и торговля драгоценными мехом пушных зверей не останавливалась никогда [Fisher, p. 266].

Экспедиции направлялись из Томска и Кетска на юг и из Мангазеи на север, сходясь в долине Енисея. Столкновения с тунгусами в низовьях Енисея и бурятами в верхней части не помешали тому, что в течение нескольких десятилетий был построен ряд самых настоящих городов, заложивших основу для русских поселений в Сибири: Енисейск в месте слияния Енисея и Ангары (1619), Красноярск (1617), Братск (1631).

Другой путь был морским: от Архангельска до Мангазеи время навигации составляло полторы недели, и прибывавшие туда русские моряки торговали с местными туземцами, остяками и самоедами кожаными изделиями. «Сотни тысяч шкур соболя, горноста, голубой и серебристой лисицы» и «бесчисленные тонны ценного бивня мамонта и моржа», – как сообщает автор, были отправлены в Европу через Мангазею, с нарушением правил перевозки в обход пошлинного контроля, в то время как шелк, фарфор и драгоценные ткани из Средней Азии и Китая поставлялись в город в таких количествах, что пробуждали зависть во всех других торговых городах, имевших свои базы на Урале, таких как Тюмень и Тобольск. Подсчитано, что только в 1615 г. объем товаров, проходивших через город на реке Таз, превысил объем всей российской внешней торговли, при этом ни одной копейки не попало в царскую казну [George, p. 26].

Первоначально значение города определялось преимущественно его расположением между Северным Ледовитым океаном и основными наземными маршрутами проникновения в Сибирь. Два из них были, по сути, путями, которые связывали Поморье с устьем Оби: вдоль *морского пути* через Югорский Шар, Карское море и полуостров Ямал; вдоль *каменного пути* через Печору и Уральские горы. Первый, несмотря на его природные трудности, был предпочтительнее для купцов из-за относительной скорости его преодоления, около полутора недель [см.: Бахрушин, с. 77–90; Александров, с. 15, 24–25; РИБ, с. 1090].

Например, в 1601 г. прибыли в Мангазею 4 лодки по 40 человек, затем в период с 1613 по 1615 гг. – 16 лодок с 160 людьми на борту,



а в течение двух лет с 1618 по 1619 гг. прибыло намного больше людей, вплоть до того, что в 1633 г. их количество достигло 1270 человек, цифра, которая постепенно уменьшалась в последующие годы [РИБ, с. 1072, 1088, 1091, 1092]. В 1633 г. общая стоимость товаров, ввозимых Мангазею, достигла 8 444 руб. того времени (т. е. более 118 000 руб. в 1913 г.) и из них 3 037 руб. были разделены между двумя семьями богатых купцов – Пахомовыми и Федотовыми-Гусельниковыми.

Сначала стабильный маршрут путешественников характеризовался приютами для зимы, *зимовьями*, а не настоящими населенными пунктами, из которых наиболее значимые после основания города были сформированы российскими охотниками, *промышленными людьми*, в то время как менее многочисленные, но экономически более сильные, были населены купцами, *торговыми людьми*, обеспечивавшими город своими поставками, будучи так называемыми *непасечными* («без пахотных полей») и *нехлебными* («без хлеба»), в дополнение к организации и участию в коммерческих предприятиях и охотничьих экспедициях, выезжающих из города [Бахрушин, с. 300–301].

Город, по своему расположению и по выполнению функции коммерческого узла, стал образцовым в ходе русской колонизации Сибири и имел двойственную природу, будучи разделенным на две части. С одной стороны, настоящий город (*город*), окруженный высокими стенами и квадратными башнями, в котором находился гарнизон, постоянно готовый к обороне, состоявший из лучников, казаков и офицеров армии; с другой – пригород (*посад*), прилегающий к городу, где склады товаров и склады военных (*служилых людей*) соседствовали с постоянным жильем, которое по окончании зимы с приходом купцов и путешественников могло вместить до 300 человек. В целом, количество построенных домов, где могли жить более тысячи городских жителей, достигло 500 единиц. С мая по июнь сменялись торговцы, которые, перезимовав в Мангазее, оставляли город, приобретая в течение зимы меха, в это время приезжали новые торговцы с продовольствием для торговли, сборщики дани и другие служилые люди, готовые перезимовать в своих *ясачных зимовьях*, а также множество людей, проезжавших через город, и их количество могло достигать тысячи, что являлось прямым доказательством важности города. В течение нескольких лет после своего основания город был определен под юрисдикцию государства, с наличием *воеводы* и с учреждением *ясака* для местного населения, которое изначально приняло его мирно, но затем, со снижением количества и качества соборей, ситуация ухудшилась (см. табл. 3, 4). Значение доходов от торговли пушниной, тем не менее, было таково, что «в середине XVII века они составляли 10 % от налоговых поступлений государства», несмотря на то, что в значительной своей части были скрыты от контроля властей. Эта *автономия*, результат отдаленности и специфических местных

условий жизни, а также нарастающее присутствие британских судов и купцов, заинтересованных в торговле мехом, побудили центральное правительство искать возможность определения границ области и ограничения в нее свободного доступа.

В конце Смутного времени король Англии Джеймс I выразил свое намерение создать торговые базы в области Мангазеи, следуя примеру английского капитана Ричарда Чансела, который в 1553 г. в поисках прохода на восток в Арктическом море высадился в устье Северной Двины в Белом море, где позже возник порт Архангельск. Экспедиция Чансела была частью обширной серии разведочных поездок британцев в этом районе, организованных в поисках прохода от Арктики до Тихого океана: в 1533 г. была осуществлена экспедиция Х. Виллафби; в 1556 г. состоялась экспедиция Борроу; Пита и Джексона – в 1588 г.; К. Ная – в 1594–1595 гг.; Баренца – в 1594 г. и 1596 г.; Хадсона – в 1608 г.; Хое и Баумана – в 1625 г.

Соглашение 1555 г. завершило англичан в предоставлении им значительных преимуществ, таких как освобождение от таможенных пошлин и разрешение распоряжаться автономным предприятием под руководством своего агента [см.: Lincoln, p. 60; Бахрушин, с. 81; Fisher, p. 116–117]. Также голландцы и немцы занялись прибыльной торговлей мехом: первые – с помощью соглашения с семьей Строгановых, которое обеспечивало отправку в Амстердам кораблей, полных шкур, под руководством бельгийского агента, Оливера Брунела, в то время как вторые приезжали из Любека и Гамбурга и некоторые из них получали разрешение на торговый обмен в глубине России [Ibid., p. 190–195].

Но невмешательство со стороны русского государства в жизненно важный сектор доходов, которым являлась торговля пушниной, не могло продолжаться, особенно после укрепления власти в Москве при династии Романовых (1613). Таким образом, уже в начале 1619 г. был объявлен запрет на транзит сначала иностранных судов из Архангельска, а затем и российских. Даже Строгановы, известные уральские купцы, расширяя свою деятельность в западной части Сибири, держали в тайне свою торговлю в этом районе, опасаясь внешней и внутренней конкуренции, доказывая тем самым, что регион получил стратегическое значение для всех участников, в том числе и самого центрального правительства.

Постоянные приезды и отъезды людей и неуправляемость торговли побудили постоянных жителей составить договор организации, которая приняла форму *мира* («ассамблеи») – *мангазейская мирская община* – и отличалась от типичной формы *волости*, потому что она (*община*) «не объединяла ни страну, ни районы с постоянным местным населением, а связывала торговцев и путешественников, которые приезжали в Мангазею в этом конкретном году – и, следовательно, это был союз личный, а не территориальный» [см.: Бахрушин, с. 302; Александров, Покровский]. В центре

деятельности *мира* был совет (*сходка*), в котором принимали участие представители различных классов – *промышленные люди*, бывшие в большинстве, *торговые люди*, находившиеся в меньшинстве, были представители духовенства и *служилые люди* под руководством *воеводы*, устанавливавшего *основные направления мира*, особенно в области использования собранных средств. Существовали три вида налогов: 1) *поголовный* (на душу населения), собиравшийся с каждого приезжего в Мангазею; 2) *посороковое*, взимавшийся с 40 шкур, принесенных *промыслом*; 3) *порублевое*, процент, который был наложен на все товары, ввозимые в Россию. Что касается расходов, были три ключевые позиции: 1) *государственные мангазейские расходы*, в которые были включены все расходы на правительство города; 2) существовали также расходы на *воеводу*, которые были достаточно внушительными; 3) наконец, *земские издержки*, относящиеся к местной администрации. Расходы, которые выпадали на *мир*, были также связаны с поддержанием служащих в *ясачных зимовьях*, которые отвечали за сбор налогов, а также непредвиденных расходов, таких как монтаж таможенных барьеров во время прибытия новых торговцев.

Удаленность от Москвы, хрупкое равновесие, обусловленное наличием малого количества постоянных жителей и множества приезжих, укрепили позицию *воеводы*, который становится городским деспотом, сосредоточив в своих руках финансы города, что привело к обострению противоречий между различными классами и даже открытым столкновениям между крепостью и пригородами, в результате которых в начале февраля 1631 г. произошло восстание с участием глав двух частей города [о воеводах и в целом об администрации Сибири см.: Lantzeff]. *Воеводы* Г. Кокорев и А. Ф. Палицын были вовлечены в восстание и возглавили соответствующие стороны, предложив создание автономного *мира* для всей области Мангазеи. В действительности, даже через год после *смуты* 30 % средств были использованы для поддержки расходов *воеводы*, в продолжение тяжелого бремени и отсутствия контроля из Москвы (осуществляемого через агентов, *сушиков*), не оказавшего никакого влияния на последующий упадок автономии города и его окончательное возвращение под юрисдикцию столицы.

Городские жители подписали, однако, между собой письменный договор (*одиначную запись*), с целью положить конец господству *воеводы* и, прежде всего, его жажде денег, которая поглощала, как мы видели, большую часть доходов *мира*. Он был государственным чиновником, который получал зарплату, именно с целью – после отмены в 1556 г. *кормления* – не пользоваться подношениями и подарками от населения, как это происходило ранее.

За несколько лет *мир* стал в Мангазее автономной организацией, независимой от Москвы, что не могло не беспокоить правительство,

которое на фоне большого количества новостей о *смуте* оставалось в неведении относительно большинства событий в регионе. Решающий фактор, однако, был связан с итогами интенсивной охоты на пушного зверя, которая постепенно уменьшала его количество, лишая *вольный город* Мангазею перспектив. Положение усугублялось тем, что в то же время был открыт южный транзитный маршрут между Обью и Енисеем, по Лене, через Енисейск, снизивший уникальность и важность торгового маршрута через Мангазею. Кроме того, как уже было сказано, в 1619 г. был *закрыт* северный морской путь, уничтожены сигналы для навигации, даже сфальсифицированы карты, таким образом, что Новая Земля была отмечена как полуостров. В 1627 г. сообщение *промысловиков* в Москве гласило, что в настоящее время в области нижнего притока Енисея и Тунгуски был объявлен запрет «на охоту на соболя», который начал исчезать как вид [РИБ, с. 849, 351].

В 1642 г. пожар сильно повредил город и многие земли были заброшены, в то же время постепенно сократились и поставки в город (количество лодок, которые их везли, уменьшилось с 7 в 1656 г. до 1 в 1658 г., в том числе и потому, что там было много кораблекрушений и повреждений лодок). В 1668 г. тобольский *воевода* П. И. Годунов велел закрыть морскую базу, «вынуждая путешественников проплывать через Енисейск», решив, таким образом, судьбу города. Результатом стал быстрый закат *вольного города* Мангазеи, который свел на нет успехи, достигнутые в результате создания *мира*, и привел к переезду большей части его населения в новый административный центр Туруханска, позже названный *Новой Мангазеей*, подвергнутый более пристальному контролю со стороны Москвы [см.: Александров, с. 12; РИБ, с. 1130].

Тем не менее, старый город продержался вплоть до 1672 г., с небольшим количеством жителей и минимальной торговлей. По прошествии трех столетий археологической экспедицией были обнаружены остатки старого города, в то время как в недавнее время, в 1998 г., другая археологическая экспедиция сумела найти некоторые лодки (*кочи*) и остатки домов и мебели, которые были перевезены в один из залов музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, где находится также и план города [см.: Современная информация...]. Конец города был обусловлен различными причинами, в частности, закрытием морского пути, ведущего в Мангазею, по велению из Москвы, что было продиктовано общей политикой управления торговлей за пределами страны, в частности, задачами сохранения и развития плодотворного торгового обмена между различными портами Севера и России, расширяющимися на Восток. Из-за всего этого и стала выдающейся жертвой Мангазея, «Багдад Арктики».

Таблица 1

Число коренных жителей, обложенных данью (ясаком)  
в течение 1606/7–1625/26 гг.\*

	1605/7	1609/10	1613/14	1614/15	1617/18	1619/20	1623/24	1625/26
Самоеды	710	158	747	271	235	833	324	657
Остяки	257	342	343	–	334	365	294	319
Тунгусы	19	7	43	–	18	31	329	454
<i>Всего</i>	<i>986</i>	<i>507</i>	<i>1133</i>	<i>271</i>	<i>587</i>	<i>1229</i>	<i>947</i>	<i>1430</i>

\* Источник: [Александров, с. 18].

Таблица 2

Города, облагаемые данью (ясаком)\*

Город	Год	Ясак
Пелым	1598	2 783 шкурки
Сургут	1625	1 827 шкурки
Мангазея	1636	7 143 руб.
	1638	9 376 руб.
	1642	6 458 руб.
	1646	7 234 руб.

\* Источник: [Fisher, p. 117].

Таблица 3

Движение промышленных людей через Мангазею (по Тунгуске)

Год	Кол-во человек
1630	887
1636	707
1637	586
1638	215
1639	403
1640	608
1641	695
1642	645

Таблица 4

## Бюджет мангазейского мира\*

1630	1017 руб. (расходы)
1632	2196 руб. (общий)
1633	1236 руб. (общий)
1634	1444 руб. (общий)
1635	2478 руб. (расходы)

\* Источник: [Бахрушин, с. 299, 310].

*Александров В. А.* Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. М. : Енисейский край, 1964.

*Александров В. А., Покровский Н. Н.* Мирские организации и административная власть в Сибири в XVII веке // *История СССР*. 1986. № 1. С. 42–68.

*Бахрушин С. В.* Научные труды : в 3 т. Т. 3. М ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955.

*Бучинский П. Н.* Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков : Тип. Губернского правления, 1889.

*Миллер Г. Ф.* История Сибири : в 2 т. Т. 1. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1937. С. 212–230.

*Петровский Н. А.* Словарь русских личных имен [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/slovari/info/petr/> (дата обращения: 26.04.2014).

*Платонов С. Ф.* Прошлое Русского Севера: Очерки по истории колонизации Поморья. Берлин : Обелиск, 1924. 107 с.

*Резун Д. Я.* Эволюция понятий «город» и «острог» в приказном делопроизводстве XVII века // *Вопросы истории*. 1979. № 10. С. 172–176.

РИБ. Т. II. СПб., 1875. № 254.

*Скрынников Р. Г.* Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск : Наука, 1982. 258 с.

*Скрынников Р. Г.* Ermak's Siberian Expedition // *Russian History*. 1986. 13. P. 1–40.

Современная информация в интервью археолога Георгия Визгалова. Мангазeya или Заполярное Эльдорато // *Аргументы и факты*. 2006. № 6. С. 14.

*Суперанская А. В.* Словарь русских личных имен. М. : Эксмо, 2005. 544 с.

*Fisher R. H.* The Russian Fur Trade, 1500–1700. Berkeley, 1943.

*George St. G.* Siberia. The New Frontier. New York, 1969.

*Lantzeff G. V.* Siberia in the Seventeenth Century. A study of the Colonial Administration, New York, 1972.

*Lincoln B. L.* The Conquest of a Continent. London, 1994.

*Yermak's Campaign in Siberia* / ed. T. Armstrong. London, 1975.

Aleksandrov, V. A. (1964). Russkoe naselenie Sibiri XVII – nachala XVIII v. [Russian population of Siberia in 17<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> c.] (p. 15, 24–25). Moscow: Izd-vo AN SSSR.

Aleksandrov, V. A. & Pokrovskij N. N. (1986). Mirskie organizacii i administrativnaya vlast' v Sibiri v XVII veke [Secular organizations and administrative authority in Siberia in 17<sup>th</sup> century]. *Istoriya SSSR* [The history of the USSR], 1, 42–68.

Armstrong, T. (Ed.). (1975). *Yermak's campaign in Siberia*. London.

Bahrushin, S. V. (1955). *Nauchny'e trudy'* [Scholarly works] (in 3 vols.). (Vol. 3). Moscow; Lenngrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Buchinskij, P. N. (1889). *Zaselenie Sibiri i by't pervy'h ee nasel'nikov*. [Settlement of Siberia and the life of its first inhabitants]. Kharkov: Tip. Gubernskogo pravleniya.

- Fisher, R. H. (1963). *The Russian fur trade, 1500–1700*. Berkeley.
- George, St. G. (1969). *Siberia. The new frontier*. New York.
- Istoriya Sibiri* [The history of Siberia] (in 2 vols.). (1937). (Vol. 1) (p. 212–230). Moscow; Leningrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR.
- Lantzeff, G. V. (1972). *Siberia in the seventeenth century. A study of the Colonial Administration*. New York.
- Lincoln, B. L. (1994). *The conquest of a continent*. London.
- Petrovskij, N. A. (n. d.). *Slovar' russkih lichny'h imen* [The dictionary of Russian personal names]. Retrieved from <http://www.gramota.ru/slovari/info/petr/> (last accessed on 26.04.2014).
- Platonov, S. F. (1924). *Proshloe russkogo severa: ocherki po istorii kolonizacii Pomor'ya*. [The past of Russian North: essays on the history of colonization of the Pomor'ye]. Berlin: Obelisk.
- Rezun D. Ya. (1979). E'voljuciya ponyatij "gorod" i "ostrog" v prikaznom deloproizvodstve XVII veka [Evolution of the concepts "town" and "stockaded town" in the mandative proceedings of the 17<sup>th</sup> century]. *Voprosy' istorii* [History issues], 10, 172–176.
- RIB. (Vol. 2). St. Petersburg. (1875). № 254.
- Skry'nnikov, R. G. (1982). *Sibirskaya e'kspediciya Ermaka* [Ermak's Siberian expedition]. Novosibirsk: Nauka.
- Skry'nnikov, R. G. (1986). Ermak's Siberian expedition. *Russian history*, 13, 1–40.
- Sovremennaya informaciya v interv'yu arheologa Georgiya Vizgalova. Mangazeya ili Zapolyarnoe E'l'dorado [Current information in the interview of archaeologist George Vizgalov. Mangasea or polar Eldorado]. (2006). *Arguments and facts*, 6, 14.
- Superanskaya, A. V. (2005). *Slovar' russkih lichny'h imen* [Dictionary of Russian personal names]. Moscow: E'ksmo.

*Translated by prof. Irina Dergacheva*

*The article was submitted on 27.04.2014*

**Серджи Бертолисси**  
 профессор истории Восточной  
 Европы, Италия,  
 Неаполитанский Восточный  
 университет  
 sergio.bertolissi@gmail.com

**Sergio Bertolissi**  
 Professor of East European  
 History, Italy,  
 University of Naples «L'Orientale»  
 sergio.bertolissi@gmail.com

---

УДК 355.081(470) + 355.082(470) + 929.7    Николай Петрухинцев

**«ФИНАНСЫ ВОЙНЫ» И ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС  
ПОЛКОВ «НОВОГО СТРОЯ» В ВОЕННОЙ РЕФОРМЕ  
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА (1663)**

**‘WAR FINANCE’ AND THE OFFICER CORPS  
OF THE ‘NEW ORDER’ REGIMENTS IN TSAR  
ALEKSEY MIKHAILOVICH’S WAR REFORM (1663)**

The article explores the problems underlying the formation of the Officer Corps in 17<sup>th</sup>-century Russia and how the process was influenced by the financial situation of the time, war reforms, and the Russo-Polish War of 1654–1667. The author focuses on the influence that the military and currency reforms of 1654 as well as the counter-monetary reform of 1663 had on the state and prospects for the development of the Europeanized Officer Corps of the ‘new order’ regiments. Additionally, the article studies the appearance of a record of military forces in 1663, an important source on the history of the 17<sup>th</sup>-century Russian army. Officers’ careers are analyzed by referring to Patrick Gordon’s biography at its initial stage. The author concludes that financial problems, affecting the officers’ salaries, contributed to creating a low social status for new-order officers in the eyes of the Russian elite for a long time (until the early 18<sup>th</sup> century), which, in turn, impeded the development of the National Officer Corps. It was only Peter the Great who managed to solve the problem.

**Keywords:** history of the Russian army; Alexei Mikhailovich’s reforms; history of the Officer Corps; Russian-Polish war of 1654–1667; nobility; Europeanization.

Исследуются проблемы формирования офицерского корпуса в России XVII в. и влияние на этот процесс финансовой ситуации, военных реформ и хода русско-польской войны 1654–1667 гг. Актуализируется изучение процесса воздействия военной реформы, денежной реформы 1654 г. и ликвидирующей ее «контрреформы» 1663 г. на состояние и перспективы развития европеизированного офицерского корпуса полков «нового строя». Также рассматриваются условия появления «сметы воинских сил 1663 г.» – одного из важнейших источников по истории русской армии XVII в. В качестве примера офицерской карьеры приводятся



сведения о биографии Патрика Гордона на начальном этапе его карьеры. Делается вывод, что финансовые проблемы, повлиявшие на условия выплаты офицерского жалования, стали одним из важнейших факторов, которые закрепили низкий социальный статус офицерства «новой армии» в восприятии русской дворянской элиты и надолго (до начала XVIII в.) затормозили процесс формирования русского национального офицерского корпуса. Эту проблему удалось решить лишь Петру I.

К л ю ч е в ы е с л о в а: история русской армии; реформы Алексея Михайловича; история офицерства; русско-польская война 1654–1667 гг.; дворянство; европеизация.

Почти общепризнанно, что процесс трансформации европейских армий в раннее Новое время, получивший в историографии название «военной революции» (хронологические рамки которой определяют по-разному, от XVI до как минимум середины XVIII вв.), оказал серьезнейшее влияние на социальные, государственные и финансовые структуры европейских стран. Не была исключением и Россия<sup>1</sup>, в которой первый<sup>2</sup> по-настоящему значимый этап «военной революции» пришелся на XVII в. и был связан с созданием полков «нового строя» («иноземного строя»), рожденных военной реформой периода Смоленской войны 1632–1634 гг. Михаила Федоровича и ставших основой русской армии в ходе проведенной спустя два десятилетия военной реформы его сына Алексея Михайловича<sup>3</sup>. Одним из результатов этого этапа была и заметная «европеизация» русской армии. Ее следствием стало появление европеизированного офицерского корпуса, комплектуемого, как и в современных ей европейских армиях, в значительной степени за счет массовой вербовки иноземных офицеров из уже тогда «интернационализируемой» их массовым перемещением из страны в страну Европы.

Этап этот был не менее важен, чем последовавший через полвека «петровский», и оказал не менее кардинальное воздействие на социальные, политические и даже финансовые системы и механизмы, определяющие состояние российского общества. О некоторых аспектах этого влияния и о теснейшей взаимосвязи военной и финансовой политики российского государства и пойдет речь в данной статье.

Сюжеты, затронутые в ней, помогают одновременно оценить (пусть и на более узком материале, характеризующем лишь одну из «подсистем» этой новой армии – ее офицерский корпус) и некоторые общие итоги военной реформы Алексея Михайловича,

---

<sup>1</sup> Обзор историографии «военной революции», в том числе и в России [Пенской; Черников, с. 704, примеч. 5].

<sup>2</sup> Несмотря на то, что она началась в России, скорее всего, уже в XVI в. при Иване Грозном, системный и масштабный характер перемены в военном деле приобрели все-таки в основном уже в XVII в.

<sup>3</sup> Ход и итоги реформы отражены в трудах ряда российских историков: [Чернов, гл. 5–6; Малов; Курбатов, 2007; 2006].

т. к. касаются как раз того периода, когда они вполне проявились и определились, – финала русско-польской войны 1654–1667 г. В ходе него появилась одна из немногочисленных общих «смет» (росписей) воинских сил российского государства<sup>4</sup>, по которым мы в основном и оцениваем состояние русской армии в XVII в., – «смета 1663 г.». Материалы этих «смет» широко используются в первую очередь военными историками, не всегда, однако, обращающими внимание на контекст их появления и на их связь с внутривойсковыми процессами, которую нам как раз и хотелось бы отразить.

Нам уже приходилось давать характеристику военных формирований «нового строя», находившихся на пороге 1650-х гг. еще в полужаботочном состоянии накануне начала масштабных военных реформ, связанных с русско-польской войной 1654–1667 гг. [Петрухинцев, 2013]. Это неутешительное положение было отражено «сметой 1651 г.», составленной накануне этой войны, очевидно, с целью оценить общее состояние русских вооруженных сил в преддверии намечающегося столкновения с Речью Посполитой из-за Украины. Не исключено, что критическая оценка тогдашнего военного потенциала России стала одной из вероятных причин решения Земского собора 19–28 февраля 1651 г. о невозможности в тот момент присоединения Украины к России [Черепнин, с. 324–327], а также стартовым толчком к последовавшей вскоре масштабной военной реформе Алексея Михайловича. Возможность оценить результаты этой реформы для офицерского корпуса России в завершающий период все-таки разразившейся войны как раз и дают нам материалы, связанные с составлением следующей после «сметы 1651 г.» (пусть и «неклассической», уступающей ей в полноте и детальности, что было в первую очередь связано с ее преимущественно финансовым характером) «сметы воинских сил» 1663 г., опубликованной в свое время С. Б. Веселовским [Веселовский].

Публикация С. Б. Веселовского свидетельствует, что сметные списки 1661–1663 гг. появились не случайно и что их история теснейшим образом переплетена с одним из ключевых событий «бунташного века» – со знаменитым Медным бунтом лета 1662 г., в свою очередь, ставшим результатом проблем, во многом связанных с финансированием армии во времена русско-польской войны.

Масштабная военная реформа, запущенная войной, прошедшая в своем развитии два основных этапа (1653–1654 гг. и осень 1656 – весна 1658 гг.) и в основном законченная формированием Белгородского

---

<sup>4</sup> *Смета 1631 г.* [«Сметный список 139 году» // *Временник МОИДР.* 1849. Кн. 4. С. 15–21] (анализировалась В. Н. Козляковым [Козляков, с. 99–102, табл. 2, 3]); *Смета 1651 г.* [«Смета великого государя... царей, царевичей, и бояр... и всяких служилых людей нынешнего 159 году» // *Дворянство России и его крепостные крестьяне XVII – первой половины XVIII в.* М., 1989. С. 8–33]; *смета 1681 г.* [«Роспись перечневая ратным людям, которые во 189 г. росписаны в полки по разрядам» // *Описание государственного разрядного архива.* М., 1842. С. 72–92] (частичный анализ см.: [Лаптева, с. 211–220, табл. 8–15]).

полка (и Белгородского разряда) в 1658 г. [Петрухинцев, 2014], как мы уже отмечали, привела к тому, что основой русской армии стали военные формирования «нового строя». Однако их массированное создание породило сложнейшую проблему финансирования военной реформы и «новой армии», которую правительство на начальном этапе (как и позднее в эпоху Петра) во многом решало, очевидно, за счет использования инфляционных механизмов.

Как установил уже К. В. Базилевич, старт денежной реформы 1654–1663 гг. вовсе не случайно совпал по времени с началом русско-польской войны и с генерированной ею военной реформой Алексея Михайловича – решение об изменении денежной системы было принято не позднее 9 мая 1654 г. после не вполне удачных попыток изыскания средств на увеличившуюся армию накануне выступления 16 мая царя в военный поход [Базилевич, с. 7–9]<sup>5</sup>, и «...момент начала денежной операции должен быть отнесен к маю 1654 г., т. е. к самому началу войны» [Там же, с. 10]. Вряд ли случайно и то, что первоначальный широкий план реформы с ориентацией русской денежной системы на талер и на приближение ее по структуре монетных номиналов к европейским денежным системам (по своим идеям чем-то напоминающий будущую денежную реформу Петра, но неудачный по исполнению, а потому вызвавший сопротивление населения), был уже через год свернут и принесен в жертву чисто фискальным интересам, выразившимся в ускоренной чеканке более привычной для России копейки (только не серебряной, а медной) [Мельникова, с. 199–201, 203–204]. Возможно, что порча монеты (а также и сама русско-польская война, как позднее и Северная при Петре I [Petrukhintsev]) рассматривались вначале как явления локальные и кратковременные (в этом отношении характерно выражение одного из первых указов о монетной реформе: «...а как государева служба минетца...» [Базилевич, с. 21]), однако война, как и при Петре, неожиданно превратилась в затяжную. Поэтому война и военная реформа Алексея Михайловича (как и петровская на начальной стадии) в конечном итоге в значительной степени финансировались за счет прибылей от чеканки и перечекивания монеты, которые должны были дать, по подсчетам К. В. Базилевича, 223 405 руб. от перекепки серебряной монеты и 3 952 000 руб. от выпуска медной – в совокупности 4,175 млн руб. [Там же, с. 14], *два годовых бюджета России* три десятилетия спустя, в 1680 г.

Разница с петровским временем была лишь в том, что начальный (и основной) этап петровской военной реформы обеспечивался дивидендами, получаемыми правительством за счет почти двукратной девальвации серебряного рубля и прибыли от процесса перекепки в него старой полновесной серебряной копейки, а начальный (и тоже основной) этап реформы Алексея Михайловича – выпуском обесцененных медных денег в ходе денежной реформы 1654–1663 гг.

<sup>5</sup> Взаимосвязь денежной «медной» реформы с финансированием «новой» армии, в частности, отметила Кэрол Стивенс [Stevens, p. 150].

(преимущественно – медных копеек с осени 1655 г.), запустивших механизм «медной инфляции» [Мельникова, с. 199–205].

Однако польза от этих мероприятий и в том, и в другом случае была временной, а негативный эффект, проявлявшийся зримо и очевидно уже четыре-пять лет спустя, весьма болезненным. Естественно, что гораздо сильнее он оказался во времена Алексея Михайловича, нарушившего при этом фундаментальные законы денежного обращения. Дестабилизация денежной системы, вызванная медной чеканкой времен Алексея Михайловича и достигшая кульминации в 1661–1662 гг., вскоре вызвала обратную реакцию, породившую серьезные проблемы в отношении не только с собственным населением, но и с иноземным офицерством, составлявшим костяк офицерского корпуса полков «нового строя» и по-прежнему остро необходимым на финальном этапе затянувшейся войны.

По наблюдениям К. В. Базилевича, гораздо раньше и намного сильнее, чем во внутренних районах страны, последствия «медной инфляции» сказались на театрах военных действий и в «тыловой зоне» русской армии [Базилевич, с. 39], на жалование которой направлялась основная часть медных денег. Уже в 1661 г. их перестало принимать местное население на Украине, что к концу 1661 г. – лету 1662 г. фактически привело к «распаду московского фронта на Украине» и массовому бегству солдат из полков (так, в частности солдатские полки Дирика и Ивана Загера [Фанзагера. – *Н. П.*] к маю 1662 г. бежали «без остатку»), а 24 мая 1662 г. иноземные офицеры полков Новгородского разряда пришли к командующему Новгородским полком князю Б. А. Репнину с коллективными жалобами и угрозой оставить русскую службу [Там же, с. 33–36]. Боеспособность армии существенно снизилась, что, после тяжелых поражений 1660–1661 гг. и начала в 1662 г. восстания в Башкирии, фактически поставило Россию в 1662–1663 гг. на грань тяжелейшего военного и дипломатического кризиса. Уже в октябре 1662 г. это вынудило правительство предпринять попытку заключения мира с поляками ценой предложенных едва ли не в первый раз значительных уступок, воплотившуюся в специальной миссии А. Л. Ордин-Нащокина в Польшу, предпринятой в октябре 1662 – мае 1663 г., но не имевшей успеха на переговорах во Львове, т. к. польское правительство рассчитывало на дальнейшую дестабилизацию внутреннего положения в России [Флоря, с. 12–39]. Все это делало крайне опасным наметившийся в армии кризис.

Недовольство иноземного офицерства, отразившееся в дневнике П. Гордона, и мало смягченное тем, что к концу 1662 г. бояре, имеющие владения вокруг Москвы, частично взяли его на свое натуральное содержание, уже в основном охарактеризовано А. А. Рогожиным [Рогожин, 2013, с. 78, примеч. 20–21]. К приведенным им сведениям можно добавить лишь то, что сам Гордон (который, имея ранее в виде возможной альтернативы менее перспективную с точки зрения карьеры австрийскую службу, «обезумел от досады», ощутив низкую

стоимость медных денег уже при въезде в Россию в августе 1661 г. [Гордон, 2003, с. 102] вдобавок считал, что лично он понес серьезные финансовые потери: за два года пребывания на русской службе во времена «медных денег» он потратил 500 дукатов из 600, привезенных с собой в Россию [Там же, с. 133]. Лишь некоторое облегчение в начале 1662 г. принес умерший бездетным долголетний лидер правительства Алексея Михайловича боярин Б. И. Морозов. Издавна тесно связанный с Иноземным приказом (бывший его главой еще до восстания 1648 г., а также, несомненно, контролировавший его и в последующем через своего клиента и ставленника И. Д. Милославского) и, вероятно, еще в 1648–1649 гг. бывший одним из активных сторонников военной реформы «по европейскому образцу»<sup>6</sup>, «иноземным офицерам он завещал *месячное жалование в рейхсталерах, которое мы получили*» [Гордон, 2003, с. 116].

В конце концов офицерское недовольство выразилось в массовом демонстративном протесте и в столице: 17 марта 1663 г., в день именин Алексея Михайловича (в день Алексея Божьего человека), иностранные офицеры подали царю коллективную челобитную, «представляя наше несчастное положение по причине дешевизны медной монеты, коих ныне идет 15 за одну серебром, и просили платить нам в серебряных деньгах, или же по их стоимости в медных, а иначе предоставить нам свободный выезд из страны», но ответа не получили [Там же, с. 128].

Тем не менее, не надо думать, что правительство тогда никак не реагировало на эту весьма болезненную проблему: о том, что оно в это время уже готовило денежную реформу с возвращением к полноценному серебряному денежному обращению, как раз и свидетельствуют материалы, опубликованные С. Б. Веселовским. Еще за месяц до коллективного протеста иноземцев, почти в то самое время, когда Гордон писал «о нашей великой нужде из-за медных денег и о малой вероятности перемен» [Там же, с. 127], 5 февраля 1663 г. Алексей Михайлович приказал собрать из всех приказов: 1) росписи прихода и расхода серебряным деньгам, 2) «*росписи ратным людям конным и пешим на Москве и в городех*», а также потребовал: 3) «*росписать указные дачи по полком и по чином, конным и пешим порознь*», определив при этом новые ставки жалования *уже в серебряных деньгах* (конным, разделенным на 3 статьи – 15 руб., 12 руб., 10 руб. в зависимости от статьи, к которой они отнесены; солдатам (2 статьи) – соответственно 6 и 4 денег на день; драгунам (2 статьи) – 4 руб. и 3 руб.; стрельцам (2 статьи) – 3 руб.

---

<sup>6</sup> По сообщению шведского резидента К. Помереннинга, вскоре за назначением И. Д. Милославского к январю 1649 г. на волне недоверия к московским стрельцам после восстания 1648 г. возникли проекты формирования 5000-го контингента «гвардейских» полков «нового строя», а к весне 1649 г. пошли слухи о попытке создания каких-то формирований «нового строя» из 6 000 всадников и 2 400 солдат, встретившие однако, серьезное недовольство боярства и простого народа, считавшего это происками Б. И. Морозова, искавшего «...войны для того, чтобы быть в безопасности, и можно было мучить их» [Якубов, с. 440, 448].

и 2 руб.; «для службы на подъем» (2 статьи) – 2 руб. и 1 руб.). Восстановление серебряного денежного обращения и ставок жалования в серебре обостряло проблемы финансирования, и составной частью реформы должен был стать новый экстраординарный «полуполтинный» налог с населения, определенный позднее суммой в размере 116 408–145 510 руб. Для расчета его ставки, дифференцированной по степени платежеспособности населения, окольный Федор Кузьмич Елизаров должен был предоставить сведения о числе «во всем государстве людей по переписным книгам» – правительство (как и во времена Петра, почти сорок лет ориентировавшегося на «дворовое число» по переписи 1679 г.) в итоге получило сведения о «дворовом числе» в 582 042 двора, скорее всего, по данным еще не столь уж давней дворовой переписи 1646 г. [Веселовский, с. 5–6].

Таким образом, правительство, вопреки мнению Гордона, серьезно готовило «контрреформу» с возвращением к серебряной монете, но, естественно, делало это втайне, чтобы не допустить паники и ажиотажа в сфере денежного обращения, проявившихся, по сведению все того же Гордона, лишь в самый канун введения реформы в действие 15 июня 1663 г. [Гордон, 2003, с. 128–129], спустя как минимум полгода после начала серьезной практической ее подготовки. Возможно, свою роль в этой «контрреформе» сыграл и известный «деловой фаворит» Алексея Михайловича А. С. Матвеев – по некоторым сведениям, ему был поручен надзор за московским денежным двором, возобновившим чеканку полновесных серебряных копеек, а возможно, и следствие над производившими фальшивую медную монету [Берх, с. 159–160]. Сам Матвеев позднее ставил себе в заслугу организацию прибыльной чеканки серебряной монеты («денежный двор 15 лет стоял пуст, пуда серебра в заводе на дело денежное не бывало; я ж, холоп твой, завел делать на дворе деньги...») [Матвеев, с. 65; Соловьев, кн. VII, с. 183]), которая помогла нормализовать серебряное денежное обращение.

Одним из звеньев подготовки этой денежной «контрреформы» и стали «сметы 1663 г.» (несколько сметных списков, собранных, видимо, по различным территориальным разрядам на ближайшее к моменту реформы время, и потому отразивших состояние вооруженных сил на несколько разновременных срезов от 1661 до весны 1663 г.). Благодаря финансовым мотивам их составления, они, в отличие от других смет, содержат сведения о ставках жалования самых разных категорий служилых людей (чрезвычайно важные для характеристики финансового положения офицерства), равно как и не вполне точную, но все же достаточно представительную информацию, позволяющую оценить хотя бы общую картину состояния офицерского корпуса, а также основной тренд тех перемен, которые произошли в нем за время военной реформы Алексея Михайловича.

Если суммировать данные этих смет, мы можем выстроить следующую картину состояния офицерского корпуса полков «нового строя» на 1663 г., отраженную в приведенной ниже табл. 1:

Таблица 1

*Структура офицерского корпуса полков «нового строя» на 1663 г.*

Чин	В полках и городах			В Москве				Всего офицеров
	рейтары*	драгуны	солдаты	рейтары	драгуны	солдаты	гранатного дела**	
генерал			1					1
генерал-поручик			1					1
генерал-майор						1		1
полковник	25	3	27	7		11		73
подполковник	26	4	38	12	4	9		93
майор	28	8	45	9	3	17	1	111
ротмистр	183			42				225
капитан-поручик	25			7				32
капитан		50	226		3	59	1	339
поручик	249	61	274	42	2	32		660
квартирмейстер	24	3	20	2		1		50
прапорщик	266	59	298	31	3	34	1	692
адъютант	25		2	1				28
обозник	24	4	12			1		41
лекарь						1		1
ученики							4	4
<i>Итого</i>	<i>875</i>	<i>192</i>	<i>944</i>	<i>153</i>	<i>15</i>	<i>166</i>	<i>7</i>	<i>2352</i>

Источник: [Веселовский, с. 6–20].

\* Под общим обозначением «рейтары» учитываются рейтарские и копейные части.

\*\* Под офицерами и учениками «гранатного дела», очевидно, имеется в виду офицерский состав особого (артиллерийского) полка и ставшего его частью московского «гранатного двора», руководимых генералом-датчанином Н. Бауманом [Лобин, с. 182].

К общему числу офицеров, учтенных в таблице, следовало бы прибавить еще и командный состав двух солдатских полков, стоящих в Астрахани и не учтенных в основной части сметы (2 полковника, 3 подполковника, 2 майора, 4 капитана, 7 поручиков, 11 прапорщиков), в общей сложности – 29 офицеров [Веселовский, с. 43], с которыми учтенный в сметах офицерский корпус полков «нового строя» достигнет численности в 2381 человек.

Уже одна эта совокупная численность отражает масштаб тех перемен в общем составе русской армии и в ее формированиях «нового строя», которые были вызваны военной реформой Алексея Михайловича всего лишь за одно десятилетие ее проведения.

Реформа, таким образом, была проведена в *столь же (и даже более) стремительном темпе, что и петровская* (менее чем за 10–11 лет,

которых потребовала последняя), а размах ее становится еще более очевидным, если мы сравним состояние офицерского корпуса в 1663 г. с его численностью и структурой на момент составления предыдущей сметы 1651 г.<sup>7</sup>:

Таблица 2

*Динамика состава офицерского корпуса полков  
«нового строя» в 1651–1663 гг.*

Чин	1651 г.	1663 г.
генерал		1
генерал-поручик		1
генерал-майор		1
полковник	7	73
подполковник	6	93
майор	15	111
ротмистр	18	225
капитан-поручик		32
капитан	33	339
поручик	76	660
квартирмейстер	5	50
прапорщик	89	692
адъютант		28
обозник	13	41
лекарь	1	1
ученики		4
полковой окольный*	1	
подпрапорщик	11	
писарь	2	
<i>Итого</i>	<i>277</i>	<i>2352</i>

\* Курсивом выделены чины, которые есть в смете 1651 г., но уже не учитываются в 1663 г.; «полковой окольный» – скорее всего, ошибка, должно быть: «полковой обозничий».

Как видим, офицерский корпус формирований «нового строя» фактически за одно лишь десятилетие вырос как минимум в 8,5 раз и оказался по численности даже чуть большим, чем *весь контингент иностранцев*, ведавший в Иноземном приказе в 1651 г. (2 313 человек) [Петрухинцев, 2013, с. 513].

Это не удивительно, если учесть масштаб тех перемен, которые произошли за годы реформы в численности и структуре формирований нового строя, насчитывавших в 1651 г. всего 6–7 полков [Там же, с. 519]. Они наглядно отразились в смете 1663 г., по материалам которой построена табл. 3.

<sup>7</sup> Более детально она анализировалась в нашей предыдущей работе [см.: Петрухинцев, 2013, с. 513–521].



Таблица 3

*Структура размещения формирований «нового строя» в 1663 г.*

	Рейтары и копейщики (полков)	Гусары (полков)	Драгуны (полков)	Солдаты (полков)	Итого (полков)
Смоленск	7			3	10
Литва (Дорого- буж, Быхов, Полоцк, Витебск)				4	4
Новгород	4	1		7	12
Казань				2	2
Царицын				1	1
Белгород	7		1	6	14
Киев	1			2	3
Переяслав	2				2
Севск	3		2	5	10
Чернигов				1	1
Путивль				1	1
Брянск	1			2	3
Невель				1	1
Тамбов				1	1
<i>Итого в городах</i>	25	1	3	36	65
Астрахань				2	

Данные таблицы воочию демонстрируют прежде всего существенный рост количества полков «нового строя»: с 6–7 до 65, учтенных в основной части сметы (с добавлением двух астраханских полков – до 67), т. е. практически в 10 раз (что, собственно, и определяет столь резко возросшее число офицеров). Но эта численность далеко не полна: 1) смета явно не учитывает два «выборных» («гвардейских») полка А. А. Шепелева и М. О. Кровкова, прекрасно охарактеризованные А. В. Маловым [Малов]; 2) она, вероятно, не рассматривает и ряд полков, расквартированных в Москве или окрестностях Москвы, полковники которых внесены в сметные списки 1663 г. при определении расчетов жалования. Возможно, часть этих «московских» полков не имела постоянного состава и была своего рода «перевалочными учебными базами», «солдатскими школами», готовившими пополнение для армии, как полк генерал-майора Даниила Кроуфорда, которым реально командовал в тот момент его протеже подполковник П. Гордон, отразивший в своем дневнике эту специфику [Гордон, 2003, с. 116]. Однако, они, видимо, существовали по крайней мере как кадровые структуры, и с учетом их общая численность полков «нового строя» действительно могла достигать той, что была указана в общем итоговом финансовом расчете «сметы 1663 г.» – 75 рейтарских и солдатских полков общей численностью

в 76 920 человек, в числе которых 2 420 офицеров [Веселовский, с. 26–27] (что весьма близко к приведенным выше нашим расчетам по смете). Примерно таким же офицерский корпус полков «нового строя» оставался и в конце XVII в. – в 1696 г. он насчитывал 2 257 офицеров [Великанов, 2014, с. 339].

И по своей численности, и по структуре эта армия «нового строя», насчитывавшая без учета расквартированных в Москве полков не менее 29 кавалерийских (1 гусарский, 25 рейтарских и копейных, 3 драгунских) и 36 (40 с учетом «выборных» и астраханских) пехотных полков, уже весьма близка к полевой армии Петра I (33 кавалерийских и 42 пехотных полка по штату 1711 г. [ПСЗ, т. 4, № 2319, с. 590]<sup>8</sup>). Сложившийся к 1663 г. ее состав мало изменился к концу XVII в., лишь несколько увеличившись после Азовских походов Петра I за счет солдатских полков, сформированных для защиты и заселения новых крепостей на юге (Азова и Таганрога), – по подсчетам В. С. Великанова, она насчитывала в 1699 г. не менее 29 рейтарских и копейных и 57 солдатских полков [Великанов, 2013, с. 346–347].

Естественно, что в условиях продолжающейся русско-польской войны основная часть этой армии (фактически 9/10 состава) была сосредоточена в 1663 г. на двух главных театрах военных действий: 27 полков «нового строя» из учтенных по сметным спискам 65 (41,5 % этих полков и 36 % из обозначенных в общем итоге сметы 75) расположены на западном театре (Смоленск и смежные с ним контролируемые на тот момент русскими войсками литовские города, а также Новгород); еще 34 (соответственно 52,3 % и 45,3 % от тех же показателей) – на южном и юго-западном «украинском», преимущественно в полках Белгородского и Севского разрядов. «Южная» группировка была даже более значительна, чем «западная».

Все это отразилось и на территориальном размещении офицерского корпуса (см. табл. 1), большая часть которого (2 011 человек из 2 352, т. е. 85,5 %) находилась в действующей армии, на театрах военных действий, и меньшая (341 человек, 14,5 %) – в Москве и центральных районах. И, естественно, основной массе этих «полевых» офицеров сделать успешную карьеру было гораздо сложнее, чем «тыловику» подполковнику Патрику Гордону, оказавшемуся на момент составления сметы в этой немногочисленной группе «столичных» офицеров, приближенных ко двору и погруженных в мир Немецкой слободы, где они быстро продвигались по службе с использованием земляческих и религиозных связей, а также механизмов патронажа внутри складывающейся в то же время в слободе более узкой «полковничьей» корпорации офицерской верхушки России – элиты иноземной части российского офицерского корпуса.

<sup>8</sup> Речь идет именно о полевой армии (без учета гарнизонных частей). Сходство с петровской структурой окажется еще более разительным, если мы добавим еще как минимум 7–8 не учтенных в смете 1663 г., но отраженных в ее общем итоге полков «нового строя», связанных с Москвой, где числятся в списках 7 рейтарских и 11 пехотных полковников.

Вероятно, успешному старту офицерской карьеры П. Гордона немало способствовала и его «брачная стратегия» – фактически во время начала правительственных работ над «сметой» в середине января 1663 г. Гордон, недавно с успехом отделившийся от удалявшей его от столицы командировки с полком на подавление восстания в Башкирии и даже добившийся при этом повышения чином от майора до подполковника, решил жениться. Тогда же, чтобы быть ближе к невесте и «полковничьей» элите, он перебрался на жительство из города в Немецкую слободу – на квартиру к брату своего командира Т. Крофорду, одному из представителей старейшего и влиятельнейшего в России (к тому же шотландского, как и Гордон) офицерского клана [Гордон, 2003, с. 120–121]<sup>9</sup>. Избранницей Гордона стала хорошенькая католичка, 13-летняя дочь попавшего в польский плен полковника Филиппа Альберта фон Бокховена, «благородного джентльмена, старшего полковника [на момент начала реформы – почти аналог генеральского чина. – Н. П.], большого любимца царя и знати» [Гордон, 2003, с. 125], представителя не менее влиятельного на тот момент офицерского клана. С именем главы это клана, выходца из Голландии Исаака фон Бокховена (фан Буковена), приближенного Б. И. Морозова и И. Д. Милославского (как раз и завербовавшего Бокховена во время своей посылки при дипломатической миссии в Голландии в 1646 г. [Якубов, с. 409, прим.]), было теснейшим образом связано начало военной реформы Алексея Михайловича. Кстати, будущий тесть П. Гордона и сын И. фон Бокховена (тогда еще майора), сумел снискать симпатии И. Д. Милославского, вероятно, уже в момент своего найма в Голландии в 1646 г. при смотре будущих офицеров на посольском дворе: «Филипп Альберт фон-Буковен выходил с мушкетом и с пиками, с капитанскою и солдатскою, стрелял из мушкета и штурмовал пикою и шпагою различные штуки и по досмотру *добр добре*» [Соловьев, кн. 5, с. 593]. Брак облегчался еще и тем, что по матери, англичанке из рода Воэн (Voghan) из Уэльса [Гордон, 2009, с. 286], невеста была соотечественницей Гордона и наверняка прекрасно владела английским языком.

Таким образом, начальные этапы карьеры Гордона протекали в столице и были связаны с поддержкой двух старейших и, пожалуй, влиятельнейших на тот момент «полковничьих» кланов в России, не говоря уже о патронаже со стороны крайне немногочисленного в годы русско-польской войны генералитета, который на весну 1663 г. был исключительно шотландским<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> О начальных этапах карьеры клана Крофордов см.: [Ноздрин].

<sup>10</sup> Уже к лету 1663 г. П. Гордон состоял в активной переписке с верхушкой русского генералитета – шотландцами генералом Т. Дальйеллом (с которым Гордон, живя в Немецкой слободе, именно в дни денежной контрреформы 1663 г. «*свел и поддерживал тесную дружбу*») и генерал-лейтенантом У. Драммондом, связи с которыми только укрепилась после кратковременной командировки полка Д. Крофуорда – Гордона в 1664 г. в Смоленск, где находился возглавляемый ими штаб западной группировки войск [Гордон, 2003, с. 133–136, 143–144, 154].

Одним из результатов прошедшего десятилетия военной реформы и важнейшим звеном крайне немногочисленных новшеств, внесенных ей в структуру офицерского корпуса (как считает О. А. Курбатов, внутренняя структура полковых формирований и номенклатура чинов в них сложилась уже в 1630–1640-е гг., и в целом реформа Алексея Михайловича свелась лишь к количественному увеличению числа сложившихся полковых структур<sup>11</sup>), стало появление *российского генералитета*. Другие изменения, как это видно в табл. 2, были крайне незначительны и в основном свелись к введению чинов капитан-поручика и полкового адъютанта.

Российский генералитет, история которого в последнее время успешно анализируется в серии работ А. А. Рогожина [Рогожин, 2012а, 2012б], стал еще одним детищем военной реформы Алексея Михайловича, причем не только результатом заимствования структуры европейских военных чинов, но и естественным следствием уже рассмотренного нами выше роста численности полков «нового строя» и их офицерского корпуса, что, само собой разумеется, потребовало введения более сложной иерархии, выходящей за уровень полковничьего чина. Однако число российских генералов на первоначальных этапах реформы Алексея Михайловича (и видимо в ходе всей русско-польской войны) в структуре русской армии, отразившейся в «смете 1663 г.», было пока невелико, и включало лишь трех человек – 1 полного генерала, 1 генерал-поручика (генерал-лейтенанта) и 1 генерал-майора. Немногочисленность генералитета объяснялась подчиненным положением полков «нового строя» в военной структуре России и наличием более привычной и считавшейся более важной параллельной традиционной командной «воеводской» иерархии во главе с русскими воеводами «больших» («разрядных») полков (командующими тогдашних «армий», «корпусов» и «дивизий»), которым подчинялись иноземные генералы и полковники. Она сохранялась до самого конца XVII в.: в 1696 г. российский генералитет, даже увеличившись вдвое, насчитывал всего семь человек [Великанов, 2014, с. 339].

Как уже говорилось, весной 1663 г. генеральские должности занимали исключительно шотландцы (генерал-аншеф Томас Дальйелл и генерал-лейтенант Уильям Драммонд (Дромонт, Друмонт), руководившие «штабом» западной группировки войск в Смоленске и сменившие там недавно умершего А. Лесли, а также непосредственный начальник Гордона генерал-майор Даниил Крофуорд (Краферт, Кроффорд) в Москве). Одновременно они по-прежнему числились полковниками своих полков и в «смете» учитывались в числе полковников, реально командующих полками.

Иноземный состав генералитета был органическим следствием стремительного темпа военной реформы Алексея Михайловича – лавинообразный рост числа полков «нового строя» в течение всего пяти лет при почти полном их отсутствии на предыдущем этапе

<sup>11</sup> О. А. Курбатов любезно поделился этими мыслями в личной беседе с автором.

(а соответственно, и отсутствии собственных офицерских кадров), а также потери в ходе неудачных сражений 1659–1661 гг. потребовали массового найма иноземных офицеров, масштабы вербовки которых в годы русско-польской войны, вероятно, превосходили и царствование Михаила Федоровича, и петровское.

Следствием того же процесса, а также психологических барьеров, связанных с низким престижем (недостаточной «честностью») даже офицерской службы в полках «нового строя» (особенно пехотных), стало и преобладание иноземных офицеров в «полковничьем» корпусе русской армии, тоже в основном отраженное «сметой 1663 г.».

Таблица 4

*Полковники на 1663 г.*

№	Фамилия	Чин	Национальность	Род войск	Место службы	Месячный оклад
1	Бели Томас (Бейли)	полковник	иноземец	солдаты	Москва?*	40
2	Бильс Яков	полковник	иноземец	рейтары	Москва?	45
3	Брюс Вилим (Брюс Уильям)	полковник	иноземец	солдаты	Смоленск	40
4	Вестов Михаил	полковник	иноземец	солдаты	Казань	
5	Вод Александр (Водов)	полковник	иноземец	рейтары	Новгород	40
6	Вормзер Федор Семенов сын (Вормзер)	полковник	иноземец	рейтары	Белгород	45
7	Гамолтон Андрей (Гамильтон, Гамонтон)	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	45
8	Гез Томос (Гези, Гейс)	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	35
9	Гел Адам Юрьев сын (Гель, Ель)	полковник	иноземец	солдаты	Белгород	30
10	Гопт Михаил Марков сын	полковник	иноземец	рейтары	Белгород	40
11	Гохварт Адам	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	40
12	Грабов Юрья	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	35
13	Граф Дирик (Ирик)	полковник	иноземец	солдаты	Белгород	30
14	Гулиц Индрик	полковник	иноземец	солдаты	Невель	35

## Продолжение табл. 4

15	Гулиц Яган (Иоганн) (Гулец)	полковник	иноземец	драгуны	Белгород	30
16	Далиэль Томос (Дальейелл)	генерал салдацкого строя	иноземец	солдаты	Смоленск	100
17	Дефром Юрий	полковник	иноземец	солдаты	Витебск	30
18	Дромонт Вилим (Драммонд Уильям)	генерал-поручик	иноземец	солдаты	Смоленск	100
19	Ердан Давид (Иордан)	полковник	иноземец	солдаты	Царицын	
20	Инвольт (Инволт, Инвалт, Ингвальт) Яган Иванов сын	полковник	иноземец	солдаты	Белгород	35
21	Инглес Юрий (Инглис)	полковник	иноземец	солдаты	Севск	50
22	Кинкет Александр	полковник	иноземец	солдаты	Киев	30
23	Краферт Даниил (Крофорд Дэниэл)	генерал-майор	иноземец	солдаты	Москва	50
24	Краферт Томас (Крофорд)	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	43
25	Краферт Яган (Крофорд Джон)	полковник	иноземец	солдаты	Казань	
26	Купер Яган	полковник	иноземец	солдаты	Чернигов	30
27	Лесли Яков	полковник	иноземец	солдаты	Белгород	40
28	Лукс Ирик Андерсон	полковник	иноземец	драгуны	Севск	40
29	Мевс Иван	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	40
30	Мингаус Христофор (Мынгаус)	полковник	иноземец	рейтары	Смоленск	40
31	Обернятин Яков (Оберняти)	полковник	иноземец?	рейтары	Киев	40
32	Одоров Яков (Одоверн, О'Даворен, Одобрин)	полковник	иноземец?	рейтары	Новгород	40
33	Полмер Рычерт (Палмер)	полковник	иноземец	рейтары	Смоленск	40
34	Рей Якуб	полковник	иноземец	рейтары	Переяславль	40
35	Ронорт Яков	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	40

## Продолжение табл. 4

36	Росформ Артемий	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	
37	Росформ Вилим	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	
38	Сас Иван Семенов сын	полковник	иноземец	рейтары	Белгород	40
39	Скоржинский Петр Семенов сын	полковник	иноземец	рейтары	Белгород	40
40	Страсборх (Страсбург, Штразбург) Яган (Иоганн)	полковник	иноземец	солдаты	Севск	45
41	Траурнихт (Трауэрнихт) Афанасий	полковник	иноземец	рейтары	Москва	45
42	Трейден Яган (Иоганн)	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	30
43	Тур Яков	полковник	иноземец	рейтары	Белгород	40
44	Фанблументрост Крестьян (фан Блументрост)	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	35
45	Фанбуковен Корнилиус	полковник	иноземец	рейтары	Москва?	40
46	Фанбуденброк Иван	полковник	иноземец	рейтары	Москва?	40
47	Фанвисин Денис	полковник	иноземец	рейтары	Москва?	45
48	Фангаленэнборх Трофим	полковник	иноземец	солдаты	Витебск	35
49	Фанговен Яган (Ховен фон Иоганн)	полковник	иноземец	рейтары	Смоленск	40
50	Фанголстен Яков (фан Голстейн?)	полковник	иноземец	солдаты	Киев	30
51	Фандернисин Давид	полковник	иноземец	рейтары	Переяславль	45
52	Фанзагер Яган (фан Загер Иоганн)	полковник	иноземец	солдаты	Белгород	35
53	Фанкалтох Сейбольт	полковник	иноземец	рейтары	Брянск	
54	Фанлубенов Крестьян (фон Лубен, Лубенов Христиан)	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	35

## Продолжение табл. 4

55	Фанстаден Николай (Штаден фон Николаус)	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	40
56	Фливерк Иван	полковник	иноземец	солдаты	Полоцк	30
57	Форот Андрей (Форрет Эндрю)	полковник	иноземец	солдаты	Новгород	
58	Франзбеков Ефим	полковник	иноземец	солдаты	Полоцк	45
59	Франзбеков Иван	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	35
60	Франк Иван	полковник	иноземец	солдаты	Москва?	30
61	Фрелих Петр	полковник	иноземец	рейтары	Новгород	40
62	Шейнг Гоплипт (фан Шейн, Фаншейн) (Готлип)	полковник	иноземец	рейтары	Новгород	40
63	Шель Александр	полковник	иноземец	рейтары	Москва?	40
64	Энес Лаврентий	полковник	иноземец	солдаты	Путивль	
65	Эршов Фредерик (Ершов)	полковник	иноземец	солдаты	Севск	35
66	Юнкман Иван	полковник	иноземец	драгуны	Севск	30
1	Волжинский Василий	полковник	русский?	солдаты	Москва?	30
2	Воронин Борис	полковник	русский	солдаты	Севск	25
3	Змеев Венедикт	полковник	русский	рейтары	Смоленск	50
4	Зыбин Давыд	полковник	русский	рейтары	Москва?	40
5	Зыков Федор	полковник	русский	рейтары	Севск	40
6	Корсак Рафаил	полковник	смоленская шляхта	рейтары	Белгород	40
7	Кровков Матвей Осипович	полковник	русский	солдаты	Москва?	
8	Отмостов Леонтий Артемьев сын (Отмустов, Отмусов)	полковник	неизв	рейтары	Белгород	40
9	Полухтов Иван	полковник	русский	рейтары	Смоленск	40
10	Скорняков-Писарев Семен	полковник	русский	рейтары	Севск	40
11	Спешнев Осип Богданов сын	полковник	русский	солдаты	Белгород	30



## Окончание табл. 4

12	Тарбеев Григорий	полковник	русский	рейтары	Смоленск	40
13	Ушаков Григорий	полковник	русский	солдаты	Москва?	25
14	Шепелев Аггей Алексеевич	полковник	русский	солдаты	Смоленск – Москва	
15	Шепелев Иван	полковник	русский	рейтары	Севск	40
16	Челюсткин Василий	полковник	русский	рейтары	Смоленск	40
17	Юрьев Сила	полковник	русский	солдаты	Москва?	30
1**	Буколтов Андрей	подполков- ник	иноземец	солдаты	Севск	
2	Вестов Самуил	подполков- ник	иноземец	солдаты	Брянск	
3	Франзбеков Андрей	подполков- ник	иноземец	солдаты	Брянск	
4	Хомяков Исаак	подполков- ник	русский	солдаты	Тамбов	
5	Караулов Никифор	подполков- ник	русский	гусары	Новгород	

\* У полковников, учтенных жалованием по «московскому» списку, точные места пребывания не указаны, поэтому мы определяем их предположительно.

\*\* В конце таблицы отдельно сгруппированы подполковники, видимо, реально на тот момент командующие отдельными полками (однако в расчетах по «полковничьему» корпусу мы их не учитываем).

Основу таблицы составили сметные списки полков и начальных людей на жалованье [Веселовский, с. 5–6] с незначительными добавлениями персонажей, известных по другим источникам (командиров тех же выборных полков). Таблица (возможно, не совсем точно и полно) отражает состав полковничьего корпуса, вероятнее всего, на осень 1662 – весну 1663 г.; рейтары и копейщики нами не разделены; для удобства пользования другими исследователями командующие полками сгруппированы не по рангу или месту дислокации их полков, а по алфавитному принципу, при этом многочисленные «Фанбуковены» (фон Бокховены) и пр. с «дворянским» детерминативом «фан» или «фон» (на голландский или немецкий манер), помещены, согласно наиболее обычной русской транскрипции слитного написания детерминативов и их фамилий, в конечных разделах списка; для удобства восприятия таблицы русские и иноземцы помещены и пронумерованы отдельно.

Как видим, общее число полковников, учтенных нами на конец 1662–1663 гг. – 83 человека, что несколько больше, чем «штатное» число (75) полков «нового строя», откуда, скорее всего, следует,

что не все они были заняты на действительной службе, а часть, возможно, находилась «за полками». Мы включили в число полковников и трех генералов, т. к. они указаны как командующие полками. Подавляющее большинство (66 человек, т. е. 79,5 %) – иноземцы, и только 15 человек (18,07 %) – русские, которые, таким образом, составляют пока меньше пятой части командующих полками. Еще один человек – рейтарский полковник Рафаил Корсак – принадлежит к смоленской шляхте, статус которой до заключения мира с Польшей еще точно не зафиксирован, а определение национальности Л. А. Отмостова без дополнительных сведений вызывает значительные затруднения.

Русские полковники немногочисленны, но именно из их среды вышли три из пяти первых русских «допетровских» генералов XVII в., выявленных А. А. Рогожиным – генеральские чины в последующем, уже в ходе другой (русско-турецкой 1673–1681 гг.) войны получили В. А. Змеев, а также командиры «выборных» А. А. Шепелев и М. О. Кровков. И. А. Шепелев, уже в 1658 г. бывший рейтарским подполковником в Белгородском полку [Загоровский, с. 158], скорее всего, является родственником (братом) А. А. Шепелева.

Но большинство первых русских полковников, как и принадлежавшие к низам московских чинов Кровков и беляне Шепелевы [Малов, с. 113–114, 107–108], видимо, имели незнатное происхождение: только В. А. Змеев и Г. Тарбеев упоминаются в 1663 г. с чином стольника. В этом отношении показательна восстановленная М. Ю. Романовым судьба рейтарского полковника С. С. Скорнякова-Писарева, выбившегося из мещерских детей боярских в командиры одного из старых, еще «досмутных» стрелецких полков: в сентябре 1658 г. стрелецкий полк С. С. Скорнякова-Писарева был направлен в полк князя Ф. Ф. Куракина против И. Выговского и крымских татар, а в 1659 г., видимо, был под Конотопом. Однако С. С. Скорняков-Писарев, в отличие от других стрелецких голов, не был награжден за Конотоп – наоборот (возможно, за какую-то вину), он был отстранен от командования стрелецким полком и переведен в командиры рейтарского, что было унижением чести. Скорняков оставался рейтарским полковником до начала 1670-х гг., после чего был вновь назначен командиром одного из московских стрелецких приказов, что свидетельствовало о стремлении вернуться к более «почетной» стрелецкой службе [Романов, с. 259]. Правда, по другим данным, С. Скорняков-Писарев уже в 1658 г. в чине подполковника командовал рейтарским полком в Белгородском разряде [Загоровский, с. 158].

Анализ списка иностранных полковников показывает, что уже во времена реформы Алексея Михайловича стал формироваться в своем роде наследственный костяк иноземной офицерской элиты, представленный «полковничьими» династиями (имевшими своих представителей в чинах от генеральских до подполковничьих) и сохранивший свое влияние до конца XVII в., который мы уже фиксировали в одной из наших статей [Петрухинцев, 2011, с. 229–231]:

из 61 «полковничьей» фамилии 1663 г. по меньшей мере пять (Бильсы, Вестовы, Гулицы, Франки, Юнкманы) имели своих представителей в чинах от подполковника до генерала во всех трех анализированных нами офицерских списках (1663, 1681, 1701 гг.); на подходе к полковничьим званиям в 1663 г. были еще две такие фамилии (Цей и Гордоны<sup>12</sup>); а еще три (Брюсы, Фливерки и Куперы) имели представителей в двух списках<sup>13</sup>. Таким образом, по меньшей мере 10 фамилий, вошедших в офицерскую элиту полков «нового строя» уже во время военной реформы Алексея Михайловича, образовали достаточно устойчивые династии, дававшие по одному или несколько представителей в элиту офицерского корпуса России на протяжении почти четырех десятилетий, что не так уж мало, учитывая, что число иноземных полковников колебалось в пределах 65–80 человек, а полковничьи вакансии открывались не столь уж часто.

Правда, в условиях войны, вынуждавшей держать основную часть офицерского корпуса на театрах военных действий, процесс «оседания» даже этой элитарной части иноземного офицерства в Немецкой слободе Москвы еще далеко не завершился: по переписи августа 1665 г. лишь чуть более половины полковников имели дворы в ней (42 полковника и 23 подполковника [Цветаев, с. 256]). Однако и в этих условиях он активно шел: как раз после августовского описания (возможно, имевшего целью в том числе и регулирование застройки Слободы), накануне рождения своего первенца-дочери, 17 сентября 1665 г. П. Гордон вместе с другими иноземными офицерами подал прошение «об участках для строительства в Слободе... и получил дозволение. Слободской стольник приказал отмерить участки и раздать нам оные» [Гордон, 2003, с. 158]. За полгода до этого, 26 января 1665 г., Гордон наконец женился на дочери Ф. фон Бокховена и буквально тут же, уже через две недели, по личной инициативе близкого с кланом Бокховенов начальника Иноземного приказа царского тестя И. Д. Милославского, ходатайствовавшего за него перед царем, был произведен в полковники и получил под команду полк отпущенного с русской службы вернувшегося в Англию своего приятеля-генерала У. Драммонда [Там же]. Накануне отъезда Гордона в отпуск в Англию, 29 мая 1666 г., его первый дом в Слободе был уже готов и новоселье отмечено празднованием дня рождения английского короля, закончившимся на следующий день конной дуэлью Гордона с оскорбившим его в подпитии майором Монтомери (обменом выстрелами на скаку из мушкета [Там же, с. 162]).

Сама бурлившая подобными страстями Немецкая (Новонемецкая) слобода тоже была детищем и результатом военной реформы Алексея Михайловича, возникнув и развиваясь вместе с ней. Основание слободы состоялось почти одновременно со стартом военной реформы (осенью 1652 г.) и было инициировано вероисповедным конфликтом

<sup>12</sup> А. Цей, еще в 1653 г. служивший майором в Коломне, к 1664 г., видимо, тоже уже был подполковником, как и Гордон [Цветаев, с. 279; Гордон, 2003, с. 149].

<sup>13</sup> Ср. табл. 4 данной статьи с табл. 3 в: [Петрухинцев, 2011, с. 237].

с иноземным офицерством [Опарина, с. 163], и с этого момента и до конца XVII столетия Немецкая слобода была, скорее всего, в первую очередь колонией иностранных военных наемников (о чем нам уже приходилось писать [Петрухинцев, 2011, с. 231–232]) – в августе 1665 г. иноземным офицерам принадлежало 69,6 % дворов в слободе (142 из 204) [Цветаев, с. 256]. Но само закрепление их в России и оседание в Слободе прежде всего зависело от их материального положения, определяемого в первую очередь размерами жалования, ибо после «вероисповедного конфликта» большинство офицеров, не принявших православия, лишались возможности владеть имениями в России и фактически переводились в разряд «кормовых»<sup>14</sup>.

Именно эта проблема и решалась в 1663 г.: как мы уже видели, подготовка «сметы 1663 г.» была теснейшим образом связана с вопросом об определении стабильных ставок жалования иноземным офицерам в серебряной монете.

Таблица 5

*Месячное жалование полковников «нового строя» в 1663 г.\**

Оклад месячного жалования	Кол-во человек	% в общем составе
100 руб.	2	2,74
50 руб.	3	4,10
45 руб.	8	10,96
43 руб.	1	1,37
40 руб.	33	45,21
35 руб.	10	13,70
30 руб.	14	19,18
25 руб.	2	2,74
<i>Итого</i>	<i>73</i>	<i>100</i>

\* Таблица построена по материалам табл. 4 и учитывает 73 полковника, по которым есть сведения о жаловании, что составляет 88 % всех учтенных в табл. 4 полковников и делает ее сведения вполне репрезентативными.

Как показывает табл. 5, единого фиксированного «штатного» жалования полковников в 1663 г. еще не было: месячное жалование полковников с возвращением к оплате в серебряной монете насчитывало восемь различных окладов и колебалось в пределах от 25 до 100 руб. (вероятнее всего, это было обусловлено различными условиями «капитуляций» при приеме иноземцев на службу, а также градацией в статусе полковников, вызванной неразвитостью структуры генералитета<sup>15</sup>).

<sup>14</sup> Т. е. содержащихся за счет денежного и хлебного жалования.

<sup>15</sup> Как мы видели, Гордон употребляет термин «старший полковник» применительно к Ф. А. фон Бокховену, который в начале реформы употреблялся и по отношению к А. Лесли до производства его в генералы.

Тем не менее, представление о «нормальном» окладе полковника к 1663 г., очевидно, уже сложилось. Высшее, 100-рублевое жалование, в два раза превышающее жалование остальных полковников, получали, собственно, уже не полковники, а генералы – лишь два представителя русского генералитета (полный генерал Томас Дальйелл (Далиэль) и генерал-поручик Уильям Драммонд (Дромонт)), и оно, таким образом, не различалось в зависимости от градаций генеральского чина. Как видим, генеральское жалование составляло значительную на тот момент сумму не менее чем в 1200 руб. в год и, учитывая инфляцию и падение стоимости рубля вдвое, было, однако, чуть ниже установленного в 1711 г. Петром I штатного генеральского (от 1800 руб. у генерал-майора до 3600 руб. у генерал-аншефа (19 февраля 1711 г.) [ПСЗ, т. 4, № 2319, с. 590]). Третий представитель генералитета, генерал-майор Д. Крофуорд, получал по сравнению с остальными генералами «половинное» жалование в 50 руб. (возможно, потому, что находился не на театре военных действий, а в тылу в Москве), эквивалентное высшему полковничьему, которое, кроме него, получали еще всего два полковника.

Основная масса полковников – 57 из 73 (более трех четвертей, 78 %) – имела оклад от 30 до 40 руб., который, очевидно, и считался нормальным для полковничьего чина (причем скорее по его верхнему пределу – от 35 до 40 руб. получали 58,9 % всех полковников). Таким образом, «нормальное» полковничье жалование колебалось в пределах от 420 до 480 руб. в год и составляло от 35 % до 40 % генеральского (при Петре полковник со штатным окладом в 600 р. (по штату 1711 г.) [Там же, с. 591] получал ровно треть от жалования генерал-майора, но всего 16,7 % от жалования полного генерала). Оно, вероятно, чуть повысилось к концу XVII в., колеблясь уже в 1681 г. в большей степени в диапазоне от 45 до 50 руб. в месяц, что в целом составляло значительную сумму, даже при минимальных размерах в мирное время эквивалентную еще в 1701 г. годовому доходу с имения в 303–429 душ [Петрухинцев, 2011, с. 230].

Судя по всему, жалованье иноземных и русских полковников на тот момент еще не различалось. И хотя низшее жалование в 25 руб. получали именно два русских полковника (Б. Воронин и Г. Ушаков), среднемесячное жалованье 13 русских полковников составило 36 руб. 15 коп. и было почти эквивалентно среднему жалованию 56 полковников-иноземцев (38 руб. 27 коп.)<sup>16</sup>, тогда как при Петре I русский полковник получал половинное от иноземческого жалование в 300 руб. в год. Более того, в числе двух «чистых» полковников (без генерал-майора Д. Крофуорда), получавших высший полковничий оклад в 50 руб., один был русским – это был В. А. Змеев, в последующем сделавший блестящую «генеральскую» карьеру.

<sup>16</sup> Подсчитано по табл. 4; естественно, мы брали исключительно людей в полковничьем чине и исключили из подсчетов двух иноземных генералов; к тому же, при незначительном числе русских полковников два человека с наименьшим жалованием среди них существенно исказили размер среднего оклада для русских, в реальности еще более близкого к иноземному.

Жалование офицерской элиты (73 полковников и генералов, учтенных в табл. 4) должно было составить в конечном итоге 34 716 руб. в год. С учетом тех 10 полковников, которые вошли в табл. 4, но жалование которых неизвестно, расходы на эту элиту из 83 человек при среднем размере месячного полковничьего жалования в 38 руб. по всему корпусу полковников<sup>17</sup> должны были дать в совокупности не менее 39 276 руб. в год, что составляло 18,2 % (почти одну пятую часть) расходов на *весь офицерский корпус* в 2420 человек, определенных сметой в сумму в 215 530 руб. [Веселовский, с. 26–27]. В свою очередь, весь этот офицерский корпус в целом поглощал 27,95 % расходов от общей суммы на содержание армии «нового строя», предусмотренной в смете в размере 771 235 руб. [Там же] и ложился тяжелым бременем на государственный бюджет, который даже в 1680 г. был чуть выше 2 млн руб.

Но правительство было готово идти на эти жертвы: вовремя проведенная летом 1663 г. денежная реформа способствовала внутренней стабилизации и преодолению наметившегося с осени 1662 г. тяжелейшего дипломатического кризиса, осложненного с осени 1663 г. ухудшением отношений с Швецией [Флоря, с. 45–48, 69–70], а также кризиса в армии. Это, вероятно, позволило стабилизировать положение на фронтах и достаточно быстро остановить начавшееся в августе 1663 г. общее наступление польской армии на юге, планировавшей поход на Москву, но дошедшей только до Севска и быстро откатившейся назад, оставив Левобережную Украину и породив в 1664 г. казачье антипольское восстание на Правобережье [Там же, с. 28–29, 39–41]. Таким образом, события, связанные с появлением «сметы 1663 г.», стали одним из переломных моментов русско-польской войны, после которого с 1664 г. активизировались русско-польские переговоры и начался «поворот к миру».

Однако возврат к серебряному денежному обращению летом 1663 г., как показал К. В. Базилевич, сопровождался достаточно серьезными проблемами в экономической сфере и ухудшением положения населения [Базилевич, с. 72–74]. Неудивительно, что в это время бюджет не смог справиться с столь значительной нагрузкой, и проблемы с выплатой жалования офицерам уже в серебряной монете продолжались. Это вынудило правительство перейти к политике изыскания паллиативных мер по снижению давления офицерского жалования на бюджет, историю которых недавно проследил в основных ее чертах А. А. Рогожин [Рогожин, 2013]. Проблемы обозначились сразу же: даже московским офицерам в серебряной монете было выплачено 15 июня 1663 г. первоначально лишь полуторамесячное жалование [Гордон, 2003, с. 133].

Уже в октябре 1663 г. иноземные офицеры расквартированных на северо-западе полков «с великим шумом и невежеством» ворвались во Пскове к воеводе А. Бутурлину с требованием немедленной

<sup>17</sup> Подсчитано без двух генералов.

выплаты жалования, угрожая в противном случае «пойти врознь за рубеж»; в середине 1660-х гг. демарш повторился на юге в Белгородском полку, где трое полковников – будущий генерал-поручик Франц Вульф (Ульф), Яган Фанзагер и Дирик Граф – самовольно оставили свои полки и отправились в Москву требовать жалованья, желая вернуться в Европу, и лишь под давлением русских властей, добившись частичного удовлетворения своих требований, вернулись на службу [Рогожин, 2013, с. 70].

Неудивительно, что уже сразу по завершении русско-польской войны, и прежде всего отнюдь не из ксенофобии, а с очевидной целью экономии бюджетных средств, начались массовые увольнения иноземных офицеров и была приостановлена вербовка новых, что в записи под 23 марта 1667 г. зафиксировал возвращавшийся из поездки в Европу П. Гордон: «...император уже уволил столь многих офицеров, кои служили прежде и были знакомы со страной», повторив почти тот же текст и 25 июня 1667 г. после приезда в Москву: «...уже уволено так много храбрых кавалеров, которые столь долго здесь прослужили и знают местные обычаи» [Гордон, 2003, с. 205, 206]. Кроме того, еще до окончания войны началась экономия и на русских офицерах: уже в 1660-е гг. у обер- и части штаб-офицерского состава (включая подполковников) начали вводиться вычеты из окладов жалования «за крестьянские дворы» (от 10 коп. у прапорщика до 25 коп. у подполковника за каждый наличный двор) [Рогожин, 2013, с. 74], что было фактически для них возвращением к практике бесплатной службы «с поместий».

В сравнительно спокойное мирное время между двумя войнами (русско-польской 1654–1667 гг. и русско-турецкой 1673–1681 гг.) политика экономии на офицерском жаловании была продолжена и выразилась сразу в нескольких акциях, фактически сводившихся к введению своего рода «мирного штата» жалованья: 30 сентября 1668 г. было решено выплачивать жалование находящимся «за полками» (т. е. не на действительной службе) иноземным офицерам в размере лишь половины денежного оклада (при этом четверть оклада выдавалась деньгами, а четверть – солью). Через год, в августе 1669 г., жалованье им было сокращено уже до трети оклада, а значит, платилось всего на 4 месяца в году, т. е. на «полевой» сезон (май-август), когда они реально находились при своих полках в военных кампаниях или занимались их военной подготовкой до роспуска на зимние квартиры. Это несколько смягчалось выдачей за пятый месяц хлеба и соли, вскоре переведенной в денежную форму (примерно 46 руб.), что для полковника было эквивалентно месячной зарплате [Там же, с. 71–72]. Очевидно, именно тогда уже начала складываться традиция выплаты «третнего» жалования военным чинам и общей выплаты жалования военным по «третьям» года, приуроченным к полевому военному и сельскохозяйственному сезонам, которая сохранилась и во времена Петра и даже распространилась на принципы сбора подушной

подати, тоже собиравшейся в 1720–1730-е гг. по «третям» («январская», «майская» и «сентябрьская» трети).

21 июня 1670 г. принцип уплаты «третного» жалования был распространен и на русских офицеров, вслед за чем начались еще более существенные поиски экономии на их содержании: в 1670 г. вычет из окладов «за крестьянские дворы» (по 35 коп. за двор) был распространен и на русских полковников, на которых он ранее не распространялся. 1 сентября 1672 г., после проведенного в феврале-марте 1672 г. многолетним главой Белгородского разряда Г. Г. Ромодановским смотра Белгородского полка, сопровождавшегося подачей сказок о количестве дворов и земель за русскими офицерами, правительство приказало многих из них отставить от службы и перевести в «заполочные». Жалование «заполочным» с этого момента совсем не платилось, а на их места определялись иноземные офицеры из Москвы – по подсчетам А. А. Рогожина, 56 % русских офицеров Севского и Белгородского полков, составлявших почти половину армии «нового строя», должны были отныне нести службу без жалования. С 1673 г. правительство ввело с русских офицеров вычеты уже не только за дворы, но и за *четверти поместной земли*, что поставило на грань выживания имевших землю, но почти не имевших крестьян мелкопоместных дворян, составлявших основной костяк русских офицеров [Рогожин, 2013, с. 74–75].

Так, в силу в первую очередь финансовых трудностей, постепенно складывалась разница русских и иноземческих офицерских окладов, унаследованная и использованная затем Петром I, и ликвидированная лишь решением Военской сухопутной комиссии об армии в 1731 г., предложенным еще в «голицынской» фазе ее работы [Петрухинцев, 2001, с. 150].

Действуя таким образом, правительство, при дефиците финансов, конечно, прежде всего хотело сохранить ядро иноземного офицерского корпуса в преддверии уже намечающейся русско-турецкой войны, но тем самым наносило удар по формировавшейся в два предшествующие десятилетия его «русской» части. Служба без жалования для среднепоместных и постепенно формирующаяся разница в русских и иноземческих окладах для мелкопоместных дворян стала еще одним фактором, понижающим и без того невысокий статус офицерского чина в глазах даже провинциальных русских «служилых по отечеству» и уж тем паче в глазах столичного дворянства.

Все эти проблемы были не только не решены, но усугубились в период не менее тяжелой (в том числе и для русских финансов) масштабной русско-турецкой войны 1673–1681 гг., в ходе которой правительство неоднократно практиковало и невыплату части офицерских окладов, и замену денежных выплат натуральными (например, соболями из Сибирского приказа), а также закрепило практику службы русских офицеров «с поместий» [Рогожин, 2013, с. 76–79].



Очевидным следствием стало резкое торможение процесса формирования русского национального офицерского корпуса к концу XVII в. Из-за низкой социальной и экономической престижности офицерских чинов и правительственной политики по сохранению на службе и поддержке верхушечного слоя иноземных офицеров, офицерская служба становилась все менее привлекательной для российского дворянства. При том, что в 1696 г., по подсчетам В. С. Великанова, на долю русских приходилось уже 58 % численности офицерского корпуса армии «нового строя», их уделом оставалась служба на уровне ротных офицеров, где они доминировали, давая более двух третей их (67,4 %), а штаб-офицерские чины (от майора до полковника) по-прежнему оставались «вотчиной» иноземцев, составлявших в них уже 86 % [Великанов, 2014, с. 339]. Элита русского дворянства («московские чины»), могущая своим социальным авторитетом укрепить командование армии в среднем и высшем звене (штаб-офицерских и генеральских рангах), не шла в офицерский корпус, 98 % «русской части» которого в конце XVII в. составляли выходцы из провинциального «городового» дворянства [Там же, с. 344].

Это было серьезнейшей проблемой, которую предстояло решить Петру I.

---

*Базилевич К. В.* Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М. : Л. Изд-во Акад. наук СССР, 1936. 116, [2] с.

*Берх В. Н.* Царствование Алексея Михайловича. СПб. : И. Сленин, 1831. Ч. 1. 582 с.

*Великанов В. С.* К вопросу об организации и численности вооруженных сил Российского государства в 1699 г. // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды четвертой междунар. науч.-практ. конф. : сб. ст. СПб. : ВИМАИВиВС, 2013. Ч. 1.

*Великанов В. С.* К вопросу об офицерском корпусе русской армии накануне и на начальном этапе Северной войны // Война и оружие: новые исследования и материалы. Труды пятой междунар. науч.-практ. конф. СПб. : ВИМАИВиВС, 2014. Ч. 1.

*Веселовский С. Б.* Сметы военных сил Московского государства 1661–1663 гг. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 3. 1911. С. 4–54.

*Гордон П.* Дневник. 1659–1667. М. : Наука, 2003. 330 с.

*Гордон П.* Дневник. 1684–1689. М. : Наука, 2009. 354 с.

*Дворянство России и его крепостные крестьяне XVII – первой половины XVIII в. М., 1989. 184 с.*

*Загоровский В. П.* Белгородская черта. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1969. 304 с.

*Козляков В. Н.* Служилый «город» Московского государства XVII века (от Смуты до Соборного уложения). Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2000. 208 с.

*Курбатов О. А.* Роль служилых «немцев» в реорганизации русской конницы в середине XVII в. // Иноземцы в России в XV–XVII вв. : сб. материалов конференций 2002–2004 гг. М., 2006. С. 18–34.

*Курбатов О. А.* Организация и боевые качества русской пехоты «нового строя» накануне и в ходе русско-шведской войны 1656–1658 гг. // Архив русской истории. Вып. 8. М. : Древлехранилище, 2007. С. 175–197.

*Лантвева Т. А.* Провинциальное дворянство России в XVII веке. М. : Древлехранилище, 2010. 628 с.

*Лобин А. Н.* Неизвестные образцы русской артиллерии 1660-х–1670-х гг. // Война и оружие. Новые исследования и материалы : сб. статей междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2010. Ч. II.

*Малов А. В.* Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656–1671. М. : Древлехранилище, 2006. 624 с.

*Матвеев А. С.* История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева. СПб., 1776.

*Мельникова А. С.* Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М. : Финансы и статистика, 1989. 323 с.

*Ноздрин О. Я.* Воин, инженер, предприниматель. Дела и служба Александра Крофорда в Московском государстве // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды третьей междунар. науч.-практ. конф. 1–18 мая 2012 г. СПб. : ВИМАИВиВС, 2012. Ч. 2. С. 434–440.

*Опарина Т. А.* Полковник Александр Лесли и православие // Иноземцы в России в X–XVII в. : сб. материалов конференций 2002–2004 гг. М., 2006.

*Пенской В. В.* Военная революция XVI–XVII вв. и ее последствия // Новая и новейшая история. 2005. № 2. С. 194–206.

*Петрухинцев Н. Н.* Царствование Анны Иоанновны: формирование внутривосточного курса и судьбы армии и флота. СПб. : Алетей, 2001. 352 с.

*Петрухинцев Н. Н.* Некоторые тенденции в развитии иноземного офицерского корпуса России в конце XVII – начале XVIII в. // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды второй междунар. науч.-практ. конф. СПб. : ВИМАИВиВС, 2011. Ч. 2. С. 219–240.

*Петрухинцев Н. Н.* К характеристике формирований «нового строя» накануне военных реформ Алексея Михайловича [Электронный ресурс] // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды четвертой междунар. науч.-практ. конф. : сб. ст. СПб. : ВИМАИВиВС, 2013. Ч. 3. С. 502–523. URL: [http://artillery-museum.ru/conference-voyna\\_i\\_oruzhie\\_2013-materials\\_2013.html](http://artillery-museum.ru/conference-voyna_i_oruzhie_2013-materials_2013.html)

*Петрухинцев Н. Н.* Военная реформа Алексея Михайловича и ее влияние на военные формирования на территории Липецкого края // Вехи минувшего. (Уч. зап. ист. ф-та Липец. госпедун-та). Липецк, 2014. С. 1–22.

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. Т. 4. № 2319. С. 590.

*Рогожин А. А.* Первые русские генералы // Уч. зап. Орлов. гос. ун-та. 2012а. № 1. С. 126–133.

*Рогожин А. А.* Рейтары полка И. Фанбуковена. Создание в середине XVII века русских военных формирований и подготовка для них командирских кадров // Военно-исторический журнал. 2012б. № 9. С. 21–25.

*Рогожин А. А.* Денежное жалование начальных людей полков «нового строя» в 1660–1680-х гг. // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды четвертой междунар. науч.-практ. конф. : сб. ст. СПб. : ВИМАИВиВС, 2013. Ч. 4. С. 66–79.

*Романов М. Ю.* Стрельцы московские. М. : Гос. публ. ист. б-ка России, 2004. 352 с.

*Соловьев С. М.* История России с древнейших времен // Соловьев С. М. Сочинения. М., 1991. Кн. 5, 7.

*Флоря Б. Н.* Внешнеполитическая программа А. Л. Ордин-Нащокина и попытки ее осуществления. М. : Индрик, 2013. 448 с.

*Цветаев Д. В.* Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М. : Унив. тип., 1890.

*Черепнин Л. В.* Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. М. : Наука, 1978. 549 с.

*Черников С. В.* Эволюция высшего командования российской армии и флота первой четверти XVIII в. К вопросу о роли европейского влияния при проведении петровских военных реформ // Cahiers du Monde russe. 50/4. Octobre-décembre 2009.

*Чернов А. В.* Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII вв. М. : Воениздат, 1954. 224 с.

*Якубов К.* Россия и Швеция в первой половине XVII в. М. : Унив. тип. 1897. 505 с.

*Petrakhintsev N. N.* The Baltic Strategy of Peter the Great // Russland an der Ostsee. Imperiale Strategien der Macht und kulturelle Wahrnehmungsmuster (16 bis 20. Jahrhundert) / Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte. Bd. 22 / Böhlau Verlag. Wien ; Köln ; Weimar, 2012. S. 169–189.

*Stevens C. B.* Soldiers on the Steppe. Army reform and social change in Early Modern Russia. Northern Illinois Univ. Press, 1995.

---

Bazilevich, K. V. (1936). *Denezhnaya reforma Alekseya Mihajlovicha i vosstanie v Moskve v 1662 g.* [Currency reform of Aleksey Mikhailovich and Moscow rebellion of 1662 yr.]. Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR.

Berh, V. N. (1831). *Czarstvovanie Alekseya Mihajlovicha* [The reign of Aleksey Mikhailovich]. Part 1. St. Petersburg: I. Slenin.

Cherepnin, L. V. (1978). Zemskie sobory' russkogo gosudarstva v XVI–XVII vv. [Zemskie sobors of the Russian state in 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc.]. Moscow: Nauka.

Chernikov, S. V. (2009). E'voluciya vy'sshego komandovaniya rossijskoj armii i flota pervoj chetverti XVII v. K voprosu o roli evropejskogo vliyanija pri provedenii petrovskih voenny'h reform [Evolution of the high command of the Russian Army and Navy in the first quarter of 17<sup>th</sup> c. Revisiting the role of European influence in the time of Peter the Great's military reforms]. *Cachiers du Monde russe*, 50/4.

Chernov, A. (1954). *Vooruzhenny'e sily' Russkogo gosudarstva v XV–XVII vv.* [The Armed forces of the Russian state in 15<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc.]. Moscow: Voenizdat.

Czvetavaev, D. V. (1890). *Protestantstvo i protestanty' v Rossii do e'pohi preobrazovanij* [Protestantism and protestants in Russia before the age of transformations]. Moscow: Univ. tip.

*Dvoryanstvo Rossii i ego krepostny'e krest'yane XVII – pervoj poloviny' XVIII v.* [The nobility of Russia and its serfs 17<sup>th</sup>– first half of the 18<sup>th</sup> c.]. (1989). Moscow.

Florya, B. N. (2013). *Vneshnepoliticheskaya programma A. L. Ordin-Nashhokina i popy'tki ee osushhestvleniya* [A. L. Ordin-Nashokin's foreign policy program and attempts of its realization]. Moscow: Indrik.

Gordon, P. (2003). *Dnevnik. 1659–1667* [Diary. 1659–1667]. Moscow: Nauka.

Gordon, P. (2009). *Dnevnik. 1684–1689* [Diary. 1684–1689]. Moscow: Nauka.

Kozlyakov, V. N. (2000). *Sluzhilyj "gorod" Moskovskogo gosudarstva XVII veka (ot Smuty' do Sobornogo ulozheniya)* [The "town" of service class people in the Muscovy in 17<sup>th</sup> century (from the Time of Trouble to the Council Code)]. Yaroslavl: Izd-vo YaGPU.

Kurbatov, O. A. (2006). Rol' sluzhily'h "nemcev" v reorganizacii russkoj konnicy' v seredine XVII v. [The role of the serving "Germans" in the reorganization of Russian cavalry in the middle of 17<sup>th</sup> c.]. In *Inozemcy' v Rossii v XV–XVII vv.: sb. materialov konferencij 2002–2004 gg.* [Foreigners in Russia in 15<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc.: collection of proceedings of the conferences of 2002–2004 yrs.]. (p. 18–34). Moscow.

Kurbatov, O. A. (2007). Organizaciya i boevy'e kachestva russkoj pehoty' "novogo stroya" nakanune i v hode russko-shvedskoj vojny' 1656–1658 gg. [Organization and combat characteristics of Russian infantry of the "new system" on the eve and during Russian-Swedish war 1656–1658 yrs.]. In *Arhiv russkoj istorii* [The archive of Russian history]. (Iss. 8) (p. 175–197). Moscow: Drevlehranilishhe.

Lapteva, T. A. (2010). Provincial'noe dvoryanstvo Rossii v XVII veke [Provincial nobility in Russia in 17<sup>th</sup> century]. Moscow: Drevlehranilishhe.

Lobin, A. N. (2010). Neizvestny'e obrazcy' russkoj artillerii 1660-h–1670-h gg. [Unknown samples of Russian artillery of 1660s–1670s yrs.]. In *Vojna i oruzhie: novye issledovaniya i materialy: sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii.* [War and weapon: new researches and materials. Collection of articles of the international research and practice conference]. Part 2. St. Petersburg.

Malov, A. V. (2006). *Moskovskie vy'borny'e polki soldatskogo stroya v nachal'nyj period svoej istorii. 1656–1671* [Moscow selected regiments of soldierly formation at the beginning of its history. 1656–1671]. Moscow: Drevlehranilishhe.

Matveev, A. S. (1776). *Istoriya o nevinnom zatochenii blizhnego boyarina Artamana Sergeevicha Matveeva* [The story of innocent imprisonment of the confidant boyar – Artamon Sergeevich Matveev]. St. Petersburg.

Mel'nikova, A. S. (1989). *Russkie monety' ot Ivana Groznogo do Petra Pervogo* [Russian coins from Ivan the Terrible till Peter the Great]. Moscow: Financy' i statistika.

Nozdrin, O. Ya. (2012). Voin, inzhener, predprinimatel'. Dela i sluzhba Aleksandra Kroforda v Moskovskom gosudarstve [Soldier, engineer, industrialist. Business and service of Aleksandr Kroford in the Muscovy]. In *Vojna i oruzhie: novye issledovaniya i materialy. Trudy' tret'ej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii: sb. st.* [War and weapon: new researches and materials. Proceedings of the third international research and practice conference: collection of articles]. Part 2 (p. 434–440). St. Petersburg: VIMAIViVS.

Oparina, T. A. (2006). Polkovnik Aleksandr Lesli i pravoslavie [Colonel Aleksandr Lesli and Orthodoxy]. In *Inozemcy' v Rossii v XV–XVII vv.: sb. materialov konferencij 2002–2004 gg.* [Foreigners in Russia in 15<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc.: collection of proceedings of the conferences of 2002–2004 yrs.]. Moscow.

Penskoj, V. V. (2005). Voennaya revoliuciya XVI–XVII vv. i ee posledstviya [Military revolution in 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc. and its consequences]. *Novaya i novejschaya istoriya* [New and contemporary history], 2, 194–206.

Petruhincev, N. N. (2001). Czarstvovanie Anny' Ioannovny': formirovanie vnutripoliticheskogo kursa i sud'by' armii i flota [The reign of Anna Ioannovna: the formation of domestic policy and the fates of the Army and Navy]. St. Petersburg: Aletejya.

Petruhincev, N. N. (2011). Nekotory'e tendencii v razvitii inozemnogo oficerskogo korpusa Rossii v konce XVII – nachale XVIII v. [Some tendencies in the development of the foreign Officer Corps of Russia in the late 17<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> c.]. In *Vojna i oruzhie: novy'e issledovaniya i materialy. Trudy' vtoroj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii*. [War and weapon: new researches and materials. Proceedings of the second international research and practice conference]. Part 2 (p. 219–240). St. Petersburg: VIMAIViVS.

Petruhincev, N. N. (2012). The Baltic Strategy of Peter the Great. In *Russland an der Ostsee. Imperiale Strategien der Macht und kulturelle Wahrnehmungsmuster. Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte* (p. 169–189). Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag.

Petruhincev, N. N. (2013). K karakteristike formirovanij “novogo stroya” nakanune voenny'h reform Alekseya Mihajlovicha [To the characteristics of the formation of the “new system” on the eve of the military reforms of Aleksey Mikhailovich]. In *Vojna i oruzhie: novy'e issledovaniya i materialy. Trudy' chetvertoj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: sb. st.* [War and weapon: new researches and materials. Proceedings of the fourth international research and practice conference: collection of articles]. Part 3 (p. 502–523). St. Petersburg: VIMAIViVS. Retrieved from: [http://artillery-museum.ru/conf-conference-voina\\_i\\_oruzhie\\_2013-materials\\_2013.html](http://artillery-museum.ru/conf-conference-voina_i_oruzhie_2013-materials_2013.html)

Petruhincev, N. N. (2014). Voennaya reforma Alekseya Mihajlovicha i ee vliyanie na voenny'e formirovaniya na territorii Lipeckzogo kraja [The military reform of Aleksey Mikhailovich and its impact on formations on the territory of Lipetsk region]. In *Vehi minuvshogo. (Ucheny'e zapiski istoricheskogo fakul'teta Lipeckzogo gospeduniversiteta)* [Marks of the past. (The proceedings of the faculty of history of Lipetsk state pedagogical university)] (p. 1–22). Lipetsk.

Rogozhin, A. A. (2012a). Pervy'e russkie generaly' [First Russian generals]. *Ucheny'e zapiski Orlovskogo gos. un-ta* [Proceedings of Orel state university], 1, 126–133.

Rogozhin, A. A. (2012b). Rejtary' polka I. Fanbukovena. Sozdanie v seredine XVII veka russkikh voenny'h formirovanij i podgotovka dlya nih komandirskih kadrov [Reiters of the regiment of I. Fanbukoven. Making of Russian military formations in the middle of 17<sup>th</sup> century and training of officer's personnel for them]. *Voeno-istoricheskij zhurnal* [Military History magazine], 9, 21–25.

Rogozhin, A. A. (2013). Denezhnoe zhalovanie nachal'ny'h lyudej polkov “novogo stroya” v 1660–1680-h gg. [Allowance of the junior people in the regiments of the “new system” in 1660–1680s yrs.]. In *Vojna i oruzhie: novy'e issledovaniya i materialy. Trudy' chetvertoj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: sb. st.* [War and weapon: new researches and materials. Proceedings of the fourth international research and practice conference: collection of articles]. Part 4 (p. 66–79). St. Petersburg: VIMAIViVS.

Romanov, M. Yu. (2004). *Strel'cy' moskovskie* [Moscow Streltsy]. Moscow: Gos. publ. ist. biblioteka Rossii.

Solov'ev, S. M. (1991). Istoriya Rossii s drevnejshih vremen [The history of Russia since the earliest times]. In S. M. Solov'ev. *Sochineniya* [Works by Solov'ev S. M.]. Book 5, 7. Moscow.

Stevens, C. B. (1995). *Soldiers on the Steppe. Army reform and social change in Early Modern Russia*. Northern Illinois Univ. Press.

Velikanov, V. S. (2013). K voprosu ob organizacii i chislennosti vooruzhenny'h sil Rossijskogo gosudarstva v 1699 g. [Revisiting the organization and number of the armed forces of the Russian state in 1699 yr.]. In *Vojna i oruzhie: novy'e issledovaniya i materialy. Trudy' chetvertoj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: sb. st.* [War and weapon: new researches and materials. Proceedings of the fourth international research and practice conference: collection of articles]. Part 1. St. Petersburg: VIMAIViVS.

Velikanov, V. S. (2014). K voprosu ob oficerskom korpusse russkoj armii nakanune i na nachal'nom e'tape Severnoj vojny' [Revisiting the Officer Corps of the Russian army on the eve and the early Great Northern War]. In *Vojna i oruzhie: novy'e issledovaniya i materialy. Trudy' pyatoy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: sb. st.* [War and weapon: new researches and materials. Proceedings of the fifth international research and practice conference: collection of articles]. Part 1. St. Petersburg: VIMAIViVS.

Veselovskij, V. S. (1911). *Smety' voenny'h sil Moskovskogo gosudarstva 1661–1663 gg.* [Estimate of military forces of the Muscovy in 1661–1663 yrs.]. In *Chteniya v Obschestve istorii i drevnostej rossijskich* [Readings in the Society of history and Russian antiquities]. Book 3 (p. 4–54).

Yakubov, K. (1897). *Rossiya i Shveciya v pervoj polovine XVII v.* [Russia and Sweden in the first half of 17<sup>th</sup> c.]. Moscow: Univ. tip.

Zagorovskij, V. P. (1969). *Belgorodskaya cherta* [Belgorod boundaries]. Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta.

*The article was submitted on 24.05.2014*

**Николай Николаевич  
Петрухинцев**  
профессор  
Россия, Липецк  
Российская академия народного  
хозяйства и государственной  
службы при Президенте РФ  
NicPetrukhintsev@yandex.ru

**Nikolay Petrukhintsev**  
Professor  
Russia, Lipetsk  
The Russian Presidential Academy  
of National Economy  
and Public Administration  
NicPetrukhintsev@yandex.ru



Dialogus



---

УДК 622.34 + 553.3/4 + 910(470.5)

**Алексей Антошин  
Евгений Рукосуев  
Сергей Смирнов**

**ЗОЛОТО СЕННАРА:  
ЕГИПЕТ И СУДАН ГЛАЗАМИ УРАЛЬСКОГО  
МАСТЕРА ЗОЛОТОДОБЫЧИ XIX В.**

**SENNAR'S GOLD: EGYPT AND SUDAN  
THROUGH THE EYES OF A 19<sup>TH</sup> CENTURY URAL GOLD  
MINER**

Aleksey Antoshin, professor of history at Ural Federal University, has published a new book, *The Gold of Sennar*. The work is based on the diary of Ivan Trofimovich Borodin, a Miass foreman gold miner, which is available at the State Archive of Sverdlovsk Region. Borodin participated in Ye. P. Kovalevsky's expedition to Eastern Sudan with the intent to discover gold deposits and to manage the mining process in 1847–1848. The expedition was organized by the Russian government at the request of Muhammad Ali of Egypt, who sought additional financial support to modernize the country. In his talk with YevgenyRukosuev, a leading research associate of the Institute of History and Archaeology (Russian Academy of Sciences, Ural branch), and Sergey Smirnov, associate professor of the Chair of Early Modern Period and Contemporary History of Ural Federal University, Aleksey Antoshin discusses a number of aspects of the expedition, as reflected in I. T. Borodin's diary. The new publication is of significant interest to the reader as the diary illustrates the book's view that he was a man of the people, and the events described are supplemented with the memoirs of E. P. Kovalevsky and other travelers that visited Egypt and Sudan between the 1830s–1850s (N. N. Muravyov-Karsky, A. A. Rafalovich, A. Norov, A. E. Brem).

**К e y w o r d s:** Russia; Urals; Egypt; gold mining; expedition of Kovalevsky; Muhammad Ali.

Алексей Антошин, доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета, представляет свою новую книгу «Золото Сеннара» (М., 2013). Она написана на основе хранящегося в Государственном архиве Свердловской области дневника штейгера Миасских



золотых промыслов Ивана Трофимовича Бородина. Создатель дневника был участником экспедиции Е. П. Ковалевского в Восточный Судан для поисков золотых месторождений и организации работ по извлечению этого благородного металла в 1847–1848 гг. Экспедиция была организована правительством России по просьбе правителя Египта Мухаммада Али, который надеялся получить дополнительные финансы для проведения мероприятий по модернизации страны. В беседе с Евгением Рукосуевым, ведущим научным сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, и Сергеем Смирновым, доцентом кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Уральского федерального университета, Алексей Антошин касается различных сторон работы экспедиции, отраженных в дневнике И. Т. Бородина. Сама монография представляет большой интерес для читателей, т. к. дневник служит только основой работы, взглядом «человека из народа», все описанное в дневнике дополнено воспоминаниями Е. П. Ковалевского и других путешественников, посетивших Египет и Судан в 1830–1850-е гг. (Н. Н. Муравьев-Карский, А. А. Рафалович, А. Норов, А. Э. Брем).

Ключевые слова: Россия; Урал; Египет; золотопромышленность; экспедиция Ковалевского; Мухаммад Али.

**Евгений Рукосуев:** 2014 год очень интересен с точки зрения массы юбилейных событий из истории России, которым еще предстоит отмечаться или которые уже были отмечены. Наряду с таким общеизвестным событием, как 100-летие начала Первой мировой войны, 200 лет назад произошло событие, которое, на первый взгляд, имеет весьма узкое, «региональное» значение: открытие штейгером Львом Бруснициным на Березовских золотых промыслах способа добычи благородных металлов методом промывки золотоносных песков. Для неспециалистов стоит пояснить, что золото на Урале было открыто Ерофеем Марковым в 1745 году недалеко от Екатеринбурга на речке Березовке, где начиная с 1748 года начинается промышленная добыча этого металла с помощью шахт. Это был довольно трудный и дорогостоящий способ. Находка же россыпного золота и разработка технологии его извлечения позволили снизить себестоимость работ, расширить район добычи золота практически на всю территорию Урала и, соответственно, значительно увеличить объемы добычи. Благодаря этим открытиям, Россия выходит на передовые позиции в мире по добыче золота. До конца 1850-х годов, по словам Карла Маркса, «...шел экспорт золота из Азии в Европу, но если не принимать во внимание золото, добытое между 1840 и 1850 гг. на Урале, то экспорт был так незначителен, что не мог дать каких-либо ощутимых результатов» [Маркс, т. 12, с. 68]. Но, помимо собственно добычи золота, Урал становится своеобразной учебной площадкой,

на которой разрабатывались, внедрялись и совершенствовались разные способы добычи золота, а потом и платины, из различных геологических пород, которые потом с успехом были использованы для добычи золота из россыпей Алтая, Сибири и Дальнего Востока.

Появившаяся в прошлом году книга Алексея Антошина «Золото Сеннара: Египет и Судан глазами уральского мастера золотодобычи XIX века» стала для меня, в буквальном смысле слова, открытием. Да, я был знаком с отчетами экспедиции известного русского путешественника, горного инженера Е. П. Ковалевского [Ковалевский, 1854; 1849; 1872] в Египет и Судан в 1847–1848 годах, они были опубликованы в «Горном журнале», но воспринимал ее, экспедицию, как чисто научную, организованную по заданию правительства для геологического изучения Северо-Восточной Африки и возможностей организации добычи золота из месторождений, открытых еще во времена Древнего Египта, в эпоху легендарных фараонов. Прочитав книгу Алексея Валерьевича, я обнаружил практически еще мало известную мне сторону деятельности Уральской горной администрации в первой половине XIX века – приглашение иностранных специалистов, инженеров из Египта, на Урал для практического изучения процесса добычи золота и потом ответную поездку уже русского горного инженера в Египет, для организации производства на месте. Во второй половине XIX века такие поездки иностранных специалистов на Урал стали довольно частыми. Понятно, что Е. П. Ковалевский взял с собой и несколько уральских мастеровых, которые должны были на месте показать африканским золотодобытчикам как надо промывать золотоносные пески, но то, что один из них, Иван Трофимович Бородин, вел дневник, в который записывал свои впечатления о том, что с экспедицией происходило во время длительного пути и на территории России, и во время морского плавания, и во время сплава вверх по Нилу, и во время перехода через пустыню, и, конечно, сама работа на месторождении золота в Судане... это просто здорово. Что мне особенно понравилось, так это то, что Алексей Антошин не стал ограничивать себя простой публикацией дневника штейгера Ивана Бородина, как это часто делают многие исследователи, когда им в руки попадают какие-либо воспоминания или путевые заметки, а провел работу по созданию очень ценного научного исследования, дополнив сведения, изложенные в дневнике, материалами из работ других русских и европейских путешественников в Африку в это время, превратил его в очень важное дополнение к этим работам. В результате, Алексей Антошин «добыл свой золотник» в копилку исторической науки.

Наша беседа сегодня представляется мне очень интересной, так как позволяет задать автору ряд вопросов, возникших при прочтении его книги, которые хотелось бы уточнить и расширить.

**Сергей Смирнов:** Прежде всего, хочется спросить автора книги: что подвигло Вас, историка русской эмиграции, заняться этим сюжетом?

**Евгений Рукосуев:** Мне это тоже интересно. Как Вас, признанного специалиста по политической истории России XX века, «занесло на эти галеры»? Как Вы решились обратиться к этой теме?

**Алексей Антошин:** Во многом эта книга стала реализацией давней детской мечты. Как и многие мальчишки и девчонки, с детства я увлекался Африкой. Ведь не одно поколение выросло на романах Майна Рида, Луи Буссенара, Генри Райдера Хаггарда и других авторов, воспевавших этот прекрасный и смертельно опасный континент. Зачастую с годами интерес к Черному континенту проходит, и ему на смену приходят новые увлечения. Так произошло и со мной. С конца 1980-х годов, вот уже четверть века, занимаюсь проблемами политической истории России, защитил по этой тематике две диссертации, выпустил несколько книг. Но, видимо, где-то в глубине моей души тот детский огонек интереса к Африке продолжал гореть.

Как-то на глаза попались книги замечательного отечественного африканиста Аполлона Борисовича Давидсона, написанные в соавторстве с В. А. Макрушиным – «Облик далекой страны» и «Зов дальних морей». Как и почти все, что выходит из-под пера А. Б. Давидсона, они были написаны так, что захватили, вызвали желание вновь вспомнить об Африке, найти свою старую карту Черного континента, очистить от пыли те книги советских и европейских африканистов, которые я начинал собирать еще в 1980-е. С 2005 года я регулярно участвую в международных конференциях африканистов, которые проводит Институт Африки Российской академии наук, вошел в состав Научного совета РАН по проблемам Африки, не раз публиковался в «Азии и Африке сегодня».

Но, общаясь на конгрессах с ведущими российскими африканистами, всегда чувствовал: нужно найти какой-то интересный яркий сюжет, новые материалы, которые были бы неизвестны столичным специалистам. И вдруг – удача! Осенью 2011 года на одной из конференций в Институте востоковедения РАН я познакомился с ведущим российским арабистом, профессором Геннадием Васильевичем Горячкиным. Он-то и обратил мое внимание на то, что в 40-е годы XIX века египетский правитель Мухаммад Али именно на Урал направил двух египетских инженеров, чтобы те познакомились с применявшимися в России технологиями добычи золота. А после этого с территории южноуральского Златоустовского горного округа отправилась в смертельно опасное африканское путешествие экспедиция, возглавляемая горным инженером Е. П. Ковалевским.

В результате уральскими мастерами в египетском Судане была построена первая в истории этой страны фабрика по добыче золота. Московские и петербургские исследователи давно знали об этой истории и провели большую работу с документами по данной теме, хранящимися в федеральных архивах. Нет ли каких-либо материалов об этой экспедиции в архивохранилищах Урала? – задал мне вопрос Г. В. Горячкин. Благодаря ведущему научному сотруднику Института истории и археологии УрО РАН доктору исторических наук В. А. Шкерину и заместителю директора Государственного архива Свердловской области А. Г. Сапожникову, мне удалось выяснить, что в этом архиве хранится уникальный исторический источник – записки участника экспедиции, помощника Е. П. Ковалевского штейгера Ивана Бородина. А когда мне удалось прочитать этот исторический памятник, стало ясно: он заслуживает того, чтобы посвятить ему отдельную книгу. Сюжет оказался настолько интересным, что у меня возникло желание побывать в тех местах, где оказались египетские инженеры и откуда родом Иван Бородин – на Южном Урале. Работа в Златоустовском городском архиве и краеведческих музеях Златоуста и Миасса дала немало любопытных материалов, но главное – мне довелось своими глазами увидеть этот край, оказаться на склонах Ильменских гор, где прошла жизнь Ивана Бородина. Я смог лучше понять этого человека – простого уральского мастера-вого первой половины XIX века, оказавшегося в далекой Африке.

**Евгений Рукосуев:** Расскажите немного о том, что собой представляет сам исторический источник, который лег в основу Вашей книги. Более того, нам хочется знать: как он выглядит внешне, так сказать, «материально»? По Вашему мнению, дневник писался в ходе путешествия или уже после?

**Алексей Антошин:** Это небольшая тетрадь в плотном коричневом переплете. Ее объем 40 листов. Впервые написавший об этой рукописи в 1950-е годы известный уральский историк А. Г. Козлов обозначил ее жанр как «путевой дневник» [Козлов]. По форме это действительно дневник, однако, очевидно, что писался он после возвращения из экспедиции, «по горячим следам» событий. Почерк, в частности, указывает на то, что данный труд писался не в походных условиях.

**Евгений Рукосуев:** Известно, что в это время русские горные инженеры после своих поездок за границу писали очень подробные и интересные отчеты, некоторые из них даже публиковались на страницах «Горного журнала». Мне хотелось бы дать небольшую справку для наших читателей, так как думаю у многих появится вопрос, где

простой мастеровой научился писать и читать. Казенные горные заводы Урала были своеобразным «государством в государстве», всем заправляло Уральское горное правление, в его состав входили горно-заводские округа, в состав которых входили несколько заводов, объединявшихся по производственному циклу, рудники, где добывалось сырье для работы заводов, леса, являвшиеся источниками топлива, а также золотые рудники и прииски. Все население заводских округов, мастеровые и работные люди, обязаны были выполнять различные работы, связанные с заводским производством, считались находящимися на службе, сравнимой с военной. Согласно Проекту горного положения 1806 года, все мальчишки, сыновья мастеровых и работных людей, обязаны были пройти обучение в заводских школах (на заводах были нужны грамотные специалисты), те из них, кто показал «хорошее стремление к наукам», продолжали обучение в окружных училищах. Те, кто смог их окончить с хорошими отметками, имели возможность в дальнейшем при работе на заводах, рудниках и приисках получить должности мастера или штейгера, то есть младших технических начальников. Так что и автор рассматриваемого нами дневника получил образование в окружном училище и как специалист был командирован для участия в экспедиции в Египет. В связи с этим у меня вопрос: можно ли сказать, что произведение Ивана Бородина – это своеобразный черновик его отчета о пребывании в экспедиции, написанный для Златоустовского окружного начальства?

**Алексей Антошин:** Да, думаю, что это очень точное определение. Рукопись содержит множество помарок, иногда перечеркнуты большие фрагменты текста: видимо, Иван Трофимович размышлял, как лучше выразить ту или иную мысль. Целый ряд фрагментов рукописи (в частности, посвященных финансовым аспектам экспедиции) как будто специально были написаны в расчете на то, что их прочитают чиновники Златоустовского горного округа, участвовавшие в организации поездки.

**Евгений Рукосуев:** История русско-египетских отношений 40-х годов XIX века показывает, насколько велика роль личности в истории. Очевидно, что этой экспедиции не было бы, если бы не фигура Мухаммада Али. О нем известно немало, тем не менее, как Вы думаете, насколько его особенности как человека и политического деятеля повлияли на развитие событий?

**Алексей Антошин:** Да, фигура Мухаммада Али занимает особое место в египетской истории. Известно, что многими в современном Египте именно он воспринимается как основатель новой националь-

ной государственности. Как известно, начало его политической карьеры удивительно. Ведь, родившись в 1769 году в албанской семье в Македонии, он до 30-летнего возраста занимался торговлей табаком и не помышлял о политике! И только Франко-турецкая война 1798–1801 годов, знаменитый поход Наполеона Бонапарта в Египет, сделала Мухаммада Али сначала командиром албанского отряда, а уже через семь лет – хедивом Египта. Как часто бывает в эпоху крутых перемен, на гребне волны оказался талантливый, волевой, амбициозный человек. Это была действительно незаурядная личность, умевшая мыслить по-новому, отказывавшаяся от многих стереотипов. Этот человек более 40 лет правил Египтом, внес решающий вклад в его преобразование, модернизацию облика его городов. И именно такая личность, как Мухаммад Али, мог решиться на столь дерзкий шаг – развитие с помощью России национальной золотодобывающей промышленности. Не случайно вскоре после смерти преобразователя Египта была закрыта и построенная уральскими мастерами золотопромывальная фабрика.

**Евгений Рукосуев:** При этом следует отметить, что у Египта не было реальной альтернативы России в качестве партнера по развитию золотодобычи. До 1848 года, до начала Калифорнийской «золотой лихорадки», Россия действительно занимала лидирующие позиции в мире в сфере добычи этого драгоценного металла. Вот после 1848 года ситуация стала меняться: началась активная добыча золота в Северо-Американских Соединенных Штатах, позднее – в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии. Но в середине 40-х годов XIX века Мухаммад Али был ограничен в выборе партнера, несмотря на то, что отношения в предшествующий период с Россией складывались у него непросто, достаточно вспомнить, что между Египтом и Российской империей во время правления Николая I дважды происходили вооруженные конфликты: первый раз 8 (20) октября 1827 года в морском сражении в Наваринской бухте между турецко-египетском флотом и соединенным флотом России, Великобритании и Франции, когда турецко-египетский флот был полностью уничтожен; второй раз во время Турецко-египетской войны 1831–1833 годов, когда высадка русского десанта в Константинополе фактически помешала Египту разбить Турцию и тем самым спасла и Османскую империю, и султана Махмуда II.

Однако, при чтении Вашей книги у меня возник еще один вопрос: как воспринимало египетских партнеров русское правительство? Как относилась к приехавшим на Урал инженерам горная администрация? Честно говоря, удивляет тот факт, что квалифицированным специалистам, инженерам, обучавшимся в Германии, были выданы при их возвращении домой не чертежи, а макеты станков для промывки золотоносных песков!

**Алексей Антошин:** Согласен с Вами. При работе с документами у меня возникло аналогичное чувство. Складывается ощущение, что они воспринимались как люди, которым надо показать работу предприятия по добыче золота, начиная с самых аздов. Ведь в Березовском, например, Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-Дашури непосредственно работали на вашгерде, как простые мастеровые. Конечно, круг их обязанностей в период уральской стажировки не вполне соответствовал статусу инженеров, который они имели, получив образование в Германии.

**Евгений Рукосуев:** Обратимся к «ответной» экспедиции россиян в Египет. Каков был ее состав, как она была оснащена, кто финансировал эту акцию?

**Алексей Антошин:** «Русская часть» экспедиции была весьма небольшой по количеству участников. Как свидетельствуют записки ее начальника Е. П. Ковалевского, помимо него самого в состав экспедиции входили биолог Л. С. Ценковский, а также два уральских штейгера – Иван Бородин и Иван Фомин [Ковалевский, 1872, с. 45]. Кроме того, в Египте к ним присоединились французский художник, переводчик-араб, врач, а в качестве своеобразного «начальника охраны» – подполковник-черкес. Несколько последних участников, вместе с множеством слуг, были переданы экспедиции лично Мухаммадом Али. Он же заранее отправил необходимые для строительства фабрики материалы в район Фазугли. Е. П. Ковалевский в своих записках не раз отмечает, что правитель Египта очень внимательно относился к подготовке экспедиции, вникал в мельчайшие детали, о которых забывал порой сам русский горный инженер. Однако о том, что правительство Египта непосредственно финансировало поездку русских специалистов в район Фазугли, ни Е. П. Ковалевский, ни Иван Бородин не упоминают. Между тем, как показано в моей книге, правительство Николая I взяло на себя финансирование пребывания египетских инженеров в России. Кроме того, отправлявшаяся в Африку группа Е. П. Ковалевского получила при отъезде из Златоуста большую сумму денег, которую, очевидно, им выделили как для поездки по России, так и для обеспечения их пребывания в Египте.

**Евгений Рукосуев:** Скажите, если в составе участников экспедиции были горный инженер (обязательно изучавший геологию в Горном институте), биолог и врач, то удалось ли им собрать какие-то ценные экспонаты для российских музеев?

**Алексей Антошин:** Как я отмечаю в своей книге, Л. С. Ценковский собрал богатую коллекцию растений. Впоследствии он представил результаты своих исследований Русскому географическому обществу, по ходатайству которого его и включили в состав этой экспедиции [Отчет..., с. 15]. Множество семян растений вывез из Африки и сам Е. П. Ковалевский в надежде, что какие-то из них смогут прижиться на юге России.

**Евгений Рукосуев:** Когда знакомишься с историей, описанной в Вашей книге, возникает ощущение авантюристичности всего предприятия. Горстка людей, никто из которых не владеет ни арабским, ни каким-либо другим африканским языком, отправляется в совершенно неисследованную страну, климатические условия в которой представляют трудности для выживания даже местных жителей, не говоря о выходцах с далекого севера. Да и сама цель крайне авантюрна – в таких условиях, на пустом месте построить фабрику по добыче золота, то есть фактически основать промышленное предприятие там, где народ живет в первобытном состоянии!

**Алексей Антошин:** Так ведь и сам Е. П. Ковалевский позднее вспоминал, что, беседуя с Мухаммадом Али, испытывал те же чувства. Ведь ни специалистов, ни оборудования, ничего не было, а паша возлагал на это дело огромные надежды. Единственное, о чем подумал в такой ситуации русский горный инженер: «Иншаллах! Дай только Бог, чтобы было золото!» [Ковалевский, 1872, с. 36].

**Сергей Смирнов:** Хотелось бы обсудить более общую проблему. Сейчас весьма модно заниматься исследованием образа другого (другой страны, культуры, человека). Можно ли выявить в дневниковых записях И. Бородин (русского мастерового первой половины XIX века, обладавшего соответствующим менталитетом, картиной мира) образ посещенных стран (страны). И если все-таки говорить об образе, стоит, каковы источники формирования этого образа и основные его черты?

**Алексей Антошин:** Сложный вопрос. Конечно, Иван Трофимович находился на Африканском континенте не очень долго – около полугода. Он не владел ни одним африканским языком. Тем не менее, при работе с рукописью у меня сложилось впечатление, что постепенно в сознании Ивана Бородин начинал формироваться образ Африки. До путешествия Бородин не обладал тем предварительным багажом знаний об этом континенте, который имел его начальник



Е. П. Ковалевский: последний был хорошо знаком со многими посвященными Черному континенту произведениями, вышедшими к этому времени. Однако именно это обстоятельство привело к тому, что на непосредственное восприятие И. Бородиным Африки не накладывала свой отпечаток европейская литература XIX века, зачастую формирующая не всегда корректный образ континента. Можно сказать, что сознание уральского штейгера было свободно от некоторых стереотипов (например, от романтизации образа Нила, свойственной той эпохе). Впрочем, естественно, картина мира, характерная для уральского мастерового XIX века, не могла не влиять на его восприятие стран Востока. Так, например, столица Османской империи была для него не Стамбулом, не Константинополем (как для многих его современников-интеллектуалов), а Царьградом.

Далек был Иван Бородин и от романтизации африканской саванны, восхищения экзотической природой Африки. Последнее было характерно для многих произведений европейской литературы XIX века. Вид африканского леса вызывал у Ивана Трофимовича воспоминания о России, однако сравнение оказывалось отнюдь не в пользу Черного континента: листва деревьев, вспоминал уральский штейгер, была не ярко зеленой, «как у нас на Родине», но «бледно тусклого цвета по причине пыли». Поэтому, как представлялось Бородину, африканская природа «не представляет красоты». Вообще, восприятие Черного континента через сравнение его с привычными российскими и европейскими реалиями – достаточно характерный для данного литературного памятника прием.

Однако с помощью каких механизмов осуществлялось восприятие Африки уральским мастеровым той эпохи? Например, возникает вопрос: было ли между членами русской экспедиции и африканцами хоть какое-то общение? Записки Бородина свидетельствуют, что их автор получил некоторое представление о наиболее распространенном языке Северной Африки – арабском. Ему удалось создать своеобразный русско-арабский разговорник, состоявший из 249 слов и выражений, что было несомненным достижением для простого мастерового. Обилие слов и выражений, связанных с производственным процессом, технической лексики – отличительная особенность этого разговорника. Однако, в этом произведении немало и бытовой лексики, разнообразных терминов, обозначавших реалии арабского мира середины XIX века. Таким образом, Иван Трофимович Бородин мог с трудом, но общаться с арабоязычной частью населения тех территорий, где оказывалась русская экспедиция.

Как контактировал простой уральский штейгер с представителями племен Восточного Судана? Очевидно, он вынужден был общаться с африканцами с помощью мимики и жестов. Впрочем, Бородин сам понимал, что этого недостаточно, неоднократно отмечая, что незнание языков существенно ограничивало его возможности восприятия Черного континента.

Следует учитывать также то обстоятельство, что условия тяжелой африканской экспедиции, конечно, накладывали отпечаток на восприятие Иваном Бородиным Африки. Путешествие группы Е. П. Ковалевского было чрезвычайно опасным, ее члены чуть не погибли, например, в Байюдской пустыне во время обратного пути, когда большинство из них слегли из-за тропических болезней. В таких условиях крайне затруднительно было заниматься наблюдениями этнографического характера. Тем не менее, какое-то представление о народах Восточного Судана у уральского штейгера сложилось. Критически относясь к перспективам построенной в результате экспедиции фабрики, Иван Бородин полагал, что дело было не в якобы свойственной африканцам лени, а в чрезвычайно скудном питании местных жителей. Практически единственной пищей африканцев была примитивная вареная «дурра» (разновидность похлебки). Таким образом, уральский мастеровой полагал, что одна из главных проблем, препятствовавших развитию золотодобычи в Северо-Восточной Африке, была связана с природно-климатическими условиями. При этом И. Бородин не пишет о специфике психологии и трудовой этики африканцев: очевидно, для него эти аспекты не играли решающей роли.

Необходимо отметить, что возглавлявший русскую экспедицию Е. П. Ковалевский был принципиальным противником идеи расовой неполноценности африканцев, которая нередко высказывалась в то время в европейской литературе. В своих мемуарах он посвятил африканским народам целую большую главу, подробно описал их нравы и обычаи. При этом, приводя разнообразные суждения по этому вопросу своих предшественников – европейских авторов – Егор Петрович не скрывал своего мнения, постоянно доказывая несостоятельность тезиса о врожденной дикости и отсталости африканцев.

Его помощник – человек совершенно другого круга, незнакомый со всей многочисленной европейской литературой по этому вопросу, – делал на страницах своих заметок лишь отдельные зарисовки «с натуры», показывающие образ жизни народов Восточного Судана в середине XIX века. За то короткое время, пока русские находились на прииске в Фазугли, Иван Трофимович смог, конечно, составить себе лишь самое общее представление о местных жителях. Он, естественно, заметил, что этнически и даже расово местное население отличалось от жителей Египта, которых ему довелось наблюдать в ходе их длительного путешествия. В результате наблюдений он выяснил, что политически местные племена были крайне децентрализованы. Самый общий характер носили его наблюдения, касающиеся их быта и способов ведения хозяйства: «Ходят больше нагие. Скота держат довольно, никуда не ходят без оружия». По словам И. Бородина, типичный воин племен Восточного Судана носил с собой три-четыре копья, стрелы, «палицу», щит. Практически абсолютно доминировали приверженцы местных традиционных верований, «идолопоклонники», как называл их Иван Трофимович.

Имеются в записках Бородина также отдельные зарисовки быта народностей, населявших другие районы Судана (например, племен динка). Уральский мастер обратил внимание на один совершенно непривычный ему обычай местных племен – делать надрезы на своем теле. Все тело туземцев было намазано какой-то мазью, вследствие чего, вспоминал Иван Трофимович, «от них воняет нехороший запах».

Внешний облик большинства представителей африканских народностей произвел на И. Т. Бородина довольно тяжелое впечатление. Отмечая, что, «смотря по наружности, они некрасивы собой», он пояснял: «Большая половина, видно, изуродована природой – то слепые, кривые, либо раны на теле от болезней». Следует отметить, что уральский штейгер попал в Африку тогда, когда еще не началось широкое проникновение на континент европейской цивилизации с ее более развитой системой здравоохранения, позволившей победить немало страшных болезней.

В целом заметим, что уральский штейгер, впервые оказавшийся на Черном континенте, проявлял довольно значительный интерес к различным народам Африки. Постепенно он научился различать представителей отдельных племен, уяснил их обычаи и особенности быта. Между тем, многообразие африканских народов могло поставить в тупик даже опытного путешественника, на что не раз указывали современники Ивана Бородина, например, русский географ А. А. Рафалович, в те же годы плававший по Нилу [Рафалович, с. 168].

**Евгений Рукосуев:** После прочтения книги я стал еще лучше относиться к простым уральским мастерам, потому как страницы дневника передают, как бы пафосно это ни звучало, мужество простых людей, стойкое перенесение трудностей пути, как сказано в книге: «переносить спокойно, как любую другую тяжелую работу, которую им приходилось выполнять на Миасских золотых рудниках»... Очень жаль, что И. Бородин не описал в дневнике таких интересных вещей, как строительство и работа золотопромывальной фабрики, откуда брали строительный материал, как организовывалась сама промывка песков, обучение местного населения навыкам работы... Все это, видимо, воспринималось им как совершенно обыденное, рутинное, не заслуживающее изложения на страницах дневника. Возвращаясь к роли личности в истории: пророчески звучат слова Е. П. Ковалевского «пока Мегемет-Али будет жив, золотопромышленность будет расти» [Ковалевский, 1872, с. 249]. Правитель Египта планировал продолжить сотрудничество с Россией, намереваясь послать на Урал на стажировку пять молодых египтян для изучения горного дела. К сожалению, Мухаммад Али скончался в 1849 году, его преемники не были настроены продолжить его мероприятия по развитию промышленности и экономики Египта, связи с Россией в развитии горной промышленности были прекращены.

**Алексей Антошин:** В целом, как мне представляется, экспедиция Е. П. Ковалевского не прошла бесследно для истории русско-египетских отношений. Впервые простые уральские мастера оказались в далекой африканской стране, увидели ее необычную природу, смогли познакомиться с некоторыми обычаями и традициями народов Северо-Восточной Африки. Наверняка, вернувшись в родные края, они что-то рассказывали о Египте и Судане своим родственникам и друзьям, и перед глазами жителей Золотой долины Южного Урала вставал облик далекой страны арабского Востока.

---

*Ковалевский Е. П.* Нильский бассейн в геологическом отношении // Горный журнал. 1849. Ч. 2. Кн. 4. С. 63–100.

*Ковалевский Е. П.* Странствователь по суше и морям : в 3 ч. СПб. : Тип. И. П. Бочарова, 1843–1845.

Ковалевский – Собрание сочинений Егора Петровича Ковалевского. Т. 5. Путешествие во внутреннюю Африку (с картой и 17 рисунками). СПб. : Тип. И. И. Глазунова, 1872.

*Козлов А.* Поездка горного мастера И. Бородина в Египет // Уральский рабочий. 1955. 30 сентября.

*Маркс К.* Денежный кризис в Европе. Из истории денежного обращения // Маркс К. Собр. соч. 2-е изд. Т. 12.

Отчет Русского Географического общества за 1849 год // Записки Императорского Русского Географического общества. СПб., 1851. Кн. 5.

*Рафалович А. А.* Этнографические заметки о жителях Нижней Нубии // Записки Императорского Русского Географического общества. СПб., 1850. Кн. 4.

---

Kovalevskij, E. P. (1843–1845). *Stranstvovatel' po sushe i moryam* [Wanderer by land and sea] (in 3 parts). St. Petresburg: Tipografiya I. P. Bocharova.

Kovalevskij, E. P. (1849). Nil'skij bessejn v geologicheskom otnoshenii [The Nile basin in geologic reference]. *Gornyj zhurnal* [Mountain magazine], 2, 4, 63–100.

Kovalevskij, E. P. (1872). *Sobranie sochinenij Egora Petrovicha Kovalevskogo. T. 5. Puteshestvie vo vnutrennyuyu Afriku (s kartoyu i 17 risunkami)* [Complete works by Egor Petrovich Kovalevsky. Vol. 5. A travel into inner Africa (with a map and 17 pictures)]. St. Petersburg: Tipografiya I. I. Glazunova.

Kozlov, A. (1955, September 30). Pоеzdka gornogo мастера I. Borodina v Egipt [A trip of overman I. Borodin to Egypt]. *Ural'skij rabochij*.

Marks, K. (n. d.). Denezhnyj krizis v Evrope. Iz istorii denezhnogo obrashheniya [Monetary crisis in Europe. Glimpses of history of currency]. In K. Marks. *Sobr. soch.* [Complete works by K. Marks]. (2<sup>nd</sup> ed.). (Vol. 12).

Otchet Russkogo Geograficheskogo obshhestva za 1849 god [Report of Russian geographic society for 1849 yr.]. (1851). In *Zapiski Imperatorskogo Pusskogo Geograficheskogo obshhestva* [Notes of the Imperial Russian geographical society]. Book 5. St. Petersburg.

Rafalovich, A. A. (1850). E'tnograficheskie zametki o zhitelyah Nizhnej Nubii [Ethnographic notes on inhabitants of Lower Nubia]. In *Zapiski Imperatorskogo Pusskogo Geograficheskogo obshhestva* [Notes of the Imperial Russian geographical society]. Book 4. St. Petersburg.

*The article was submitted on 06.06.2014*

**Алексей Валерьевич Антошин**

д. и. н.  
Россия, Екатеринбург,  
Уральский федеральный  
университет  
alex\_antoshin@mail.ru

**Aleksey Antoshin, Dr.**  
Russia, Yekaterinburg  
Ural Federal University  
alex\_antoshin@mail.ru

**Евгений Юрьевич Рукосуев**

д. и. н.  
Россия, Екатеринбург,  
Институт истории и археологии  
УрО РАН  
rukosuev@mail.ru

**Yevgeniy Rukosuev, Dr.**  
Russia, Yekaterinburg  
Institute of History and Archaeology,  
Ural Branch of RAS  
rukosuev@mail.ru

**Сергей Викторович Смирнов**

к. и. н.  
Россия, Екатеринбург,  
Уральский федеральный  
университет  
sergei\_smirnov@mail.ru

**Sergey Smirnov, Dr.**  
Russia, Yekaterinburg  
Ural Federal University  
sergei\_smirnov@mail.ru



Critica



## VILNO AGAINST MOSCOW

**Рец. на кн.: Янушкевич А. Н. Ливонская война. Вильно против Москвы: 1558–1570. – М. : Квадрига : Русская панорама, 2013. – 384 с.**

**Review of: Janushkevich, A. N. (2013). *Livonskaja voina. Vilno protiv Moskvy: 1558–1570* [Vilno against Moscow: 1558–1570]. 384 p. M.: Kvadriga; Russkaja panorama.**

In their review of a monograph by A. N. Janushkevich, *The Livonian War. Vilno against Moscow: 1558–1570*. (Moscow: Kvadriga; Russkaya Panorama, 2013) the author points out that the monograph is a profound study, critically reviewing the preceding research of the military history of the 16<sup>th</sup> century. The review also analyzes the historical sources of the book as to their completeness and the degree of representativeness, looks into the arguments put forward by the author consecutively considering each chapter, and reveals the innovative conclusions, as well as comments on a number of doubtful statements made by the author.

**Keywords:** A. N. Yanushkevich; Livonian War; military history of the 16<sup>th</sup> century; Polish-Lithuanian Commonwealth; Stephen Báthory.

В представленной рецензии на книгу А. Н. Янушкевича «Ливонская война. Вильно против Москвы: 1558–1570» (М. : Квадрига : Русская панорама, 2013) резюмируется, что книга производит впечатление серьезного нового исследования, критически суммирующего предыдущие наблюдения по военной истории XVI в. Анализируется полнота и репрезентативность исторических источников монографии, последовательно по главам приводятся аргументы автора, выявляются новаторские выводы и вместе с тем показывается сомнительность отдельных положений автора.

**Ключевые слова:** А. Н. Янушкевич; Ливонская война; военная история XVI в.; Речь Посполитая; Стефан Баторий.

A researcher of the Central European late Medieval and Early Modern war history has certain advantages as compared to the scholar of Medieval Russian war history. The former has access not only to comparatively detailed written accounts of wars, but also to much better preserved



collections of documents on the history of military organization, fiscal systems, and representative establishments. In this book, the author, A. N. Janushkevich, makes full use of these advantages.

To reconstruct the confrontation between Lithuania and the Russian state – a conflict of destiny-changing proportions for the former – the author draws upon an exhaustive number of archival and published sources. A. N. Janushkevich demonstrates a rather liberal attitude to Russian historiography; in particular, he convincingly takes A. L. Khoroshkevich to task for uncritically following A. A. Zimin. The latter, clearly, believed control of the principality of Staritsky to be the main aim of the *oprichnina* terror; he even linked a visit by the Tsar to the town of Staritsa in spring 1563 to Ivan the Terrible's struggle with the 'Boyar opposition' (p. 80). Janushkevich also disagrees with Khoroshkevich's assessment of the Peace Treaty of June 1570, arguing that Russia had clearly won the confrontation, having retained a sizeable part of Livonia and Polotchina (p. 127).

In the first chapter Janushkevich analyzes the course of military operations and the diplomatic relations between Lithuania and Russia in the period between 1558 and 1570. He makes a significant contribution to the understanding of this already well-researched issue. Thus, his assertion that the Russian government was poorly informed about the situation in the Baltic States in 1557 makes perfect sense. It is well known that in the late summer and early autumn of 1557, a war took place between Lithuania and the Livonian Order. It ended with the signing of the Pozvolsk Treaty on 14<sup>th</sup> September 1557. According to the terms of the Treaty, Gotthard Kettler, a protégé of the Polish King Sigismund II Augustus, became the Master of the Order. At the same time, the issue of the treaty signed with Lithuania was not even raised during Russia's negotiations with the Order, and Janushkevich justly concludes that the Moscow diplomats were ignorant of this important political event (p. 32).

The author is objective in his analysis of the reasons for Lithuania's defeat, particularly, the loss of Polotsk. The weak capability for mobilization in Lithuania is well visible during the comparison of the tempo of the draft in the two armies: while the Russian army was mobilized over a short period of time and by December 1562 had 31,000 warriors in its fighting units alone, by the end of December, the Lithuanian army, which began drafting on December 6<sup>th</sup>, numbered no more than 100 men (p. 70). Janushkevich justly acknowledges the uttermost importance of the Battle of Ula. Between this battle and the mid-17<sup>th</sup> century, Russia made no attempt to penetrate the territory of Rzeczpospolita and avoided all field conflict (p. 99). The author complements Russia's significant investment in constructing castles on occupied Lithuanian territory – namely, the Ula castle where a large garrison with a huge amount of artillery was stationed (p. 118).

In the second chapter, the author concentrates on the organization of the military forces of the Grand Duchy of Lithuania. Janushkevich clearly shows that up until the Sejm of May 1563, the Lithuanian authorities were not capable of organizing effective resistance to Russia's advance because

of the weakness and indiscipline that characterized the process of Rzeczpospolita mobilization (p. 138–139). However, the decisions of the *conventio generalis* (the People's Sejm) in May and June 1563 represent a successful attempt to adapt the archaic community of the Grand Duchy to the needs of a large-scale war. In particular, it was decided to provide one *drab* (infantryman) for every 20 *voloks* (land divisions). Another noteworthy innovation was a draft of artisans, *putnye* (administrative), boyars and peasants with carts and y-shaped bear spears, much like the draft of the *pososhnaya* militia in Russia (p. 142–143, 146).

The first results of the work undertaken by the Grand Duke's chancellery and the Sejm were not impressive: according to the registry of 1565, Rzeczpospolita mobilization collected a mere 6594 horse warriors by October of that year. However, by the autumn of 1567, Rzeczpospolita mobilization had succeeded in assembling more than 27 thousand cavalry and infantry, a figure comparable to the strength of the Russian army during the Polotsk campaign, described above (p. 149–150, 161). An analysis of the structure of mercenary units in the Lithuanian army lead the author to a convincing conclusion about the difference between the Cossack fighters mentioned in the 16<sup>th</sup> century documents, and the later existing units of the actual Cossacks (p. 177).

The author provides data about the decision of the Gorodensky Sejm in 1566/67, according to which an additional levy for the draft of ten thousand soldiers had been administered (p. 183–184). According to the author, the Poles lost the opportunity of drafting 3,500 mercenary soldiers who had previously taken part in two successful military campaigns: one the battle in Nevel in 1562, and another, a raid into the Pskov territory in March 1565 (p. 202–205).

The sources upon which the second chapter of Janushkevich's work is based, give an idea about the resources at the disposal of the Grand Duchy of Lithuania. The third chapter, in turn, contains excellent material on the state finances, for which Russian historians have no comparative figures. The research masterfully shows the differences between the financial systems of the Grand Duchy of Lithuania and Russia. Lithuania's *skarba* (the State Treasury) had been supplied by special taxes, destined for war (such as *serebshchina* and *pogolovshchina*), only by direct resolutions taken by the Sejms. For the collection of *serebshchina* from the masters' estates, a direct ruling of the Great Duke was required (p. 217). Sometimes, as in 1568, the rate of *serebshchina* was raised by 60 % as compared to the previous year (p. 230). The estates of the Catholic and Orthodox clergy were also taxed and had to provide soldiers; moreover, the Polish gentry at the Sejms demanded the clergy be stripped of half of their churches' possessions (p. 35).

The commoners, the Jews and the magnates were designated groups for funding the war. The first two groups were forced into making special loans (*pozychki*), similar to the 'requested money' (*zaprosnye den'gi*) used in 17<sup>th</sup>-century Russia. Similarly to the case with the 'requested money', the Lithuanian government promised to return *pozychki* from the tax

revenue, i. e. to count them against future taxes. However, as the author shows, already in 1565 *pozychka* was not considered as a loan and was not supposed to be returned. One significant difference from the situation in the fiscal sphere in Russia, however, was the weakness of the state apparatus; in 1567 the Great Duke's treasury consigned a guarantee for the repayment of the loan, but in the case of any shortfalls it threatened the cities by allowing mercenaries to collect the missing money independently (p. 236–237).

The Jewish communities of the Grand Duchy were in possession of sizeable financial resources, and therefore served as an inexhaustible source of revenue. The collection of *pozychki* from the Jews was successful due to the possibility of rapid mobilization: thus, in 1567 the special tax collected had to be transferred to the treasury a mere week after the issue of the taxation decree (p. 244).

A. N. Janushkevich has successfully reconstructed the budget of the Grand Duchy of Lithuania in 1561–1566. An abrupt diminishing in the treasury's revenue between 1564 and 1566 demonstrates strains in the state economy of Lithuania and the powerlessness of its fiscal apparatus (p. 246–247). In these circumstances, the ruling elite of the Duchy levied itself with a part of the expenses needed for the maintenance of its mercenary army. The author provides impressive data on the expenses of the Orsha head F. Kmita, Field Hetman R. Sangushko, and voivode A. Polubenskiy. These examples clearly show the vulnerability of the administrative and political systems of the Duchy, because the maintenance of the mercenary units was a sort of levy in exchange for feasible privileges: the magnates received the right of lifelong taxing of the towns and the *voitovstvos* (the boyars settlements) (p. 255, 273).

The fourth chapter of the book is dedicated to the study of the socio-political changes in the state system of the Grand Duchy of Lithuania caused by war. The author correctly interprets the reasons for the issuing of the Vilno Privilege on 8<sup>th</sup> June 1563, when Christians of all confessions were granted equal rights. In his opinion, the main reason for the issue was the desire to consolidate the Orthodox gentry of the Eastern lands of the Grand Duchy in the event of the advance of the Russian armies under the banner of 'protection' of the Orthodox Church from the Catholics (p. 278–280).

Regarding the important question of the nature of the political struggle in the Sejms in the 1560s, the author supports the view of I. I. Lappo, who, unlike M. K. Liubavskii, believed that between the magnates and the gentry of the Duchy there were no fundamental disagreements about union with Poland. The magnates supported the gentry in their quest to introduce the 'nobility democracy' by creating a common Polish-Lithuanian Sejm and preserving the local Sejms.

At the same time, the author recognizes the special position occupied by the group of Radziwiłł magnates who favored the preservation of the sovereignty of Lithuania (p. 296, 307). Janushkevich rightly points to the formal nature of the 'nobility democracy', under the guise of which the magnates' clientele was effectively functioning, and the young nobles moved to private service in the courts of those magnates (p. 304).

Describing the situation of the population in Northern Belorussia living on the frontline, the author outlines the common practice of survival when, regardless of religion or ethnic kinship, local residents supported the side that seemed the strongest at any given moment (p. 326–339).

The author's conclusions, on the medieval character of the Rzeczpospolita military drafts, that eventually had to be replaced by the mercenary units, also prove valid (p. 341). The limited resources of the Great Duchy of Lithuania did not allow for the substitution of the military drafts by the mercenary army; it was only after the election of Stefan Batory as King of the united Rzeczpospolita that he managed to hire a significantly large military contingent in Germany and Hungary and to turn the tide of the war. A map of the military campaigns in Northern Belorussia, drawn by V. N. Temushev, deserves particular mention. All of the above proves the significant scientific value of the research conducted by Janushkevich.

On the other hand, not all of the interpretations and conclusions presented by the author are indisputable. For example, the author believes that taking possession of Polotsk did not bring Russia any tangible strategic advantage, because the Polotsk land formed a 'wedge' between Vitebsk and the Lithuanian possessions on the lower Dvina river (p. 64). However, one should keep in mind two things: first, that the 16<sup>th</sup> century maps did not render space adequately; and second, that the Russian command had planned to conquer Vitebsk after Polotsk – this was the aim of the 1564 winter campaign. The defeat of P. Shuiskiy's army near Chashniki spelled the end of those plans; however, in the case of success, the takeover of Polotsk would have been undeniably justified.

Chapter One, with all its richness, is mainly concentrated on the description of the war in Northern Belorussia, often ignoring the situation in the Baltic countries. For instance, the exceptionally important act of the stripping of Livonia of its inner political autonomy, and its inclusion into the Great Duchy of Lithuania, is mentioned only momentarily, in a fragment devoted to the Treaty of 1561 (p. 56). Yet, this fact calls for a different understanding of the creation of the Duchy of Magnus in Livonia by Ivan IV in 1570 – it was clearly intended to fill the resultant political vacuum. Similarly, it is difficult to accept the generally dismissive tone towards the enemy of Lithuania – the Russian state, repeatedly described as backward and barbaric. Firstly, in accordance with the traditions of Anglo-American, Polish and Lithuanian historiography that considers the Lithuanian-Russian state as Lithuania, Russia in the monograph is often referred to as 'Muscovy'. Despite the fact that we have previously written about this inconsistency on several occasions, it is still necessary to repeat the point: if in the naming of the monarchical state one takes into consideration the titles of the monarch, then the country, led by 'The Tsar, the Monarch and the Grand Duke of All the Russias' should certainly be referred to as the Russian state, and not simply 'Muscovy'.

Secondly, the author does not include important and historiographically well-known facts concerning the reorganization of the state apparatus

and the military system of Russia in the 1550s. It was due to the reform of the so-called 'Elected Rada' that the reform of the cadastre system (*soshnoe pis'mo*) and the land reform were undertaken in Russia, resulting in the increase of tax revenues to the treasury; "*Prigovor o kormleniyakh i sluzhbe*" ('The Tsar's Decree on Maintenance and Service', 1556), in turn, endorsed the increase in numbers and the re-equipping of the cavalry. These facts support Dunning's contention that in the middle of the 16<sup>th</sup> century, the Russian State, along with the Kingdom of Castile, was one of the first fiscal-military states in Europe [Dunning].

Despite these reservations, this book by A. N. Janushkevich should be recognized as a very important study, organically complementing, and in terms of its volume and the originality of its sources used even surpassing, Russian historians' works, which are based mainly on Russian sources on the history of the Livonian War.

Dunning, Ch. (2014). Were Muscovy and Castile the First Fiscal-Military States? *Quaestio Rossica*, 1, 191–197.

*The review was submitted on 24.05.2014*

**Владимир Анатольевич  
Аракчеев**  
профессор  
Россия, Екатеринбург  
Уральский федеральный  
университет  
arakk@rambler.ru

**Vladimir Arakcheev**  
Professor  
Russia, Yekaterinburg  
Ural Federal University  
arakk@rambler.ru

---

УДК 94(100)“1914/1919” +  
+ 94(470)“1917” +  
+ 355.257.72(430)(470.5)

Андрей Бушмаков

## ВОЕННЫЙ ПЛЕН В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ (1914–1922)

Рец. на кн.: Суржикова Н. В. *Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.)*. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – 423 с.

## MILITARY CAPTIVITY IN THE RUSSIAN PROVINCE (1914–1922)

Review of: Surzhikova N. V. (2014). *Voennyj plen v rossijskoj provintsii (1914–1922)* [Military Captivity in the Russian Province (1914–1922)]. 423 p. Moscow: Politicheskaya encyclopediya.

This is a review of a monograph by historian N. V. Surzhikova, *Military Captivity in the Russian Province (1914–1922)* (Moscow: Politicheskaya Encyclopediya, 2014) published for the series *World War I. A Great War. 1914–1918*. The reviewer acknowledges the value of the archival material supplied in the work but is critical of its interpretation. The author's use of sociological concepts, though justified, has a number of flaws in the research's theoretical model. Additionally, the reviewer maintains that it is incorrect to apply the terminology of professional identity to the category of employment.

Key words: world war; Russian captivity; prisoners of war; revolution; civil war.

Рецензия посвящена монографии историка Н. В. Суржиковой «Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.)» (М. : Политическая энциклопедия, 2014), изданной в рамках серии «Первая мировая. Великая. 1914–1918». Рецензент признает ценность приводимого архивного материала, высказывает целый ряд замечаний по их интерпретации: применение автором социологических концептов, в целом оправданное, имеет существенные просчеты в теоретической модели исследования. Представляется некорректным распространение понятия профессиональной идентичности на категорию занятости.

Ключевые слова: Первая мировая война; российский плен; военнопленные; революция; Гражданская война.

Книга Натальи Викторовны Суржиковой посвящена военнопленным Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, находившимся на территории Среднего Урала в период с 1914 по 1922 гг. Автор рассматривает пребывание пленных с разных сторон: демографической, политической, экономической, культурной, описывает политику по регулированию жизни пленных центральными и местными властями, пытается реконструировать практики взаимодействия между пленными и местным населением, показать особенности их хозяйственного использования в экономике Урала рассматриваемого периода.

Источниками для проведения исследования послужили документы центральных и местных архивов: Российского государственного исторического архива, Российского государственного военно-исторического архива, Государственного архива Пермского края, Государственного архива Свердловской области. Привлечены также документы из фондов Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Центра документации общественных организаций Свердловской области, государственных архивов Челябинской области, Шадринска, Тобольска и др. Широко использованы материалы периодической печати, как центральной, так и местной, официальные вестники и другие печатные издания исследуемого периода, источники личного происхождения, музейные коллекции.

Впечатляющий список архивов, в которых поработал автор, следует дополнить не менее внушительным количеством просмотренных фондов. Только в пермском госархиве Н. В. Суржикова использовала документы полутора десятков фондов как досоветского, так и советского периода. К сожалению, в книге отсутствует список использованных архивных материалов, также вызывает недоумение использование автором «слепых» ссылок на архивные источники с указанием одних архивных шифров. Эта небрежность, вместе с отсутствием специальной главы, характеризующей источниковую базу исследования, и редкостью упоминания названий источников в тексте превращается в существенный недостаток монографии. При переиздании книги автору было бы целесообразно выделить отдельную главу для характеристики используемых в работе источников.

В первой главе книги дается основательный обзор отечественной и зарубежной историографии по теме исследования. Н. В. Суржикова весьма критично отзываясь о современной отечественной историографии изучения пленных Первой мировой войны, «уныло воспроизводящей» стандартные описания пленных по схеме «право военнопленных, их численность, состав, размещение, обеспечение, труд, контакты с местным населением, участие в политическом процессе и, наконец, репатриация» (с. 42).

Вторая глава посвящена статистическим данным о пленных и анализу динамики их численности, занятости и перемещений. Здесь же

автор рассматривает политику властей в отношении использования пленных, приходя к выводу, что в России уже в начальный период войны их стали рассматривать и использовать как экономический ресурс, задействовать хоть и не всегда эффективно, но регулярно, применяя их труд в самых разнообразных отраслях хозяйства Урала.

Экономика плена рассматривается в третьей главе монографии Н. В. Суржиковой, также на основании обширного количества архивных материалов. Автор показывает многообразие форм вовлечения пленных в хозяйственную деятельность, фиксирует невысокую эффективность их как работников, связывая ее с низкой мотивацией к труду. Эта проблема так и не была решена до конца существования российского плена в период Первой мировой войны, что, однако, не приводило к отказу от их принуждения к труду. И местные власти, и администрация предприятий, и частные лица, использовавшие труд пленных, продолжали бороться за достаточно сомнительный с экономической точки зрения трудовой ресурс.

В четвертой главе книги объединены «политико-идеологические манипуляции» с пленными царского правительства и сменивших его властей эпохи революции и гражданской войны, включая как большевиков, так и их противников. Автор показывает непоследовательность попыток российских властей в 1914–1917 гг. сконструировать из этнически и конфессионально близкой к русским части пленных особые группы и ранжировать их с точки зрения предполагаемой лояльности к России. Не совсем понятна логика, позволяющая Н. В. Суржиковой рассматривать как одну проблему попытки царского правительства сформировать из военнопленных славян новых союзников и разделить всех пленных по этническому и конфессиональному принципам и практику использования большевиками «интернационалистов» из числа бывших пленных. Вероятно, она связана с выявленными автором материалами, демонстрирующими непоследовательность и хаотичность в вопросе о судьбе пленных как царского правительства, так и всех последующих российских властей периода 1917–1922 гг.

Пятая глава содержит анализ существования военнопленных Первой мировой войны в России с использованием понятийного аппарата социологии. Она представляется достаточно спорной попыткой рассмотреть пленных как часть российского общества. В следующей главе, озаглавленной «Плен после плена», повествуется о судьбах бывших пленных после окончания войны, сложностях процесса их репатриации. Наконец, последняя, седьмая, глава – «Военнопленные: штрихи к коллективному портрету» – снова насыщена статистической информацией, которая, по мысли автора, призвана показать «отличия, которые “работали” на усложнение рисунка плена» (с. 328). В ней Н. В. Суржикова пытается систематизировать и интерпретировать количественные данные, почерпнутые из разнообразных источников, представив их в многочисленных таблицах и диаграммах.



Сомнительная, с нашей точки зрения, успешность этих интерпретаций связана не только с неполнотой статистических данных, но и с допущенными методологическими небрежностями. Примером такой небрежности является использование социологической модели профессиональной идентификации применительно к материалам о бывших занятиях пленным, зафиксированных в документах. Представляется некорректным использовать понятия профессиональной идентичности, которое в социологии обычно применяется для современного индустриального общества, где профессия далеко не тождественна занятию, к золотарям, конюхам, пекарям, сапожникам и т. д., обнаруженным Н. В. Суржиковой в архивных документах.

Из материалов, представленных в книге, вполне очевидно, что для российских чиновников пленные являлись ценным ресурсом, который необходимо было учитывать, распределять и контролировать его использование. В подобном же качестве они выступали и для остальных субъектов административно-хозяйственных взаимодействий: администраций горных заводов, промышленников, городских управ, земств, а также отдельных лиц, использовавших их труд: крестьян, священников и др. Военнопленные воспринимались, прежде всего, как дешевая, почти бесплатная рабочая сила, по определению не имевшая никаких социальных прав и потребностей, кроме удовлетворения необходимого физиологического минимума.

Нет оснований считать пленных 1914–1917 гг. особой социокультурной группой, включенной в состав российского общества. Н. В. Суржиковой, на наш взгляд, не удалось продемонстрировать такую степень интеграции пленных, которая давала бы возможность утверждать подобное. Они были изолированы и в большинстве случаев редко контактировали с местным населением, их привозили на время и затем возвращали в лагерь. Слабые социальные связи, возникавшие между отдельными группами пленных и местными жителями, были недостаточно устойчивы, чтобы говорить об этих людях как о части провинциального общества.

Следует отметить, что после марта 1918 г. военнопленные официально перестали быть таковыми, став «бывшими», людьми с совершенно непонятным социальным статусом. Фактически институт плена, созданный российским государством в годы войны, разрушился еще раньше, вместе с самим этим государством в 1917 г. С разрушением этого института пленные утратили свой четко определенный царскими властями статус и стали маргиналами, борющимися за выживание в условиях социального хаоса, эпидемий, голода и гражданской войны.

Попытка автора применять для анализа материала социологические концепты сама по себе заслуживает похвалы и выгодно выделяет книгу Н. В. Суржиковой из множества трудов современных российских историков. Однако теоретическую модель исследования в целом вряд ли можно считать удачной и продуманной. Некоторые термины,

такие как «социальное тело», представляются устаревшими и непонятны в контексте исследования. Рассуждая об интеграции чужаков в местные социальные структуры, Н. В. Суржикова не очень удачно применяет концепцию основателя Чикагской социологической школы Р. Э. Парка, писавшего о социальной сегрегации в городском пространстве на примере большого города индустриальной эпохи. Работы Р. Э. Парка, посвященные анализу особенностей интеграции разных групп эмигрантов в условиях стабильного американского общества, вряд ли могут стать основой для изучения принципиально другого типа социальной среды, в котором оказались пленные в России в 1914–1922 гг.

Таким образом, пятая глава книги выглядит как наиболее новаторская, но и наиболее проблемная. На наш взгляд, Н. В. Суржиковой не удалось показать военнопленных 1914–1922 гг. как часть российского общества, и ее выводы представляются весьма спорными. Нельзя согласиться с высказыванием о «росте социальной активности» пленных (с. 263), проявившемся, по мнению автора, в отказах от работы и побегах. Неубедительной представляется и попытка анализировать собранные факты возврата некоторых пленных к привычным для них в мирной жизни видам хозяйственной деятельности. Автор некорректно использует термин «социализация», когда говорит о социальной памяти: «Социализация пленных могла оборачиваться ресоциализацией, поскольку далеко не всегда требовала освоения ими каких-то диковинных ролей» (с. 264). Феномен социальной памяти в данном случае не имеет прямого отношения к процессу социализации, да и случаи, когда отдельные бывшие военнопленные, с разрушением института плена, стали занимать подвернувшиеся им ниши в российском обществе, вряд ли позволяют говорить об успешной социализации основной массы пленных. Приводимые примеры сожительства пленных с местными женщинами для 1916–1917 гг. представляются не столь типичными, чтобы делать какие-либо обобщения. Те же примеры, где пленные действительно женятся, приобретают социальную роль и связанный с ней статус в рамках института семьи, относятся уже к периоду «плена после плена», когда бывшая территория империи представляла собой слабо структурированное социальное пространство, где между людьми и группами населения отсутствовали сколько-нибудь устойчивые социальные связи.

Поэтому весьма сомнительным кажется утверждение, что плен способствовал формированию новых социальных структур (с. 269). В условиях распада и атомизации российского общества, с весны 1917 г. на смену поддерживаемому царским государством социальному порядку пришел социальный хаос; отдельные группы и группочки «окукливались», дистанцируясь от остальных, а социальные связи рвались. В этом социальном хаосе пленные стали маргиналами среди маргиналов, и говорить о формировании новых социальных структур явно не приходится. Прослеживая биографии отдельных бывших

военнопленных, Н. В. Суржикова описывает их социализацию в новом советском обществе, где некоторые из них даже оказались в составе элиты. Однако вошли они в это советское общество уже не как военнопленные, а как «сознательные рабочие», представители «трудящихся», «пролетариата» и т. д. – т. е. как люди, соответствовавшие критериям новой власти. Их прежний статус военнопленных в дореволюционный период стал всего лишь моментом биографии, уже не имевшим принципиального значения, как не имел значения, например, статус героя «империалистической» войны.

Неоспоримым достоинством исследования является громадное количество и разнообразие использованных источников, прежде всего архивных документов. Книга содержит огромный массив информации и раскрывает феномен плена эпохи Первой мировой войны с разных сторон и во всех подробностях. Автору удалось показать противоречивый и непоследовательный характер политики в отношении к пленным центральных и местных властей, специфику их положения на территории Пермской губернии. Некоторая методологическая небрежность, недостаточная четкость логики исследования, приводит к неудачным интерпретациям собранного материала и некоторой сложности восприятия исследования читателем. Тем не менее, выход в свет монографии Н. В. Суржиковой «Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.)», несомненно, является большим шагом вперед в изучении данной темы.

*The review was submitted on 24.05.2014*

**Андрей Валентинович  
Бушмаков**, к. и. н.  
Россия  
Пермская государственная  
академия искусства и культуры  
Bushmakov@yandex.ru

**Andrey Bushmakov**, Dr.  
Russia  
Perm State Academy  
of Art and Culture  
Bushmakov@yandex.ru

---

## Сокращения

АСЗ – Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века

ASZ – Akty sluzhilyh zemlevladeľcev XV – nachala XVII veka

ГАПК – Государственный архив Пермского края, г. Пермь

GAPK – Gosudarstvennyj arhiv Permskogo kraja, g. Perm'

ГАСО – Государственный архив Свердловской области, г. Екатеринбург

GASO – Gosudarstvennyj arhiv Sverdlovskoj oblasti, g. Ekaterinburg

ДАИ – Дополнения к актам историческим, собранным и изданным  
Археографической комиссией

DAI – Dopolnenija k aktam istoricheskim, sobrannym i izdannym  
Arheograficheskoju komissieju

ЛАИ УрФУ – Лаборатория археографических исследований Уральского  
федерального университета, г. Екатеринбург

LAI UrFU – Laboratorija arheograficheskih issledovanij Ural'skogo  
federal'nogo universiteta, g. Ekaterinburg

ПРП – Памятники русского права

PRP – Pamjatniki russkogo prava

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи

PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

PSRL – Polnoe sobranie russkih letopisej

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

RGADA – Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov

---

РГИА – Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург

RGIA – Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv, g. Sankt-Peterburg

СППЧР – Собрание постановлений по части раскола

SPPChR – Sobranie postanovlenij po chasti raskola

ССК – Секретный совещательный комитет по делам о расколе

SSK – Sekretnyj soveshhatel'nyj komitet po delam o raskole

ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердловской области

CDOOSO – Centr dokumentacii obshhestvennyh organizacij Sverdlovskoj oblasti

ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете

ChOIDR – Chtenija v Obshhestve istorii i drevnostej rossijskih pri Moskovskom universitete